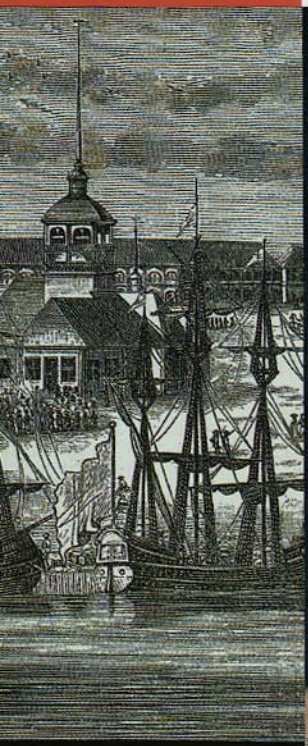
АННА ИОАННОВНА



Евгений Анисимов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь ®
замечательных
людей

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1016

(816)

Евгений Анисимов

АННА ИОАННОВНА

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2002

УДК 929(092)
ББК 63.3(2)46
А 67

ISBN 5-235-02481-8

© Анисимов Е. В., 2002
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2002

ПРЕДИСЛОВИЕ

Иному читателю может показаться странным, что биография императрицы Анны Иоанновны издается в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». Однако слово «замечательный» в русском языке имеет два значения. Согласно первому, «замечательный» — это «выдающийся, необыкновенный по своим качествам». Именно так в советское время понимали это слово в названии серии «ЖЗЛ», хотя и в ней было много биографий людей совсем не выдающихся и даже вполне заурядных. Но есть и второе значение этого слова: «замечательный» — это «заслуживающий внимания», «примечательный», «интересный». Для педантов биография Анны Иоанновны вполне может проходить «по второму департаменту» — как биография человека, несомненно заслуживающего нашего внимания. При этом сразу скажу, что я не был преисполнен к своей героине ни особой симпатии, ни особого неприятия, поэтому стремился сказать о ней все и не утаить ничего.

Книг и статей об Анне Иоанновне у нас и за рубежом написано немного. Уж если историки и обращались к ее царствованию, то их, как правило, привлекал 1730 год, когда была предпринята уникальная попытка ликвидировать самодержавие, создать олигархическую монархию. Этот сюжет из истории XVIII века стал любимым для либеральных историков начала XX века и служил неким подтверждением возможностей развития России не только по самодержавному пути. На Анну Иоанновну историки смотрели при этом с пренебрежением и некоторым раздражением, как смотрят на случайного прохожего, который загораживает нам вид из окна на интересное происшествие на улице. С ней было все ясно — случайно попала на русский трон в результате поли-

тической интриги верховников и сама по себе внимания не заслуживала.

Другой темой из времен Анны Иоанновны, на которую обращали свое внимание историки и литераторы, была так называемая бироновщина или «засилье немецких временщиков» во главе с Бироном. Это весьма спорное толкование анненского периода явилось следствием определенных исторических традиций, уходящих корнями в правление Елизаветы Петровны. Последняя насильственно и с формальной точки зрения незаконно захватила трон в 1741 году и стремилась обосновать свое узурпаторство необходимостью свержения «немецкого ига» и возвращения утерянного со времен Петра Великого могущества России. И в этом случае ничего хорошего об Анне Иоанновне не писали.

Очень часто книги о правителях, в сущности, таковыми не являются. Их можно условно назвать «Россия во время правления...», причем о личности самого правителя говорится мало, рассказ же идет в основном о социальных, экономических, военных и иных событиях эпохи, в которую довелось править этому человеку. Книгу об Анне я решил писать немного иначе, отталкиваясь от личности императрицы Анны Иоанновны и от тех документов, которые позволяют судить о ее характере, привычках, пристрастиях, которые дают возможность внимательно присмотреться к ее окружению, создать некий «групповой портрет с дамой», ни на минуту не упуская из виду находящуюся в центре этого «портрета» государыню. Я старался уделять внимание прежде всего миру, в котором жила Анна Иоанновна, и тому, каким видела она этот мир. Слов нет, задача оказалась трудной — императрица Анна была личностью не особенно интересной, приземленной, неяркой. Она не оставила после себя богатых по мыслям и чувствам писем, подобно Екатерине II, не была она и столь честолюбива, чтобы думать о том, как изобразят ее в будущем. Но в ее простоте, даже простоватости, безыскусности есть своя прелесть, в ее поступках и решениях есть своя логика и смысл, а поэтому для историка личность Анны Иоанновны кажется вполне подходящим предметом для исследования.

Глава 1

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ДНЕЙ БЕЗ САМОДЕРЖАВИЯ

Ночь с 18 на 19 января 1730 года многие в Москве провели без сна. В императорской резиденции — Лефортовском дворце (который в конце XVII века построил Петр Великий для своего фаворита Франца Лефорта) — умирал российский самодержец Петр II Алексеевич. Двенадцатью днями ранее — в один из главнейших православных праздников, Крещение Господне, или день Водосвятия, 6 января, юный царь — полковник Преображенского полка, прошел торжественным маршем во главе гвардии от Красных ворот до Кремля, долго простоял на литургии у «иордани» на Москве-реке на ветру и сильно простудился. Это стало ясно в тот же день вечером. Жена английского дипломата леди Рондо писала своей приятельнице, что государь пробыл на морозе четыре часа и сразу по возвращении во дворец «пожаловался на головную боль. Сначала причиной сочли воздействие холода, но после нескольких повторных жалоб призвали его доктора, который сказал, что император должен лечь в постель, так как он очень болен. Потом все разошлись». Полагали, что речь идет об обыкновенной простуде. Вскоре, однако, к простуде прибавилась оспа, нередко посещавшая дома наших предков. Как писал испанский посланник де Лириа, через три дня у императора «выступила оспа в большом обилии». Окружение Петра II было встревожено, но пока что не очень сильно.

Оспа была обычной, широко распространенной болезнью того времени. Ею болели десятки миллионов людей во всем мире. (Как выяснили современные ученые, нашествия оспы избежали только туземцы Каймановых, Соломоновых островов и острова Фиджи.) «Оспа и любовь минуют лишь немногих!» — говорили тогда в Европе. На оспу обращали

не больше внимания, чем мы сегодня на грипп, шутливо называли ее Оспой Африкановной, намекая на ее происхождение с Черного континента. Чтобы успешно справиться с оспой, нужно было знать всего несколько простых правил: в комнате больного «в присутствии» «Оспицы-матушки» (второе ее имя в России) не ругаться матом, не сердить ее, часто повторять: «Прости нас, грешных! Прости, Африкановна, чем я перед тобой согрубил, чем провинился!» Полезным было также трижды поцеловаться с больным. А после этого следовало подождать и поглядеть, как будет вести себя Африкановна, в какую сторону повернет болезнь, ибо у нее были две формы: легкая и тяжелая, причем последняя почти всегда со смертельным исходом. Обычно бóльшая часть больных переживала легкую форму оспы и только каждый десятый мог отправиться к праотцам раньше времени. Однако даже при легкой форме выздоровевший становился рябым от оспинных язвин, которые высыпали на лице и затем прорывались, оставляя после себя глубокие «воронки». Как зло говорили в деревне, на лице перенесших оспу «черти ночью горох молотили». Впрочем, юный император — не красна девица, и оспины для него были не страшны...

«Запрягайте сани, хочу к сестре!»

Болезнь императора протекала как будто нормально: испанский посланник писал, что «до ночи 28 числа (по российскому календарю — 17 января. — *Е. А.*) все показывало, что она будет иметь хороший исход, но в этот день оспа начала подсыхать, и на больного напала такая жестокая лихорадка, что стали опасаться за его жизнь». С этого дня состояние больного резко ухудшилось — Африкановна не смилостивилась! Петр некоторое время пролежал в забытьи и умер, не приходя в сознание. Как сообщал в Дрезден саксонский посланник Лефорт, последние слова умирающего императора были зловещи: «Запрягайте сани, хочу к сестре!» Царевна Наталья Алексеевна уже полтора года лежала в склепе Архангельского собора Московского Кремля — родовой усыпальницы Романовых...

Ночь на 19 января была одной из тех страшных ночей России, когда страна в очередной раз оказалась без своего верховного повелителя. Умер не просто император, самодержец, четырнадцатилетний рослый юноша. Умер ПОСЛЕДНИЙ мужской потомок династии Романовых по прямой линии, продолжатель рода основателя династии, своего

прапрадеда Михаила Романова, прадеда царя Алексея Михайловича, деда Петра Великого и, наконец, отца, несчастного царевича Алексея Петровича, погибшего в Трубецком бастионе Петропавловской крепости в Петербурге в 1718 году от рук палачей. Кто же унаследует трон? — думали сановники, собравшиеся у постели агонизировавшего царя. Ведь Петр II умирал бездетным, он не оставил завещания! Страшная тень гражданской войны, смуты, казалось, нависла над Россией.

Подобное уже случалось в истории Русского государства и почти всегда влекло за собой тяжкие последствия. Так, в 1598 году после смерти бездетного царя Федора Ивановича власть в стране захватил Борис Годунов, а потом началась губительная страшная Смута. В апреле 1682 года умер также бездетным царь Федор Алексеевич. Тогда в борьбе за власть насмерть схватились два клана — Нарышкины и Милославские, что привело к кровавому стрелецкому бунту в мае 1682 года. И вот уже совсем недавно, на памяти всех присутствовавших в Лефортовском дворце, 28 января 1725 года, умер Петр Великий, не оставив ни наследника, ни завещания. И тогда страна чудом не обрушилась в омут бунта и кровопролития — тогдашний всесильный фаворит Александр Меншиков и его сторонники, воспользовавшись всеобщей растерянностью после смерти первого императора, подкупили и призвали себе на помощь буйных гвардейцев и возвели на престол «лифляндскую портомою», вдову Петра Великого Екатерину Алексеевну, ставшую императрицей Екатериной I. После ее смерти в 1727 году все облегченно вздохнули — на престоле по завещанию и неписаному древнему закону о престолонаследии оказался 12-летний внук Петра Великого Петр II Алексеевич (он родился в Петербурге 12 октября 1715 года). А что же будет теперь, после его смерти? Словом, этой ночью решалась судьба огромной страны, мирно спавшей и не ведавшей о том, что ждет ее поутру. Вспомним, что в те времена средства связи были еще очень примитивными и пройдут недели и даже месяцы, прежде чем в разных концах страны подданные уже вступившей в феврале 1730 года императрицы Анны узнают о смене власти в столице — ведь указы в то время из Москвы до крайней точки империи на востоке — города Охотска на берегу Охотского моря — доходили за 8—9 месяцев. Впрочем, зимой почта шла значительно быстрее — новости из центра в Охотске могли получить и за полгода! Если, конечно, курьера по дороге не сожрут волки, не убьют разбойники или он не замерзнет в буран...

Семейный заговор Долгоруких

Хотя смерть юного царя и была неожиданной, некоторые из присутствовавших в Лефортове все же попытались овладеть ситуацией. Это были князья Долгорукие, чей клан с 1727 года утвердился у власти благодаря фавору князя Ивана Долгорукого, ставшего наперсником Петра II во всех его весьма фривольных похождениях. Этому в немалой степени способствовали интриги его отца, князя Алексея Григорьевича Долгорукого, человека не умного, но ловкого и, как тогда говорили, «пронырливого». В конце 1729 года князь Алексей считал своим самым большим успехом то, что сумел добиться обручения императора со своей дочерью (и сестрой князя Ивана) княжной Екатериной Алексеевной. 30 ноября 1729 года состоялась пышная церемония обручения молодых, Петр и Екатерина обменялись кольцами. Долгорукие были счастливы и полны надежд — царская свадьба была назначена на 19 января 1730 года! Правда, мало кто из них обратил внимание на зловещий знак судьбы, который она подала в день обручения: въезжая во двор дворца, роскошная карета невесты зацепилась верхом за низкие ворота и с ее крыши в грязь, к ногам зевак и стоявших в карауле гвардейцев упало позолоченное украшение — императорская корона. Скверный знак! Но Долгоруким было все нипочем, они полагали, что уже укрепились у самого престола. Известно, какую большую роль при дворе начинают играть после свадьбы родственники царицы — вспомним Милославских, Нарышкиных, Лопухиных, Салтыковых и другие семейства, чей служебный успех и богатства непосредственно зависели от выбора их родственницы в царицы. На такую роль рассчитывал и клан Долгоруких. Их не смущала и печальная судьба Меншикова, который весной 1727 года, властвуя в России и поселив вступившего на престол Петра II в своем доме, там же обручил его со своей дочерью Марией, однако вскоре был свергнут и вместе с, как тогда говорили, «разрушенной невестой» был сослан в Сибирь в Березов, где оба и умерли как раз в самом конце 1729 года, то есть в дни празднеств по поводу обручения Екатерины Долгорукой и Петра II. Но, как известно, люди не принимают во внимание чужой опыт и учатся только на собственных ошибках. Потому-то Долгорукие, как остроумно заметил один из иностранных дипломатов, спешно дописывали «второй том глупости Меншикова».

И когда 18 января 1730 года, за день до предстоящей свадьбы, стало ясно, что государь-жених умирает, Долгорукие в отчаянии все-таки попытались ухватить за хвост

ускользавшую от них птицу счастья. В дни болезни императора Петра II клан Долгоруких непрерывно совещался в доме князя Алексея Григорьевича. Позже, в апреле 1730 года, уже при Анне Иоанновне, в ходе расследования обстоятельств смерти Петра и междуцарствия, один из столпов клана — князь Василий Лукич Долгорукий — показал, что Долгорукие обсуждали, как бы возвести на престол именно Анну. Но на самом деле все было иначе. Правда всплыла лишь восемь лет спустя, когда в 1738 году началось кровавое дело князей Долгоруких и князь Иван, не выдержав допросов и пыток, рассказал, как был задуман «долгоруковский путч».

По его словам, замысел Долгоруких был незатейлив: подсунуть умирающему императору на подпись подготовленное ими завещание в пользу государыни — невесты княжны Екатерины Алексеевны и, если будет возможно, убедить его публично объявить свою волю. Уверенности Долгоруким добавлял и переданный им меморандум датского посланника Вестфалена, интриговавшего против других кандидатов на российский престол — младшей дочери Петра Великого цесаревны Елизаветы Петровны, а также двухлетнего Карла Петера Ульриха — сына уже покойной к тому времени старшей дочери Петра цесаревны Анны Петровны и голштинского герцога Карла Фридриха. Внук Петра Великого жил тогда с отцом в Голштинии, в Киле, и датчане очень опасались, что его приход на российский престол оживит старый территориальный спор Дании и Голштинии с явным, благодаря мощи России, перевесом последней. Поэтому Вестфален призвал семью Долгоруких «для спасения корабля вашей родины» возвести на престол Екатерину Долгорукую, заботясь, естественно, о непотопляемости исключительно корабля *своей* родины. При этом он ссылался на пример Меншикова и других, которые сумели посадить на царский трон Екатерину I и там ее «удержать».

И вот в ночь на 19 января, усевшись за стол в доме князя Алексея, князья Василий Лукич и Сергей Григорьевич (брат Алексея) при содействии самого Алексея Григорьевича сочинили завещание Петра II. В тот момент все они были весьма раздосадованы и возбуждены — только что произошла семейная ссора: хлопнув дверью, от них уехал один из столпов клана фельдмаршал князь Василий Владимирович. Предоставим слово ему самому.

В 1738 году В. В. Долгорукий показал на допросе, что при встрече в доме князя Алексея братья Сергей и Иван Григорьевичи говорили ему: «Вот, де, Его величество весьма

болен и ежели, де, скончается, то надобно как можно удержать, чтобы после Его величества наследницею российского престола быть обрученной Его величества невесте княжне Катерине». На это фельдмаршал возразил: «Статься не можно, понеже она за Его величества в супружестве не была!» Братья выдвинули против этого главный аргумент: «Как этому не сделаться?! Ты в Преображенском полку подполковник, а князь Иван — майор. То можно учинить, и в Семеновском полку спорить о том будет некому; сверх же для того, говорить о том будем графу Гавриле Головкину и князь Дмитрию Голицыну, а ежели они в том заспорят, то будем их бить».

Князя Василия, человека простого, грубого и прямодушного, возмутило не само предложение «бить» великого канцлера и старейшего члена Верховного тайного совета, а та смехотворная причина, которая должна была поднять гвардию на мятеж: «И он, князь Василий, оным князю Сергею и князю Ивану, Григорьевым детям говорил: «Что вы, ребячье, врете! Как тому можно сделаться?» И как ему, князь Василью, полку объявить? Что, услыша от него об оном объявление, не токмо будут его, князь Василья, бранить, но и убьют, понеже неслыханное в свете дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть российскаго престола наследницею!? Кто захочет ей подданным быть? Не токмо посторонние, но он, князь Василий, и прочие фамилии нашей никто в подданстве у ней быть не захотят!» Вскоре к Григорьевичам подъехали другие родственники. Разгорелась ссора, и фельдмаршал, который, вероятно, как истинный солдат, слов не выбирал, в гневе покинул покои князя Алексея.

Грубые, но здравые аргументы фельдмаршала не убедили Долгоруких, и они сели сочинять завещание, или, как тогда говорили, духовную. Князь Сергей Григорьевич написал сразу два экземпляра завещания, в котором, как свидетельствовал на допросе князь Иван, «подлинно было написано», что «Его императорское величество при кончине якобы учинил наследницею российского престола обрученную свою невесту княжну Катерину». Два экземпляра духовной были нужны компании «для верности» всей затеи. Один экземпляр тут же от имени царя подписал князь Иван, совершив тем самым подлог, а в сущности страшное государственное преступление, другой же был оставлен неподписанным. Инициатором подлога явился сам фаворит, который, по словам князя Сергея Григорьевича, «вынув из кармана черный (то есть черновой. — *Е. А.*) лист бумаги, [сказал] слова такия: «Вот посмотрите, письмо государевой и моей руки...

письмо руки моей слово в слово как государево письмо», то есть подписи совершенно идентичны (выражение «слово в слово» означает «точь-в-точь», «буквально»). К столь беззастенчивому, преступному способу утверждения престола за княжной Екатериной Долгоруких подталкивала сама ситуация: император без сознания, надежды на его выздоровление уже растаяли без следа, надо было срочно действовать. И огорченное семейство решило послать князя Ивана к императору, чтобы он «как от болезни Его императорского величества будет свободнее и придет в память, показав оную духовную Его императорскому величеству, просил, чтоб Его императорское величество подписал, а ежели за болезнию Его императорского величества рукою подписано не будет, то и вышеписанную духовную, подписанную его, князь Ивановою, рукою, по кончине Его императорского величества объявим, что якобы учинил сестру его, князь Иванову, наследницею, а руки его, князь Ивана, с рукою Его императорского величества, может быть, не познают», то есть подделки не заметят.

Во исполнении этого плана в последнюю ночь жизни Петра князь Иван не отходил от постели умирающего императора ни на шаг, но напрасно — тот так и умер, не приходя в сознание. Тотчас к телу покойного подвели Екатерину Долгорукую, которая, увидев мертвеца, «испустила громкий вопль и упала без чувств». Думаю, что появление «государыни-невесты» у тела жениха непосредственно перед заседанием Верховного тайного совета и в присутствии всех его членов, а также ее «громкий вопль» были частью задуманного Долгорукими сценария. Впрочем, чувства девушки легко понять. То, что она увидела, часто производило сильнейшее и неблагоприятнейшее впечатление даже на мужчин с крепкими нервами. Вот какой, например, увидел умирающую от оспы больную герой романа Эмиля Золя «Нана»: «То был сплошной гнойник, кусок окровавленного, разлагающегося мяса, валявшийся на подушке. Все лицо было сплошь покрыто волдырями; они уже побледнели и ввалились, приняв какой-то серовато-грязный оттенок. Казалось, эта бесформенная масса, на которой не сохранилось ни одной черты, покрылась уже могильной плесенью». Романист ярко, но точно отразил последствия гнева «Африкановны». Когда в 1774 году от оспы умер французский король Людовик XV, то его тело почти тотчас буквально потекло, так что пришлось срочно делать второй гроб и немедля хоронить «королевскую падаль» (так писали оппозиционные парижские «листки») в аббатстве Сен-Дени...

«Нам ничего не остается, как обратиться к женской линии»

Итак, в ночь на 19 января 1730 года император Петр II отправился на своих невидимых конях к сестре, а на земле продолжалась грешная жизнь. По-видимому, в первые часы после его смерти князь Алексей Григорьевич отобрал у сына оба экземпляра фальшивого завещания. Члены высшего правительственного органа Верховного тайного совета — верховники направились в смежную с царскими палатами «особую камору» и заперлись там на ключ. Их было четверо: канцлер Российской империи Гаврила Иванович Головкин, князья Дмитрий Михайлович Голицын, Алексей Григорьевич и Василий Лукич Долгорукие. Кроме того, на совещание были приглашены сибирский губернатор, дядя невесты, князь Михаил Владимирович Долгорукий, а также два фельдмаршала — князь Михаил Михайлович Голицын и князь Василий Владимирович Долгорукий. Других же сановников, находившихся в это время у тела царя, верховники не позвали. А между тем среди них были люди весьма известные и уважаемые в обществе: фельдмаршал князь И. Ю. Трубецкой, бывший генерал-прокурор Сената П. И. Ягужинский, церковные иерархи, первым среди которых считался Феофан Прокопович. Вместе с тем один член Совета, несмотря на настойчивые приглашения, в зал заседания идти отказался. Это был вице-канцлер А. И. Остерман, который отговорился тем, что он иностранец и поэтому дела российского престолонаследия решать не может.

Стоит сказать пару слов о Верховном тайном совете. Он был образован в феврале 1726 года императрицей Екатериной I, для которой царский венец с самого начала казался слишком тяжел, или, как тогда говорили, — «неудобоносен». В указе императрицы об образовании этого высшего правительственного учреждения Российской империи простодушно говорилось, что Совет создан «при боку нашем не для чего, инако только, дабы... Нам вспоможение и облегчение учинил». Члены Верховного тайного совета назывались верховниками. Под этим именем они и вошли в историю. С самого начала существования Совета первое место в нем занял светлейший князь А. Д. Меншиков. С его падением в сентябре 1727 года и особенно после переезда двора императора Петра II в начале 1728 года в Москву в Верховном тайном совете закрепились Долгорукие и Голицыны. К тому времени одни из верховников умерли, другие оказались

в опале, а рост влияния Ивана Долгорукого на царя привел к тому, что клан Долгоруких занял первенствующее положение в государстве. Если же говорить о реальном влиянии на дела в Верховном тайном совете, то его оказывал толковый и опытный чиновник — вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, который любил интригу, но старался не выдвигаться на первый план, уступая честолюбивому и тщеславному Алексею Григорьевичу Долгорукому. Другим влиятельным членом Верховного тайного совета был князь Дмитрий Михайлович Голицын.

Экстренное ночное совещание Совета на правах старшего по возрасту открыл Д. М. Голицын. Долгорукие, и прежде всего князь Алексей, пытались сразу же решить дело в свою пользу. Они предъявили собравшимся фальшивое завещание в пользу княгини Екатерины Алексеевны — невесты покойного царя. Однако, как и предполагал фельдмаршал Долгорукий, их попросту высмеяли, причем кроме Голицыных в этом «посмеянии» участвовал и сам старый фельдмаршал князь Василий. Так просто и легко, в течение одной минуты, рухнул весь карточный домик, который строили хитроумные родственники царской невесты, алкавшие власти. Под развалинами этого домика были погребены их светлые мечты о воцарении в России новой династии Долгоруких.

После этого небольшого инцидента, за который много лет спустя, уже при Анне Иоанновне, Долгоруким пришлось отвечать головой, заседание Совета продолжилось. Согласно рассказу датского посланника Вестфалена, к присутствующим обратился с речью Дмитрий Голицын: «Братья мои! Господь, чтобы наказать нас за великие грехи, которые совершались в России больше, чем в любой другой стране мира, особенно после того, как русские восприняли модные у иностранцев пороки, отнял у нас государя, на которого возлагались обоснованные надежды. А так как Российская империя устроена таким образом, что необходимо, не теряя времени, найти ей правителя... кого нам нужно выбрать из прославленной семьи Романовых и никакой другой. Поскольку мужская линия этого дома полностью прервалась в лице Петра II, нам ничего не остается, как обратиться к женской линии и выбрать одну из дочерей царя Ивана — ту, которая более всего нам подойдет».

Сделаю два необходимых для читателя отступления — во-первых, о проводившем заседание князе Дмитрии Голицыне и, во-вторых, о царе Иване и его дочерях.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын происходил из знатного боярского рода, уходящего своими корнями к литовским князьям Гедиминовичам, и, как многие его предки, служил русским государям. Он начал обычную для юноши знатного рода карьеру при дворе в качестве стольника. Но жил он в Петровскую эпоху, с ее метаморфозами и испытаниями. Как и многие его собратья, Голицын прошел все этапы карьеры петровского чиновника высокого ранга: в 34 года он в числе других стольников был отправлен за границу учиться, попал в Италию и, вернувшись домой, отправился в 1700 году в Стамбул чрезвычайным послом с ратифицированной грамотой заключенного накануне Россией тридцатилетнего мира с Османской империей. Большой отрезок его жизни был связан с Киевом, где он занимал должности воеводы и губернатора с 1708 по 1718 год. Особенно тяжелы были первые годы, когда после перехода гетмана Мазепы на сторону шведов Голицыну пришлось обеспечивать безопасность тылов и снабжение русской армии, отступавшей от границы, оберегать царскую власть на Украине. Одновременно Голицын руководил строительством крепости в Киеве, ведал весьма тонкими и непростыми отношениями с украинской старши́ной, членам которой после измены Мазепы Петр уже не доверял. В отличие от Меншикова, Ягужинского, Петра Шафирова и других соратников Петра Великого — выходцев из низов Голицын был невольным сподвижником царя-реформатора. В сущности, он не любил ни самого Петра, ни его реформы. Однако князь Дмитрий был не только консервативен, но и разумен, осторожен, умел держать язык за зубами. Потому он и сделал блестящую карьеру в то время, когда его болтливые или менее гибкие единомышленники «ловили соболей» (жаргон того времени) в Сибири. Из киевского губернатора он вырос до первого президента Камер-коллегии (важнейшего финансового органа) и сенатора. В 1726 году он стал членом Верховного тайного совета. К этому времени князь Дмитрий был уже стар (в 1730 году он встречал свое 65-летие). Его важный вид, сдержанность, даже холодность, внушали окружающим невольное уважение. Английский резидент Рондо так характеризовал Голицына: «Имеет необыкновенные природные способности, которые изощрены наукой и опытом, одарен умом и глубокой проницательностью, предусмотрителен в суждениях, важен и угрюм, никто лучше его не знает русских законов, он красноречив, смел, предприимчив, исполнен честолюбия и хитрости, замечательно воздержан, но надменен и жесток».

Конечно, Голицын понимал несомненные преимущества государства, которое создавал Петр Великий, но его, выходца из знатнейшего рода, коробило пренебрежительное отношение Петра к родовитой знати, мучил страх царской немилости. В 1723 году началось громкое дело о должностных проступках сенатора П. П. Шафирова, который устроил безобразную и, как счел Петр, непристойную свару с обер-прокурором Г. Г. Скорняковым-Писаревым. По этому делу проходил и князь Голицын, не защитивший, как надлежало сенатору, честь высшего правительственного «места» империи. Его отстранили от дел и посадили под домашний арест. Обычно так в то время начиналась серьезная опала — отставка, следствие, ссылка в Сибирь и даже эшафот. Как записал в своем дневнике голштинский камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, его господин голштинский герцог Карл Фридрих стал невольным свидетелем неприглядной сцены. На правах будущего зятя, своего, домашнего человека, он вошел в комнату императрицы Екатерины Алексеевны и увидел, что «у ног Ее величества лежал бывший камер-президент и теперешний сенатор князь Голицын, который несколько раз прикоснулся головой к полу и всенижайше благодарил ее за заступничество пред государем: по делу Шафирова он вместе с князем Долгоруким был приговорен к шестимесячному аресту и уже несколько дней сидел, но в этот день по просьбе государыни получил прощение».

Такое унижение князь Голицын, разумеется, не забыл. Как и многие другие подданные Петра, он был раздираем внутренними противоречиями. С одной стороны, у него было развито чувство собственной «породы», фамильной спеси. Остроту этим ощущениям придавали внедряемые Петром и хорошо усвоенные князем западноевропейские понятия о чести дворянина и джентльмена. С другой же стороны, что значил титул и все джентльменство в том случае, если самовластный государь возьмет да и прогневается? Тогда придется униженно просить пощады — напомню, что обычная формула подписи под челобитной государю была такой: «Как последний раб, пав на землю, покорно челом бью». А если нужно — так и валяться в ногах и громко стукаться лбом у подножия кресла бывшей портомои — жизнь-то дороже! И вот в 1730 году Голицыну показалось, что наступило его время, настал момент, когда он может осуществить свои давние, тайно выношенные мечты о новом государственном устройстве, при котором ему и ему подобным не нужно будет студить так голову и брюхо на холодном полу. Для осуществления задуманного плана ему оказались просто

необходимы дочери покойного, давно забытого всеми царя Ивана V Алексеевича.

Царь Иван V был сыном от первого брака царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской. Во время майского 1682 года переворота стрельцы по наущению царевны Софьи свергли правительство Нарышкиных и «присоединили» к уже царствовавшему десятилетнему Петру его старшего брата Ивана и сестру Софью в качестве соправителей. Иван сразу же стал послушной игрушкой в руках своей волевой сестры, которая старалась использовать его в своих политических играх против семьи Нарышкиных. Желая окончательно устранить от власти Петра, царевна Софья женила болезненного, слабоумного Ивана на красивой, пышущей здоровьем дворянской девушке Прасковье Федоровне Салтыковой, которая принесла ему одну за другой пять дочерей. В 1689 году Петр сверг и заточил в монастырь Софью и начал самостоятельно править Россией, не считаясь более с безвольным и тихим братом Иваном. Царь Иван умер в 1696 году, оставив всю власть Петру, а царица Прасковья скончалась лишь в 1723 году в Петербурге. К 1730 году в живых были три ее дочери: старшая — 38-летняя Екатерина Иоанновна, средняя — Анна Иоанновна (так по традиции пишется и произносится ее отчество), которой 28 января должно было исполниться 37 лет, и младшая — 35-летняя Прасковья. Царевна Екатерина в 1716 году была выдана Петром Великим за герцога Мекленбургского Карла Леопольда, с которым она через несколько лет разошлась и с тех пор жила вместе с дочерью Елизаветой (Анной Леопольдовной) в России. Вторая дочь Ивана и Прасковьи Анна Иоанновна, вдова герцога Курляндского, пребывала в этот момент в Митаве — столице Курляндии. Наконец, младшая дочь царевна Прасковья находилась в Москве и, как было хорошо всем известно, состояла в морганатическом браке с генералом Иваном Дмитриевым-Мамоновым...

Вернемся, однако, на заседание Верховного тайного совета. Из всех дочерей покойной Прасковьи Федоровны самой подходящей кандидатурой на русский престол Голицыну показалась средняя дочь царя Ивана вдовствующая курляндская герцогиня Анна. Именно он первым произнес ее имя на заседании Совета: «Она еще в брачном возрасте и в состоянии произвести потомство, она рождена среди нас и от русской матери, в старой хорошей семье, мы знаем доброту ее сердца и прочие ее прекрасные достоинства, и по этим причинам я считаю ее самой достойной, чтобы править нами».

Читатель наверняка заметил, что Голицын умышленно подчеркивал русское происхождение Анны Иоанновны, старину ее дома, то, что она была «рождена среди нас». Это был неприкрытый намек на незаконность других возможных наследников престола, происходивших от не бывшей «природной русской» Екатерины I. А такие наследники имелись и, действительно, русской крови в них текло маловато. После смерти в 1727 году шведки (или латвийской крестьянки — тут мнения ученых расходятся) Марты Скавронской, в течение двух лет занимавшей русский престол под именем императрицы Екатерины I, из десяти ее детей от Петра Великого в живых оставались две дочери — Анна и Елизавета. В 1725 году Анна Петровна была выдана замуж за герцога Голштинского Фридриха Вильгельма, уехала с ним в Киль и там, в 1728 году, родив мальчика Карла Петера Ульриха, умерла от родовой горячки. Таким образом, к 1730 году трем женщинам из ветви Ивана противостояли 20-летняя Елизавета Петровна и ее двухлетний племянник, живший в Германии.

Вопрос о том, кому наследовать престол после смерти Петра II, строго говоря, был запутанным и спорным. Ни один из пяти названных кандидатов не имел безусловного преимущества перед другими, да и покойный император не оставил после себя письменного завещания и не выразил определенно свою волю каким-либо иным способом. Впрочем, один акт государственного значения на сей счет все-таки существовал, и о нем знали многие. Речь шла о завещании — Тестаменте Екатерины I от апреля 1727 года. Согласно Тестаменту престол переходил к великому князю Петру Алексеевичу, ставшему императором Петром II. Поскольку тогда, весной 1727 года, он был всего лишь 12-летним недееспособным ребенком, Екатерина предусмотрела «запасные» варианты престолонаследия в случае его смерти (до совершеннолетия), то есть при невозможности законного назначения им собственного преемника. И хотя это положение Екатерина внесла в Тестамент ради того, чтобы защитить права своих дочерей Анны и Елизаветы и их возможного потомства, так уж получилось, что в 1730 году, в день смерти Петра II, Тестамент внезапно «попал» в точку, ибо, согласно ему, преимущество ветви от второго брака Петра Великого становилось очевидным.

В начале 1730 года можно было полностью реализовать содержание 8-го пункта Тестамента Екатерины I, который гласил: «Ежели великий князь (то есть Петр II. — *Е. А.*) без наследников преставитьца, то имеет по нем [право наследования] цесаревна Анна со своими десцендентами (потомка-

ми. — *Е. А.*), по ней цесаревна Елизавета и ея десценденты...» Иначе говоря, согласно букве Тестамента, после смерти Петра II и Анны Петровны на престол должен был вступить ее сын Карл Петер Ульрих, принц Голштинский. Верховный тайный совет еще в 1727 году признал правомочным Тестамент Екатерины и провозгласил императором, согласно его букве, Петра II. Однако ночью 19 января 1730 года о правах двухлетнего внука Петра Великого никто не вспомнил, как и о правах дочери первого императора цесаревны Елизаветы. Верховники обращались с законом по русской пословице, как с дышлом. Когда в 1742 году о причинах игнорирования этого документа спросили арестованного фельдмаршала Б. Х. Миниха, тот простодушно отвечал, что в такой ситуации «надобно поступать по указу настоящего государя, а не прежних монархов». И хотя в тот момент никакого государя уже не было, принцип конъюнктуры перевесил принцип законного следования любым «бумажным» законам. Чуть позже Голицын объяснял нежелание приглашать духовенство для решения династических дел тем, что церковные иерархи после смерти Петра Великого опозорили себя, одобрили воцарение Екатерины I, точнее — «склонились под воздействием даров в пользу иностранки, которая некогда была любовницей Меншикова». Иначе говоря, ни Голицын, ни поддержавшие его верховники считаться с Тестаментом лифляндской портомои не собирались, хотя в 1727 году все они целовали крест в верности последней воле умирающей императрицы.

Более того, предложение Голицына было воспринято как весьма умный, удачный компромисс, который позволял без кровопролития сохранить равновесие политических сил в борьбе за наибольшее влияние при дворе. Были удовлетворены и обиженные Долгорукие, и все, кто ни в коем случае не желал прихода потомков Петра Великого и — не допусти, Господи! — продолжения его реформ. Именно поэтому фельдмаршал В. В. Долгорукий — наиболее авторитетный среди своего клана — воскликнул: «Дмитрий Михайлович! Мысль эта тебе внушена Богом, она исходит из сердца патриота, и Господь тебя благословит. Виват наша императрица Анна Иоанновна!» Другие участники совещания подхватили «Виват!» фельдмаршала. То-то, наверное, потом старый воин корил себя за эту неуместную горячность — его по ложному обвинению «в оскорблении чести Ея императорского величества» Анны Иоанновны в 1732 году засадили в крепостную тюрьму Иван-города и продержали там восемь лет, а потом отправили на Соловки!..

А далее, по словам весьма осведомленного датского посланника Вестфалена, произошел забавный эпизод, который как нельзя лучше характеризует отсутствовавшего на заседании Верховного тайного совета Андрея Ивановича Остермана. Услышав крики радости в зале, он бросился к двери, стал стучать, ему открыли, и «он присоединил свой «виват» к «виватам» остальных». Как видим, искусство политика состоит не только в твердом отстаивании своих взглядов, но и в умении вовремя присоединить свой «виват» к победным кликам победителей. Впрочем, как показали последовавшие через минуту события, испытания для Андрея Ивановича еще не кончились. Когда он уселся среди коллег, Голицын продолжил речь, и я думаю, что Андрей Иванович пожалел о том, что поспешил со своим «виватом».

Набросить намордник на спящего тигра

Дело в том, что председательствующий князь Голицын еще не кончил говорить. Дождавшись тишины, он сказал то, что привело в полнейшее изумление всех присутствующих. Голицын предложил при возведении Анны Иоанновны «себе полегчить» или «воли себе прибавить» посредством ограничения власти новой императрицы. Из последующих событий видно, что князь Дмитрий давно шел к этой мысли. Как человек опытный, умный, образованный, книгочей, он имел возможность изучать недостатки и достоинства различных политических режимов, существовавших когда-либо в истории. Он стал убежденным противником самовластия, которое в царствование Петра расцвело пышным цветом и привело к господству беспородных фаворитов вроде Меншикова, так и не включенного, несмотря на все его звания, титулы и награды, в боярские книги — список высшего чиновного дворянства XVII — начала XVIII века. Зато, по мнению Голицына, были унижены некогда равные и даже более знатные, чем Романовы, дворянские и княжеские роды. И вот, неожиданно, со смертью Петра II появилась уникальная возможность «набросить намордник на спящего тигра» — самодержавие. При этом основная власть перешла бы к Верховному тайному совету, большинство в котором было за знатными или, как тогда говорили, «фамильными». В глазах Голицына и его сподвижников Анна была заведомо слабым, несамостоятельным правителем, и она могла сыграть в русской истории ту же роль, которую сыграла Ульрика-Элеонора — младшая сестра и наследница погибшего в ноябре 1718 года шведского короля Карла XII. В 1719 году она

смогла занять трон лишь ценой отказа от абсолютной власти, которой обладал ее великий брат-полководец. Согласно шведской конституции 1720 года, которая была дополнена Актом о риксдаге 1723 года, вся власть перешла к высшему совету — риксроду, состоящему из аристократов. Инициатором этой революции 1720 года был знатный вельможа Арвид Горн, который возглавлял этот самый риксрод и фактически самостоятельно правил королевством до 1738 года. Не исключено, что князь Голицын, знавший новейшую историю Швеции, был не меньшим честолюбцем, чем шведский аристократ, и брал с него пример. Уж очень похоже было все им продумано: избрание слабого правителя, ограничение его прав письменными обязательствами, сосредоточение всей власти в Верховном тайном совете, в котором все свои, «фамильные», а он, Голицын, самый хитрый и умный! Впрочем, понимая все преимущества предложения Голицына, опытный и осторожный дипломат Василий Лукич Долгорукий засомневался: «Хоть и зачнем, да не удержим?» — «Право, удержим!» — отвечал Голицын и тут же предложил оформить это «удержание» пунктами-кондициями, которые новая императрица была обязана подписать в случае ее согласия занять трон отца и деда.

Дальше предоставим слово секретарю Верховного тайного совета Василию Степанову, который позже давал письменные объяснения о том, что происходило тогда в зале заседания.

Степанов был приглашен в комнату, где совещались верховники: «Посадя меня за маленький стол, приказывать стали писать пункты, или кондиции, и тот и другой сказывали так, что я не знал, что и писать, а более приказывали: иногда князь Дмитрий Михайлович, иногда князь Василий Лукич». По-видимому, опытный секретарь Степанов был ошарашен этим натиском, лихорадочным порывом этой кучки властолюбивых стариков, которые, теснясь и толкаясь вокруг него, стали наперебой диктовать условия своего прихода к власти. Видя растерянность Степанова, канцлер Гавриил Головкин стал просить Остермана — большого специалиста по составлению государственных бумаг — продиктовать текст. Остерман же запел старую песню: «...отговаривался, чиня приличные представления, что так дело важное, и он за иноземчеством вступать в оное не может».

Общими усилиями глубокой ночью черновик кондиций закончили, и когда была поставлена точка после заключительных слов кондиций: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны Российской», верховники

разъехались по домам, так как на утро 19 января в Кремле, в Мастерской палате, где обычно заседал Верховный тайный совет, было назначено чрезвычайное совещание всех высших чинов государства. Их, кстати говоря, было много — знать и рядовое дворянство почти в полном составе собрались на царскую свадьбу 19 января. Все рассчитывали на обычные в таком случае награды, пожалования и повышения. Верховники вышли к собранию и объявили свое решение о приглашении на престол герцогини Курляндии и Латгалии Анны Иоанновны. Это объявление не встретило никакого возражения присутствующих, — наоборот, по словам Феофана Прокоповича, «тотчас вси, в един голос, изволение свое показали и ни единаго не было, которой мало задумался».

Я, как историк, не могу спокойно пройти мимо этого важного исторического события. Ведь речь идет не о простом совещании, на котором верховники сообщили о своем решении высшим чинам государства, а почти о Соборе, где волею «земли», «всех чинов», «общества», «народа» уже со времен Бориса Годунова избирали на престол русских царей. Именно так на Земском соборе 27 апреля 1682 года был избран Петр I. В памятную январскую ночь 1725 года канцлер Г. И. Головкин предложил решить спор о том, кому — Петру II или Екатерине I — занять престол, обратившись к «народу». Разумеется, канцлер России имел в виду не народ в современном понимании этого слова, а верхушку, элиту, «землю» тогдашнего общества.

С годами состав «земли» уменьшался, утрачивал черты Земских соборов первой половины XVII века. Эта была печальная для нашей истории и до сих пор до конца неизъяснимая эволюция, досадное для наших свобод «усыхание» общественной власти, влияния народа через своих представителей на верховную власть. Возможно, что этот процесс был непосредственно связан с усилением самодержавия, стимулировавшим отмирание последних элементов сословно-представительной монархии. Порой кажется, что всякое представительское, избирательное, сословное или демократическое начало в России нужно верховной власти только до тех пор, пока эта власть испытывает серьезные трудности, когда ей нужно спрятаться от бед и напастей за спиной народа, выкарабкаться из затруднений за его счет. И тогда подданных называют непривычно и диковинно «братьями и сестрами», приглашают выборных людей, «советовать, думать думу». По мере того как к середине XVII века верховная власть крепла, она все менее нуждалась в «совете с народом», а с улучшением финансового положения отпала

необходимость просить у него помощи в поисках денежных средств. Соответственно, к этому времени судьбу престола решало все меньшее и меньшее число людей.

Если на Земском соборе 1682 года были представлены не только высшее духовенство, бояре, но и служилые московские чины — стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы, а также высшие разряды московских посадских людей, то к 1720-м годам все кардинальным образом изменилось. «Общество», «народ», «собрание всех чинов» состояли, как правило, из руководителей и высших чинов государственных учреждений: Сената, Синода, коллегий и некоторых канцелярий (всего от ста до двухсот человек). Появился также новый влиятельный политический институт, новое сословие — «генералитет», включавший в себя фельдмаршалов, генералов, адмиралов, обер-офицеров гвардии и частично армии и флота. Именно такое «общество» вершило суд над царевичем Алексеем в 1718 году, оно же обсуждало, кому быть императором в январе 1725 года, а позже, в 1727 году, одобряло своими подписями Тестамент Екатерины I.

И вот подобное собрание, имевшее в период междуцарствия законодательную силу, подтвердило выбор верховников. Но тут произошел на первый взгляд незаметный, но ставший роковым сбой в системе, которую построили Голицын и другие верховники. Как писал один из современников, верховники объявили лишь об избрании Анны, «не воспоминая никаких к тому кондиций или договоров, но просто требуя народного согласия», которое и было дано «с великою радостью». Иначе говоря, верховники утаили от высокого собрания, что после смерти Петра II составили кондиции, ограничивавшие полномочия новой императрицы, и что власть сосредоточивается исключительно в их руках.

План солидных, уважаемых людей — верховников был по-жульнически прост: представить Анне кондиции как волю «общества», а после получения ее подписи под ними поставить «общество» перед свершившимся фактом ограничения власти императрицы в пользу Верховного тайного совета. В этом-то и состояла суть чисто олигархического переворота, задуманного Голицыным. Как только дворяне покинули Кремль, верховники снова засели за любимое дело — окончательное редактирование кондиций. Они начали, вспоминал Степанов, «те, сочиненныя в слободе (Лефортовский дворец находился в Немецкой слободе. — *Е. А.*) пункты читать, и многие прибавки, привезши с собою, князь Василий Лукич и князь Дмитрий Михайлович велели вписывать (значит, оба трудились ночью! — *Е. А.*), а Андрей Иванович Остерман заболел и при том не был и с того времени уже не ездил». «Дипломатический» характер болезни Остермана был всем хорошо известен. Составив черновик кондиций и письма к Анне с вестью о ее избрании императрицей, верховники распорядились, чтобы Степанов перебелил черновики и затем, объехав всех членов Совета, собрал их подписи. Так и было сделано. Степанову дважды пришлось ездить к Остерману. В первый раз он подписал лишь письмо к Анне и наотрез отказался подписать кондиции. И лишь когда пригрозили ему большими неприятностями, он поставил подпись и под кондициями. К вечеру все было готово, и делегация Верховного тайного совета 20 января, не дожидаясь утра, поспешно отбыла на почтовых в столицу Курляндии Митаву (ныне Елгава, в Латвии). В депутацию входили князь Василий Лукич Долгорукий, сенатор Михаил Михайлович Голицын — младший брат фельдмаршала М. М. Голицына, а также генерал-майор Михаил Леонтьев.

Хотя о том, что написаны некие ограничивающие власть государыни пункты, знали немногие, все-таки полностью утаить свою «затейку» верховникам не удалось. Так всегда бывало с крупными историческими событиями, слухи о которых неведомо каким образом облетают общество. Петр Великий, зная это обстоятельство, порой временно сажал под караул вестника, привезшего новость, и сам лично объезжал своих сподвижников, огорашивая их полученным известием. Таким образом он получал сполна то неизъяснимое удовольствие, которое испытывает человек, ставший вдруг обладателем некоей потрясающей новости. В такие минуты исчезает присущая людям жадность — наоборот, первого обладателя новости так и распирает от желания поделиться ею с другими. Получая в ответ «ахи» и «охи» окружающих, он наслаждается своей хотя и сиюминутной, но все-таки исключительностью. Так, наверное, и случилось. Кто-то из верховников не удержался, поделился с женой, близким родственником; новость зацепилась за край уха стоявшего у стола с посудой холопа, с ним влетела на кухню и потом пошла гулять по городу. Словом, утром следующего дня все всем уже было известно: ведь это же Москва — большая деревня!

Кроме того, москвичей насторожили какие-то странные, подозрительные события. Командиры застав вокруг Москвы получили строжайший приказ всех впускать и никого не выпускать из столицы. Так обычно поступают следователи, ведущие обыск на квартире подозреваемого, чтобы наружу не

просочились сведения об обыске. А тут под арестом оказался целый город. Всех удивило и то, что в другие города не были посланы даже извещения о смерти Петра II и восшествии на престол Анны Иоанновны. В «Санкт-Петербургских ведомостях» за 26 января 1730 года о смерти Петра II не сказано ни слова, в номере за 12 февраля — тоже ни слова и только в номере за 16 февраля мы читаем печальное известие о событиях 19—20 января: император Петр II «в зело младых летах от времяннаго в вечное блаженство отъыде. Сего дня потом избрана в высоком тайном совете императрицею и самодержицею Всероссийскою Ея высочество государыня герцогиня Курляндская Анна Иоанновна». Между тем курьер с указом по зимней гладкой дороге в Петербург мог долететь максимум за двое суток!

Присутствовавшие на собрании 19 января дворяне удивились и отказу верховников провести полагающуюся к случаю торжественную литургию в честь новой императрицы. Между тем эта «забывчивость» верховников понятна — ведь на литургии пришлось бы огласить титулатуру новой самодержицы, а она в соответствии с кондициями должна была измениться самым решительным образом. Главное, из титула изымалось коренное со времен Ивана III слово — «самодержец». Конечно, эти и другие факты не прошли незамеченными: по столице поползли слухи, что «господа верховные иной некой от прежнего вид царствования устроили и что на нощном, малочисленном своем беседовании сократить власть царскую и некими вымышленными доводами яки бы обуздать и просто рещи — лишить самодержавия затеяли».

Когда уже на следующий день тайный план верховников стал секретом полишинеля, противники верховников постарались сразу же известить Анну о «затейке» Д. М. Голицына «с товарищи». 20 января три гонца — от Павла Ягужинского, графа Карла Густава Левенвольде и архиепископа Феофана Прокоповича — разными дорогами, но одинаково соря деньгами для ускорения езды, поскакали в Митаву. Первым, раньше депутации верховников, достиг Курляндии гонец Левенвольде, и когда 25 января князь В. Л. Долгорукий вошел в тронный зал Митавского замка, встретившая его герцогиня Анна уже знала обо всем задуманном в Москве.

Архипыч-то был прав!

Удивительно, как порой неожиданно, ошеломительно меняется жизнь! Еще 18 января вечером Анна отправилась почивать вдовствующей курляндской герцогиней, а утром

19 января проснулась российской императрицей! И при этом она ничего не знала о своей счастливой перемене почти что неделю — слишком далека была от Москвы заснеженная захолустная Митава — столица марионеточного немецкого герцогства на берегу Балтийского моря. Князь Василий Лукич, давно знавший Анну, объявил герцогине «сожалительные комплименты» по поводу преставления государя императора Петра II и сообщил об избрании ее императрицей. Анна, как и положено по протоколу, «изволила печалиться о преставлении Его величества, — писал в своем донесении в Москву В. Л. Долгорукий, — а потом велела те кондиции пред собой прочесть и, выслушав, изволила их подписать своею рукою так: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать. Анна».

Из этого донесения видно, что все мероприятие заняло минуты. Не было ни споров, ни дополнительных вопросов — взяла перо, обмакнула его и подписала бумагу. Вряд ли князь Василий Лукич, опытный дипломат и политик, особенно волновался. Он был уверен, что так и будет. Сила и право были на его стороне. По поручению Совета он диктовал условия: хочешь быть царицей — подписывай, а не хочешь — курляндствуй по-прежнему. Претендентов на престол, кроме тебя, хватает! Что думала Анна, мы не знаем, но нам известно — после прибытия гонца от Левенвольде до приезда депутации верховников прошли сутки, и у герцогини Курляндской было время обо всем подумать. А о чем, собственно, ей следовало думать?! И в те памятные январские дни 1730 года, и потом, став самодержицей Всероссийской, она никогда не сомневалась в своем праве царствовать — ведь она была царевна, законная дочь правившего некогда царя и достойной, из хорошего семейства царицы. По чистоте русской крови Анна считалась первейшей.

Правда, ходили слухи об удивительном «казусе»: Прасковья Федоровна, выданная замуж 9 января 1684 года за слабоумного и немощного царя Ивана Алексеевича, родила первого своего ребенка — царевну Марью лишь пять с лишним лет спустя после свадьбы, 21 марта 1689 года! А затем выпустила на свет Божий целую «серию» дочерей: 4 июня 1690 года — Феодосью, 29 октября 1691 года — Екатерину, 28 января 1693 года — Анну и, наконец, 24 сентября 1694 года — Прасковью. Злые языки говаривали про сердечного друга царицы — немца-учителя, старшего брата Андрея Остермана, а другие указывали на то необыкновенное влияние, которое при дворе вдовой Прасковьи Федо-

ровны имел безвестный своими ратными и государственными подвигами стольник Юшков. Ну, это было уделом сплетников, а люди добрые всякий раз восхищались прибавлением в семье больного царя Ивана, да со смехом рассказывали случай, как в Измайлове пошел как-то раз государь-батюшка в нужник, да стоявшая рядом поленница дров рухнула и поленьями привалило нужничную дверь. Так и просидел тихий царь несколько часов в ароматном заточении, пока князья-бояре не хватились и не высвободили государя из «узилища».

Естественно, в своем происхождении от Романовых Анна не сомневалась и в дальнейшем зло потешалась над цесаревной Елизаветой — «выблядком» или, говоря не по-русски, а по-европейски — «бастардом» — внебрачной дочерью Петра Великого, которую ему принесла шведская портомоя Екатерина, а также над всею ее босоногою родней — бывшими крепостными крестьянами — дядьками и тетками, ставшими по воле Екатерины I графами Скавронскими и графами Гендриховыми. К тому же Анна хорошо помнила предсказание юродивого царицы Прасковьи Тимофея Архипыча, который в детстве напророчил царевне и трон, и корону. А суеверная Анна к таинственным и темным словам людей Божьих прислушивалась внимательно — глядишь, и правду скажут — сколько таких историй бывало!

Но все-таки суть дела заключалась не в этом. Через три дня после приезда депутации у Анны был день рождения — ей исполнялось 37 лет! Возраст для женщины в те времена почтенный. А что ей к тому времени довелось познать — и вспоминать не хотелось! Поэтому Анна была готова подписать что угодно, лишь бы вырваться из проклятой Митавы, прервать унылую череду лет бедной, неблагоустроенной, зависимой от других жизни, насладиться пусть не властью, но хотя бы удобством, комфортом, почетом и покоем. Ей так хотелось выйти из Успенского собора с императорской короной на голове, под звон родных ей с детства колоколов, под восторженные клики толпы и чтобы сзади нее в толпу бросали золотые и серебряные монеты и чтобы все ей низко кланялись. Конечно, ради этого Анна была готова подписать даже пустой лист, если бы Василию Лукичу такое пришло на ум. Она не могла не использовать этот чудесный, внезапно открывшийся ей шанс резко и навсегда изменить свою жизнь, не могла отказать депутации, не «восприять оставшийся ныне после Ея высочества предков императорский российский престол». Отъезд Анны из Митавы был намечен на 29 января...

Не хлебом единым...

Посланный вперед Анны и депутации верховников генерал Михаил Леонтьев 1 февраля вернулся в Москву, везя с собой драгоценный документ — подписанные Анной кондиции и ее письмо к подданным. На следующий день — 2 февраля — было назначено расширенное заседание Совета, на которое особыми повестками приглашались чиновники, высшие военные «по бригадира». Верховники не скрывали своей радости. В присутствии высших чинов государства были прочитаны кондиции и письмо Анны от 28 января, в котором сообщалось, что «пред вступлением моим на российский престол, по здравому разсуждению, изобрели мы запотребно, для пользы Российскаго государства и ко удовольствованию верных наших подданных» написать, «какими способы мы то правление вести хощем, и, подписав нашею рукою, послали в Верховный тайный совет».

В преамбуле кондиций Анна обещалась «в супружество во всю... жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять». И ниже в кондициях следовало самое главное — положение об ограничении власти императрицы Верховным тайным советом: «Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякаго государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восми персонах всегда содержать и без онаго Верховнаго тайнаго совета согласия: 1) Ни с кем войны не всчинять. 2) Миру не заключать. 3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховнаго тайнаго совета. 5) У шляхетства живота, и имения, и чести без суда не отымать. 6) Вотчины и деревни не жаловать. 7) В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховнаго тайнаго совета не производить. 8) Государственные доходы в расход не употреблять. И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской». Сопоставление первоначальной («лефортовской») редакции с последней («кремлевской») показывает, что основные усилия верховников при доработке кондиций сводились к расширению числа ограничительных для императрицы статей закона. Если вначале царская власть ущемлялась только в делах войны и мира, введении новых нало-

гов, в расходовании казенных денег, при раздаче деревень, а также в чинопроизводстве и праве судить дворян, то в окончательной редакции, составленной уже в Кремле утром 19 января, императрица лишалась права командовать гвардией и армией, вступать в брак и назначать наследников, а также жаловать в придворные чины.

Когда кондиции и письмо Анны были прочитаны собранию, наступило неловкое молчание, и, как писал Феофан, те, «которые вчера великой от сего собрания ползы надеялись, опустили уши, как бедные ослики, шептания во множестве оном пошумливали, а с негодованием откликнуться никто не посмел, и нельзя было не бояться, понеже в палате оной, по переходам, в сенях и избах многочинно стояло вооруженнаго воинства, и дивное было всех молчание, сами господа верховные тихо нечто один с другим пошептывали и, остро глазами посматривая, притворялись, будто бы и они, яко неведомой себе и нечаянной вещи, удивляются».

Наконец, преодолев неловкое молчание и шушуканье, князь Д. М. Голицын громко сказал, что Анна, прислав кондиции, сделала благое дело для государства, не иначе «Бог ея подвигнул к писанию сему, отсель счастливая и цветущая Россия будет» и все присутствующие, «как дети отечества, будут искать общей пользы и благополучия государству». «И сия и сим подобныя, — вспоминал Феофан, — до сытости повторял». Но общество молчало, приветственных кликов не было (плохо верховники подготовились, не организовали клакёров!), это раздражало Голицына и других верховников, вероятно ожидавших привычного «Вивата!». «И когда, — пишет Феофан, — некто из кучи тихим голоском, с великою трудностию промолвил: «Не ведаю, де, и весьма чуждуся, из чего на мысль пришло государыне тако писать?» — то на его слова ни от кого ответа не было». Наивный вопрос простака-дворянина, который не мог понять, зачем же императрица добровольно ограничивает свою власть и во всем подчиняется Совету, сыграл роль знаменитого выкрика мальчика из сказки Андерсена о голом короле.

Неожиданно вперед вышел князь Алексей Михайлович Черкасский и потребовал, «чтоб ему и прочей братии дано [было] время поразсуждать о том свободно». Верховники на это с легкостью согласились, — не желая доводить дело до публичной ссоры и позорного разоблачения, они полагали, что так, в разговорах, будет выпущен весь «пар недоумения». Но тут началось то, чего никто из верховников не ожидал. Хотя между первым собранием 19 января и вторым — 2 февраля — прошло всего-то две недели, политическая ситуация

в столице преобразилась. Можно сказать без преувеличения, что генерал Леонтьев привез кондиции в другую страну.

Что же произошло в Москве за это время? Если говорить научно, но кратко — пробудилось и активизировалось дворянское общественное сознание. Как небольшая прорубь в глухом ледяном панцире реки позволяет насытить подледную воду столь необходимым ей кислородом, так две недели междуцарствия насытили воздух столицы свободой, надеждами, спорами, пробудили дремавшее у большинства людей незнакомое им гражданское чувство. Конечно, не следует думать, что ранее Россия ничего подобного не знала. Дворяне начали осознавать свои сословные интересы задолго до 1730 года. На протяжении всего XVII века они не раз выражали свои требования к власти в многочисленных коллективных челобитных. Подавая их царю, участвуя в Земских соборах, они добивались упрочения крепостного права, расширения своих свобод в распоряжении землей, требовали от государства защиты их интересов от злоупотреблений «сильных» — бояр, «столичных чинов», которые захватывали земли уездных дворян, сманивали их крепостных, бесчинствовали в походах и на воеводствах. XVII век знал и серьезные политические требования дворянства. Нельзя не вспомнить, что в 1606 году избранный Земским собором царь Василий Шуйский присягнул в том, что не будет подвергать подданных бессудным опалам и казням, обещал не отнимать у безвинных имущество и не принимать во внимание ложные доносы. В присяге Шуйского отразились интересы всех служилых людей, и прежде всего — дворян, страдавших от тирании Ивана Грозного, а потом Бориса Годунова.

Еще важнее был знаменитый приговор Первого Земского ополчения 30 июня 1611 года, в основу которого была положена именно коллективная челобитная служилых людей. Приговор установил, что законодательную власть в стране имеет «Совет всей земли», которому подчинялись бояре — руководители ведомств. Фактически приговор ограничивал монархию в России. Земские соборы 20—30-х годов XVII века во многом играли роль «Совета всей земли». Однако, как уже сказано выше, к середине XVII века страна пошла по пути усиления самодержавия и самовластия, апофеозом которого стало царствование Петра Великого.

Петровская эпоха была подлинной революцией и в судьбе русского дворянства, которое именно тогда и стало превращаться в то дворянство, которое нам известно из российской истории XVIII—XIX веков. Петровские реформы в со-

циальной, податной, служилой и военной сферах привели к распаду традиционного служилого сословия и отделению «шляхетства» — дворянства от низших слоев служилых, ставших однодворцами. Одновременно уничтожение Боярской думы, введение новых принципов службы и титулатуры привели к тому, что высшие разряды служилых слились в единую, хотя и разнородную, да и не равноценную, массу петровского шляхетства. Оно было загнано в жесткие рамки регулярной службы в армии, государственном аппарате и при дворе, было обязано беспрекословно подчиняться воле самодержца-императора.

Как и другие группы русского общества, шляхетство не было в восторге от многих петровских начинаний. Особое недовольство вызывала ставшая непрерывной военная и государственная служба, которая не позволяла даже изредка бывать в своих деревнях. «Крестьянишки» постоянно оставались без присмотра, что, конечно, печалило рачительных помещиков. Сильным ударом для дворянства стал и знаменитый указ о майорате 1714 года, ограничивший свободу распоряжения недвижимостью и обязавший передавать имение только одному из сыновей.

Но не хлебом единым жив был русский дворянин 20-х годов XVIII века. Петровские реформы принесли в Россию не только западные достижения в технике, военном деле или кораблестроении, но и новые нравы, ценности и понятия. Поездки за границу на учебу и по делам, знакомство с иностранцами, с обычаями других государств, бóльшая, чем прежде, открытость русского общества — все это приводило к тому, что русское шляхетство 1730 года разительно отличалось от служилых людей XVII века, шел процесс оформления нового корпоративного дворянского сознания, построенного на иных, нежели прежде, нормах и ценностях.

Конечно, во многом это сознание включало в себя представления отцов — «государевых холопов», и это сочеталось с вполне европейскими понятиями о дворянской чести и достоинстве. Давящая сила этатизма, традиций, страх перед государем, отсутствие юридических свобод и прав, в том числе и на землю — все это вплоть до екатерининских времен оказывалось сильнее довольно смутных для российского шляхтича послепетровской поры понятий о достоинстве дворянина и ценности личности. Поэтому дворянское сознание и в это время привычнее выражалось в традиционных формах коллективных челобитных. И те коллективные проекты о государственном устройстве, которые начали уже на следующий день после памятного собрания в Москве составлять шляхтичи в 1730 году, весьма походили на челобитные их предков XVII века.

Но и в этой сфере жизни произошли заметные перемены. Настойчиво внушаемые петровской пропагандой принципы «доброго», честного служения Отечеству, часто повторяемые слова и клятвы о долге «верного сына Отечества» не пропали даром, их не глушил старинный принцип «государевых холопов», отвечающих на все вопросы знаменитой фразой пушкинской драмы: «То ведают бояре, не нам чета!» Важно и то, что со смерти Петра прошло уже пять лет, и у людей было достаточно времени, чтобы оценить некоторые ближайшие последствия Петровских реформ. За эти годы были значительно смягчены прежние суровые условия жизни подданных в бешеном режиме реформ, напряжения и страха. Как никогда прежде стало ясно, что реформы — ненормальное состояние жизни, общество жаждет стабильности, покоя. Но его не было. После смерти Петра власть лихорадило. Смены правителей и временщиков, ничтожества на троне и у трона и все это — при сохранении безграничного самодержавия... Словом, вдумчивому человеку было о чем поразмышлять, поспорить, заглянуть для сравнения в историю других стран и народов. А сравнивать было с чем. И если пример Речи Посполитой, где властвовала шляхетская анархия, вряд ли прельщал дворянских мыслителей, то иначе оценивали они устройство Англии, Голландии и Швеции. Все это, вместе взятое, сделало междуцарствие 1730 года удивительным временем. Сотни людей — пусть хотя бы сотни! — могли открыто высказывать свое мнение о будущем устройстве страны, о судьбе монархии, могли спорить, возражать, как равные с равными, а не оправдываться на дыбе в Тайной канцелярии.

Почти сразу же после провозглашения Анны императрицей дворяне стали сплачиваться в кружки, тайно по ночам собираться в домах у некоторых знатных особ. Первым острым общественным чувством в это время было всеобщее возмущение «затейкой» верховников. «Куда ни придешь, — вспоминал Феофан, — к какому собранию ни пристанешь, не ино что было слышать, только горестныя нарекания на осмеричных оных затейщиков (в Совете было восемь членов. — *Е. А.*) — все их жестоко порицали, все проклинали необычайное их дерзновение, ненасытное лакомство и властолюбие». Людей не меньше, а может быть, даже больше задело само жульничество, обман, к которому прибегли верховники. «Итако, — пишет с возмущением современник, — они, господа, именем народа обманули государыню в Кур-

ляндии, а именем государыни обманули народ в Москве... будто с государя содрать корону так легко, как с простого мужика мошеннику шапку схватить».

Никто не сомневался, что ограничение самодержавия делается не для блага государства или дворянства, а исключительно в интересах двух родов, захвативших власть и желавших продлить свое господство на долгий срок. Да, в сущности, верховники этого не скрывали — первое, что они сделали после отправки депутации в Митаву, так это ввели в Совет двух новых членов: фельдмаршалов М. М. Голицына и В. В. Долгорукого. Такие действия были всеми поняты однозначно. «Прибавка из их же фамилий, — писал анонимный автор записки о событиях 1730 года, — се уже не подозрение, но явный вид, что они за приватными своими интересы гонялися».

Назначение в состав Совета своих же родственников не было даже каким-то особым демонстративным жестом, вызовом общественному мнению (о существовании которого верховники тогда и не подозревали), но лишь признаком того, что верховники и в дальнейшем будут действовать исходя из своих клановых интересов. При этом верховники опирались на вполне традиционное представление о безмерном могуществе, авторитете и безнаказанности своей власти. А между тем члены Верховного тайного совета не обладали магической силой, которая исходила от царской верховной власти и запечатывала уста даже самому отважному подданному. Для дворян верховники были только «сильными», «боярами», к которым рядовое дворянство традиционно испытывало недоверие, памятуя, как при всех правителях они нагло пользовались своей властью, чтобы урвать для себя кусок пожирнее.

Важно, что это не было фронтальное противостояние рядового мелкопоместного дворянства и аристократии (в западноевропейском смысле этого слова) как особого, привилегированного слоя, элиты. Против верховников выступили и многие родовитые, знатные дворяне, также участвовавшие в ночных бдениях в доме знатного вельможи Черкасского и прочих недовольных сановитых. Так уж получилось, что верховники сами не были аристократами и не выражали взглядов аристократии. Такого сословия в России тогда вообще не существовало. Как правильно писал С. М. Соловьев, «новая Россия не наследовала от старой аристократии, она наследовала только несколько знатных фамилий или родов, которые жили особно, без сознания общих интересов и обыкновенно во вражде друг с другом; единства не было ни-

какого, следовательно, не было никакой самостоятельной силы».

Да и откуда же могла взяться аристократия в России того времени? Вся история Московской Руси была сплошным «перебором людишек». Верховная власть последовательно и постоянно уничтожала все корни и корешки старой княжеско-боярской оппозиции, перемешивая родовитых, как в большом котле, с прочими столь же бесправными подданными, отучая их от мысли о каких-либо особых правах и привилегиях. Лишенное своих старинных корней, боярство XVII века так и не оформилось в аристократию европейского типа, оставаясь не «палатой пэров», а лишь высшей категорией служилых людей «по отечеству». Более того, когда Петр уничтожил старую систему служилых чинов, он сознательно отказался определить статус бояр, окольничих и прочих думных людей согласно нормам новой системы службы, которую определяла Табель о рангах 1722 года. Поэтому какое-то время «бояре» и «тайные советники» существовали одновременно, причем в дворянских списках бояре ставились ниже советников. Политика Петра, выраженная принципом «знатность по годности считать», была подчас нацелена на демонстративное унижение боярской верхушки, которая во время правления Софьи и Милославских недостаточно дружно выступила на стороне Петра и клана Нарышкиных. Царь Петр, сладострастно резавший в 1698 году боярам бороды и ставивший их под начало безродных гвардейских майоров, мстил за унижения и страхи детства и юности — ибо многие бояре были для него представителями ненавистной ему «старины». В своей «Гистории о царе Петре Алексеевиче» князь Б. И. Куракин пишет, что первые годы петровского царствования примечательны падением «первых фамилей, а особливо имя князей было смертельно возненавидено и уничтожено, как от Его императорского величества, так и от персон тех правительствующих, которыя кругом его были для того, что все оные господа, как Нарышкины, Стрешневы, Головкин, были домов самого низкого и убогого шляхетства и всегда ему внушали с молодых лет противу великих фамилей. К тому ж и сам Его величество склонным явился, дабы отнять у них повоир (силу. — *Е. А.*) весь и учинить бы себя наибольшим сувреном» (то есть господином).

Все это вместе взятое привело к тому, что сановники не выступили единым строем как осознающая себя и формулирующая свои сословные требования группа даже в самые благоприятные для этого моменты, как, например, сразу же

после смерти Петра Великого. Князья Долгорукие, Голицыны, Трубецкие тогда были не партией аристократии, а лишь «партией» великого князя Петра Алексеевича, сына казненного царевича Алексея. При нем они надеялись оттеснить фаворитов и нахальных безродных выскочек вроде Меншикова или Ягужинского и занять их место у трона. Когда же Петр II вступил на престол, эта «партия» довольно быстро распалась: кланы Голицыных и Долгоруких постоянно враждовали между собой, ибо в основе их представлений о себе лежало не корпоративное сознание аристократии, а родовая спесь, та самая, которая ранее вела их к местничеству, а не к выражению идей «аристократства» и не к мысли оппонирования верховной власти. Да и бесчестье по-прежнему понималось ими не как оскорбление личности конкретного дворянина, а как понижение общественного статуса рода, фамилии.

На большее они не были способны. Поэтому, начиная расширенное заседание Совета ночью 19 января (а на нем решалась судьба престола и будущего России), верховники, как уже сказано выше, пригласили в зал только троих не являвшихся членами Совета — двух Долгоруких и одного Голицына, хлопнув дверью перед носом не менее знатных и высокопоставленных — фельдмаршала боярина князя И. Ю. Трубецкого (Рюриковича), князя А. М. Черкасского и других родовитых вельмож, бывших во дворце в ночь смерти царя. Да и на самом заседании, как уже известно читателю, верховники чуть не перессорились. И хотя компромиссное предложение Д. М. Голицына примирило кланы, ни у кого не было иллюзий насчет их единства. Как писал Феофан Прокопович, «между двумя сими фамилиями наследные зависти, и ненависти, и ссоры, и вражды из давних лет даже до того времени были, что всему русскому народу известно и несумнительно... Слухом же обносится, будто сие дружество и обеих сторон присягою утверждено».

На встречах с дворянством верховникам не помогли никакие фразы об «общем благе», о том, что они ставят превыше всего интересы общества. Их хорошо знали и поэтому им не верили. Упомянутый выше автор анонимной записки под названием «Изъяснение, каковы были некиих лиц умыслы, затейки и действия в призове на престол Ея императорского величества» подробно развивает мотив «гражданской обиды», которая охватила тех, кому не была безразлична судьба Отечества. Он упрекает верховников в обмане, поспешной суетливости, постыдной в таком великом деле, как преобразование государственного устройства. «Если бы

искалося от них добро общее, как они сказуют, — пишет автор, — то нужно было бы такие вопросы не в узком кружке решать, а от всех чинов призвать на совет по малому числу человек», то есть провести совещание «всей земли».

И далее автор выражает те чувства, которые испытывали поколения русских людей всегда, когда власть имущие, действуя от имени народа и прикрываясь фразами о его «общем желании и согласии», на самом деле ни в грош не ставили народ, не доверяли ему, боялись и держали подданных за дураков: «Все ли сии (выборные. — *Е. А.*) не доброхотны и неверны своему отечеству, одни ли они (верховники. — *Е. А.*) и мудры, и верны, и благосовестны? И хотя бы и прямо искали они общей государству пользы (что весьма возможно есть), то, однако ж, таковым презрением всех, который и честию фамилии, и знатными прислугами не меньше их суть, обесчестили, понеже ни во что всех ставили или в числе дураков и плутов имели».

Как видно из текста, при всем своем неприятии методов и поступков верховников автор «Изъяснения» не считает их врагами Отечества. Это примечательно: дворяне были оскорблены не положениями кондиций, а тем, что они были написаны лишь в интересах двух кланов: Долгоруких и Голицыных. В «Изъяснении» явственно звучит упрек верховникам, погубившим такое, несомненно, перспективное для блага России дело. Автор как бы восклицает: «Ну как же можно этаким манером подобные дела делать?!» — и далее пишет: «Толь важное дело требует многаго и долгаго разсуждения». Частные дела так быстро не делаются, «а как государю царствовать и переменять форму государства, показалось [им] дельце легкое. И невозможно так скоро пива сварить, как скоро они о сем определили».

Зная всю последовательность событий января-февраля 1730 года, можно понять, что верховники не предполагали останавливаться на кондициях. Князь Д. М. Голицын разработал проект будущего государственного устройства страны. Судя по донесениям иностранных дипломатов, план Голицына состоял в закреплении ограничения власти императрицы — Анна располагала бы только карманными деньгами и командовала бы только придворной охраной. Предполагалось также, что императрица будет членом Верховного тайного совета, имея там два или три голоса. Здесь — прямая калька со шведского установления 1720 года, ограничившего власть короля именно таким образом. Сам Совет должен был состоять из 10—12 представителей знатнейших фамилий и обладать законодательной властью. Сенат в расши-

ренном составе выполнял те функции, которые были за ним в 1726—1730 годах, то есть вносил в Совет дела и был высшей судебной инстанцией. Наконец, Голицын считал нужным учредить низшую палату (200 человек) из шляхетства, которая должна была охранять интересы этого сословия. Палата городских представителей стояла на страже интересов горожан.

По мнению большинства исследователей, проект Голицына воспроизводил не государственное устройство Швеции 1720 года (где с этого года и до нашего времени ведущую роль играет парламент при номинальной, представительской власти короля), но более архаичное государственное устройство ранних времен шведской истории, а именно правления королевы Кристины. Тогда, в 1634 году, была сочинена так называемая «форма правления», согласно которой власть принадлежала Совету, состоявшему из фактического правителя страны канцлера Акселя Оксеншерны и пяти его родственников. В 1660 году, с началом правления малолетнего короля Карла XI, «форма правления» 1634 года была усложнена «добавлением». После этого Совет, включавший королеву-мать и четырех регентов-аристократов во главе с канцлером М. Г. Делагарди, целых двенадцать лет управлял страной, пока Карл XI не достиг совершеннолетия и не взял власть в свои руки.

Верховники предполагали объявить о проекте Голицына 6—7 февраля 1730 года. Но уже 5 февраля для рассмотрения в Совете был подан первый коллективный проект, подготовленный кружком князя А. М. Черкасского и написанный В. Н. Татищевым. Василий Никитич Татищев был незаурядным человеком, историком, ученым. В 1725—1726 годах он жил в Швеции, где изучал ее передовое по тем временам рудокопное и металлургическое производство. Как человек пытливый, он не остался равнодушен и к политическому строю этой страны, который как раз незадолго перед этим существенно переменился. В то же время Татищев считался одним из лучших знатоков отечественной истории. Годами он собирал и изучал летописи и хронографы. Неудивительно, что именно этот человек взялся за составление проекта 1730 года о будущем России.

Этот проект кружка Черкасского — Татищева был наиболее основательным и целостным. Несколько раз он обсуждался на собрании дворян, исправлялся, дополнялся и, заверенный 249 подписями, был передан в Совет. Его содержание не могло понравиться верховникам, ибо первое, что требовали дворянские прожектеры, — это уничтожение Вер-

ховного тайного совета и учреждение вместо него «Вышняго правительства» из 21 персоны, включая самих верховников. Один из пунктов проекта предполагал квоту в составе правительства — по одному представителю от каждой «фамилии». Иначе говоря, из шести Долгоруких и Голицыных в новом органе власти должно было остаться лишь двое. Не меньшее опасение верховников вызывала идея создания «Нижнего правительства», в сущности игравшего роль парламента, трехразовые сессии которого назывались «Вышним собранием». Вместе с Сенатом, имевшим чисто декоративное значение, Собрание избирало администрацию — президентов коллегий, губернаторов и т. д. Голосование по всем вопросам предполагалось сделать демократичным: тайным, по альтернативным спискам кандидатов.

Проект предполагал установление контроля за деятельностью органов политического сыска, а также особые льготы дворянству: сокращение срока службы, отмену закона о единонаследии и т. д. Но все-таки основным было предложение о создании выборного дворянского учредительного собрания из ста депутатов. Его надлежало созвать немедленно и сразу же начать сочинение проекта государственного устройства.

Верховники оказались в тяжелом положении. Выдвинуть свой проект из-за его очевидной консервативности они уже не могли. В то же время верховники не могли ни принять проект кружка Черкасского, лишавший их власти, ни отвергнуть его — все-таки проект был подписан большим количеством весьма влиятельных людей. Поэтому верховники избрали иной путь: они объявили, что проекты могут представлять и другие дворянские кружки. Как они надеялись, это должно было расколоть шляхетство, выступившее первоначально довольно единодушно против них. А затем, в образовавшейся неразберихе суждений, мнений, споров, они, верховники, опираясь на свою власть, рассчитывали взять верх.

Но, как оказалось впоследствии, верховники просчитались. Споры о будущем России действительно разгорелись нешуточные. Вестфален пишет, что во дворце, где заседали верховники, непрерывно шли совещания дворян, и «столько было наговорено хорошего и дурного за и против реформы, с таким ожесточением ее критиковали и защищали, что в конце концов смятение достигло чрезвычайных размеров и можно было опасаться восстания». Восстания, конечно, не произошло, но в разноголосице мнений и суждений верховники напрасно пытались найти то, ради чего они «развели всю эту демократию». Под дошедшими до нашего времени

двенадцатью проектами в течение нескольких дней подписались более тысячи дворян, и, по мнению изучавшего эти проекты Д. А. Корсакова, «все проекты склоняются к ограничению власти Анны Иоанновны, но не по программе верховников... Главное внимание проектов обращено на организацию центрального правительства: шляхетство желает такой организации, которая представляла бы наиболее гарантий от произвола, как единоличного управления, так и возвышения нескольких фамилий. Этих гарантий шляхетство считает возможным достигнуть при своем непосредственном участии в управлении».

Актуальную для них проблему удержания власти (с наименьшими потерями для себя) верховники думали решить, включив некоторые положения дворянских проектов в присягу подданных, которую должны были все принять после приезда Анны Иоанновны. Так, хотя общественному мнению были сделаны некоторые уступки, верховники не решились на главное — они не предоставили дворянству права участия в законодательных и правительственных органах. Дворяне, согласно букве присяги, имели лишь право совещательного голоса на некоторых этапах правительственной деятельности. Причина неуступчивости Д. М. Голицына и его товарищей была ясна для всех: как писал шведский посланник Дитмер, «члены Совета хотят удержать одни всю власть».

Словом, обсуждение проектов явно зашло в тупик. Верховники теряли инициативу и время, а вместе с ними, как песок сквозь пальцы, утекала их власть. Говоря высокопарно с высоты прожитых Россией лет, верховники упустили исторический шанс реформировать систему власти так, чтобы навсегда покончить с самодержавием, ввести систему сословно-демократического государственного устройства. Когда стало ясно, что установить олигархическую модель господства двух фамилий по сценарию кондиций не удалось, у верховников осталась реальная возможность найти компромисс с дворянскими прожектерами и тем самым не допустить восстановления самодержавия. Почва для такого компромисса была — ведь власть находилась в руках верховников. Но они не сделали ни шагу навстречу дворянству. Олигархизм, чувство фамильного превосходства пересилили даже инстинкт самосохранения. И хотя составленный в 20-х числах января план Д. М. Голицына предусматривал, как мы видели, и создание расширенного Сената, и шляхетскую палату, и палату городских представителей, но все же надо всем этим возвышался Верховный тайный совет, состоявший из десяти — двенадцати членов нескольких знатней-

ших фамилий. Было абсолютно ясно, что при подобном устройстве все стоящие ниже органы безвластны и ничего не решают.

И лишь в последний момент, под сильным воздействием шляхетских прожектеров, Дмитрий Михайлович решил подготовить присягу на верность Анне, уже сильно ограниченной во власти, составленную от имени Совета, Сената, Синода, генералитета и «всего российского народа». Но эта уступка в сложившейся обстановке была недостаточной, так как позиции «фамильных людей», согласно присяге, все равно остались чрезвычайно сильными: они получали преимущества при назначении и в Совет, и в Сенат, и на другие должности. Кроме того, как замечает Д. А. Корсаков, «старые и знатные фамилии имеют преимущество перед остальным шляхетством и имеют быть снабжены рангами и служебными должностями по их достоинству».

В итоге, не углубляясь в детали, скажем, что события вышли из-под контроля верховников, и Д. М. Голицын «с товарищи» быстро утратили инициативу. Это стало ясно к 15 февраля, когда Анна, в роскошной карете, запряженной восьмеркой лошадей, «зело преславно при великих радостных восклицаниях народа в здешний город свой публичный въезд имела». Анна проехала в Кремль, поклонилась святыням, вышла к стоявшим в строю полкам гвардии, допустила избранных к целованию августейшей руки, насладилась криками «Виват!», пушечным и ружейным салютами. Кремлевский дворец находился в «преизрядном убранстве». Анна вела себя вполне независимо, хотя впереди торжественного кортежа верхами ехали ее церберы — князь В. Л. Долгорукий и М. М. Голицын...

Гвардейцы, наоравшие самодержавие

Предшествующие этому события развивались следующим образом. 5 февраля 1730 года на улицах и площадях Москвы был прочитан манифест о том, что «общим желанием и согласием всего российского народа на российский престол избрана по крови царского колена тетка Его императорского величества (Петра II. — *Е. А.*) государыня царевна Анна Иоанновна, дщерь великого государя царя Иоанна Алексеевича. Чего ради к Ея императорскому величеству, чтоб изволила российский престол принять, отправлены с прошением» и далее перечислены известные нам члены депутации. В манифесте сказано, что государыня соизволила на прошение согласиться «и ныне обретается в пути».

10 февраля Анна прибыла в подмосковное село Всесвятское и остановилась там перед церемонией торжественного вступления в столицу. Василий Лукич Долгорукий, выполняя задание сотоварищей по Совету, вез императрицу как пленницу, даже сидел всю дорогу у нее в санях и по прибытии во Всесвятское не давал ей возможности остаться наедине со своими подданными. По-видимому, верховники предполагали «выпустить» Анну прямо в Успенском соборе на царском месте, чтобы тотчас короновать ее по сценарию Совета. Но начавшееся в Москве дворянское движение разрушило складный замысел верховников.

Оказавшись на пороге своего дома, императрица встретилась с сестрами Екатериной и Прасковьей, чтобы, естественно, «о щастливом прибытии поздравительные комплименты принять». Долгорукий при всем своем желании воспрепятствовать этому не мог, как и сердечным родственным разговорам один на один. От сестер Анна узнала о делах в Москве и... воодушевилась — она почувствовала, что может достичь большего. Анна начала искать опору, которая позволила бы вырваться из-под власти верховников и перехватить инициативу. Через сестер, а особенно через родственников по матери Салтыковых, Анна сумела наладить переписку со своими дворянскими «партизанами» в Москве и вскоре убедилась, что их много, что ее ждут и на нее надеются.

Анне благоприятствовало множество обстоятельств. Во-первых, как уже сказано, верховники вызывали в дворянском обществе ненависть и страх. Рядовые дворяне видели, что верховники не идут им навстречу, не делают существенных уступок и к тому же угрожают расправой с несогласными. Все это создавало нервозную обстановку, вызывало тоску по твердой руке. Самодержавие доброго царя, милостивого к своим верноподданным, — вот о чем в своем большинстве, несмотря на писание демократических проектов, мечтали дворяне.

А то, что верховники вызывали опасения, не подлежало сомнению. Поначалу, узнав о тайных шляхетских собраниях, они стали угрожать непослушным репрессиями и даже продемонстрировали свои решительные намерения, арестовав 3 февраля П. И. Ягужинского. Как писал Феофан Прокопович, некоторые, получив повестку о явке на собрание 2 февраля, впали в большую задумчивость, полагая, что это дело нечисто и верховники хотят всех, «противящихся себе, вдруг придавить». Анна же казалась совсем не страшной, наоборот, к ней — пленнице верховников — просыпалось сочувствие.

Во-вторых, многие всерьез сомневались, что дворянская демократия принесет пользу Российскому государству. Тогда, как и в наши дни, звучали сомнения в том, нужны ли вообще русскому человеку свободы. Часто цитируют письмо, приписываемое тогдашнему казанскому губернатору Артемию Петровичу Волынскому, в котором тот писал, что опасается, как бы при существовавшей в России системе отношений «не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий, и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежняго идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно», ибо «главные» будут ссориться, а чубы будут трещать, как всегда, у «холопов» — дворян.

Высказывания Волынского отражают тогдашний менталитет дворянства, для которого пресмыкание перед сильными, «искание милостей» было нормой, не унижающей дворянина, а наоборот — облегчающей ему жизнь. Но Волынский — сам бывалый искатель милостей у «главнейших» — был циником и не щадил свое сословие, которому, по его мнению, именно исконное холопство не позволит создать справедливый политический строй. Он полагал, что новые институты власти сразу же будут искажены, «понеже народ наш наполнен трусостию и похлебством, и для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради». Так же будет, по мнению Волынского, и на выборах. «И так хотя бы и вольные всего общества голосы требованы в правлении дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно, а кто будет правду говорить, те пропадать станут». Неизбежной представлялась ему и бесчестная партийная борьба, в которой «главные для своих интересов будут прибирать к себе из мелочи больше партизанов, и в чьей партии будет больше голосов, тот что захочет, то и станет делать, и кого захотят, того выводить и производить станут, а безсильный, хотя б и достойный был, всегда назади оставаться будет».

Волынского страшила перспектива возможной войны с соседями: определить на каждого «для общей пользы некоторую тягость» в условиях дворянской демократии будет трудно, и в итоге сильнейшие окажутся в выигрыше, а «мы, средние, одни будем оставатца в платежах и во всех тягостях». Тревожила Волынского и одна из возможных льгот — свобода от службы. Это, считал он, неизбежно приведет к упадку армии, ибо «страха над ними (офицерами. — *Е. А.*) такова, какой был, чаю, не будет», а без страха служить ни-

кто не станет, и «ежели и вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и нетрудолюбив, и для того, если некотораго принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своем доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме». В итоге все места в армии займут «одни холопи и крестьяне наши... и весь воинский порядок у себя, конечно, потеряем».

Одним словом, «неверием в творческие силы» своего сословия проникнуто письмо Волынского. Однако надо признать, что в этой злой сатире много правдивых черт, и мнение, что мы, россияне, «не доросли» до более справедливого порядка, до демократии, как видим, появилось не вчера. На фоне таких настроений и чувствований резко выдвинулась самодержавная партия, которая существовала и раньше в неоформленном виде, внутри движения реформаторов, и сливалась с ним в требовании ликвидации Верховного тайного совета. Когда же усилия прожектеров наткнулись на противодействие верховников, когда в обществе наметился раскол и разгорелись распри, эта «реставрационная группировка» выдвинулась на первое место, имея перед собой и ясную идейную цель — восстановление самодержавия, и конкретного, бесспорного кандидата на престол, самодержицу — Анну Иоанновну. Многие люди примкнули к ней, так как боялись «аристократической олигархии более, чем деспотической монархии» (из донесения саксонского посланника Лефорта). 23 февраля сторонники самодержавия, собравшись в доме у князя И. Ф. Барятинского, составили челобитную к Анне, требуя ликвидации Совета, уничтожения кондиций, восстановления самодержавия и власти Сената, как это было при Петре I и до образования Совета в 1726 году. Кружок Черкасского не разделял этих взглядов и восстанавливать самодержавие не собирался, но предложение обратиться к Анне поддержал. Это позволяло выйти из замкнутого круга бесплодных споров с верховниками и найти более конструктивный компромисс в соглашении с императрицей.

Между тем, вернувшись 15 февраля домой, в родимый Кремль, Анна почувствовала себя намного увереннее. За первые десять дней пребывания в Москве она сумела окончательно убедиться в том, что на ее стороне значительные силы, а самое главное — гвардия. Есть основания думать, что основным пропагандистом среди гвардейцев стал ее родственник Семен Салтыков, майор гвардии. Но вот что в это

время делали верховники, остается непонятным. Они явно теряли инициативу.

25 февраля 1730 года начался последний акт исторической драмы. В этот день группа дворян во главе с А. М. Черкасским явилась в Кремль и в аудиенц-зале вручила Анне коллективную челобитную, подписанную 87 дворянами, которую прочитал В. Н. Татищев. Суть челобитной состояла в том, что дворянство, «всенижайше рабски благодарствуя» Анне за подписание кондиций, одновременно выражало беспокойство, так как «в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такия, что большая часть народа состоит в страхе предбудущаго беспокойства». Иначе говоря, кондиции-де хороши, да только все опасаются преимуществ, которые получат верховники, узурпировавшие власть посредством этих кондиций. Челобитчики жаловались, что верховники отказываются рассмотреть мнение о том, как «безопасную правления государственнаго форму учредить», и просили Анну дать распоряжение созвать некий учредительный орган — совет из высших чинов государства, чтобы «все обстоятельства исследовать, согласным мнением по большим голосам форму правления государственнаго сочинить и Вашему величеству ко утверждению представить».

Челобитная с таким содержанием понравиться императрице не могла. Не понравилась она и верховникам, которых тем самым лишали права законодательствовать и даже быть высшим арбитром при обсуждении реформ. Произошла словесная перепалка между Черкасским и В. Л. Долгоруким, который предложил Анне обсудить шляхетскую челобитную в узком кругу. Но тут, по свидетельству большинства иностранных наблюдателей, внезапно появилась старшая сестра Анны, Екатерина Иоанновна, с чернильницей и пером и потребовала у Анны немедленно наложить резолюцию на челобитную и разрешить подачу ей мнений об устройстве государства. Анна начертала: «Учинить по сему» — и это был конец всем усилиям верховников, пытавшимся притушить дворянское своеволие.

Довольные дворяне удалились на совещание в отдельный зал, верховников же Анна пригласила обедать. И далее произошло событие, которое решило судьбу и Анны, и России, и самодержавия. Пока Анна обедала с верховниками и тем самым не давала им возможности обсудить новую ситуацию наедине, без свидетелей, или что-то предпринять для спасения своего положения, шляхетство совещалось в отдельном помещении. Тем временем оставшиеся в аудиенц-зале гвар-

дейцы, которые по приказу Анны охраняли собрание, подняли такой страшный шум, что императрица была вынуждена встать из-за стола и вернуться в аудиенц-залу.

Дадим слово испанскому посланнику де Лириа: «Между тем возмутились офицеры гвардии и другие, находившиеся в большом числе, и в присутствии царицы начали кричать, что они не хотят, чтобы кто-нибудь предписывал законы их государыне, которая должна быть такою же самодержавною, как и ее предшественники. Шум дошел до того, что царица была принуждена пригрозить им, но они все упали к ее ногам и сказали: «Мы, верные подданные Вашего величества, верно служили вашим предшественникам и пожертвуем нашу жизнь на службу Вашему величеству, но не можем терпеть тирании над Вами. Прикажите нам, Ваше величество, и мы повергнем к Вашим ногам головы тиранов!» Тогда царица приказала им, чтобы они повиновались генерал-лейтенанту и подполковнику гвардии Салтыкову, который во главе их и провозгласил царицу самодержавной государынею. Призванное дворянство сделало то же».

Здесь возникают неизбежные параллели с событиями в Зимнем дворце в ночь смерти Петра Великого 28 января 1725 года. Тогда угрозы гвардейцев, которыми умело дирижировали Меншиков и другие сторонники вдовы Петра Екатерины Алексеевны, решили судьбу престола в ее пользу. Теперь же — в 1730 году — управляемая истерика ражих гвардейцев не просто решила все дело в пользу Анны, а имела более серьезные последствия, а именно — привела к восстановлению самодержавия в России. Выступление гвардейцев 25 февраля 1730 года было, в сущности, спланированным дворцовым переворотом. Известно, что, как только Анна приехала во Всесвятское, к ней явились гвардейцы «и бросились на колени с криками и со слезами радости». Анна тотчас объявила себя шефом Преображенского полка. По-видимому, все это оказалось полной неожиданностью для верховников, но воспрепятствовать встрече они не смогли. Зато Анна была воодушевлена таким началом и «призвала в свои покои отряд кавалергардов, объявила себя начальником этого эскадрона и каждому собственноручно поднесла стакан вина». Так писал саксонский посланник Лефорт, человек весьма информированный. Да и логика поведения Анны и гвардии довольно легко угадывается в происшедших событиях.

Оба фельдмаршала — члены Совета М. М. Голицын и В. В. Долгорукий — сидели за обеденным столом в соседней комнате и не посмели выйти и утихомирить своих подчи-

ненных. Подполковник Семен Салтыков, опиравшийся на мнение гвардейцев, оказался сильнее их обоих. И М. М. Голицына, и В. В. Долгорукого, не раз на полях сражений смотревших смерти в глаза, грешно обвинять в трусости — просто они прекрасно понимали, чем им грозит попытка утихомирить мятежного Салтыкова и гвардейцев — жизнь-то одна! Напомню читателю, что говорил на ночном совещании клана Долгоруких фельдмаршал Василий Владимирович о возможных действиях гвардейцев, если он будет поступать вопреки их желаниям и требовать возведения на престол невесты покойного Петра II: «...не токмо будут его, князь Василья, бранить, но и убьют». Впрочем, Лефорт передает слух о том, что князь Василий Васильевич, по-видимому, под давлением родственников, явился к преображенцам и предложил им присягнуть в верности государыне и Верховному тайному совету, однако «они отвечали ему, что переломают ему все кости, если он снова явится к ним с подобным предложением». При этом Лефорт отмечает особую роль в сопротивлении верховникам подполковника Салтыкова...

О том же, слушая вопли распаленных российских янычар, вероятно, думали дворяне-реформаторы, которые сидели в другом зале и совещались о проекте государственного переустройства. Им становилось явно неуютно. И когда после завершения обеда Анны и верховников они вновь вошли в аудиенц-залу, в руках князя Трубецкого оказалась новая челобитная, которую прочитал князь Антиох Кантемир. Это примечательно, ибо он и ранее был известен как последовательный сторонник самодержавия и даже был послан накануне уговорить кружок Черкасского подписаться под челобитной о восстановлении полновластия Анны. Новая, кремлевская, челобитная была написана не людьми из кружка Черкасского — Татищева, а теми, кто, как и Кантемир, принадлежал к партии сторонников восстановления самодержавия Анны. Авторы благодарят императрицу за подписание предыдущей челобитной. И пишут, что в знак «нашего благодарства всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково Ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к Вашему императорскому величеству от Верховного совета и подписанные Вашего величества рукою пункты уничтожить». Далее следует «нижайшая» просьба восстановить Сенат в том виде, какой он имел при Петре, довести его состав до 21 человека, а также «в члены и впредь на упалыя места в оный правительствующий Сенат, и в губернаторы, и в президенты поведено б было шляхетству выбирать

баллотированием, как то при дяде Вашего величества... Петре Первом установлено было...». В конце челобитной эти благородные сыны Отечества, споривше о судьбе России и ее недеспотическом будущем, смиренно дописали: «Мы, напоследок, Вашего императорского величества всепокорнейшие рабы, надеемся, что в благоразсудном правлении государства, в правосудии и в облегчении податей по природному Вашего величества благоутробию призрены не будем, но во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем. Вашего императорского величества всенижайшие рабы». И далее следовало 166 подписей.

Не будем рассуждать о том, прав или не прав был в конечном счете Артемий Волынский, чьи взгляды на свое сословие, как мы видели, были совершенно беспощадны. Можно лишь представить, что произошло в палате, где собрались дворяне. Как только в соседней аудиенц-зале начали митинговать гвардейцы, мнение большинства дворян склонилось на сторону самодержавия. Иначе говоря, как и в 1725 году, гвардейцы оказали сильное моральное давление на колеблющихся членов дворянского собрания, запугали его. Тогда-то и была поспешно составлена новая челобитная, которая через час под ревнивыми взглядами гвардейцев была весьма благосклонно выслушана Анной.

Императрица приказала подать письмо и кондиции, подписанные ею в Митаве. «И те пункты, — бесстрастно фиксирует один из последних журналов Верховного тайного совета, — Ея Величество при всем народе изволила, приняв, изодрать». Верховники молча смотрели на это — их партия была проиграна. Понадобилось всего 37 дней, чтобы самодержавие в России возродилось. И вот уже в «Санкт-Петербургские ведомости» ушла корреспонденция: «Ея Величество, всемилостивейшая наша государыня императрица изволила вчерашнего дня, то есть 25 дня сего месяца, свое самодержавное правительство к общей радости, при радостных восклицаниях народа, всевысочайше восприять». Далее сообщалось, что город «иллуминирован», что все веселятся. Если бы от описанных выше исторических событий осталась бы только эта газетная заметка в 18-м номере «Ведомостей» от 2 марта 1730 года, то мы так никогда и не поняли бы, что же там все-таки произошло.

...Этот знаменитый исторический документ дошел до наших дней и хранится в архиве. Большого формата, желтый, неровно разорванный сверху донизу лист бумаги. Кто знает, может быть, он дал бы России новую историю, заложив основы конституционной монархии, ограниченной поначалу только советом родовитых вельмож. Но ведь кроме этого совета предполагалось создать еще дворянские выборные органы, пусть тоже несовершенные. Пусть! Впереди (по крайней мере до наших дней) им предстояло прожить два с половиной века парламентской истории. С годами выработались, окрепли бы начала парламентаризма, закрепились традиции несамодержавной жизни. Может быть, это было бы и не так плохо. И уж точно, мы жили бы в другой России... Но не будем фантазировать! Слепое властолюбие одних, раздоры и склоки других, глупость третьих, наглость четвертых не позволили реализоваться этой альтернативе русской истории. Шанс был упущен, отдушина в сплошном льду быстро затягивалась...

А после переворота 25 февраля 1730 года начались присяга, празднества, иллюминация. Но, глядя на всю эту красоту, люди вспоминали, что накануне въезда Анны в столицу, 14 февраля, видели на небе необычайное явление. Это было северное сияние, но какое-то странное, зловещее. С 10 часов вечера над горизонтом стали двигаться, скрещиваться и расходиться какие-то огромные огненно-красные столбы света. Сойдясь в зените, они образовали огненный шар, «который в подобие луны сиял». Как писала газета, «все сие продолжалось до третияго часа пополуночи, а потом все пропало». Люди с ужасом смотрели на небо — уж очень плохое предзнаменование для новой государыни! Но официально все обстояло благополучно — как выразился по поводу явления самой Анны Иоанновны лукавый поп Феофан Прокопович, «Бог неоскудно обвеселил нас»...

Глава 2

ПОРФИРОРОДНАЯ ОСОБА, ИЛИ БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА

Так, неожиданно для всех, в феврале 1730 года Анна Иоанновна стала российской императрицей и, конечно же, тотчас попала в фокус всеобщего внимания. В момент борьбы за власть никто не интересовался ею как личностью — ни боровшиеся за нее сторонники самодержавия, ни противники самодержавного всевластия. Те, кто был при дворе, конечно, знали Анну и ее сестер, но относились к ним весьма пренебрежительно. Княжна Прасковья Юсупова, сосланная впоследствии Анной Иоанновной в монастырь, говорила с презрением, что при Петре I «государыню (то есть Анну. — *Е. А.*) и других царевен царевнами не называли, а называли только Ивановнами». Анна была малоизвестна и в дипломатических кругах. Сообщая в Мадрид о замыслах верховников, испанский посланник де Лириа, путая сестер, писал, что на престол будет посажена «герцогиня Курляндская Прасковья». Да и откуда испанскому дипломату было знать, которая из дочерей забытого всеми царя Ивана Алексеевича была курляндской герцогиней, — все они пребывали на задворках власти, вне поля всеобщего внимания. И вот «Ивановна» оказалась самодержицей, власть которой не уступала власти Петра Великого.

В 1730 году появилась карикатура на новую императрицу работы некоего монаха Епафродита, который изображал Анну в виде урода с огромной, заклеенной пластырями головой, крошечными ручками и ножками и указующим в пространство пальцем. Подпись под карикатурой гласила: «Одним перстом правит». На допросе карикатурист дал пояснения: «А имянно в надписи объявлено, что вся в кластырех, и то значило, что самодержавию ее не все рады», то есть ее перед вступлением на престол здорово побили. Такой же карикатурно страшной увидела новую императрицу юная графиня Наталия Шереметева, невеста князя Ивана Долгорукого. Сразу же после свадьбы ее вместе с мужем — бывшим фаворитом Петра II сослали по воле Анны в Сибирь. Даже тридцать лет спустя графиня помнила то отталкивающее впечатление, которое оставила в ее душе Анна Иоанновна, хотя их встреча была весьма короткой: «...престрашнова была взору, отвратное лицо имела, так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста».

Другой мемуарист, граф Э. Миних-сын, писал об Анне значительно мягче: «Станом она была велика и взрачна. Недостаток в красоте награждаем был благородным и величественным лицерасположением. Она имела большие карие и острые глаза, нос немного продолговатый, приятные уста и хорошие зубы. Волосы на голове были темные, лицо рябоватое и голос сильный и пронзительный. Сложением тела она была крепка и могла сносить многие удручения». И на голштинского придворного Берхгольца курляндская герцогиня произвела в 1724 году весьма благоприятное впечатление: «Герцогиня — женщина живая и приятная, хорошо сложена, недурна собою и держит себя так, что чувствуешь к ней почтение». А вот мнение упомянутого выше герцога де Лириа: «Императрица Анна толста, смугловата, и лицо у нее более мужское, нежели женское. В обхождении она приятна, ласкова и чрезвычайно внимательна. Щедра до расточительности, любит пышность чрезмерно, отчего ее двор великолепием превосходит все прочие европейские (неужто даже Эскориал или Версаль? — *Е. А.*). Она строго требует повиновения к себе и желает знать все, что делается в ее государстве, не забывает услуг, ей оказанных, но вместе с тем хорошо помнит и нанесенные ей оскорбления. Говорят, что у нее нежное сердце, и я этому верю, хотя она и скрывает тщательно свои поступки. Вообще могу сказать, что она совершенная государыня, достойная долголетнего царствования». Впрочем, не будем придавать большого значения столь лестным характеристикам новой государыни. Испанского дипломата можно легко понять — он-то знал, что письма иностранных посланников перлюстрируются, а заработать столь невинным способом капиталец при дворе новой государыни для настоящего политика всегда очень важно — ведь его «секретное» послание может быть воспринято высокопоставленными русскими перлюстраторами за чистую монету.

Другие авторы, хорошо осведомленные о неприглядных делах Анны, идут по проторенной тропе тех мемуаристов,

которые уверены (или делают вид, что уверены), будто правитель сам по себе очень добр, но только — вот беда — излишне доверчив, чем и пользуются его корыстные и низкие любимцы, на которых он так опрометчиво положился. У генерала К. Г. Манштейна читаем: «Императрица Анна была от природы добра и сострадательна и не любила прибегать к строгости. Но как у нее любимцем был человек чрезвычайно суровой и жестокий (речь идет о Бироне. — *Е. А.*), имевший всю власть в своих руках, то в царствование ее тьма людей впали в несчастье. Многие из них, и даже люди высшего сословия, были сосланы в Сибирь без ведома императрицы». Запомним это утверждение — мы к нему еще вернемся. Манштейну вторит сын фельдмаршала Миниха, граф Эрнст Миних: «Сердце [ее] наполнено было великодушием, щедротою, соболезнованием, но воля ее почти всегда зависела больше от других, нежели от нее самой» (имеется в виду, конечно, Бирон). Не отступает от распространенного мнения и жена английского посланника леди Рондо, часто видевшая Анну на официальных приемах и куртагах: полнота, смуглое лицо, царственность и легкость в движениях. И далее: «Когда она говорит, на губах появляется невыразимо милая улыбка. Она много разговаривает со всеми, и обращение ее так приветливо, что кажется, будто говоришь с равным; в то же время она ни на минуту не утрачивает достоинства государыни. Она, по-видимому, очень человеколюбива, и будь она частным лицом, то, я думаю, ее бы называли очень приятной женщиной».

Нет, не повезло нам с проницательными наблюдателями! Читатель уже понял, что автор не особенно жалует императрицу, и дело тут не в личных симпатиях или антипатиях: как ни абстрагируешься от стереотипов и негативных оценок нашей героини, сколько ни пытаешься взглянуть на нее с новой точки зрения, ничто не помогает. Сильнее субъективного стремления к переоценке традиций действует сам исторический материал, мощнейшая инерция подлинных документов. И все же попытаемся повнимательнее присмотреться к этой женщине, прожившей не очень длинную (всего лишь 47 лет!) жизнь, чтобы понять, как сформировались ее характер, нрав, привычки и привязанности.

Анна Иоанновна, родившаяся 28 января 1693 года, была одной из последних московских царевен (точнее сказать — предпоследней, так как последней царевной можно считать ее младшую сестру Прасковью, которая родилась 24 сентября 1694 года). Как и другие царские дети, Анна появилась на свет в Крестовой палате Московского Кремля, которая ко

времени родов царицы по традиции убиралась с особым великолепием. В обычное время Крестовая использовалась как молельня, но на время родов туда переносили царскую кровать с «постелей лебяжьей, взголовье лебяжье ж, на него пуховик — пух чижевою, подушка атлас, червчат». В ногах роженицы лежали одеяло пуховое «по белой земле травки золотые». Царские роды в те времена в России проводили в бане, на особого рода стуле (отсюда запись в дворцовых разрядах: «И того дни... великая государыня изволила сесть на место»). Родившегося и обмытого повивальными бабками ребенка показывали вначале священнику, входившему в праздничных ризах. Тот прочитывал молитву и давал ребенку имя. Совершенно очевиден магический, «оберегальный» смысл этой церемонии: раньше родного отца новорожденного видел его духовный отец, который сразу же молитвой защищал ребенка от злых сил, «определял» новорожденному имя его высочайшего небесного покровителя. А уж потом младенца показывали отцу-государю и выносили в Крестовую палату. Первое, что мог увидеть там, хотя и не осознав, появившийся на свет ребенок — это дивный свет красок, цветное буйство настенных росписей, блеск золота и серебра иконных окладов, красота «ковра золотого кызылбашского» (то есть персидского), разноцветие уборов боярынь и мамок. Царской постели не уступали в красочности и стены дворцовых комнат. Они были затянуты сверху донизу цветными сукнами зеленого, голубого и различных оттенков красного цвета (багрец, червленые, червчатые), причем цвета эти могли чередоваться на стене в шахматном порядке. Праздничные «родинные столы» устраивались в построенной итальянскими мастерами роскошной Грановитой палате, которая сама по себе необыкновенно красива. При этом нередко стены и потолок царицыных покоев обивали атласом, златотканными обоями и редкостной красоты тисненой золоченой кожей с изображениями фантастических птиц, животных, трав, деревьев. Из описания дворца мы точно знаем, что именно такими кожами были обиты в 1694 году стены комнаты царевны Анны Иоанновны.

Я намеренно подчеркиваю, что Анна была одной из последних московских царевен. Но девочку ждала иная судьба, чем ее предшественниц — царских дочерей XVII века, мир которых десятилетиями был неизменен и ограничен суровыми законами предков. Анне было суждено родиться не только на рубеже веков, но и в переломный момент российской истории, когда изменялись, переворачивались и переламывались судьбы людей и всей огромной страны. За свои

47 лет Анна прожила как бы три различные жизни. Первые пятнадцать лет — тихое, светлое детство и отрочество, вполне традиционные для московской царевны. В семнадцать лет по решению грозного дядюшки-государя Петра Великого она стала курляндскою герцогинею, и почти два десятилетия ей суждено было прожить в чужой, непонятной для нее стране. И наконец, волею случая и чужого политического расчета ставшая в январе 1730 года императрицей, она последние десять лет своей жизни просидела на престоле одной из могущественнейших империй мира. Это были очень разные жизни, потому что каждый раз Анна оказывалась в ином культурном окружении, ей приходилось заново приспосабливаться к новому укладу. Это наложило свой отпечаток на ее личность, нрав, поведение, сформировало причудливый, непростой характер.

...«Санкт-Петербургские ведомости» — единственная газета, выходившая в России в 1730 году, — писала через четыре месяца после вступления Анны на трон: «Из Москвы от 22 июня 1730. Наша государыня-императрица еще непрестанно в Измайлове при всяком совершенном пожелаемом благополучии при нынешнем летнем времени пребывает». Там же, как сообщает газета, Анна присутствовала при полевых «упражнениях» гвардии, принимала знатных гостей. То, что в официальных сообщениях замелькало название Измайлова, не случайно — старый загородный дворец царя Алексея Михайловича был отчим домом Анны, куда она после двух десятилетий бесприютности, тревог и нужды вернулась в 1730 году полновластной царицей, самодержицей всея России.

Измайлово для Анны было тем же, что Преображенское для Петра — любимым уголком детства. Сходство бросается в глаза, если вспомнить, что именно в Измайлове Анна в 1730 году организовала новый гвардейский полк — Измайловский, ставший в один строй с полками старой петровской гвардии — Преображенским и Семеновским, названными в честь «малой родины» Петра Великого. С Измайловым у Анны были связаны самые ранние и, вероятно, — как это часто бывает в жизни — самые лучшие воспоминания безмятежного детства. Сюда после смерти царя Ивана в 1696 году переселилась вдовствующая царица Прасковья с тремя дочерьми: пятилетней Катериной, трехлетней Анной и двухлетней Прасковьей. История как бы повторялась снова — точно так же в 1682 году в подмосковное село Преображенское перебралась вдова царя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, с десятилетним Петром и девятилетней Натальей. Но если тогда будущее обитателей Преображенского дворца было тревожно и туманно, то для хозяев Измайловского дворца политический горизонт был чист и ясен: к семье старшего брата Петр относился вполне дружелюбно и спокойно. Дорога его реформ прошла в стороне от пригородного дворца царицы Прасковьи, до которого лишь доходили слухи о грандиозном перевороте в жизни России. Измайловский двор оставался островком старины в новой России: две с половиной сотни стольников, штат «царицыной» и «царевниных» комнат. Десятки слуг, мамок, нянек, приживалок были готовы исполнить любое желание Прасковьи и ее дочерей.

Измайлово было райским, тихим уголком, где как бы остановилось время. Теперь, идя по пустырю, где некогда стоял деревянный, точнее, «брусяной с теремами» дворец, который напомнил бы современному человеку декорации Натальи Гончаровой к опере «Золотой петушок» Римского-Корсакова, с трудом можно представить себе, как текла здесь в конце XVII — начале XVIII века жизнь. Вокруг дворца, опоясывая его неровным, но сплошным кольцом, тянулись почти двадцать прудов: Просяной, Лебедевский, Серебрянский, Пиявочный и другие. По их берегам цвели фруктовые сады — вишневые, грушевые, яблочные. По мнению историков Москвы, в Измайлове со времен царя Алексея Михайловича было устроено опытное дворцовое хозяйство. На полях вокруг Измайлова выращивали злаки, в том числе и из семян, привезенных из-за границы. Тут были оранжереи с тропическими растениями, цветники с заморскими «тулпанами», большой птичник и зверинец. Алексей Михайлович развел в Измайлове тутовый сад и виноградник, который даже плодоносил. Во дворце был маленький театр, и там впервые ставили пьесы, играл оркестр и, как пишет иностранный путешественник И. Корб, побывавший в Измайлове в самом конце XVII века, нежные мелодии флейт и труб «соединялись с тихим шелестом ветра, который медленно стекал с вершин деревьев». При небольшом усилии фантазии легко представить себе трех юных царевен, одетых в яркие платья, медленно плывущих на украшенном резьбой, увитом зеленью и цветными тканями ботике (вспомним, что свой знаменитый ботик — «дедушку русского флота» — Петр I нашел именно здесь, в одном из амбаров Измайлова, где он, вероятно, служил царю Алексею Михайловичу для прогулок по измайловским прудам) и кормящих плескающихся в водах рыб. Историк М. И. Семевский утверждал, что в Измайловских прудах водились щуки

и стерляди с золотыми кольцами в жабрах, надетыми еще при Иване Грозном, и что эти рыбы привыкли выходить на кормежку по звуку серебряного колокольчика.

Есть старинное русское слово — прохлада. По Владимиру Далю, это «умеренная или приятная теплота, когда ни жарко, ни холодно, летной холодок, тень и ветерок». Но есть и обобщенное, исторически сложившееся понятие «прохлады» как привольной, безоблачной жизни — в тишине, добре и покое. Именно в такой «прохладе» и жила долгое время, пока не выросли девочки, семья Прасковьи Федоровны. Нельзя, конечно, сказать, что Измайлово было полностью изолировано от бурной жизни тогдашней России — новое приходило и сюда. С ранних лет царевнам, помимо традиционных предметов — азбуки, арифметики, географии — преподавали немецкий и французский языки, танцы, причем учителем немецкого был Иоганн Христиан Дитрих Остерман — старший брат будущего вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана, а танцы и французский преподавал француз Стефан Рамбург. Учитель гимназии Глюка, он был «танцевальным мастером телесного благолепия и комплиментов чином немецким и французским». В 1723 году Рамбург жаловался, что он с царевнами занимался пять лет, их «со всякой прилежностью танцевать учил», но ему так и не заплатили жалованье. Думаю, что Прасковья Федоровна поступила справедливо — языка Мольера и Расина Анна так и не выучила, неважно обстояли дела и с танцами — неуклюжей и немузыкальной царевне танцевальные фигуры и «поступи немецких учтивств» так и не дались.

В неустойчивом мире Петровской эпохи царица Прасковья Федоровна сумела найти свое место, ту «нишу», в которой ей удавалось жить, не конфликтуя с новыми порядками, но и не следуя им буквально, как того требовал от других своих подданных Петр. Причина заключалась не только в почетном статусе вдовой царицы, но и в той осторожности, политическом такте, которые всегда проявляла Прасковья. Она демонстративно держалась вдали от политических распрей той эпохи. Ее имя не упоминалось ни в деле царевны Софьи и стрельцов в 1698 году, ни в деле царевича Алексея и Евдокии в 1718 году. Это показательно, ибо Петр, проводя политический розыск, не щадил никого, в том числе и членов царской семьи. Прасковья оставалась в стороне от всей этой борьбы и тем спаслась. Может быть, отстраненность вдовствующей царицы объясняется ее особой приземленностью, тем, что она была не очень знатного рода (Салтыковых) и не была связана родством с Милославскими.

Как бы то ни было, ее двор был вторым после Преображенского двора сестры Петра Натальи Алексеевны островком, на который изредка ступала нога царя. Петру было памятно Измайлово. Некоторые историки считают, что именно тут он и родился. Царь не чурался общества своей невестки, хотя и считал ее двор «госпиталем уродов, ханжей и пустосвятов», имея в виду многочисленную придворную челядь царицы.

Блаженная жизнь в Измайлово продолжалась до 1708 года, когда царь «выписал» свою «фамилию», то есть семью, в новую столицу. Петр встречал 20 апреля 1708 года под Шлиссельбургом своего сына, 18-летнего царевича Алексея, и восемь женщин, в число которых входили единокровные сестры Петра I Федосья и Мария (от первой жены царя Алексея Михайловича Марии Милославской), единоутробная сестра Наталья Алексеевна и две снохи — вдовы покойных братьев Петра, царей Федора Алексеевича и Ивана Алексеевича, царица Марфа Матвеевна (урожденная Апраксина, сестра генерал-адмирала) и Прасковья Федоровна. Последняя взяла с собой в дорогу дочерей Екатерину, Анну и Прасковью.

Царь привез «фамилию» в Шлиссельбург. Здесь русские царевны и царицы увидели широкую, серую и неприветливую Неву, которая быстро несла к морю свои воды. Она была так непохожа на светлые, теплые речки Подмосковья... Грозный братец как-то сказал, что приучит свою семью к воде, и решил с этим не тянуть. В Шлиссельбурге, под грохот пушек, он посадил женщин на яхту и поднял парус. Когда показался Петербург, сестры, уже порядком укачавшиеся на волне, ничего, в сущности, и не увидели — город еще жался к земле вокруг низкой крепости и не производил впечатления рая — «парадиза», как ласково называл его царь. Но мнением родни Петр не интересовался, он с гордостью водил сестер и снох по первым петербургским улицам, а потом, вспомнив о своем зароке, направил яхту в открытое море — катал их вокруг Кронштадта.

Впрочем, экскурсии и жизнь в Петербурге продолжались недолго. Пришла срочная депеша — шведы перешли Березину, и война вступила в решающую фазу. Петр поспешил навстречу своей славе полтавского героя. Родственники же уехали в Москву. Но вся история с прибытием сестер, снох и племянниц на берега Невы была важной и символичной. Отныне Романовы считались жителями Петербурга, ибо царской родне полагалось пребывать в новой столице постоянно. К этому и шло после победной для русской армии

Полтавы в 1709 году. В Петербурге для них строили дома. Переселение семейства Прасковьи Федоровны произошло тогда, когда Анне было пятнадцать или шестнадцать лет. Прасковья Федоровна жила в собственном дворце на Московской стороне, ближе к современному Смольному. И хотя эти места были повыше и посуше, нежели болотистая Городская (Петербургская) сторона или Васильевский остров, привыкнуть к новому, «регулярному», построенному по строгим архитектурным канонам дворцу московским царевнам было трудно. Туманы, сырость и слякоть, пронизывающий ветер новой столицы — все это так отличалось от родного Измайлова. С этого времени для Анны кончилось безмятежное детство московской царевны и началась юность.

Переезд в Петербург для Прасковьи Федоровны совпал с тем тревожным для каждой матери временем, когда решается женская судьба подросших дочерей. В старину царица не испытывала бы никакого беспокойства на этот счет — московские царевны жили в Кремлевском дворце, летом выезжали в загородные дворцы, а с годами тихо перебирались в уютную келейку расположенного неподалеку, в Кремле же, Вознесенского монастыря. Под полом Вознесенского собора находили они и свое последнее пристанище. Замуж их не выдавали — против этого была традиция: «А государства своего за князей и за бояр замуж выдавати их не повелось, потому что князи и бояре их есть холопи и в челобитье своем пишутся холопьми. И то поставлено в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу. А иных государств за королевичей и за князей давати не повелось для того, что не одной веры и веры своей оставить не хотят, то ставят своей вере в поругание». Так писал о московских царевнах Григорий Котошихин, автор сочинения о России времен царствования Алексея Михайловича.

Однако в новой российской столице дули новые, свежие балтийские ветры. Волнение старой царицы объяснялось просто — Петр задумал серией браков связать династию Романовых с правящими в Европе родами. Первым кандидатом стал сын царя Алексей, переговоры о женитьбе которого на Вольфенбюттельской кронпринцессе Шарлотте Софии уже вовсю шли в 1709 году и закончились в 1711 году свадьбой Алексея и Шарлотты в Торгау. Подумывал Петр о будущем и любимых дочерей — Анны и Елизаветы. Их с малых лет воспитывали так, чтобы подготовить к браку с европейским монархом или принцем. После поездки в Париж царь возмечтал в будущем выдать семилетнюю Елизавету Петровну за ее ровесника — французского короля Людовика XV. Намеревался Петр выгодно пристроить и племянниц — дочерей покойного брата Ивана, только следовало тщательно подобрать им хорошие заморские партии. Критерий при этом был один — польза государству Российскому! В 1709 году такой жених появился — молодой курляндский герцог, племянник прусского короля, Фридрих Вильгельм. Почему именно он достался, как вскоре выяснилось, в мужья нашей героине? Дело в том, что Петр активно пожинал созревшие под солнцем победной Полтавы дипломатические и военные плоды. В 1710 году русской армии сдались Ревель и Рига, а с ними в руках царя оказались обширные прибалтийские территории Эстляндии и Лифляндии, которые Петр — о чем сразу же было заявлено — не собирался никому уступать. После взятия Риги — столицы шведских заморских территорий в Восточной Прибалтике русские владения вплотную подошли к Курляндии — ленному, вассальному владению Речи Посполитой, стратегически важному герцогству. По его земле уже прошлась русская армия, изгнавшая из столицы герцогства Митавы и других городов шведские войска, оккупировавшие герцогство в начале Северной войны. Забегая вперед, скажу, что Петр так и не смог «проглотить» Курляндию — эту задачу он оставил потомкам — а именно Екатерине II, включившей в 1795 году в состав России вассальное герцогство Речи Посполитой по Третьему разделу Польши уже вместе с ее сюзереном — Польшей.

Положение Курляндии в петровское время было незавидным. Ее теснили со всех сторон. Во-первых, территорию герцогства неоднократно пытались присоединить (инкорпорировать) как обыкновенное старостатство поляки Речи Посполитой. Во-вторых, другой сосед курляндцев — прусский король Фридрих Вильгельм I, давний собиратель германских земель, тоже выжидал момент, чтобы захватить Курляндию. О том же долго мечтали господствовавшие в течение всего XVII века в Риге и Лифляндии (Видзема, Латгалия и Южная Эстония) шведы. Когда вместо шведских гарнизонов в Лифляндию пришла еще более могущественная русская армия, ситуация в Курляндии, естественно, изменилась в пользу России. Однако так просто проблему расширения своей империи за счет Курляндии Петр решить не мог, ибо устойчивость положения герцогства достигалась как раз равновесием тянущих в разные стороны соперников — поляков, пруссаков и русских. Применить же грубую военную силу Петр тоже не мог — это вряд ли понравилось бы балтийским державам, а согласие с Пруссией и Польшей

было чрезвычайно важно для решения главной задачи — победы над Швецией в ходе Северной войны.

Поэтому, стремясь усилить влияние России в Курляндии, Петр предпринял обходной и весьма перспективный в отдаленном будущем маневр: в октябре 1709 года при встрече в Мариенвердере с прусским королем Фридрихом I он сумел, на гребне полтавского успеха, добиться согласия пруссаков на то, чтобы молодой курляндский герцог Фридрих Вильгельм женился на одной из родственниц русского царя. В итоге судьба семнадцатилетнего юноши, который после оккупации герцогства шведами в 1701 году (а потом — саксонцами и русскими) жил в изгнании в Гданьске со своим дядей-опекуном герцогом Фердинандом, была решена без его ведома. Впрочем, иного способа вернуть себе когда-то потерянное в огне Северной войны владение молодому Фридриху Вильгельму и не представлялось. Поэтому-то в 1710 году он и оказался в Петербурге. Герцог не произвел благоприятного впечатления на формирующийся петербургский свет: хилый и жалкий юный властитель разоренного войной небольшого владения, он вряд ли казался завидным женихом. Узнав от Петра, что в жены герцогу предназначена одна из ее дочерей, Прасковья Федоровна пожертвовала не старшей и обожаемой ею дочерью Катериной, которую звала в письмах «Катюшка-свет», а второй, нелюбимой, семнадцатилетней Анной. Думаю, что никто в семье, в том числе и невеста, не испытывал радости от невиданного со времен Киевской Руси династического эксперимента — выдания замуж в чужую, да еще «захудалую» землю царской дочери.

До нас дошел весьма выразительный документ — составленное, вероятно, в Посольской канцелярии в 1709 году письмо Анны Иоанновны к своему далекому и незнакомому жениху: «Из любезнейшего письма Вашего высочества, отправленного 11-го июля, я с особенным удовольствием узнала об имеющемся быть, по воле Всевышняго и их царских величеств моих милостивейших родственников, браке нашем. При сем не могу не удостоверить Ваше высочество, что ничто не может быть для меня приятнее, как услышать Ваше объяснение в любви ко мне. Со своей стороны уверяю Ваше высочество совершенно в тех же чувствах: что при первом сердечно желаемом, с Божией помощью, счастливом личном свидании представляю себе повторить лично, оставаясь, между тем, светлейший герцог, Вашего высочества покорнейшею услужницею». В этом послании, полном галантности и вежливости, совсем нет искренних чувств. Да и

откуда им взяться? Как не вспомнить «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина: «Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? «По страсти, — отвечала старуха, — я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь». Таковые страсти обыкновенны. Неволя браков давнее зло». «По страсти» в XVIII веке выходили замуж и русские царевны, только старостою у них был сам царь-государь. У знающих Анну нет сомнений в том, что она не сама писала это письмо. Интересно другое — читала ли она его вообще? Как бы то ни было, свадьба намечалась на осень 1710 года.

Любопытно, что много лет спустя, в 1740 году по доносу одного усердного «патриота» копииста Колодошина была схвачена и доставлена в Тайную канцелярию посадская баба из Шлиссельбурга Авдотья Львова, которая очень некстати, при посторонних людях, запела давнюю песню о царевне Анне Иоанновне. В компании зашел разговор о правящей императрице, и вспомнили, что она была курляндской герцогиней. Тут Авдотья и сказала: «Как изволила [государыня] замуж итить, то и песня была складена тако». И далее Авдотья запела:

Не давай меня, дядюшка, царь-государь Петр Алексеевич, в чужую землю нехристианскую, бусурманскую,
Выдавай меня, царь-государь, за своего генерала, князь-боярина.

«И потом, — продолжает доносчик, — спустя с полчаса или менее, оная жинка Авдотья говорила, что был слух, что у государыни сын был и сюда не отпущал, а кого сюда не отпущал, того оная жинка именно не говорила». На допросе перед страшным начальником политического сыска генералом Андреем Ивановичем Ушаковым несчастная баба лепетала, что все это «говорила с самой простоты своей, а не ис какова умыслу, но слыша тому лет с тритцать (то есть примерно как раз в 1710 году. — *Е. А.*) в робячестве своем, будучи в Старой Русе, говаривали и певали об оном малые робята мужеска и женска полу, а кто имянно, того она, Авдотья, сказать не упомнит». Ушаков дал приказ начать пытку, и Авдотью подняли на дыбу. Она по-прежнему стояла на своем первоначальном показании и говорила, что «таких непристойных слов от других от кого, она, Авдотья, не слыхала».

Подследственную пытали еще дважды, но ничего нового выведать у нее не смогли и наконец 9 сентября 1740 года было приказано Авдотью Львову «бить кнутом нещадно и свободить, а при свободе сказать, что Ея императорского величества указ под страхом смертной казни, чтоб таковых не-

пристойных слов отнюдь нигде никому, никогда она не произносила и не под каким видом отнюдь же бы не упоминала». Несчастной бабе выдали паспорт до Шлиссельбурга, и она навсегда исчезла из нашего поля зрения. Вполне допускаю, что стареющая императрица, которая регулярно слушала доклады Ушакова практически о всех делах его ведомства, ознакомившись с делом, могла дрогнуть и указала отпустить певунью, напомнившую песней старую историю ее несчастного замужества. Замечательна не только точность, с которой Авдотья указала время появления песни, но и то, как чутко общество, народ откликались на драмы, происходившие в царской семье. Эта песня о несчастной 17-летней девушке, царевне Анне, которую насильно, не по любви, выдают за «бусурманина», нерусского человека, встает в один ряд с подобными песнями о несчастной судьбе женщин царского рода. Тут и песня о насильно заточенной в монастырь царице Евдокии Федоровне («Постригись, моя немилая, постригись, моя постылая...»), тут и песня о том, «Кто слышал слезы царицы Марфы Матвеевны», — о 15-летней царице, которая была супругой царя Федора Алексеевича всего лишь два месяца, а потом долгих 34 года, до самой смерти, влачила жалкую одинокую участь вдовицы.

Однако вернемся к нашей героине. 31 октября 1710 года только что познакомившиеся молодые, которым исполнилось тогда по семнадцать лет, были торжественно обвенчаны. Венчание и свадьба происходили в Меншиковском дворце. На следующий день там же был устроен царский пир. Его открыл Петр, разрезавший кортиком два гигантских пирога, откуда, к изумлению пирующих, «появились по одной карлице, превосходно разодетых». Так описывал это настольное действо бывший на празднестве ганноверский дипломат Вебер. Карлики на столе протанцевали изящный менуэт. Собственно, свадьбы было две: Фридриха Вильгельма и Анны Иоанновны, а чуть позже — личного карлика Петра I Екима Волкова и его невесты. По сохранившимся гравюрам можно представить, как это происходило: столы герцогской пары и их высокопоставленных гостей стояли в большом зале Меншиковского дворца в виде разомкнутого кольца. Внутри этого стола помещался второй, низенький стол для карликов-молодоженов и их сорока двух собранных со всей страны миниатюрных гостей. Высокоумные иностранные наблюдатели усмотрели в такой организации торжества бракосочетания герцога Курляндского некую пародию, явный намек на ту ничтожную роль, которую играл молодой герцог со своим жалким герцогством в европейской политике. Не думаю, что именно в этом состояла суть затеи Петра, — он всегда был рад позабавиться, и идея параллельной свадьбы шутов могла ему показаться весьма оригинальной и смешной. После свадьбы Петр не дал молодоженам долго прохлаждаться в «парадизе» — спустя немногим более двух месяцев, 8 января 1711 года, герцогская пара отправилась в Курляндию. И тут, на следующий же день, произошло несчастье, существенным образом повлиявшее на всю последующую жизнь и судьбу Анны Иоанновны, — на первом же яме, в Дудергофе, герцог Фридрих Вильгельм умер, как полагают, с перепоя, ибо накануне позволил себе состязаться в пьянстве с самим Петром. Анна, естественно, вернулась назад, в Петербург, к матери. Мы не знаем, что она думала, но можем предположить, что семнадцатилетней вдовой владели противоречивые чувства: с одной стороны, она облегченно вздохнула, так как теперь уже могла не ехать в чужую немецкую землю, но, с другой стороны, даже безотносительно к тем чувствам, которые она испытывала к своему нежданному мужу, она не могла особенно и радоваться: бездетная вдова — положение крайне унизительное и тяжелое для русской женщины того времени. Ей нужно было или вновь искать супруга, или уходить в монастырь. Впрочем, Анна полностью полагалась на волю своего грозного дядюшки, который, исходя из интересов государства, должен был решить ее судьбу.

Петр долго молчал, но в следующем, 1712 году сделал выбор, скорее всего неожиданный для Анны: ей не нашли нового жениха, ее не отправили в монастырь, а попросту приказали следовать в Курляндию той же дорогой, на которой ее застало несчастье 9 января 1711 года. Это решение явно не обрадовало ни Анну, ни курляндское дворянство, получившее 30 июня 1712 года именную грамоту Петра, в которой, со ссылкой на заключенный перед свадьбой контракт, было сказано: подготовить для вдовы герцога Фридриха Вильгельма пристойную резиденцию, а также собрать необходимые для содержания двора герцогини деньги. Вместе с Анной в Митаву отправился русский резидент П. М. Бестужев-Рюмин, которому Анна и должна была во всем подчиняться. Впрочем, Петр и не рассчитывал, что приезд русской герцогини будет с восторгом встречен местным дворянством. В письме Бестужеву-Рюмину в сентябре 1712 года он предлагал ему не стесняться в средствах для поиска необходимых для содержания Анны доходов и, если будет нужно, попросить вооруженной помощи у рижского

коменданта, благо оккупированная в 1710 году русскими Рига была в двух часах езды от Митавы.

Итак, с осени 1712 года потянулась новая, курляндская, жизнь Анны. В чужой стране, одинокая, окруженная недоброжелателями, не знавшая ни языка, ни культуры, она полностью подпала под власть Бестужева, который, по-видимому, через некоторое время стал делить с молодой вдовой ложе. Анна не чувствовала себя ни хозяйкой в своем доме, ни герцогиней в своих владениях. Да и власти у нее не было никакой. Герцогством после смерти Фридриха Вильгельма формально владел его дядя Фердинанд, которого судьба забросила в Гданьск. Оттуда он и пытался управлять делами герцогства. А это было непросто, ибо фактическая власть в герцогстве принадлежала дворянской корпорации. Поддерживаемые Речью Посполитой, вольнолюбивые немецкие дворяне уже давно сделали власть своего герцога формальной, оставив ему лишь управление его собственным доменом да сборы некоторых налогов. А на съезде «братской конференции» в 1715 году дворяне лишили герцога власти за превышение полномочий и под тем предлогом, что он не может править ими из-за границы. Польская комиссия 1717 года в споре дворянства с герцогом встала, естественно, на сторону курляндских дворян, но Фердинанд, опираясь на поддержку России, не желавшей расширения польского влияния в Курляндии, опротестовал в суде решения «братской конференции» 1715 года. Тяжба затянулась на двадцать лет, вплоть до смерти Фердинанда в 1737 году.

Можно лишь посочувствовать Анне. Ее жалкое пребывание в Митаве нужно было одному лишь русскому правительству, которое могло вмешиваться в дела Курляндии. А делалось это под предлогом защиты бедной вдовы — племянницы русского царя. При своем высоком статусе Анна была бедна как церковная мышь. Формально курляндцы выделили ей, по брачному контракту 1710 года, вдовью часть герцогского домена. Но прожить на средства, получаемые с разоренного и разворованного за время долгого отсутствия в стране герцогов домена, было невозможно. В 1722 году Анна писала Петру, что, приехав в Митаву в 1712 году, она нашла герцогский замок разоренным и поначалу была вынуждена поселиться в заброшенном мещанском дворе. Ей пришлось закупать все необходимое для жизни. Другое письмо Анны от 11 сентября 1724 года, посланное в Кабинет Петра I, гласило: «Доимки на мне тысяча четыреста рублев, а ежели будет милость государя батюшки и дядюшки, то б еще шестьсот мне на дорогу пожаловали по своей высокой милости». На челобитной курляндской герцогини стоит резолюция Петра: «Выдать по сему прошению». Но так бывало не всегда — батюшка-дядюшка был, как известно, прижимист и сам ходил в штопанных своей царицей чулках. Все, даже малейшие, расходы двора Анны были возможны только после одобрения Петром. Он сам или через кабинет-секретаря А. В. Макарова определял, сколько и каких вин посылать в Митаву, какие траты на еду, одежду, украшения Анне можно позволить, а какие нет.

Как только представлялась возможность, Анна уезжала в Россию — в Петербург или Москву. Но Петр не давал племяннице особенно долго прохлаждаться в «парадизе», а тем более в Измайлове, и гнал ее обратно на место «службы». Так было и в 1716 году, да и в 1718 году, когда Анна, по мнению царя, непозволительно долго задержалась в Петербурге, нянча понравившегося ей маленького сына Петра и Екатерины царевича Петра Петровича. Петр хотел, чтобы в Курляндию отправилась и царица Прасковья, которая переживала за дочь, но старая царица жить в «неметчине» не возжелала. С какого-то момента отношения Анны с матерью испортились. Возможно, они не были добрыми с давних пор — ведь неслучайно за бедного курляндского герцога Прасковья Федоровна выдала не старшую дочь Екатерину (как требовал обычай), а среднюю Анну. Из переписки матери с дочерьми видно, что отношения Прасковьи Федоровны к дочерям сильно разнились: материнские тепло и нежность доставались «Катюшке-свет», а суровая взыскательность — Анне. Из писем Анны к императрице Екатерине Алексеевне также явствует, что царица Прасковья считала Анну как будто в чем-то виноватой перед собой, и дочь даже побаивалась писать матери.

Возможно, одна из причин этих странных отношений состояла в том, что Анна, находясь в Митаве, пыталась поступать по-своему хотя бы в личных делах. Мать же, узнав о «срамной», по ее мнению, связи Анны со стариком Бестужевым-Рюминым, добивалась у Петра отзыва Бестужева из Митавы и очень хотела или самой приехать к дочери и лично навести там порядок, или же посадить постоянно при дворе Анны своего брата, Василия Салтыкова, который бы выполнял поручения царицы и доносил о всех делах и проделках племянницы. Анна этому явно противилась. Сварливый Василий Салтыков, как-то приехав в Митаву, сразу же рассорился с Бестужевым-Рюминым и писал Прасковье Федоровне самое плохое и о Бестужеве, и об Анне. Что это был за человек, хорошо видно из его письма в Юстиц-коллегию,

датированного 1720 годом. Салтыкову пришлось объясняться за жестокое обхождение с собственной женой Александрой, жаловавшейся на побои самому государю: «Жену безвинно мучительски не бил, немилостиво с ней не обращался, голодом ее не морил, убить до смерти не желал... только за непослушание бил жену сам своеручно, да нельзя было не бить: она меня не слушала, противность всякую чинила...»

Упрямство и скрытность Анны, приписываемые ей грехи — все это вызывало раздражение Прасковьи Федоровны, которая то прерывала с дочерью переписку, то требовала, чтобы та с повинной явилась к ней в Петербург. В 1720 году Анна сообщала царице Екатерине, что мать ей давно не пишет и «со многим гневом ка мне приказывать: для чево я в Питербурх не прашусь, или для чево я матушку к себе не заву». Ни того ни другого Анна как раз и не хотела и потому умоляла хорошо относившуюся к ней жену Петра поучаствовать в небольшой инсценировке — обмане: «Хотя к матушке своей о том писать я стану и праситца к ним (в Петербург. — *Е. А.*), аднакож, матушка моя, дорогая тетушка, по прежнему моему прошению до времени меня здеся додержать соизволите». Анна испытывала страх перед матерью и не раз просила Екатерину не вызывать ее из Курляндии, несмотря на требования царицы Прасковьи.

Незадолго до смерти, осенью 1723 года Прасковья написала дочери письмо, по-видимому, не очень доброе. Анна вновь прибегла к посредничеству Екатерины, прося ее передать матери следующее: «Ежели в чем перед нею, государынею матушкою погрешила, [то] для Вашего величества милости, меня изволит прощать». Екатерина, по-видимому, просьбу Анны передала царице Прасковье и та написала в Митаву: «Слышала я от моей вселюбезнейшей невестушки, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, что ты в великом сумнении якобы под запрещением или, тако реши (так сказать. — *Е. А.*), — проклятием от меня пребываешь, и в том ныне не сумневайся: все для вышеупомянутой Ея величества моей вселюбезнейшей государыни невестушки отпущаю вам и прощаю вас во всем, хотя в чем вы предо мною и погрешили». «Отпущает», как видим, да только ради «невестушки».

Царица (а с 1724 года императрица) Екатерина Алексеевна была, пожалуй, единственным человеком, который по-доброму, с сочувствием относился к несчастной Анне. Екатерина изредка направляла весточку митавской «узнице», и та радостно откликалась, посылала государыне какой-нибудь скромный подарок вроде настольного янтарного прибора. Письма Анны к Екатерине лучше всяких слов показывают то униженное, жалкое положение, в котором долгие годы находилась курляндская герцогиня. В 1719 году она так писала Екатерине: «Государыня моя тетушка, матушка-царица Екатерина Алексеевна, здравствуй, государыня моя, на многие лета вкупе с государем нашим батюшкой, дядюшком и с государынями нашими сестрицами! Благодарствую, матушка моя, за милость Вашу, что пожаловала изволила вспомнить меня. Не знаю, матушка моя, как мне благодарить за высокую Вашу милость, как я обрадовалась, Бог Вас, свет мой, самое так порадует... ей-ей, у меня, краме Тебя, свет мой, нет никакой надежды. И вручаю я себя в миласть Тваю матеренскую.... При сем прашу, матушка моя, как у самаво Бога, у Вас, дарагая моя тетушка: покажи нада мною материнскую миласть: попроси, свет мой, миласти у дарагова государя нашева батюшки дядюшки оба мне, чтоб показал миласть — мое супружественное дело ко окончанию привесть, дабы я болше в сокрушении и терпении от моих зладеев, ссораю к матушке не была... Также неволили Вы, свет мой, приказывать ко мне: нет ли нужды мне в чем здесь? Вам, матушка моя, известна, что у меня ничево нет, кроме што с воли вашей выписаны штофы, а ежели к чему случей позавет, и я не имею нарочитых алмазов, ни кружев, ни полотен, ни платья нарочетава... а деревенскими доходами насилу я магу дом и стол свой в гот содержать... Еще прошу, свет мой, штоб матушка (Прасковья Федоровна. — *Е. А.*) не ведала ничево».

Как мы видим по этому письму, Анну более всего волновало «супружественное дело» — жить почти десять лет вдовой было тяжело. Но найти для нее жениха оказалось непросто: ведь его кандидатура должна была устраивать Россию, причем не вызывая протеста у других заинтересованных сторон — Польши и Пруссии, — и в то же время не нарушить сложившегося неустойчивого равновесия сил вокруг Курляндии и внутри ее самой. Поэтому Петр I отклонял одного за другим возможных женихов Анны. Почти три сотни писем, посланных Анной из Курляндии и дошедших до нашего времени, напоминают жалобные челобитья сирой вдовицы, бедной родственницы, человека совершенно беззащитного, ущемленного и униженного. Подобострастные письма к Петру и Екатерине («батюшке-дядюшке» и «матушке-тетушке») лежат вместе с не менее жалкими письмицами к влиятельным петровским сподвижникам. Анна не забывает всякий раз поздравить светлейшего князя Меншикова и его домочадцев с очередным праздником, имени-

нами, стараясь таким образом напомнить о себе и своих вдовьих горестях.

В 1726 году, уже после смерти Петра I, когда на российском престоле сидела благодетельница Анны императрица Екатерина I, возник неожиданный и очень достойный кандидат на руку Анны — Мориц, граф Саксонский, внебрачный сын польского короля Августа II и графини Амалии Вильгельмины Авроры Кенигсмарк. Молодому энергичному человеку надоела служба во французской армии, и он решил устроить разом свои династические и семейные дела. Он приехал в Курляндию, предстал перед Анной и совершенно обаял еще нестарую вдову. Мориц понравился и курляндскому дворянству, которое 18 июня 1726 года на съезде выбрало его своим герцогом, а старика Фердинанда, по-прежнему жившего в Гданьске, лишило курляндского трона. Мориц посватался к Анне. Вдова была счастлива и, узнав, что в Курляндию едет с поручением Екатерины I А. Д. Меншиков, бросилась навстречу светлейшему и, как он потом описывал эту сцену в письме к императрице Екатерине I, «приказав всех выслать и не вступая в дальние разговоры, начала речь о известном курляндском деле с великою слезною просьбою, чтоб в утверждении герцогом Курляндским князя Морица и по желанию о вступлении с ним в супружество мог я исхадатайствовать у Вашего величества милостивейшее позволение, представляя резоны: первое, что уже столько лет как вдовствует (пятнадцать, отметим мы. — *Е. А.*), второе, что блаженные и вечно достойные памяти государь император имел о ней попечение и уже о ее супружестве с некоторыми особами и трактаты были написаны, но не допустил того некоторый случай». Но Меншиков, достигший в это время пика своего могущества, ехал с другими целями и мечтал о другом. Выходка Морица встревожила Россию и Пруссию. Избрание сына польского короля Августа II на трон Курляндии резко нарушало баланс сил, равновесие в этой части Прибалтики. Кроме того, у Меншикова были свои виды насчет Курляндии. Как и многие выскочки, он хотел получить еще один титул — «герцога Курляндии и Семигалии». Свои намерения он высказал уже в Петербурге и даже уверял членов Верховного тайного совета, начавших обсуждать эту щекотливую проблему, что достаточно ему явиться в Митаву, как ему поднесут герцогскую корону — курляндцы якобы «не без склонности... на его избрание».

Неудивительно, что при встрече с герцогиней он тотчас охладил ее романтические порывы. Меншиков сказал то, что думали тогда в Петербурге: выборы Морица герцогом

недопустимы: как сын польского короля, он будет поступать «по частным интересам короля, который чрез это получит большую возможность проводить свои планы в Польше». А как раз усиления королевской власти в Польше никто из ее соседей — будущих участников раздела Речи Посполитой во второй половине XVIII века — не хотел. Анна, поняв наивность своих просьб, сникла и (по словам Меншикова) сказала, что ей более всего хочется, чтобы герцогом был сам Александр Данилович, который смог бы защитить ее домены и не дал ей лишиться «вдовствующего пропитания». Возможно, Меншиков точно передал этот вполне формальный ответ Анны, но он явно не отражал истинных чувств и намерений герцогини. Во-первых, избрание самого Меншикова на курляндский трон обращало Анну из герцогинь в царевны, и она должна была вернуться в Россию, где ее никто не ждал. Во-вторых, Анна решила бороться дальше и сразу же после встречи с Меншиковым помчалась прямо в Петербург, чтобы переговорить о своих делах уже с самой императрицей Екатериной I. Но «матушка-заступница» на этот раз не помогла — интересы империи были превыше всего, да и возражать Меншикову Екатерина не хотела.

Тем временем в Митаве разгорался скандал, получивший в истории русской внешней политики название «Курляндского». Меншиков, находясь в Риге, встретился с представителем России в Курляндии П. М. Бестужевым-Рюминым и русским посланником в Варшаве, уже известным по первой главе князем Василием Лукичом Долгоруким. По требованию Меншикова они вынесли кандидатуру светлейшего перед дворянским собранием Курляндии и тут же потерпели фиаско — курляндцы не хотели менять полюбившегося им Морица на Меншикова. И тогда светлейший решил поехать в Митаву лично — после смерти Петра Великого в январе 1725 года еще не было случая, чтобы ему кто-нибудь посмел возражать. 29 июня Меншиков встретился с дворянами и пригрозил наказать их за упрямство — определить на постой в Курляндии 20 полков русской армии. Как известно, такое квартирование было пострашнее ссылки. В целом, Меншиков вел себя как пресловутый медведь из русской сказки, который пытался взгромоздиться на теремок мышки-норушки и лягушки-квакушки и раздавил все это хрупкое сооружение. Австрийский посланник в России граф Рабутин писал тогда, что Меншиков «являлся здесь как бы авторитетом, от которого зависит судьба человечества. Он казался крайне удивленным тем, что жалкие смертные могли действовать столь необдуманно и столь мало понимали свои

выгоды, что не желали чести быть подданными князя. Напрасно они с таким глубоким почтением объявляли, что не могут считать его вправе давать им приказания, он им ответил, что они говорят вздор и что он им это докажет ударами палки». И все же вежливая форма отказа была воспринята Меншиковым как завуалированная форма согласия. Он был убежден, что курляндцы поломаются-поломаются, да и согласятся на его кандидатуру. Этой иллюзии способствовала и встреча Меншикова с Морицем, который притворно обещал уступить свое место более достойному кандидату и даже выразил желание похлопотать за светлейшего перед отцом — польским королем. Однако, вернувшись в Ригу, Меншиков с удивлением узнал, что ни дворяне, ни Мориц его условий исполнять и не собираются. Он написал канцлеру Курляндии Кейзерлингу такое письмо, что обязанный передать его Василий Лукич Долгорукий ослушался приказа Меншикова и письмо скрыл, опасаясь в случае оглашения его текста грандиозного международного скандала. Одновременно Меншиков просил разрешения Екатерины утихомирить Курляндию вооруженной рукой. Тогда, писал светлейший императрице, «все курлянчики иного мнения воспримут и будут то дело производить к лучшей пользе интересов Вашего величества». Но грубые действия Меншикова, который, как сказал один острослов, охотился на птиц с дубиной, произвели сильное впечатление в Польше — все-таки Курляндия была вассальной территорией этой страны. Польский сейм, заседавший в Гродно, принял решение объявить Курляндию «поместьем Республики» и включить ее в состав Речи Посполитой. Екатерина срочно отозвала Меншикова в Петербург и послала в Польшу П. И. Ягужинского — замять совершенно ненужный России международный скандал.

А что же Анна? Она вернулась в Митаву и получила на голову те шишки, которые натряс в Курляндии Меншиков — дворянское собрание решило урезать и без того скудное содержание марионеточной герцогини. В те дни лета 1726 года Анна видела, как посланные в Курляндию русские отряды охотятся за Морицем. Тот был известен как большой любитель риска и женщин, что часто совпадает, и, несмотря на предупреждения своих доброжелателей, отказывался покидать герцогство, не перепробовав всех местных красавиц. Русские же отряды все туже затягивали кольцо окружения вокруг Морица. 17 июля Мориц с 60 слугами занял круговую оборону в своем доме. Его уведомили, что этой ночью русские попытаются штурмом захватить дом и арестовать

его. Когда первые русские разведчики просочились в парк возле дома, то они увидели, как из окна осторожно спускается закутанный в темный плащ человек. Полагая, что это и есть утекающий от врагов мятежный принц, они накинулись на него. Но, оказывается, в их руки попал не Мориц, а прелестная девушка, которая вылезла из спальни своего кавалера-любовника. Сам Мориц в это время, по-видимому, отдавал вооруженной прислуге последние распоряжения и заряжал пистолеты, готовясь отразить штурм. Завязался бой и, потеряв 70 человек убитыми и ранеными, русский «спецназ» отступил. Мориц жил в Курляндии еще полгода, доводя до белого каления и официальный Петербург, и курляндских мужей-рогоносцев. Наконец охоту за будущим французским маршалом возглавил с целым войском тоже будущий (русский) фельдмаршал П. П. Ласси. Он осадил Морица в Южной Лифляндии, и тому пришлось срочно бежать вроде своей подружки через окна, впопыхах бросив все свои вещи. Чуть позже его встретил ехавший в Россию испанский посланник де Лириа, который писал, что Мориц умолял его выхлопотать у русского правительства «множество записочек, кои получил он от разных дам и хранил в сундуке, который отняли у него русские». Но более всего он расстраивался, что не успел спасти «журнал любовных шашней при дворе короля, отца своего» Августа II, который он тщательно вел в течение нескольких лет. Мориц был убежден, что этот журнал взорвет европейский мир, а главное — подорвет его престиж. При этом неясно, у кого: у дам или у кавалеров. Обошлось! Сундук, наверное, разграбили, надушенные записочки дам пошли на пыжи, а «журнал любовных шашней» извели в нужнике.

Мориц навсегда покинул Курляндию и впоследствии, вероятно, радовался такому повороту событий, ибо, вернувшись во Францию, стал одним из самых выдающихся полководцев XVIII века, прославив свое имя на полях многих сражений. Его походы потом изучали в военных академиях. Анне оставалось только вспоминать о необыкновенно завидном женихе — ведь ловеласы всегда высоко ценятся вдовами. После этого понятен смысл речи знаменитого витии Феофана Прокоповича, которую он произнес 12 марта 1730 года, сразу же после вступления Анны на престол: «Твое персональное доселе бывшее состояние всему миру известно: кто же, смотря на оное, не воздохнул, видя порфирородную особу в самом цвету лет своих впадшую в сиротство отшествием державных родителей (Иван V умер в 1696 году, Прасковья Федоровна в 1723 году. — *Е. А.*), тоску

вдовства приемшую лишением любезнейшаго подружия (герцог Фридрих Вильгельм умер в 1711 году. — *Е. А.*), не по достоинству рода пропитание имеющую (имеется в виду ее отчаянная бедность. — *Е. А.*), но что и вспомянуть ужасно, сверх многих неприятных приключений от неблагодарного раба и весьма безбожного злодея (Феофан ненавидел Меншикова. — *Е. А.*) *страх, тесноту и неслыханное гонение* претерпевшую». Как ни лукав и подобострастен Феофан, сказанное им — все истинная правда! Судьба Анны была тяжкой.

Уехал Меншиков, уехал Мориц, и Анна возобновила свою жалобную вдовью «работу» — переписку с сильными мира сего. Вот перед нами очередное душещипательное письмо Анны к русскому послу в Польше П. И. Ягужинскому. Оно кончается типичной для посланий Анны того времени фразой: «...за что, доколе жива, вашу любовь в памяти иметь [буду] и пребываю вам всегда доброжелательна Анна». Но и Ягужинский, которого также отозвали в Петербург, не помог Анне в ее вотчинных и супружественных делах. И вновь она осталась у разбитого корыта.

Справедливости ради скажем, что она не была так уж одинока — давний роман с обер-гофмейстером Петром Бестужевым-Рюминым все еще тянулся. Но в 1727 году Меншиков, раздосадованный «Курляндским кризисом», взвалил всю вину за его возникновение на Петра Михайловича, который якобы постарел и слишком уж разнежился под боком курляндской герцогини. Словом, по настоянию светлейшего в июне 1727 года Бестужева решили отозвать из Курляндии. И тут неожиданно Анна сорвалась. Сохранилось 26 жалобных писем Анны, написанных с июня по октябрь ко всем, кому только можно было написать в столице. Анна просила, настаивала, требовала, умоляла: оставьте в Митаве Бестужева, без него все дела «встанут»! В письме к Остерману порфирородная царевна прибегает к оборотам, более уместным в челобитье солдатской вдовы: «Нижайше прошу Ваше Превосходительство попросить за меня, сирую, у Его Светлости (Меншикова. — *Е. А.*)... Умилосердись, Андрей Иванович, покажите миласть в моем нижайшем и сироцком прошении, порадуйте и не ослезите меня, сирой. Помилуйте, как сам Бог!.. *Воистину в великой горести, и пустоте, и* в страхе! Не дайте мне во веки плакать! Я к нему привыкла!» Последняя фраза все и объясняет.

Впоследствии историки-моралисты с неким осуждением писали о чрезмерной привязанности герцогини к этому старику, а потом и к Бирону. Между тем Анна никогда не была особенно любострастна. Женщина простая, незатейливая, не очень умная и не отличавшаяся женственностью, она всю свою вдовью жизнь, жестоко исковерканную железной волей Петра, мечтала лишь о надежной защите, поддержке, которую ей мог дать муж, мужчина, хозяин дома, господин ее судьбы. Искренним желанием найти себе хотя бы какую-нибудь защиту объясняется униженный тон всех ее писем к членам царской семьи и сановникам петербургского двора, исполненных готовностью «предать себя в волю» любому покровителю, защитнику. Просьбами как можно скорее разрешить ее «супружественное дело» проникнута вся ее переписка с Петром, Екатериной, матерью. Она буквально рвалась замуж именно от ощущения беззащитности, неприкаянности. Но жизнь, как назло, препятствовала исполнению ее сокровенного и совсем не грешного желания. Поэтому со временем Бестужев-Рюмин стал для нее опорой — тем, что она хотела получить от мужчины. Конечно, это был не самый лучший вариант. Бестужев был старше Анны на 19 лет, характер имел тяжелый и в то же время был не в меру блудлив. Как писал один из доносчиков на Бестужева, «фрейлин водит зо двора и [им] детей поробил».

И когда Бестужева-Рюмина отозвали, Анна стала неприлично убиваться по нему как по покойнику и совсем не потому, что беззаветно любила старика. Анна просто не могла и не хотела быть одной, она «к нему привыкла». Ее страшили пустота, одиночество, холод вдовьей постели. Именно об этом буквально вопит она в своих 26 письмах лета — осени 1727 года...

Но не будем отчаиваться! Время — лучший доктор. Уже в октябре непрерывный поток писем внезапно прекращается, хотя положение разлученных нисколько не улучшилось — Бестужеву в Митаву дорога была прочно перекрыта. В письмах Анны за октябрь 1727 года, когда главный недруг ее и Бестужева Меншиков уже «считал березки» по знаменитому тракту в Сибирь, имя Бестужева даже не упоминается. Дело в том, что у Анны появился новый возлюбленный и, как показало время, на всю оставшуюся жизнь. Это был знаменитый впоследствии Эрнст Иоганн Бирон.

Явление Бирона в новом качестве — любовника Анны — следует отнести к осени 1727 года. Как раз после свержения Меншикова, Бестужев наконец получил возможность вернуться в Митаву, но место его было уже занято. «Я в несностной печали, — писал он тогда дочери Прасковье, — едва во мне дух держится, что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг (это иронично о Бироне. — *Е. А.*) более в кредите остался... Знаешь ты, как я того

человека (Анну. — *Е. А.*) люблю?» Но было поздно, и Бестужев понял, что проиграл: Анна уже подпала под влияние нового фаворита, который был опасен Бестужеву, и последний не захотел даже связываться с ним: «Они могут мне обиду сделать: хотя Она и не хотела [бы], да Он принудит». Последней главкой романа Анны и Бестужева стало письмо герцогини императору Петру II, написанное в августе 1728 года. Анна послала в Москву с доверенным человеком жалобу на Бестужева и просила тогдашние компетентные органы разобраться, как Бестужев ее «расхитил и в великие долги привел». Всплыли какие-то махинации бывшего обергофмейстера с герцогской казной, куда-то пропавшими сахаром и изюмом. Конечно, речь шла не об исчезнувшем по вине бывшего обер-гофмейстера изюме, а о полной и безвозвратной «отмене» Бестужева, против которого начал действовать новый счастливчик, как раз и занявший его место возле дарового изюма и сахара...

Впрочем, из переписки Анны Иоанновны с новыми людьми у власти (речь идет о дворе Петра II и его окружении) видно, что в жизни ее мало что изменилось — то же безвластие, бедность, неуверенность. Стремясь угодить юному императору-охотнику Петру II, она посылает ему «свору собачек». Теперь она пишет подобострастные письма уже не Меншикову или его свояченице, которые давно находились в ссылке, а сестре Петра II великой княгине Наталье Алексеевне, новым фаворитам — князьям Долгоруким, другим сановникам, и всех их слезно просит не забывать ее, и что «вся надежда на Вашу высокую светлость».

Может быть, так бы и состарилась бывшая московская царевна в захолустной Митаве, среди курляндцев, если бы не яркая вспышка московских событий начала 1730 года, когда по указке князя Д. М. Голицына верховники посмотрели в ее сторону и тем самым решили ее судьбу.

Глава 3

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОМЕЩИЦА ИВАНОВНА И ЕЕ ДВОР

Итак, в тридцать семь лет герцогиня захудалой Курляндии стала российской императрицей. Сохранилось много исторических документов, по которым мы можем достаточно полно представить себе ее образ жизни, ее привычки и вкусы. Приведу пример наиболее характерный. В 1732 году в Тайной канцелярии рассматривалось дело по доносу на солдата Новгородского полка Ивана Седова. Тот рассказывал: «Случилась Ладожеского полку салдатам быть на работе близ дворца Ея императорского величества и видели, как шел мимо мужик, и Ея императорское величество соизволила смотреть в окно и спрашивала того мужика, какой он человек, и он ответствовал: «Я — посацкой человек». — «Что у тебя шляпа худа, а кафтан хорошей?» И потом пожаловала тому мужику на шляпу денег два рубли». Эта заурядная бытовая сцена не привлекла бы нашего внимания, если бы речь шла о лузгающей семечки мещанке, купчихе, барыне, которая смотрит на двор, где «под окном индейки с криком выступали вослед за мокрым петухом».

Нельзя забывать, что в данном случае речь идет об императрице, самодержице, что события эти реальные и происходили они в Петербурге, в императорском дворце. Естественно, ничего странного и предосудительного в описанном поведении Анны нет — не должна же она в самом деле целый день сидеть на троне с державой и скипетром в руках. Но мелькнувший образ скучающей помещицы, которая в полуденный час глазеет на прохожих, никак не соотносится, например, с императрицей Екатериной II или даже с Елизаветой Петровной. Однако, как мне кажется, вполне соотносим именно с Анной Иоанновной, в чьем характере проявлялось немало подобных черт. Да вот только имением ее

было не сельцо Ивановское с деревеньками Большое и Малое Алешно, а огромное государство. Вот она в июле 1735 года открыла как-то окошко, понюхала воздух, да тут же села и написала, как помещица управляющему, начальнику Тайной канцелярии Ушакову: «Андрей Иванович! Здесь так дымно, что окошка открыть нельзя, а все оттого, что по-прошлогоднему горит лес; нам то очень удивительно, что того никто не смотрит, как бы оные пожары удержать, и уже горит не первый год. Вели осмотреть, где горит и отчего оное происходит, и при том разошли людей и вели как можно поскорее, чтоб огонь затушить».

Именно с такой помещицей Ивановной мы встречаемся в рассказе жены управляющего дворцовым селом Дединовым Настасьей Шестаковой, которая каким-то образом попала во дворец Анны в 1738 году. По-видимому, императрица некогда знала Шестакову и вызвала ее к себе — так она не раз делала со своими знакомыми по «прежней», доимператорской жизни. Шестакова рассказывает, что вначале во дворце она попала к Ушакову и начальник Тайной канцелярии, поговорив с ней, приказал проводить ее в императорские покои. Вечером ее привели в спальню государыни, и та «изволила меня к ручке пожаловать и тешилась: взяла меня за плечо так крепко, что с телом захватила, ажно больно мне было». Мужиковатость и сила были присущи Анне, о чем свидетельствуют и другие источники, да и стреляла она как заправский мужчина, не боясь ушибить плечико прикладом. «И изволила привесть меня к окну, — продолжает Шестакова, — и изволила мне глядеть в глаза, сказала: “Стара очень, никак была Филатовна, только пожелтела”. И я сказала: “Уже, матушка, запустила себя: прежде пачкавалась белилами, брови марала, румянилась”. И Ее величество изволила говорить: “Румяниться не надобно, а брови марай”. И много тешилась и изволила про свое величество спросить: “Стара я стала, Филатовна?” И я сказала: “Никак, матушка, ни маленькой старинки в Вашем величестве!” “Какова же я толщиною — с Авдотью Ивановну?” И я сказала: «Нельзя, матушка, сменить Ваше величество с нею, она вдвое толще». Только изволила сказать: “Вот, тот, видишь ли!” А как замолчу, то изволит сказать: “Ну, говори, Филатовна!” И я скажу: “Не знаю что, матушка, говорить, душа во мне трепещется, дай отдохнуть”. И Ее величеству это смешно стало, изволила тешиться: “Поди ко мне поближе”»...

После этого совсем помертвевшую от страха и восторга Филатовну вывели из спальни императрицы. А утром Анна стала распрашивать ее, где она живет, чем занят муж, спросила: «А где вы живете, богаты ли мужики?» — «Богаты, матушка». —.«Для чего ж вы от них не богаты?» Тут в первый раз Шестакова осмелела и ответила остроумно: «У меня... муж говорит, всемилостивейшая государыня, как я лягу спать, ничего не боюся и подушка в головах не вертится». Очень хороший образ: подушка вертится в головах только у тех, кто неспокоен, кто боится! Анна выразила одобрение сказанному неким неуклюжим афоризмом: «Этак лучше, Филатовна: не пользует имение в день гнева, а правда избавляет от смерти». «И я в землю поклонилась, — продолжает Шестакова. — А как замолчу, изволит сказать: “Ну, говори, Филатовна, говори!” И я скажу: “Матушка, уже все высказала”. — “Еще не все сказала: скажи-ка, стреляют ли дамы в Москве?” — “Видела я, государыня, князь Алексей Михайлович (Черкасский) учит княжну стрелять из окна, а поставлена мишень на заборе”. — “Попадает ли она?” — “Иное, матушка попадает, а иное кривенько”. — “А птиц стреляет ли?” — “Видела, государыня, посадили голубя близко к мишени и застрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а другой раз уже пристрелила”. — “А другие дамы стреляют ли?” — “Не могу, матушка, донесть, не видывала”. Изволила мать моя милостиво распрашивать, покамест кушать изволила». Остановимся на минутку. Ни до, ни после императрицы Анны Иоанновны, безумно любившей стрельбу в цель, государственные деятели вроде канцлера князя Черкасского не обучали своих нежных дочерей пулевой стрельбе, а тут вдруг разом увлеклись! К нему бы это? А дело известное — пристрастие правителя в России становится безумием светской черни!

Сцена завтрака императрицы, перед столом которой стояла Шестакова, закончилась для последней вполне благополучно: «“Прости, Филатовна, я опять по тебе пришлю, поклонись Григорью Петровичу, Авдотье Ивановне”... И пожаловала мне сто рублев, изволила сказать: “Я-де помню село Дединово: с матушкой ездила молиться к Миколе”. А я молвила: “Нут-ко, мол, матушка, ныне пожалуй к Миколе-то Чудотворцу помолиться”. И Ее величество изволила сказать: “Молись Богу, Филатовна, как мир будет”. Изволила меня послать, чтобы я ходила по саду: “Погляди, Филатовна, моих птиц”. И как привели меня в сад, и ходят две птицы величиною и от копыт вышиною с большую лошадь, копыта коровьи, коленки лошадиные, бедра лошадиные, а как подымет крыло — бедра голые, как тело птичье, а шея как у лебедя длинна, мер в семь или восемь...; головка гусиная и носок меньше гусиного; а перье на ней такое, что на шля-

пах носят. И я стала дивится такой великой вещи и промолвила: "Как-та их зовут", то остановил меня лакей: "Постой". И побежал от меня во дворец, и прибежал ко мне возвратно: "Изволила государыня сказать — эту птицу зовут строкофамил (ошибся лакей или рассказчица — строфокамил! сиречь страус. — *Е. А.*), она де яйца те несет, что в церквах по паникадилам привешивают"».

Нравы помещицы, не особенно умной, мелочной, ленивой, суеверной и капризной, отразились и в ходивших в обществе рассказах о том, как сурово она обращалась со своими фрейлинами — в сущности, высокопоставленными дворовыми девками: била их по щекам за плохой танец, а если они просили пощады, то отправляла их стирать белье на Прачечном дворе (он находился там, где теперь Прачечный мост через Фонтанку). Пока государыня была в спальне, фрейлины должны были сидеть в соседней комнате и, как дворовые девки, заниматься рукоделием, вязанием. Соскучившись, как пишет историк С. Н. Шубинский, Анна «отворяла к ним дверь и говорила: "Ну, девки, пойте!"» — и девки пели до тех пор, пока государыня не кричала: «Довольно!»

Быть придворным и дворцовым служителем при Анне было непросто. Но угодившие государыне могли надеяться на щедрую милость. В 1740 году Анна отправила указ Сенату, определивший судьбу известной семьи Милютиных: «Всемилостивейше пожаловали Мы двора нашего комнатного истопника Алексея Милютина в дворяне и на оное дворянство дать ему диплом». Видно, хорошо топил печи Милютин, дров по утрам на пол с грохотом не бросал, долго поленья не растапливал, в топку не дул, дыму в палаты не запускал, к полуночи умел ловко и незаметно входить и тихо закрывать вьюшки, да так, чтобы и печь не выстудить, и государыню с Бироном угарным газом не отравить. В общем, большое искусство — есть за что дать дворянскую грамоту.

Иногда Анна требовала к себе гвардейских солдат с их женами и приказывала им плясать по-русски и водить хороводы, «в которых заставляла принимать участие присутствовавших вельмож». По словам Шестаковой, главные фрейлины Анны — Аграфена Александровна Щербатова и Анна Федоровна Юшкова — развлекали гостью. Кроме того, Шестакова вспоминает, что за столом с ней сидели княгиня Голицына и другие знатные дамы. Особенно ценила Анна графиню Авдотью Чернышову за то, что та мастерски рассказывала городские сплетни и анекдоты.

Источники Шубинского о вышесказанном мне неизвестны, но они кажутся вполне достоверными, подтверждаются другими источниками, хорошо показывают образ жизни и личности государыни — помещицы Ивановны. Десятки писем императрицы Анны, которые она в течение нескольких лет посылала в Москву к С. А. Салтыкову, расширяют наше представление об Анне. Семен Андреевич — близкий родственник императрицы по матери — после событий 25 февраля 1730 года, в которых он вместе с гвардейцами сыграл такую важную роль, сделал стремительную карьеру: уже 6 марта он был пожалован в генерал-аншефы, обер-гофмейстеры, действительные тайные советники и стал губернатором Смоленской губернии. Вскоре, после смерти 5 октября 1730 года дяди императрицы Василия Федоровича Салтыкова, Семен стал генерал-губернатором или, как тогда называли, главнокомандующим Москвы и российским графом. Именно Семена Андреевича, хоть и не отличавшегося умом и благонравием, зато беспредельно преданного, Анна, переехав в Петербург, оставила своеобразным вице-королем Москвы, чтобы он, как предписывала инструкция-наказ, все «чинил к нашим интересам и престережению опасных непорядков». И на протяжении многих лет императрица могла быть спокойна за свою вторую столицу — главнокомандующий Москвы был надежен и верен, как скала. Она ценила его, писала ласковые письма и в 1735 году послала ему в подарок «чарку прадедушки нашего», то есть царя Михаила Федоровича. Но потом государыня узнала, что Салтыков ведет дела по Москве не так уж хорошо, злоупотребляет властью, много пьет, и в ее письмах к Салтыкову исчезли сердечность и родственное чувство, из-за чего тот очень убивался. И все-таки долгое время Салтыков пользовался личной доверенностью императрицы (она часто писала ему: «И пребываю к Вам неотменно в моей милости») и с готовностью исполнял ее частные, порой довольно щекотливые, поручения. Свыше двухсот писем Анны к Салтыкову сохранилось в архивах, и они дают нам возможность более определенно говорить о внутреннем мире Анны, круге ее интересов. Ценность их в том, что эти письма — частного характера, шедшие не через официальные каналы, и они-то как раз и позволяют изучить нравы «всероссийской помещицы», писавшей к «приказчику» по делам своего лучшего «имения» — Москвы и «людишек», ее населявших. При этом хорошо видно, как императрица питается слухами, просит Салтыкова действовать не публично, «как возможно тайным образом истину проведать», «под рукой разузнать...». И это придает переписке особую ценность.

Читая письма государыни, можно подумать, что больше всего императрицу интересовали сплетни, слухи, матримониальные истории и, конечно, шуты, точнее — поиск наиболее достойных кандидатов в придворные дураки. 2 ноября 1732 года она писала: «Семен Андреевич! Пошли кого нарочно князь Никиты Волконского в деревню ево Селявино и вели роспросить людей, которые больше при нем были в бытность его тамо, как он жил и с кем соседями знался, и как их принимал — спесиво или просто, также чем забавлялся, с собаками ль ездил или другую какую имел забаву, и собак много ль держал, и каковы, а когда дома, то каково жил, и чисто ли в хоромах у него было, не едал ли кочерыжек и не леживал ли на печи... и о том обо всем его житии, сделав тетрадку, написать сперва «Житие князя Никиты Волконского» [и] прислать».

Князь Волконский принадлежал к родовитой знати. Его жена Аграфена Петровна (или в дружеском кругу — Асечка) была урожденной Бестужевой, дочерью того самого Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, которого так ловко вытеснил из сердца курляндской герцогини Анны Иоанновны Бирон. Вместе с мужем Асечка часто бывала у отца в Митаве, и Волконский, видимо, уже тогда обратил на себя внимание Анны своими причудами. После смерти Петра I Асечка испытала большие потрясения. С ней и ее кружком друзей, среди которых был Абрам Ганнибал, грубо расправился Меншиков: за вполне невинную болтовню их всех отправили в ссылку. Асечка оказалась в подмосковной деревне, а потом ее заключили в монастырь, где она и умерла в 1732 году. Как только Анна, приложившая свою руку к ужесточению заключения Асечки в монастыре, узнала о ее смерти, она предписала выведать, как там поживает в своей деревне вдовец. После того как она потребовала от Салтыкова, чтобы он прислал так называемое «Житие» Волконского, последовало уточнение: «К «Житию» Волконского вели приписать, спрося у людей, сколько у него рубах было и поскольку дней он нашивал рубаху».

Интерес Анны к таким интимным сторонам жизни своего подданного понятен: она берет Волконского к себе шутом и не желает, чтобы он был спесив, грязен или портил воздух в покоях. Дело в том, что поиск шутов для Анны был делом весьма серьезным и ответственным. Также были затребованы данные о поведении с детства Ивана Матюшкина: «Какое он имел с малолетства воспитание при отце и как содержан был». В ответе, присланном из Москвы в марте 1733 года, сказано о том, что интересовало государыню:

«Иван Иванович с малолетства при отце своем жил в великой неге и когда станут обедать, за столом не резывал ничего: отец его или мать отрежат мяса или рыбы... и поставят перед ним».

Слово «дурак» — столь часто употребляемое и ныне — в прошлом и применительно к шутовству включало в себя нечто большее, чем констатация человеческой глупости. Конечно, дурак — это смешной человек, шут, обязанный развлекать царственную особу. Он должен быть прежде всего потешным, смешным, иметь какую-то свою забавную «роль», черту, особенность поведения. Если этого не было, то кандидата забраковывали. Именно поэтому мы читаем в одном из писем Анны к Салтыкову, что она возвращает ранее вызванного из Москвы некоего Зиновьева, потому что он «не дурак». Правда, благодаря литературе мы привыкли к известному стереотипу: сидящий у подножия трона шут в форме прибауток кого-то «обличает и разоблачает». Конечно, доля правды в этом есть, но в реальности все оказывалось гораздо сложнее — шутов держали вовсе не для того, чтобы они «колебали основы». Шуты были непременным элементом института «государственного смеха», имевшего древнее происхождение, связка «повелитель — шут», в которой каждому отводилась своя роль, была традиционной и устойчивой во все времена.

Для всех было ясно, что шут, дурак, исполняет свою «должность», памятуя о ее четких границах. В правила этой должности — игры входили и известные обязанности, и известные права. Защищаемый древним правилом: «На дураке нет взыску», шут действительно мог сказать что-то нелицеприятное, но мог и пострадать, если выходил за рамки, установленные повелителем.

Шутовство можно назвать придворной службой, порой тяжелой, грязной, а иногда и опасной. В одном из появившихся много лет спустя «анекдотов» о шуте Балакиреве описан случай, когда тот, спасаясь от рассердившегося на его каламбуры Петра I, прячется под шлейфом платья царицы Екатерины. Это значит, что слово — единственное оружие шута — дало осечку, шутка была не понята, старинное правило прощения шута «На дураке нет взыску» не сработало, и знаменитая дубинка грозного царя нависла над его головой. Так бывало и позже. Во время путешествия императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиев монастырь ее шут принес в шапке ежа и показал его императрице. Еж высунул мордочку, а императрица, подумав, что это крыса, страшно испугалась. Шута немедленно схватили и «с при-

страстием» допрашивали в застенке Тайной канцелярии, с какой целью он хотел напугать императрицу и кто «подучил» его совершить это государственное преступление.

В системе самодержавной власти роль такого человека, имевшего доступ к повелителю, была весьма значительна, и оскорблять шута опасались, ибо уместной шуткой он мог повлиять на принятие важного решения. Как повествуют «Анекдоты о шуте Балакиреве», в основе которых могли лежать реальные факты, «некто из придворных, совершенно без способностей, своими происками достиг, наконец, до того, что Петр Великий обещал ему одно довольно важное место. Балакирев молчал до времени, но когда государь приказал придворному явиться к себе за решительным определением, то Балакирев притащил откуда-то лукошко с яйцами и сел на него при входе в приемную. Скоро явился придворный и стал просить шута, чтобы тот доложил о нем государю. Сначала Балакирев не соглашался, отговариваясь тем, что ему некогда; но потом согласился с тем, однако, условием, чтобы проситель тем временем посидел на его месте и до возвращения не сходил бы с лукошка. Придворный, нимало не думая, охотно занял место шута и уселся на лукошко, как ему было приказано. Балакирев же, зайдя в кабинет Петра, попросил царя заглянуть в прихожий покой. «Вот кому даешь ты видное место, государь! — заметил Балакирев, когда Петр Великий отворил дверь в прихожую. — Место, на которое я посадил его, ему приличнее и, кажется, по уму доступнее. Рассуди и решай!» И государь тотчас решил удалить от себя молодца, не умнее яйца».

В другом случае, наоборот, шут своими средствами мог кого-то спасти. Согласно еще одному «анекдоту», «один из близких родственников Балакирева подпал под гнев и немилость царя. Государь отдал его под суд и уже готов был утвердить приговор онаго, как вдруг является Балакирев с грустным лицом и весь расстроенный. Государь, увидав причину прихода Балакирева, обратился к присутствующим и сказал: «Наперед знаю, зачем идет ко мне Балакирев, но даю честное слово не исполнить того, о чем он будет просить меня». Между тем Балакирев начал речь свою так: «Государь всемилостивейший! Удостой услышать просьбу твоего верноподданного: сделай такую милость, не прощай бездельника, моего родственника, подпавшего под твой гнев царский и ныне осужденного судом и законами!» — «Ах ты, плут! — вскричал Петр. — Каково же ты поддел меня? Нечего делать, я обязан не исполнить твоей просьбы и потому должен простить виновного...»

Интересно, что Петр I, рьяно искоренявший все старомосковские обычаи, сохранил и развил традицию шутовства. Как и все его предшественники на троне, он проходит через русскую историю, окруженный не только талантливыми сподвижниками, но и пьяными, кривляющимися шутами, которые потешно, ради смеха государя и его окружения, ссорились и дрались. А между тем распри шутов были нешуточные — борьба за милость государя шла между ними с неменьшим напряжением, чем в среде придворных. В этой борьбе все средства — кляузы, подлости, мордобой — были хороши. Что, собственно говоря, и веселило...

Конечно, шутов-дураков держали при дворе в основном для забавы, смеха. Так было и при Анне Иоанновне. Ей более всего нравились «пьесы», которые годами разыгрывали ее шуты, сплетничая и жалуясь друг на друга. Особенно ее развлекали свары и драки шутов. Г. Р. Державин вспоминал рассказ современника Анны Иоанновны о том, как, выстроив шутов друг за другом, императрица заставляла их толкаться, что приводило к драке и свалке. При виде этой неразберихи государыня и двор хохотали. О подобном же развлечении писал и один свидетель-иностранец — человек, чуждый русской жизни. Он так и не понял всей сути потехи: «Способ, как государыня забавлялась сими людьми, был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала им всем становиться к стенке, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю (это было представление старинного правежа. — *Е. А.*). Часто заставляли их производить между собою драку, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху».

Но это был не просто смех, столь естественный для человека. Если бы нам довелось посмотреть на кривлянье шутов XVII—XVIII веков, послушать, что они говорят и поют, то многие из нас с отвращением отвернулись бы от этого, без преувеличения, похабного зрелища. И напрасно — все имеет свое объяснение. Его весьма удачно дал Иван Забелин, писавший о шутовстве XVII века как об «особой стихии веселости»: «Самый грязный цинизм здесь не только был уместен, но и заслуживал общего одобрения. В этом как нельзя лучше обрисовывались вкусы общежития, представлявшего с лицевой стороны благочестивую степенность и чинность, постническую выработку поведения, а внутри исполненного неудержимых побуждений животного чувства, затем, что велико было в этом общежитии понижение мысли, а с нею и всех изящных, поэтических, эстетических

инстинктов. Циническое и скандальезное нравилось потому, что духовное чувство совсем не было развито». Важно заметить, что императрица Анна была ханжой, строгой блюстительницей общественной морали, но при этом состояла в незаконной связи с женатым Бироном. Отношения эти осуждались верой, законом и народом (последнее она достоверно знала из материалов Тайной канцелярии). Не исключено, что шуты с их непристойностями позволяли императрице снимать неосознанное напряжение. Шутовство — всегда представление, спектакль. Анна и ее окружение были большими охотниками до шутовских спектаклей, «пьес» шутов. Конечно, за этим стояло древнее восприятие шутовства как дурацкой, вывернутой наизнанку традиционной жизни, шутовское воспроизведение которой поэтому и смешило зрителей до колик, но было непонятно иностранцу, человеку другой культуры.

Впрочем, суть не только в различии культур — шутов и в средневековой Европе было немало. Но XVIII век смотрел на это иначе. Шутовство в том безобразном виде, в котором оно пришло к русскому двору с древних времен, в преддверии надвигающейся эпохи Просвещения и относительной терпимости, отживало свой век даже в России. Неслучайно при расследовании дела Бирона в 1741 году на него взвалили вину за разгул придворного шутовства, хотя в этом и других случаях он виноват только относительно — шуты и их проделки были утехой самой императрицы, вульгарной частью ее мира. Но здесь важно то, что перелом в отношении к средневековому шутовству уже произошел, и мы хорошо видим это из официального обвинения Бирону: «Он же, будто для забавы Ея величества, а в самом деле, по своей свирепой склонности, под образом шуток и балагурства, такия мерзкия и Богу противныя дела затеял, о которых до сего времени в свете мало слыхано. Умалчивая о нечеловеческом поругании, произведенном не токмо над бедными от рождения или каким случаям дальнего ума и разсуждения лишенными, но и над другими людьми, между которыми и честной породы находились, о частых между оными заведенных до крови драках и о других оным ученным мучительств и безстыдных мужеска и женска полу обнажениях, и иных скаредных между ними его вымыслом произведенных пакостях, уже и то чинить их заставливал и принуждал, что натуре противно и объявлять стыдно и непристойно». Может быть, в последнем весьма туманном отрывке идет речь о радостном придворно-шутовском событии, которым Анна Иоанновна с воодушевлением поделилась 2 сентября 1734 года

с Салтыковым: «Да здесь играичи женила я князь Никиту Волконского на Голицыном»?

Словом, возвращаясь к шутам, скажем, что в первой половине 30-х годов XVIII века при дворе императрицы сформировался целый «штат» шутов: шесть человек, двое иностранцев и четверо русских, да около десятка лилипутов — «карлов». Среди шутов были и старые придворные дураки, унаследованные от Петра I, и новые, благоприобретенные в царствование Анны. Самым опытным был «самоедский король» Ян Д'Акоста, которому некогда царь Петр I подарил пустынный песчаный островок в Финском заливе. Петр часто беседовал с шутом по богословским вопросам — ведь памятливый космополит, португальский еврей Д'Акоста мог соревноваться в знании Священного Писания не только с Петром, но и со всем Синодом. Другой персонаж, неаполитанец Пьетро Мира (в русской редакции Петрилий или Педрилло) приехал в Россию в составе итальянской труппы в качестве певца и скрипача, но поссорился с капельмейстером Франческо Арайя и примерно в 1733 году перешел в придворные шуты. С ним Анна обычно играла в подкидного дурака, он же держал банк в карточной игре при дворе. Исполнял он и разные специальные поручения императрицы: дважды ездил в Италию и нанимал там для государыни певцов, покупал ткани, драгоценности, да и сам приторговывал бархатом. Граф Алексей Петрович Апраксин происходил из знатной, царской семьи. Он был сыном боярина и президента Юстиц-коллегии времен Петра I Петра Матвеевича Апраксина, племянником генерал-адмирала Апраксина и царицы Марфы Матвеевны. Этот шут был проказником по призванию и, как о нем говорил Никита Панин, «несносный был шут, обижал всегда других и за то часто бит бывал». Возможно, за ревностное исполнение своих обязанностей он получал от государыни богатые пожалования.

Живя годами рядом, шуты, придворные и повелители становились как бы единой семьей, со своим укладом, обычаями, принятыми ролями, проблемами и скандалами. Отзвуки их порой доносятся сквозь время и до нас. Так вдруг 23 апреля 1735 года Главная полицмейстерская канцелярия с барабанным боем разнесла по улицам «по всем островам» строгий именной указ российской императрицы Анны Иоанновны о том, чтоб к шуту Ивану Балакиреву в дом никто не ездил и его к себе никто «в домы свои не пущали, а ежели кто поедет к нему в дом или пустит к себе, из знатных — взят будет в крепость, а подлые будут сосланы на каторгу».

«Что за странный указ?» — подумаем мы. «Да ничего особенного, — сказал бы петербургский житель тех времен. — Видно, шут Ванька Балакирев прогневил матушку-государыню, надрался, как свинья, а она — ой строга! — пьяных на дух не выносит». И верно — «епитимью» с Балакирева сняли ровно через месяц — 23 мая, когда милостивая к своим заблудшим овцам матушка-императрица повелела: «... К помянутому Балакиреву в дом знатным и всякого чина людям ездить позволить и его, Балакирева, в домы свои к себе пускать без опасения, токмо под таким подтверждением: ежели те, приезжающие к нему, Балакиреву, в дом, или он к кому приедет, и будет пить, а чрез кого о том донесено будет и за то оные люди, какого б звания ни был, будут жестоко штрафованы». Вся эта история напоминает расправу провинциальной помещицы со своим холопом Петрушкой, которого за пьянство посадили на неделю в «холодную», чтоб знал меру и при госпоже не появлялся в непотребном виде. Масштаб, правда, другой — делом Петрушки занялся бы приказчик, а дело царского шута вел столичный генерал-полицеймейстер Василий Салтыков.

Но, когда нужно, императрица грудью защищала своего непутевого «члена семьи». В феврале 1732 года она писала в Москву Семену Салтыкову, что Балакирева обманул его тесть Морозов, не выдав ему обещанные в приданое две тысячи рублей. Анна велит «призвать онаго Морозова и приказать ему, чтоб он такия деньги Балакиреву, конечно, отдал, а ежели станет чем отговариваться, то никаких его отговорок не принимать, а велеть с него доправить». В другой раз долгое время при дворе разыгрывался еще один «спектакль» Балакирева. О нем писала Салтыкову императрица: «При сем посылаю вам бумажку: Балакирев лошадь проигрывает в лот и ты изволишь в Москве приказать, чтоб подписались, кто хочет и сколько кто хочет, и ты, пожалуй, подпиши, а у нас все пишут». Надо думать, что московские высшие чиновники как один подписались участвовать в лотерее, чтобы спасти лошадь царского шута. В шутовские «спектакли» Балакирева втягивались не только придворные, но и иерархи Русской Православной Церкви. Как-то Балакирев стал публично жаловаться на свою жену, которая отказывала ему в постели. Этот «казус» стал предметом долгих шутовских разбирательств, а потом Священный Синод на своем заседании принял решение о «вступлении в брачное соитие по-прежнему» Балакирева со своей супругой. Пикантность всей ситуации придавал известный всем факт сожительства Бирона с Анной. Почти так же открыто, как при

дворе обсуждали беды Балакирева, в обществе говорили о нем, при этом некоторые особо отмечали, что Бирон с Анной живут как-то уж очень скучно, «по-немецки, чиновно», — и это вызывало насмешку.

Но вернемся к Ивану Емельяновичу Балакиреву. Столбовой дворянин, в молодости он попал в армию, служил в Преображенском полку. Ловкий и умный преображенец чем-то приглянулся Петру и был зачислен в штат придворных служителей. Его шутки при дворе первого императора были увековечены в знаменитых «Анекдотах». Но Балакирев сильно пострадал в конце царствования Петра I, оказавшись втянутым в дело фаворита царицы Екатерины Виллима Монса. Он якобы работал у любовников «почтальоном», перенося любовные записочки, что вполне возможно для добровольного шута. В 1724 году за связь с Монсом Балакирев получил 60 ударов палками и был сослан на каторгу в Рогервик. Подобные обстоятельства, как известно, мало способствуют юмористическому взгляду на мир. К счастью для Балакирева, Петр вскоре умер. Екатерина же Алексеевна, став государыней Екатериной I, вызволила с каторги верного слугу и определила его снова в Преображенский полк. Но военная служба у Балакирева не пошла. При Анне Иоанновне отставного прапорщика Ивана Балакирева окончательно призвали в шуты, и тут он и прослыл большим остроумцем. Достойно внимания то, что после смерти Анны в 1740 году Балакирев выпросился в отставку и до самой смерти в 1760 году уединенно жил в своей деревне. Наверное, окрестные помещики не встречали более мрачного соседа — Балакирев свое отшутил...

Как уже сказано выше, каждый шут играл собственную, затверженную роль. Педрилло не только ездил в Италию за покупками для императрицы, но и разыгрывал свои «пиесы» с большой пользой для себя. Так, современник рассказывал, что однажды Бирон в шутку осведомился, не женат ли он на козе, намекая на редкую уродливость его супруги. Шут радостно отвечал, что это «не только правда, но жена моя беременна и должна на днях родить. Смею надеяться, что Ваше высочество будете столь милостивы, что не откажетесь, по русскому обычаю, навестить родильницу и подарить что-нибудь на зубок младенцу». Бирон, смеясь, обещал заглянуть в дом шута. Через несколько дней шут объявил Бирону, что коза — его жена благополучно разрешилась от бремени, и напомнил ему об обещании. Затем Анна, любившая такие шутки и следующее за ними обсуждение, послала всех придворных к роженице. Они увидели в постели шута на-

стоящую козу, украшенную бантами. Каждый поздравлял «супругов» и клал под подушку червонец «на зубок» новорожденному. Так у шута с козой быстро образовался неплохой капитал. В 1735 году по поручению Анны Педрилло написал тосканскому герцогу Гастону Медичи — слабоумному и бездетному правителю о желании своей государыни приобрести «ваш самобольшой алмаз (у герцога был огромный бриллиант в 139,5 карата. — *Е. А.*), о котором слава происходит, что больше его в Италии не имеется; ежели недорогою ценою оный продать намерены, то я вам купца нашел, ибо (правду вам сказать) я хочу малой прибылью попользоваться. Ее императорское величество намерена тот алмаз купить и деньги за оный заплатить, но изволит, чтоб я себя купцом представил и торговал». Не исключено, что все это было задумано как очередная забава шута, вступившего в переписку с миланским дураком в короне.

Вообще такие шутки и довольно неуклюжие розыгрыши были по нраву государыне. Особенно часто для этого использовались письма. Анна требовала, чтобы ей «ради смеху» присылали письма шутов и их родственников, которые потом, под смех присутствующих, торжественно зачитывали при дворе. В 1732 году она предписала главнокомандующему на Украине князю А. И. Шаховскому посмотреть, «как живет жена Матвеева, смирно ли и что родила: человека или урода, сына или дочь и каков? О том всем отпиши». И при этом добавляла: письмо об этом пошли в Петербург в двух вариантах: «В одном напиши правду, а при том другое приложи фальшивое, чтоб было чему посмеяться, а особливо ребенка опиши так, чтоб на человека не походил». Можно вообразить себе, как солидный генерал изощрялся в нелепых шутках и как потешалась потом над своими придворными Анна, прочитав им полученное от наместника Украины «фальшивое письмо» о монстре, родившемся у госпожи Матвеевой.

История другого шута — Михаила Голицына — весьма трагична. Он был внуком знаменитого боярина князя Василия Васильевича Голицына — первого сановника времен царевны Софьи, жил с дедом в Пинеге, а потом был записан в солдаты. В 1729 году он уехал за границу. В Италии перешел в католицизм, женился на простолюдинке-итальянке и вернулся с ней в Россию. Свою новую веру и брак с иностранкой Голицын тщательно скрывал. Но потом все открылось и в наказание за отступничество его взяли в шуты. В иных обстоятельствах Голицын в лучшем случае мог бы попасть в монастырь. Однако до императрицы Анны дошли

сведения о его необычайной глупости. Она приказала привезти Голицына в Петербург, на «просмотре» князь понравился государыне, и 20 марта 1733 года Анна сообщила Салтыкову, что «благодарна за присылку Голицына, Милютина и Балакиревой жены, а Голицын всех лучше и здесь всех дураков победил, ежели еще такой же в его пору сыщется, то немедленно уведомь». Его же несчастной жене-итальянке в чужой стране жилось нелегко. Анна справлялась о ней у Салтыкова, и тот поручил разведать о жене Голицына каптенармусу Лакостову. Каптенармус нашел женщину в Немецкой слободе в отчаянном положении — без денег, без друзей. «Она нанимает квартиру бедную и в той квартире хозяин выставил двери и окошки за то, что она, княгиня, денег за квартиру не платит, а ей... не токмо платить деньги, и дневной пищи не имеет и ниоткуда никакой помощи к пропитанию не имеет... и валяется на полу, постлать и одеться нечем». Женщина «со рвением говорила, хотя бы-де мне дьявол денег дал, я бы ему душіу свою отдала, видишьде какое на мне платье и какая у меня постеля... При том же она говорила и тужила: где-де ныне мой сын, князь Иван, которого я родила с ним, князем Михайлом Алексеевичем», который, по ее словам, внезапно исчез и не подавал никаких вестей. Неизвестно, помогла ли ей Анна тогда, но через год несчастную женщину было велено привезти в Петербург и чтобы «явитца у генерала Ушакова тайным образом». Это было в сентябре 1736 года. С тех пор следы Голицыной теряются в Тайной канцелярии. Муж же ее благополучно жил при дворе и получил прозвище Квасник потому, что ему поручили подносить государыне квас.

У князя Никиты Волконского, супруга покойной Асечки, были другие обязанности — он кормил любимую собачку императрицы Цитриньку и разыгрывал бесконечный шутовской спектакль — будто он по ошибке женился на князе Голицыне. При этом императрица, увлеченная очередной «интригой», писала Салтыкову, чтобы главнокомандующий Москвы передал письмо Волконского его управителю, «в котором написано, что он женился вправду, и ты оное сошли к нему в дом стороною, чтоб тот человек не дознался и о том ему ничего сказывать не вели, а отдай так, что будто то письмо прямо от него писано». Так и видишь, как самодержица Всероссийская вот-вот лопнет со смеху от задуманной ей смешной интриги в ожидании еще более забавного продолжения.

Не все, конечно, подходили в шуты привередливой госпоже. Апраксину, Волконскому и Голицыну нужно было немало потрудиться, чтобы угодить ей. В отборе шутов импе-

ратрица была строга — обмана не терпела, и благодаря одному только княжескому титулу удержаться в шутах не представлялось возможным. При этом ни шуты, ни окружающие, ни сама Анна не воспринимали назначение в шуты как оскорбление дворянской чести. Когда в августе 1732 года Анна потребовала прислать в Петербург упомянутого Волконского, то, чтобы успокоить кандидата в шуты, вероятно напуганного внезапным приездом за ним нарочных гвардейцев, она писала Салтыкову: «И скажи ему, что ему ведено быть за милость, а не за гнев». Именно как милость, как привилегированную государеву службу воспринимали потомки Рюриковичей и Гедиминовичей службу в шутах. Впрочем, нередко и в прежние времена шутами в России бывали знатные люди. Известна печальная судьба шута — князя Осипа Гвоздева, убитого на пиру Иваном Грозным. В списке придворной челяди вдовой царицы Евдокии Федоровны за 1731 год мы находим имя князя Д. Елышева — лакея.

Шуты из знати существовали и при Петре I. Это неудивительно — титулованные высокопоставленные чиновники, князья, графы, обращаясь к государю, по-прежнему подписывались: «Раб твой государской, пав на землю, челом бьет» (эта формула заменила запрещенные Петром подписи XVII века на челобитных: «Холоп твой Ивашка (или Петрушка, Никишка и т.д.) челом бьет...»). Так подписывался, к примеру, генерал-адмирал, кавалер и президент Адмиралтейской коллегии Ф. М. Апраксин. При Анне подписывались так же: «Всенижайше, рабски припадая к стопам Вашего императорского величества...» И это не была какая-то особая форма унижения, сопровождающая слезную просьбу, это была обыкновенная форма подписи под рапортом, докладом на высочайшее имя. Естественно, что в обществе поголовных государевых холопов ни для князя, ни для графа, ни для знатного боярина не считалось зазорным быть шутом или лакеем, выносящим горшки, — тоже ведь государева служба. Грань между шутовской и «серьезной» должностью была вообще очень тонкой — вспомним шутовского «князь-папу» думного дворянина, графа Никиту Зотова, который одновременно был и шутом при дворе Петра I, и начальником Ближней канцелярии — центрального финансового органа управления. Уместно припомнить и шутовского «князь-кесаря» князя Федора Ромодановского, долгие годы ведавшего страшным Преображенским приказом — политическим сыском...

Читая письма Анны, начинаешь понимать, что для нее подданные — государственные рабы, судьбой, жизнью, имуществом которых она свободно распоряжалась по своему усмотрению: «Изволь моим указом сказать Голицыной — «сурмленой глаза» (кличка. — *Е. А.*), чтоб она ехала в Петербург, что нам угодно будет, и дать ей солдата, чтоб, конечно, к Крещенью ее в Петербург поставить или к 10 января» (декабрь 1732 года). В другом письме от 8 февраля 1739 года читаем: «Прислать Арину Леонтьеву с солдатом, токмо при том обнадежите ее нашею милостию, чтоб она никакого опасения не имела и что оное чинится без всякого нашего гневу».

Из многих материалов видно, что Анну — человека переходной эпохи неудержимо тянуло прошлое с милыми для нее привычками, нравами. Это был мир так называемой «царицыной комнаты». Известно, что в Кремле царица имела свой двор: штат верховых боярынь, мам царевичей и царевен, казначеев, комнатных псаломщиц, чтиц, боярышень-девиц, сенных девиц, которые постоянно жили в комнатах царицыной части дворца. С ними рядом находились постельницы, комнатные бабы — лекарки. На самом низу служилой лестницы располагались дурки-шутихи, уродки, старухи-богомолицы, девочки-сиротинки, дети-инородцы (калмычки, арапки, грузинки). В таком мире Анна жила при дворе матушки Прасковьи Федоровны, и Петр, приезжая в Измайлово, каждый раз брезгливо разгонял по лестницам и закоулкам дворца целую стаю убогих и калек.

Взойдя на престол, Анна стала постепенно возрождать в Петербурге «царицыну комнату». Конечно, в полном объеме это сделать было невозможно — времена московских теремов прошли, но какие-то элементы «комнаты» появились и при императорском дворе в 1730-е годы. Старые порядки появлялись как бы сами собой, как ожившие воспоминания бывшей московской царевны, разумеется, с новациями, которые принесло время. По документам можно проследить, как Анна собирает по кусочкам свою «комнату», выписывая из Москвы, из монастырей всеми забытых, но памятных ей, Анне, старушек-матушек, приживалок прежнего Измайлова. Одновременно идет, как уже сказано выше, тщательная селекция шутов, выписываются из разных мест новые персонажи: «Отпиши Левашову (в то время — главнокомандующему русскими войсками в Персии. — *Е. А.*), чтоб прислал 2 девочек из персиянок или грузинок, только б были белы, чисты, хороши и не глупы». Это из письма Семену Салтыкову в 1734 году. При дворе появляются две «тунгузской породы девки», отобранные у казненного иркутского вице-губернатора Андрея Жолобова. В 1738 году С. А. Салтыков по-

лучил указ найти несколько высокорослых турок для исполнения обязанностей гайдуков на каретах. К письму была приложена «мера, против которой, как лучше возможно выбрать надлежит, чтоб меньше оной не были». Так, наверное, главнокомандующий и поступал — измерял по эталону всех привезенных к нему пленных турок. В 1732 году императрица пишет Салтыкову: «По получении сего письма пошли в Хотьков монастырь и возьми оттудова матери безношки приемышка мальчика Илюшку, дав ему шубенку, и пришли к нам на почте с нарочным салдатом, также есть у Власовой сестры тетушки сын десяти лет... и его с Илюшкой пришли вместе».

Как и у матушки-царицы Прасковьи Федоровны, у Анны появились свои многочисленные приживалки и блаженные с характерными и для прошлого, семнадцатого века кличками: «Мать-Безножка», «Дарья Долгая», «Девушка-Дворянка», «Баба-Катерина». Воспоминаниями о безвозвратно ушедшем измайловском детстве веет из писем Анны к Салтыкову. Императрица собирает чем-то памятные ей с детства вещицы, даже проявляет интерес к истории. В октябре 1732 года она пишет Салтыкову: «Спроси у князя Василья Одоевского, нет ли у него в казенных (кладовках. — *Е. А.*) старинных каких книг русских и которыи прежних государей, чтоб были в лицах, например о свадьбах или о каких-нибудь прочих порядках». В другой раз она требует прислать к ней «портрет поясной сестры царевны Прасковьи Иоанновны», письма «матушки» и сестер, хранившиеся в Кабинете. Со смерти матери царицы Прасковьи Федоровны прошло уже много лет, бесчисленные обиды, которые претерпела Анна от матери (известно, что перед смертью та было прокляла дочь), и недоразумения забылись, и, как каждый человек, Анна грустит и вспоминает безвозвратно ушедшее прошлое: «Слышала я ныне, что у царевны Софьи Алексеевны в Кремле и в Девичье монастыре были персоны моего батюшки, также и матушки моей поясныя, а работы Виниюсовой, а матушкин портрет в каруне (короне. — *Е. А.*) написан». Анна просит Салтыкова его найти: «Мне хочется матушкин патрет достать».

Императрица хотела найти людей, памятных ей с детства, знавших ее и родителей, а потом куда-то исчезнувших. Так, в июле 1734 года Анна предписывает найти и прислать к ней Аксинью Юсупову, «которая жила у матушки». Если эти люди умерли или были уже стары, то просила подобрать замену: «Поищи в Переславле из бедных дворянских девок или из посадских, которая бы похожа была на Татьяну Новокрещенову, а она, как мы чаем, уже скоро умрет, то чтобы годны ей на перемену; ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которыя бы были лет по сорока и так же б говорливы, как та, Новокрещенова, или как были княжны Настастья и Анисья Мещерская». Умение говорить без перерыва, рассказывать сказки и байки, талантливо пересказывать сплетни очень ценила скучавшая от безделья Анна, природное любопытство и склонность к сплетням которой отмечал даже заезжий иностранец Фрэнсис Дэшвуд. В 1734 году, предписывая забрать у княгини Вяземской некую девку, императрица приказывала от себя успокоить ее, «чтоб она не испужалась... я ее беру для забавы, как сказывают, она много говорит».

Впрочем, не всякого человека из прошлого Анна была готова встретить с распростертыми объятиями. В декабре 1734 года она с тревогой писала Салтыкову: как слышно, некая княжна Марья Алексеевна, жившая в Москве и чем-то серьезно больная, собралась навестить государыню в Петербурге. Салтыков должен был предупредить этот нежелательный для мнительной Анны визит: «Надобно ей сказать, чтоб она лучше осталась дома для того она человек больной, а здесь у меня особливо таких мест нет, где держат больных».

Конечно, не только «собиранием комнаты» и забавами шутов тешилась русская императрица. На нее в полной мере распространялась харизма российских самодержцев. Как и Екатерина I, она претендовала на роль «Матери Отечества», неустанно заботившейся о благе страны и ее подданных. В указах это так и называлось: «О подданных непрестанно матернее попечение иметь». В день рождения императрицы, 28 января 1736 года, Феофан Прокопович произнес приветственную речь, в которой, как сообщали на следующий день «Санкт-Петербургские ведомости», подчеркивал, что приятно поздравлять того, «который не себе одному живет, но в житии своем и других пользует и тако и прочим живет». А уж примером такой праведной жизни может быть сама царица, «понеже Ея величество мудростью и мужеством своим не себе самой, но паче всему Отечеству своему живет».

Однако сама императрица понимала свою роль не столь возвышенно, как провозглашал с амвона златоустый витий Феофан. Она и здесь ощущала себя скорее рачительной и строгой хозяйкой большого поместья, усадьбы, где для нее всегда находилось дело. Роль верховной свекрови-тещи, всероссийской крестной матери, общей кумы, несомненно, нравилась императрице. Она, с общепринятой точки зре-

ния, сама погрязшая в грехе сожительства с чужим мужем, сурово судила всякие отклонения от принятых канонов, вольности и несанкционированные амуры. Как-то в «Санкт-Петербургских ведомостях» был опубликован такой «отчет»: «На сих днях некоторой кавалергард полюбил недавно некоторую российской породы девицу и увезти [ее] намерился». Далее подробно описывается история похищения девицы прямо из-под носа у сопровождавшей ее бабушки и тайное венчание в церкви. «Между тем учинилось сие при дворе известно (можно представить себе, какое разнообразие в скучную жизнь двора Анны внесло это известие! — *Е. А.*), и тогда в дом новобрачных того ж часу некоторая особа отправлена, дабы оных застать. Сия особа (полагаю, что это был А. И. Ушаков, начальник сыска. — *Е. А.*) прибыла туда еще в самую хорошую пору, когда жених раздевался, а невеста на постели лежала». Все участники приключения именем государыни были арестованы, взяты под караул и «ныне, — заключает придворный корреспондент, — всяк желает ведать, коим образом сие куриозное и любительное приключение окончится». Нет сомнений, что операцией по срыву «незаконной» первой брачной ночи из своего «штаба» руководила сама государыня — незыблемый оплот нравственности подданных, глава Русской Православной Церкви.

Но особенно любила императрица быть свахой, женить своих подданных. Речь не идет об обычном, традиционном позволении, которое давал (или не давал) самодержец на просьбу разрешить сговоренную свадьбу. Анна такие высочайшие позволения также давала, но при этом часто сама выступала свахой в прямом смысле слова. И, как понимает читатель, отказать такой свахе было практически невозможно.

Лишь нечто из ряда вон выходящее могло помешать намеченному императрицей браку. «Сыскать, — пишет Анна Салтыкову 7 марта 1738 года, — воеводскую жену Кологривую и, призвав ее себе, объявить, чтоб она отдала дочь свою за [гоф-фурьера] Дмитрия Симонова, которой при дворе нашем служит, понеже он человек добрый и мы его нашею милостию не оставим». Через неделю Салтыков отвечал, что мать невесты сказала, мол «с радостию своею... и без всякаго отрицания отдать готова» дочь, но той лишь 12 лет. Получился некоторый конфуз.

Но обычно сватовство Анне удавалось. Вообще все, связанное с браком и амурными делами ее подданных, страшно интересовало императрицу, готовую при случае лично припасть к замочной скважине. При этом нельзя не заметить, что в шумных хлопотах Анны о семейном благополучии своих подданных скрыто звучит трогательная нота участия к беззащитным, бедным людям, которые, как некогда она сама, не смогли устроить свою судьбу и поэтому могут остаться несчастливы. В письме Салтыкову в 1733 году она хлопочет о судьбе каких-то двух бедных дворянских девушек, «из которых одну полюбил Иван Иванович Матюшкин и просит меня, чтоб ему на ней жениться, но оне очень бедны, токмо собою недурны и неглупы и я их сама видела, того ради, по получении сего, призови ево отца и мать и спроси, хотят ли они его женить и дадут ли ему позволение, чтоб из помянутых одну, которая ему люба, взять, буде же заупрямятся для того, что оне бедны и приданаго ничего нет, то ты им при том разсуди и кто за него богатую даст». В январе 1734 года Анна Иоанновна с удовлетворением сообщала Салтыкову, что Матюшкин благополучно женился и что «свадьба была изрядная в моем доме», то есть государыня устроила свадебный пир бедной молодой паре в своем Зимнем дворце!

Интересы императрицы-сплетницы были чрезвычайно обширны и разнообразны. По ее письмам легко представить себе источники информации государыни — в основном сплетни, слухи, которые, к великой радости повелительницы, приносили на хвосте ее челядинцы: «уведомились мы...», «слышала я...», «слышно здесь...», «слышали мы...», «чрез людей уведомились...», «известно нам...», «пронеслось, что...» и т. д. Так она писала о своих информаторах. Как бы пронзая взглядом пространство, императрица видит, что «у Василья Федоровича Салтыкова в деревне крестьяне поют песню, которой начало: «Как у нас, в сельце Поливанцове, да боярин от-дурак: решетом пиво цедил», что «в Москве, на Петровском кружале, стоит на окне скворец, который так хорошо говорит, что все люди, которые мимо едут, останавливаются и его слушают», что некто Кондратович, который «по указу нашему послан... с Васильем Татищевым в Сибирь, ныне... шатается в Москве», что «в украинской вотчине графа Алексея Апраксина, в деревне Салтовке, имеется мужик, который унимает пожары», что, наконец, «есть в доме у Василья Абрамовича Лопухина гусли». Естественно, императрица немедленно требует прислать гусли, «увязав хорошенько», в Петербург, так же как и списать слова потешной песни, доставить скворца и мужика, а Кондратовича, как и многих других, за кем присматривает рачительная хозяйка, немедленно отправить на службу.

Мелочность, присущая ей в обыденной жизни, проявлялась и в том, как она преследовала своих политических про-

тивников. 24 января 1732 года Анна предписывает послать в тамбовскую деревню к опальным Долгоруким унтер-офицера, чтобы отобрать у них драгоценности, причем особо подчеркивает: «Также и у разрушенной (так презрительно называли невесту умершего императора Петра II — Екатерину Долгорукую. — *Е. А.*) все отобрать и патрет Петра Втараго маленькой взять».

Поручение было исполнено, и вскоре мстительная царица могла перебирать драгоценности и Долгоруких, и Меншикова (которые потом Анна Леопольдовна отнимет у Бирона, а у нее их в свою очередь отберет Елизавета). Не прошло и года, как Анну стали мучить сомнения — все ли изъято у Долгоруких, не утаили ли они чего? И вот 10 апреля 1733 года Семен Андреевич получает новый приказ: «Известно Нам, что князь Иван Долгорукий свои собственные пожитки поставил вместе с пожитками жены своей (Наталии Борисовны Долгорукой, урожденной Шереметевой. — *Е. А.*), а где оные стоят, того не знают. Надобно вам осведомиться, где у Шереметевых кладовая палата, я чаю, тут и князь Ивановы пожитки». Причем Анна приказывала не афишировать эту секретную акцию, а служащего Шереметевых «с пристрастием спросить, чтоб он, конечно, объявил, худо ему будет, если позже сыщется». Более того, все слуги после обысков и допросов в доме Шереметевых, произведенных в отсутствие хозяев, были вынуждены расписаться, «что оное содержать им во всякой тайности» под угрозой смертной казни.

Вообще-то шарить, когда вздумается, по пыльным чуланам своих подданных, проверять их кубышки и загашники, читать письма принято у власти издавна, а уж Анне с ее привычками и сам Бог велел. «Семен Андреевич! Изволь съездить на двор [к] Алексею Петровичу Апраксину и сам сходи в его казенную палату, изволь сыскать патрет отца его, что на лошади написан, и к нам прислать (хорош вид у обергофмейстера Двора Ея императорского величества, генерал-аншефа, кавалера, графа и главнокомандующего Москвы, который лезет в темную казенку или попросту пыльный чулан и копается среди рухляди! — *Е. А.*), а он, конечно, в Москве, а ежели жена его спрячет, то худо им будет».

Узнав о каких-либо злоупотреблениях, Анна распоряжалась не расследовать их, а вначале собрать слухи и сплетни: «Слышала я, что Ершов, келарь Троицкой, непорядочно в делах монастырских, и вы изволь, как возможно, тайным образом истину проведать и к нам немедленно отписать» (из письма 27 июля 1732 года).

В других случаях императрица-помещица предпочитала просто ради профилактики пригрозить забывшимся холопам-подданным. Примечательно письмо Салтыкову от 11 марта 1734 года по поводу некоего попа, который донес на своего дьякона непосредственно Анне, минуя московские инстанции: «Ты попа того призови к себе и на него покричи...» Ниже будет подробно сказано о введении государевых указов «с гневом».

Необходимо коснуться заповедных интересов Анны к сыску. Тайная канцелярия, созданная в 1732 году, была для Анны тем «слуховым аппаратом», который позволял ей слышать, знать, что думают о ней люди, чем они сами дышат и как пытаются скрыть от постороннего взгляда свои пороки, страстишки, тайные вожделения — словом, то, что иным путем до императрицы могло и не дойти. Материалы Тайной канцелярии свидетельствуют, что Анна постоянно была в курсе ее важнейших дел. Начальник Тайной канцелярии генерал А. И. Ушаков был одним из приближенных Анны и постоянно докладывал ей о делах своего ведомства. Он приносил итоговые экстракты закончившихся дел, а по ходу следствия докладывал устно. Важно заметить, что Анна активно влияла на расследование, давала дополнительные указания Ушакову, вносила поправки в ход следствия. Сама она никогда не приходила в застенок, но не раз Ушаков передавал ее устные указы своим подследственным.

С особым вниманием следила Анна за делами об «оскорблении чести Ея и. в.» — весьма распространенном тогда преступлении. В том, как реагировала на них императрица, видна ее обеспокоенность прочностью и авторитетом своей власти, ее подозрительность и недоверчивость. Уже в июне 1730 года из Измайлова она писала воронежскому вице-губернатору Пашкову о дошедших до нее слухах относительно «странного» поведения одного из церковных иерархов: «Слышно нам стало, что воронежский архиерей, получив через тебя ведомость о Богом данной нам императорской власти и указ о возношении имени Нашего с титлою в церковных молениях, не скоро похотел публичного о нашем здравии отправлять молебствия и бутто еще некое подозрительное слово сказал, а какое слово было и ты о том доносил куда надлежит? Скоро о всем обстоятельно с сим посланным напиши к нам, толикож отнюдь никому о сем не объявляй под опасением гнева нашего».

Судя по хорошему знакомству императрицы с делами Тайной канцелярии, у Анны не могло оставаться никаких иллюзий относительно того, что думает о ней ее народ, так

сказать «широкие народные массы». В крестьянских избах, в канцеляриях, дворянских особняках, за кабацким застольем, в разговорах попутчиков, на паперти церкви можно было услышать крайне нелестные отзывы о царствующей особе. В основном криминальные суждения делились на два типа. Первое хорошо отражает известная русская пословица: «У бабы волос долог, да ум короток» или же: «Владеет государством баба и ничего не знает», «Я бабьего указа не слушаю». А что сто́ит тост в застолье: «Здравствуй (то есть Да здравствует. — *Е. А.*), государыня, хотя она и баба!» Эти темы варьировались в разных, порой непристойных плоскостях и в таких выражениях, которые и приводить не стоит, дабы не возмущать читающую публику. Самое пристойное передается в бумагах Тайной канцелярии так: «Называл Ея императорское величество женским естеством, выговорил то слово прямо». В других случаях речь велась о том, что Бирон (иногда — Миних) «з государынею блудно живет» (или «телесно живет»), и далее следовали соответствующие весьма непристойные уточнения и вариации в том смысле, что «Един Бог без греха, а государыня плоть имеет, она-де гребетца».

Приведу отрывок из допроса подмосковного крестьянина Кирилова за 1740 год, который выразителен и, вероятно, ординарен для распространенных представлений народа об императрице: «В прошлом 739-м году по весне он, Кирилов, да помянутые Григорей Карпов, Тихон Алферов, Леонтий Иванов, Сергей Антонов в подмосковной деревне Пищалкиной пахали под яровой хлеб землю и стали обедать, и в то время, прислыша в Москве пальбу ис пушек, и он, Кирилов, говорил: "Палят знатно для какой-нибудь радости про здравие государыни нашей императрицы". И Карпов молвил: "Какой то радости быть?" И он же, Кирилов, говорил: "Как-та у нашей государыни без радости, она Государыня земной Бог, и нам ведено о ней, Государыне, Бога молить". И тот же Карпов избранил: "Растакая она мать, какая она земной Бог, сука, баба, такой же человек, что и мы: ест хлеб и испражняетца и мочитца, годитца же и ее делать..."» Весьма печально кончилось это дело для крестьянина Карпова, хотя и то, что говорил о земном Боге Кирилов, имело довольно сильный язвительный оттенок.

Среди материалов Тайной канцелярии есть такие, которые хоть и не касались важных политических дел, но привлекали особое внимание императрицы, любившей покопаться в чужом грязном белье. Такова история двух болтливых базарных торговок — Татьяны Николаевой и Акулины

Ивановой, подвергнутых тяжелым пыткам по прямому указу Анны, и дело баронессы Соловьевой, и дело Петровой — придворной дамы принцессы Елизаветы Петровны, и многих других людей, близких ко двору. Можно без сомнений утверждать, что жизнь постоянного потенциального оппонента Анны в борьбе за власть — Елизаветы Петровны, дочери Петра I, — проходила благодаря усердию ведомства Ушакова под постоянным наблюдением императрицы. Под контролем Анны были и все дела о «заговорах»: дела Долгоруких, Голицына и Волынского.

На экстрактах многих политических дел мы видим резолюции императрицы, которая окончательно решала судьбы попавших в Тайную канцелярию людей. Иногда они были более жестокие, чем предложения Кабинета министров или Ушакова, иногда наоборот — гораздо мягче. «Вместо кнута бить плетьми, а в прочем по вашему мнению. Анна» (дело упомянутой И. Петровой, 1735 года). Но в своем праве решать судьбы Анна, конечно, никогда не сомневалась и такие решения никому не передоверяла.

Были люди, которых Анна люто ненавидела и с которыми расправлялась со сладострастной жестокостью. Так случилось с княжной Прасковьей Юсуповой, которая по неизвестной причине (думаю — из-за длинного языка) была сослана в монастырь сразу же после воцарения Анны. Но и в Тихвине княжна не «укротилась». Вскоре до двора дошли ее крамольные речи о том, что если бы императрицей была Елизавета, то ее в такой дальний монастырь не сослали бы, и что при дворе много иноземцев, и что... одним словом, обычная болтовня. Но она дорого обошлась княжне и ее товарке Анне Юленевой, которую пытали в Тайной канцелярии. 18 апреля 1735 года Анна начертала на докладе Ушакова о Юсуповой резолюцию: «Учинить наказание — бить кошками и постричь ее в монахини; а по пострижении из Тайной канцелярии послать княжну под караулом в дальний крепкий девичий монастырь... и быть оной Юсуповой в том монастыре до кончины жизни ее неисходно». Порой видно, как глубоко вникала Анна в дела сыска, особенно если в них шла речь о людях света. Тогда Анна давала распоряжения как опытный следователь, не останавливаясь перед пытками: «Спросить с пристрастием накрепко (высшая степень пытки. — *Е. А.*) под битьем батогами...»

Тайная канцелярия, делами которой так пристрастно интересовалась императрица, казалась пыточным подвалом ее «усадьбы». Поднявшись из него, царица могла заняться и вполне интеллектуальными делами. О том, что императрица

была «не чужда» и науке, мы можем заключить из ее указа генерал-лейтенанту князю Трубецкому от 8 октября 1738 года: «О найденной в Изюме волшебнице бабе Агафье Дмитриевой, которая, будучи живая, в допросе показала, будто она через волшебство оборачивалась козою и собакою и некоторых людей злым духом морила, и объявила и о других, которые тому ж волшебству обучались (из которых некоторые, також и оная баба сама, после допроса померли), а прочих, оговоренных от нея, людей послали вы сыскивать, и когда те люди, показанные от помянутой умершей бабы, сыщутся и по допросам в том волшебстве себя признают или другими обличены будут, то надлежит учинить им пробу, ежели которая из них знает вышеозначенное волшебное искусство, чтоб при присутствии определенных к тому судей (жаль, что не академиков. — *Е. А.*) в козу или собаку оборотились. Впрочем, ежели у них в уме помешания нет, то, справясь о их житии, оных пытать и надлежащее следствие по указам Нашим производить».

Ныне трудно сказать, каким государственным деятелем в действительности была императрица Анна. Думаю, что таковым она вообще не являлась, и если мы видим в указах Анны или газетах тех времен фразу о том, что императрица «о государственных делах ко удовольствованию всех верных подданных еще непрестанно матернее попечение имеет» или «изволит в государственных делах к безсмертной своей славе с неусыпным трудом упражняться», стоит относиться к этому с большим скепсисом. Пространные резолюции Анны по довольно сложным делам написаны канцелярским почерком и такими оборотами, которыми Анна явно не владела. Краткие же собственноручные резолюции типа: «Выдать», «Учинить по сему», «Жалуем по его прошению» и тому подобные об особенном даровании государственного деятеля не свидетельствуют.

Впрочем, Анна и не стремилась прослыть выдающимся государственным деятелем и мыслителем и явно не испытывала потребности начать философскую переписку, например, с Шарлем Монтескье. Она жила в своем, достаточно узком и примитивном мире и была, по-видимому, этим вполне довольна. Ей казались важными не только вопросы государственной безопасности или фиска, но и масса таких дел, которые покажутся нам смешными и недостойными правителя великого государства. Конечно, Анна выдерживала принятый со времен Петра официальный протокол. Она, приняв по сложившейся при Петре традиции чин полковника Преображенского и Семеновского полков, присутствовала на парадах. Правда, в них она в отличие от Петра не участвовала. Лишь однажды, летом 1730 года, в Измайлове, «как оные полки в парад поставлены, Сама, яко полковник оных полков, в своем месте стать изволила, отчего у всех при том присутствующих, а особливо у офицеров и солдат, неизреченную радость и радостное восклицание возбудила». Принимала императрица послов, «трактовала» орденоносцев тогдашних трех орденов, устраивала обеды и сменившие петровские ассамблеи куртаги, где со страстью «забавлялась» картами, причем ее карточные долги должны были платить подданные.

Присутствовала она и при спуске судов, после чего, как повелось при царе-плотнике, праздновала рождение нового корабля. Но по документам тех лет хорошо видно, что морские страсти Петровской эпохи поутихли, наступило время эпигонства. Вот как описывается в «Санкт-Петербургских ведомостях» торжества на борту только что сошедшего со стапеля 100-пушечного корабля «Императрица Анна» в июне 1737 года. Корабль основательно подготовили к празднеству в духе нового времени: на палубе натянули шатер, разложили персидские ковры и «индеанские покрышки», так что палуба боевого корабля «уподобилась великому залу». При Петре такого быть не могло — в домах, где проводились праздники, лишь постилали на пол толстый слой сена и соломы, чтобы гости, которые под сильным давлением самого царя перепивались, не испортили паркетных полов всем тем, что изливалось из них при гомерическом пьянстве. При дворе же Анны пьяных, как мы уже знаем, не любили.

На палубе корабля установили роскошный балдахин для императрицы и два стола — для дам и для кавалеров. Между столов «италианские виртуозы, которые во время обеда разные кантаты и концерты пели, а в нижней части корабля (там, где при Петре, вероятно, грудами лежали павшие в сражении с Бахусом — Ивашкой Хмельницким. — *Е. А.*) поставлены были литаврщики и трубачи для играния на трубах и литавренного бою, что с наибольшим радостным звуком отправлялось, когда про всевысочайшее Ея императорского величество, также императорской фамилии и их высококняжеских светлостей герцога и герцогини здравие пили». Напомним, что пили все же умеренно и пьяных безобразий вроде лазания на мачты с кружками в зубах, как случалось при Петре, не было и в помине.

Весь этот пассаж с кораблем в рассказе о личности императрицы Анны не кажется мне случайным. Действитель-

но, банальный образ России — только что спущенного на воду корабля — неразрывно связан с Петровской эпохой, временем самодержавного романтизма, смелых, головокружительных замыслов о плавании русских кораблей в Мировом океане и русском флаге на Мадагаскаре и в Индии. Да, в послепетровское время инерция мощного толчка сохранялась и Россия еще напоминала только что спущенный со стапеля корабль, но теперь, во времена одной из преемниц великого преобразователя России, он был украшен персидскими коврами и «индеанскими покрышками». Вместо пушечных выстрелов с его бортов слышался «литавренный» грохот, а слух повелительницы ублажало пение скрипок итальянских виртуозов.

В сущности, этот грандиозный корабль — «Императрица Анна», который современники считали самым большим в мире, был и не нужен: в Мировой океан Россия пока не собиралась, имперские аппетиты ее еще только разгорались. И корабль этот, который для большего удобства императрицы и ее свиты подтащили вверх по Неве к самому Летнему дворцу, более напоминал тот ботик, на котором по тихим прудам Измайлова некогда «в прохладе» катались царевны — дочери царицы Прасковьи Федоровны. Правда, «ботик» стал побольше, а приятный пикник на воде приобрел вид торжественной церемонии, но суть осталась прежней.

Собственно, вся петербургская жизнь Анны была возвращением к измайловской «прохладе». Когда читаешь официальные сообщения о времяпрепровождении императрицы, то мелькают весьма характерные для состояния «прохлады» выражения: Анна «при всяком высоком благополучии нынешнее изрядное летнее время с превеликим удовольствием препровождает», *или она «при выпавшем ныне довольном* снеге санною ездою забавлялась», или слушала концерт «к своему высочайшему удовольствию», а также «изволила по Перспективной гулять» (то есть прогуливаться по Невскому). Летом же чаще всего подданные узнавали из газеты, что императрица в Петергофе «с особливым удовольствием забавляться изволит». Конечно, это делалось исключительно «к несказанной радости всех верных подданных».

Особо нужно сказать об отношении Анны к Церкви. Она была глубоко верующим человеком, хотя и весьма суеверным, унаследовав от измайловских времен любовь к «святым людям», убогим странникам — традиционным носителям Божественной истины. Вместе с тем в церковной политике Анны сохранялась прежняя, петровская жесткость. В 1730-х годах продолжилась борьба власти против «тунеядцев» — монахов, число монастырей уменьшалось. В 1734 году было запрещено вообще кого-либо постригать в монахи, кроме вдовых священников и отставных солдат. Белому духовенству было не велено принимать монахов даже на ночлег. На Церковь смотрели как на государственную контору и, когда в 1736 году выяснилось, что в армии, воевавшей с турками, не хватает полковых священников, не церемонясь объявили «призыв» и насильно забрали в армию немалое количество служителей Церкви. Вместе с тем из документов эпохи отнюдь не следует, что самый известный тогда церковный деятель Феофан Прокопович пользовался при дворе особым фавором. Со свойственной ему «пронырливостью» он всячески старался приблизиться к государыне, был безмерно льстив и угодлив, но Анна держала лукавого монаха на расстоянии.

Зато всей душой привязалась она к архимандриту Троице-Сергиевого монастыря Варлааму, о котором будет сказано ниже. Благодаря этому старинный русский монастырь был при ней официально признан главной обителью империи, чего он был лишен в 1725 году. Анна отпустила серебро на создание знаменитой раки преподобного Сергия Радонежского. Все это ударило по значению первенствующего тогда Александро-Невского монастыря, где заправлял Феофан.

Но кроме суеверного старомосковского благочестия у Анны было еще одно пристрастие, необычайное для московской царевны, о котором стоит сказать подробнее. Она слыла прекрасным стрелком, достигшим поразительных успехов на этом поприще. Как известно, дед Анны, царь Алексей Михайлович, был страстный охотник, и в том, что его внучка пристрастилась к любимой потехе русских царей — звериной травле, то есть зрелищу грызни собак с медведями, волками, травли оленей, кабанов или науськанных друг на друга крупных хищников, нет ничего удивительного. Указаниями на подобное времяпрепровождение пестрят страницы государственной газеты анненского времени. Например: «Вчерашняго дня гуляла Ея императорское величество в Летнем саду и при том на бывшую в оном медвежью травлю смотрела» (31 мая 1731 года). По-видимому, при Зимнем дворце был устроен специальный зверинец с манежем наподобие древнеримского цирка, куда и приходила развлечься императрица. Так и следует понимать часто повторяемую информацию «Санкт-Петербургских ведомостей»: «Едва не ежедневно по часу пред полуднем» императрица «смотрением в Зимнем доме бывающей медвежьей и

волчьей травли забавляться изволила». 14 мая 1737 года Анна изволила «забавляться травлею диких зверей. При сем случае травили дикую свинью, которую, наконец, Ея императорское величество собственноручно застрелить изволила». Вот тут-то и начинается самое удивительное. Охотничьи увлечения Анны ничем не походили на соколиные и псовые охоты царя Алексея Михайловича или на охоты Елизаветы Петровны с борзыми, где огромную роль играли знание повадок зверей, умелая организация гона и чутье охотника. Оказывается, не сама охота привлекала Анну, а стрельба в живую мишень. Стрельба по мишени или по птицам была главным занятием Анны особенно в Петергофе. «Наша монархиня находится здесь (в Петергофе. — *Е. А.*) со всем придворным статом во всяком возделенном благополучии и изволит всякий день после обеда в мишень и по птицам на лету стрелять» — так писали «Санкт-Петербургские ведомости» от 19 августа 1735 года. Более того, государыня втягивала в это занятие придворных, суля им щедрые награды. Так, 25 июля 1737 года государыня «приказала при дворе учредить стреляние птиц, а награждение за оное состояло в золотых кольцах и алмазных перстнях». Сама же Анна хваталась за первое попавшееся ей ружье (их специально расставляли во всех простенках дворца Монплезир), завидев пролетающую мимо ворону, галку или чайку. Кроме того, Анна била из ружья по птицам, которых в большом количестве содержали в вольерах. Согласно легенде, в одной из панелей Лакового зала Монплезира сидели две пули, выпущенные императрицей по ошибке. Монплезирским слугам нужно было глядеть в оба, чтобы не попасть под огонь российской Дианы. Впрочем, Анна была стрелком отменным, хорошо знала оружие и особенно ценила ружья Сестрорецкого завода. Штуцера, легкие и удобные, для нее делали по специальному заказу, украшали резьбой и золотой гравировкой, снабжали изящными фигурными ложами. По-видимому, у государыни собралась хорошая коллекция оружия и не раз она требовала, чтобы легкие штуцера присылали из Оружейной палаты, искали их в Преображенском. А в 1736 году из Петергофа Остерман писал русскому посланнику в Париже князю А. Д. Кантемиру, чтобы он немедленно прислал «шесть французских фузей лучший работы и от лутчаго знатного мастера». Анна, как опытный спортсмен, стреляла ежедневно, не упускала случая предаться любимому занятию даже в дороге: «Во время пути изволила Ея величество в Стрельной мызе стрелянием по птице и в цель забавляться». Так написано в газете 1737 года.

В окрестностях Петергофа, где в течение всего царствования Анны слышалась, как при осаде Очакова, непрерывная пальба, создали крупные загоны, куда со всей страны свозили различных зверей и птиц. В этих загонах, прогуливаясь по парку, и «охотилась» наша коронованная Диана. Убить зверя в этих условиях ей не составляло никакого труда, да и стреляла она и в самом деле отлично. Государыня брала то ружье, то лук, а так как она была женщиной крупной и сильной, натянуть тугую тетиву ей было вполне под силу. Впрочем, Анна охотилась и с собаками. Для нее за огромные деньги в Англии и Франции специально закупали самых экзотических для России того времени охотничьих собак: бассетов, английских гончих, легавых, хортов, такс.

Устраивали в Петергофе и варварские охоты с так называемых «ягт-вагенов» — особых высоких повозок, которые устанавливали в центре поляны. Задолго до начала охоты сотни загонщиков охватывали сплошным кольцом огромные лесные массивы и несколько суток напролет гнали из лесу все живое, что бегало по земле. Постепенно круг сужался, звери попадали в длинный и высокий полотняный коридор (для хранения этого корабельного полотна был построен специальный цейхгауз). Коридор становился все уже, а полотняные стены его все выше и выше. Вскоре вся масса несчастного зверья — медведи, волки, лоси, олени, зайцы, козы, кабаны, рыси — все вместе попадали на ограниченную полотняной стеной поляну, посреди которой стоял ягт-ваген императрицы и ее вооруженной до зубов свиты. Анна открывала огонь, а ее обер-егерь Бом непрерывно подавал государыне одно заряженное ружье за другим. Он даже придумал особые гильзы, смазанные салом, что помогало быстро перезаряжать ружья. Бойня продолжалась до «полной победы». После этого не удивляют грандиозные «успехи» российской Дианы, убившей только за два с небольшим месяца своего пребывания в Петергофе в 1740 году 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волка, 374 зайца, 68 диких уток и 16 морских птиц. Впрочем, уток и птиц государыня скорее всего била влет прямо из окна Монплезира. В общем, земля Монкуража была пропитана кровью сотен, а может быть, тысяч зверей...

Попутно замечу, что Петергоф, ставший при Анне любимым загородным местом отдыха, преобразился. О прежнем запустении не могло идти и речи. Анна распорядилась продолжить и завершить начатые Петром I постройки. Дело поручили Михаилу Земцову. Началась серьезная перестройка фонтанов, была развита сеть аллей Верхнего сада и Нижне-

го парка. Б. К. Растрелли одну за другой создавал свинцовые статуи, которые золотили и укрепляли на подножии фонтанов. В 1735 году в ковше Большого каскада по модели Растрелли был отлит и установлен знаменитый Самсон. Сама идея фонтана — памятника победе России под Полтавой 27 июня 1709 года, в день святого Сампсония, была весьма популярна в литературе и искусстве петровского времени, но изображение богатыря Самсона (Россия), раздирающего пасть льву (Швеция), появилось в анненскую эпоху. С тех же времен дошел до нас прелестный фонтан «Дубок», который придумал Б. К. Растрелли. Не меньше внимания уделяли птичнику и обширному зверинцу, столь любимому императрицей.

Конечно, грандиозные охоты и ежедневная стрельба требовали большого количества дичи, которой в окрестностях Петергофа, да и в Петербургской губернии уже не хватало. И тогда во все концы страны рассылались указы о ловле зверей и птиц, которыми пополнялись зверинец и «менажерии» — птичники. Сделать это было не всегда легко. Генерал А. И. Румянцев — военный администратор Украины — в конце 1739 года сокрушался, что указ «о добытии в Украине зверей, диких кабанов и коз и о ловле куропаток серых» выполнить не может «за весьма опасным от неприятеля... (шла война с турками и татарами. — *Е. А.*) и за приключившеюся в малороссийских полках продолжающеюся опасною болезнью».

Конечно, здесь можно порассуждать о «комплексе амазонки», обратить внимание на силу, мужеподобные черты и грубый голос императрицы, сделать из этого далеко идущие выводы и окончательно запутать доверчивого читателя. Но я делать этого не буду, тем более что ни шуты, ни стрельба не могли вытеснить самой главной страсти императрицы Анны к единственному, обожаемому ею мужчине — Эрнсту Иоганну Бирону.

Глава 4

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ИМПЕРАТРИЦЕЙ

Ни один из придворных льстецов, как бы подобострастен и лжив он ни был, не решился назвать императрицу Анну Иоанновну красавицей. Это было бы уж слишком, что хорошо видно по всем ее портретам. Вот она сидит на троне — высокая, грузная женщина. Короткая шея, ниспадающие на плечи локоны густых, смоляных волос. Открытое белое платье с фламандским кружевом не выглядит изящным и красивым, не придает ей женственности и шарма. Длинный нос, угрюмый вид, недобрый взгляд черных глаз... Ох, не красавица! И не добрейшей души человек! Это мы уже поняли из предыдущей главы. Попробуем дополнить этот известный портрет и сделать его групповым портретом с дамой. Итак, вокруг трона Анны почтительно замерли ее главнейшие сподвижники. Расскажем о некоторых из них...

Справа от государыни — высокий, красивый человек с несколько одутловатым, надменным лицом и тяжелым взглядом. Это тот, кто стал притчей во языцех в анненское царствование и оставил свое имя для целой эпохи русской истории — «бироновщина».

Герцог Бирон, или Любимый обер-камергер

Сыну фельдмаршала Б. Х. Миниха, Эрнсту Миниху, принадлежат весьма выразительные строки об отношениях Анны и Бирона: «Сердце ее (Анны. — *Е. А.*) наполнено было великодушием, щедротою и соболезнованием, но ее воля почти всегда зависела больше от других, нежели от нее самой. Верховную власть над оною сохранял герцог Курляндский даже до кончины ее неослабно, и в угождение ему

сильнейшая монархиня в христианских землях лишала себя вольности своей до того, что не токмо все поступки свои по его мыслям наитончайше распоряжала, но также ни единого мгновения без него обойтись не могла и редко другого кого к себе принимала, когда его не было».

Остановим мемуариста. Во-первых, не забудем, что он сын своего знаменитого и весьма амбициозного отца, который, конечно, сам был бы не прочь «лишить вольности» императрицу и занять место Бирона с правой руки императрицы. Во-вторых, о какой «вольности» в представлениях Анны — по складу характера женщины домостроевского XVII века, умолявшей, как мы помним, своего дядюшку Петра Великого побыстрее решить ее «супружественное дело», — может вообще идти речь? В Бироне Анна нашла своего избранника и подчинилась ему, как подчинилась бы любому определенному дядюшкой или судьбой мужу. И подчинение это не было для нее тягостным, как полагает «вольнолюбивый» отпрыск фельдмаршала.

Впрочем, далее он пишет: «Никогда на свете, чаю, не бывало дружественнейшей четы, приемлющей взаимно в увеселении или скорби совершенное участие, как императрицы с герцогом Курляндским. Оба почти никогда не могли во внешнем виде своем притворствовать. Если герцог являлся с пасмурным лицом, то императрица в то же мгновение встревоженный принимала вид. Буде тот весел, то на лице монархини явное напечатывалось удовольствие. Если кто герцогу не угодил, то из глаз и встречи монархини тотчас мог приметить чувствительную перемену. Всех милостей надлежало испрашивать от герцога, и через него одного императрица на оные решалась». Есть множество других источников, которые подтверждают полнейшую зависимость Анны от Бирона. Но все-таки в их отношениях обращает на себя внимание одна выразительнейшая деталь, которую, как и другие мемуаристы, подметил Миних-сын.

Он писал о том, что Анна и Бирон никогда не расставались, проводили целые дни вместе. Это подтверждают другие современники Анны. Так, из доноса В. Н. Татищева на полковника Давыдова следует, что Давыдов говорил ему: «Чего добра уповать, что государыню мало видят — весь день с герцогом: он встанет рано, пойдет в манежию (конный манеж. — *Е. А.*) и поставят караул, и как государыня встанет, то уйдет к ней и долго не дождутся, и так государыни дела волочатся, а в Сенат редко когда трое [сенаторов] приедут».

Примечательно и одно курьезное дело Тайной канцелярии 1735 года о дворовом человеке помещика Милюкова Ва-

силии Герасимове, который при посторонних распространялся на следующую тему: «Господин их пропал от генерала Бирона, который приехал з государынею императрицею и с нею, государынею, живет и водится рука за руку, да и наш господин был пташка, и сам было к самой государыне приезался, как она, государыня, в покоях своих изволила опочивать. И тогда господин мой, пришед во дворец, вошел в комнату, где она, государыня, изволила опочивать (поражает при этом патриархальная простота нравов двора. — *Е. А.*), и, увидя ее, государыню, в одной сорочке, весь задражал (целомудренно полагаю, что со страху. — *Е. А.*), и государыня изволила спросить: "Зачем ты, Милюков, пришел?", и он государыне сказал: "Я, государыня, пришел проститца" — и потом из комнаты вышел вон», что и стало якобы причиной гонений на Милюкова, которого сослали в Кексгольм.

Сам же Герасимов признался, что «слова, что когда государыня императрица изволит куда ис покоев своих итить, то господин обор-камергер Бирон водит ее, государыню, за ручку, вышеписанному Алексею Семенову (доносчику на Герасимова. — *Е. А.*) говорил... того ради, что как он, Герасимов, до посылки помещика своего в Кексгольм, бывал за оным помещиком своим во дворце, то он, Герасимов, видел, что когда Ея императорское величество ис покоев куда изволит шествовать, и тогда Ея императорское величество за ручку водил означенной господин обор-камергер Бирон». А о том, как бравый Милюков, «напився пьян», так неудачно «приезался» к императрице, он слышал от другого дворового.

Любовь Анны к Бирону бросалась в глаза всем. Императрица не могла ни дня обойтись без фаворита. Его увлечения становились ее увлечениями. То она вслед за Бироном едет осматривать конюшни миниховского кирасирского полка, куда пригнали из Германии 500 лошадей, и показывает свое «всемилостивейшее удовольствие». То отправляется в только что построенный манеж Бирона и смотрит «экзерциции конной езды» и, конечно, «искусство ездящих (а кто был одним из этих замечательных наездников, мы знаем. — *Е. А.*) и изрядныя лошади возбудили у Ея императорского величества великое удовольствие». Не прошло и двух недель, как государыня вновь поехала в «построенный для конной езды дом» посмотреть на вольтижировку. Наверняка там был и Бирон. Еще через две недели она смотрела там же экзерциции кадетов и «свое удовольствие о том... словами объявить изволила» и т. д. и т. п.

Миних-отец так писал о Бироне: «Он был вкрадчив и очень предан императрице, которую никогда не покидал, не

оставив вместо себя своей жены». Эта неволя не была тягостна Анне, которая нуждалась в покровительстве и защите, и Бирон, по-видимому, такую защиту ей давал. Наконец, не следует забывать, что во все времена отношения, в том числе и при дворе, были обусловлены не только расчетом, но и просто тем, что называется любовью и чего применительно к людям из далекого прошлого часто не могут понять и простить высокоученые потомки. На следствии в 1740—1741 годах в ответ на обвинения, что он лишил государыню воли и значения, ни на шаг от нее не отходил, Бирон говорил, что тут была необыкновенная привязанность самой государыни, что «ему всегда легчее было, когда посторонние при Ея императорском величестве присутствовали, дабы между тем иметь от беспрестанных своих около Ея императорского величества усердных трудов хотя какое отдохновение». Понимая известное лукавство властолюбивого фаворита, недремно сторожившего государыню, как Кощей Бессмертный свой сундук, все-таки можно поверить его утверждению, что когда он в присутствии Анны Леопольдовны уходил от императрицы, «в тот час опять к себе призвав, приказывала» какие-то дела, да еще и жаловалась, что она ему «прискучила».

Понятно, что при таких отношениях влюбленная Анна и не думала скрывать своей близости с Бироном, всюду появлялась с ним под ручку («герцог Курляндский вел ее под руку» или «Ее величество опиралась на руку герцога Курляндского» — из записок англичанки Э. Джастис), публично и особо выделяла его из прочих придворных, что неизбежно порождало волны слухов, сплетен и осуждения. В 1734 году придворный служитель Коноплев рассказывал: «Я видел, что ныне обер-камергер со всемилостивейшею государынею во дворце на горе (имеется в виду возвышение для трона или места обеда государя. — *Е. А.*) при вышних персонах сидел на стуле и держал-де Ее величество за ручку, а у нас-де князь Иван Юрьевич Трубецкой, генерал-фельдмаршал, и князь Алексей Михайлович Черкасский изстари старые слуги, а они все стоят». На это коллега Коноплева, намекая на распространенные слухи о том, что Бирон регулярно государыню «штанами крестит», ядовито отметил, что иным сановникам «далеко... такой милости искать — ведь обер-камергер недалече от государыни живет».

Бирон появился в окружении Анны в конце 1710-х годов. Историк С. Н. Шубинский сообщает, что 12 февраля 1718 года, по случаю болезни обер-гофмаршала и резидента при дворе герцогини Курляндской Петра Бестужева-Рюмина, Бирон докладывал Анне о делах. Вскоре он был сделан

личным секретарем, а потом камер-юнкером герцогини. До этого он пытался найти место в Петербурге при дворе царевича Алексея и его жены Шарлотты Софии. К середине 20-х годов XVIII века Бирон был уже влиятельным придворным герцогини Анны. Сохранился указ Екатерины I к Петру Бестужеву-Рюмину: «Немедленно отправь в Бреславль обер-камер-юнкера Бирона или другова, который бы знал силу в лошадях и охотник к тому, и добрый человек для смотрения и покупки лошадей, которых для нас сыскал князь Василий Долгорукой в Бреславле». Как видим, Бирон, страстный любитель лошадей, был уже известен в ту пору (возможно, с чьих-то слов) в Петербурге императрице Екатерине I. Весной 1725 года сестра Анны Прасковья Иоанновна передала 200 рублей для Анны через камер-юнкера Бирона.

Как говорилось выше, сближение Анны с Бироном произошло, вероятнее всего, осенью 1727 года, после того, как из Митавы по воле Меншикова был отозван Бестужев-Рюмин, бывший, как уже говорилось выше, ее любовником. Возвращения Бестужева герцогиня тщетно добивалась все лето и осень 1727 года. Когда же Бирон занял место Бестужева в спальне герцогини, тот был крайне раздосадован этим поступком подчиненного и негодовал на проходимца, который втерся к нему в доверие: «Не шляхтич и не курляндец, пришел из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, и год от году я, его любя, по его прошению, производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды и сколько мог здесь лживо меня вредил и поносил и чрез некакие слухи пришел в небытность мою [в Митаве] в кредит».

Говоря о Бироне, нельзя не коснуться его родословной. Действительно, происхождение фаворита живо обсуждалось и современниками, и потомками. В 1735 году одна придворная дама Елизаветы Петровны — Вестенгард — донесла на другую даму — Иоганну (Ягану) Петрову, которая якобы говорила, что «обор-камергер очень нефомильной (незнатный. — *Е. А.*) человек и жена ево еще просто нефомильная, а государыня императрица хотела ево Курляндским герцогом зделать, и я тому дивилась». «И она, Вестенгард, на то сказала: “Какой князь Меншиков нефомильной был человек, да Бог зделал ево великим человеком, а об обор-камергере и о жене ево слышала она, Вестенгард, что они оба фомильныя, и коли Бог изволит им дать, то всем на свете надобно почитать и радоватца”. И Ягана на то говорила: “Что за него ты стоишь?”, а она, Вестенгард, сказала: “Дай Бог, чтоб был он герцог Курляндской, и что он от Бога желает,

ко мне в Москве показал великую милость по поданному государыне прошению о жалованье моем...” И Ягана [в ответ] говорила: “Когда он будет герцог Курляндской, то жену свою отдаст в клештор (монастырь. — *Е. А.*), а государыню императрицу возьмет за себя”, и она, Вестенгард, той Ягане сказала: “Это неправда и неможно того зделатца и не могу о том верить, что это у нас не манер”».

Перед нами — запись типичной придворной сплетни, обычной болтовни двух придворных кумушек, причем третья, присутствовавшая при этом разговоре и потом проходившая по делу как свидетельница, — некая девица Лизабет — приседала от страху и «той Ягане трижды [говорила]: “Ради Христа о том ты не говори — окны ниски, могут люди услышать!”» Попутно замечу, что доносчица на следствии старательно изображает из себя особу в высшей степени лояльную Бирону, но если бы так было на самом деле, разговор с Яганой Петровой едва ли сделался бы возможным.

Слухи о «нефомильности» (то есть незнатности) Бирона циркулировали постоянно. Добрейшая Наталия Борисовна Долгорукая (урожденная графиня Шереметева) в своих «Своеручных записках» писала о нем, что «он ничто иное был, как башмачник, на дядю моего сапоги шил». Подобный взгляд прочно внедрился в историческую литературу. Редкий автор не отметит, что Бирон — из форейторов, конюхов или, по крайней мере, что дед его состоял при конюшне курляндских герцогов. Забавно, что всем известная страсть фаворита к таким благородным животным, как лошади, в этом контексте как бы подтверждает незнатность происхождения Бирона.

Конечно, любовь к лошадям еще не говорит о происхождении будущего герцога Курляндского из конюхов. Нет оснований верить и официальной версии тех времен, гласившей, что курляндские Бироны — родственники французского герцогского рода Биронов. Впрочем, «генеалогическая суетность» (выражение историка Евгения Карновича) вполне простительна для «нефомильного» Бирона. Известное тщеславное стремление связать свое происхождение с древним и — непременно — иностранным родом было весьма характерно для дворянства России, да и других стран. Разве можно было считать себя по-настоящему знатным господином, если твой предок не вышел из зарубежья, лучше — немецкого, литовского, но можно, на крайний случай, и из «знатных татарских мурз». В этом смысле Бирон мало чем отличался от Меншикова, выводившего свой род от литовского рода Менжиков, или от Разумовского (фаворита Елизаветы),

породнившегося в генеалогических таблицах со знатным польским родом Рожинских, или от Потемкина, которому академик Миллер приискал предков в Священной Римской империи германской нации. Эта простительная человеческая слабость существует и ныне, чем пользуются, например, антиквары США, предлагающие большой выбор старинных дагеротипов и фотографий неизвестных дам в кринолинах и господ в цилиндрах (так и написано — «Доллар за предка»), чтобы каждый мог выбрать «предков» по своему вкусу, повесить их портреты на стене в гостиной и знакомить со своей придуманной родословной простодушных гостей.

Бирон родился 23 ноября 1690 года, иначе говоря, он был старше Анны на три года. В версии о его происхождении положимся на Е. П. Карновича, изучавшего с этой целью курляндские архивы. По наблюдениям Карновича выходит, что отец Эрнста Иоганна Бирона был немцем, корнетом польской службы (что в условиях вассальной зависимости Курляндии от Речи Посполитой выглядит естественно), а мать происходила из дворянской семьи фон дер Рааб. По-видимому, род Биронов можно отнести к мелкопоместному неродовитому служилому сословию, не внесенному (по причине худородства) в списки курляндского дворянства, что и служило предметом терзаний Бирона и причиной его генеалогических комплексов. У Эрнста Иоганна было два брата: старший — Карл Магнус и младший — Густав. Оба впоследствии сделали при помощи брата военную карьеру: старший стал генерал-аншефом в сентябре 1739 года, младший догнал брата через полгода — в феврале 1740-го и, недолго побыв генерал-аншефом, умер в 1742 году.

Известно также, что Эрнст Иоганн учился в Кенигсбергском университете, но вышел из него недоучкой — курса не кончил. Причиной этого стала какая-то темная история, о которой Бирон летом 1725 года писал обер-камергеру Екатерины I Густаву Левенвольде, жалуясь на свою «тяжкую нужду». Оказалось, что в 1719 году он «с большой компанией гулял ночью по улице, причем произошло столкновение со стражею, и один человек был заколот. За это все мы попали под арест; я три четверти года находился под арестом, потом выпущен с условием заплаты на мою долю 700 талеров штрафа, а иначе просидеть три года в крепости». И далее Бирон просит Левенвольде замолвить за него слово перед прусским посланником в Петербурге Мардефельдом. Левенвольде, пользуясь своим влиянием на императрицу Екатерину, вероятно, помог Бирону избавиться от долга, покинуть пределы прусского короля и приехать в Россию. По-

видимому, он жил в Риге. В 1738 году сибирский вице-губернатор Андрей Жолобов, оказавшийся в Тайной канцелярии, признался на допросе, что познакомился с Бироном в Риге во времена губернаторства там князя А. И. Репнина (конец 1710-х — первая половина 1720-х годов). Жолобов добровольно, без принуждения, даже хвалясь, сказал вдруг начальнику Тайной канцелярии Ушакову, что он Бирона «бивал, а ныне рад бы тому был, чтоб его сиятельство узнал меня. Хотя не ради чего, только чтоб знал. И есть у меня курьезная вещица: 12-ть чашечек ореховых, одна в одну вкладывается, прямая вещица такому графу — ведь ему золото и серебро не нужно!» (в том смысле, что он и так уж богат). Некстати для себя болтун вспомнил, что в Риге, «будучи на ассамблее, стал оный Бирон из-под меня стул брать, а я, пьяный, толкнул его в шею и он сунулся в стену». Жолобова, обвиненного в мздоимстве, без особого шума казнили. Это наводит на мысль, что невольно, по глупости, он сообщил некие действительные и малоприятные эпизоды из ранней жизни герцога Курляндского в России. Но тогда, по-видимому, Бирон не нашел места и, возможно, как это описывает Бестужев-Рюмин, в весьма стесненных обстоятельствах вернулся к родным пенатам и припал к ногам всесильного в Митаве русского резидента и фаворита Анны с просьбой о помощи. Тогда-то Бестужев и взял в штат двора герцогини способного юношу. А уж затем произошло все то, что и произошло... Бирон прочно засел в спальне и сердце герцогини.

Тотчас же после утверждения самодержавия Анны в 1730 году Бирон был вызван из Курляндии и приближен ко двору. (Очевидно, сразу Анна не смогла взять его с собою из-за сопротивления верховников — слухи о фаворе Бирона были, конечно, известны в Москве.) В апреле 1730 года он получает чин обер-камергера и с этим чином, согласно поправке, специально внесенной Анной в петровскую «Табель о рангах», «переезжает» из четвертого во второй класс, что соответствовало гражданскому чину действительного тайного советника или генерал-аншефа (по военной иерархии). Одновременно он получает ленту ордена Святого Александра Невского.

В июне 1730 года Бирон был «возвышен от его Римского цесарского величества в государственные графы и пожалован от его величества своим алмазами богатоукрашенным портретом». Это было признание особой роли придворной персоны русского двора — австрийский император Карл VI обычно жаловал имперскими графами и светлейшими князьями тех придворных русского двора, на которых указывал российский владыка через аккредитованного при его дворе австрийского посланника. В ответ австрийский посланник граф Вратислав был награжден высшим российским орденом Святого Андрея Первозванного. Но и фаворит в наградах обижен не был — 30 октября 1730 года ему пожаловали кавалерию того же ордена. Теперь его официальный титул полностью звучал так: «Его высокографское сиятельство, господин рейхсграф и в Силезии вольный чиновный господин (получивший графское достоинство Священной Римской империи германской нации приобретал тем самым владения в Империи, чаще всего — в Силезии. — *Е. А.*) Эрнст Иоганн фон Бирон, Ея императорского величества, самодержицы всероссийской, обер-камер-гер и ордена Святого апостола Андрея ковалер». В его титуле не хватало еще одной фразы, и, чтобы она там появилась, Россия приложила много усилий.

Речь идет о самой желанной цели Бирона — стать герцогом Курляндским и Семигальским. Это радостное для него событие произошло в 1737 году. Правда, на поприще искания титула у Бирона возникли большие трудности, но он их успешно преодолел. Дело в том, что бедное, но вольное и спесивое курляндское рыцарство в течение нескольких лет не хотело выбирать «нефомильного» Бирона своим господином. А тут, в 1737 году, дружно и единогласно проголосовало за него на выборах. Злые недруги России возмущались, говорили, что выборы не были вольными и дирижировал ими русский фельдмаршал Петр Ласси. Как понимает догадливый читатель, он прибыл в Курляндию не с одним только адъютантом, но с несколькими полками русской армии, и накануне выборов пообещал курляндским дворянам, если они не изберут Бирона в свои герцоги, тотчас отправить их всех в Сибирь, а для устрашения заранее подогнал к замку множество кибиток. Дворянство решило не испытывать судьбу, и вскоре Ласси отправил нарочного в Петербург с известием, что Бирон добровольно и единогласно избран в герцоги. Почти сразу, мобилизовав возможности российской казны и гений Варфоломея Растрелли, Бирон начал строить в Руентале (Рундале) и Митаве новые герцогские дворцы, чтобы поселиться в них на покое. И действительно, проведя при Елизавете Петровне в ярославской ссылке двадцать лет, он, помилованный Петром III, поселился-таки в августе 1762 года в Курляндии. Там он и почил в бозе в 1772 году, восьмидесяти двух лет от роду, передав власть старшему сыну — Петру.

Бирон был женат. Его избранницей в 1723 году стала фрейлина Анны Иоанновны — Бенигна Готлиб фон Тротта-Трейден, которая была хотя и моложе мужа на тринадцать лет, но горбата, уродлива и весьма болезненна, что, заметим, не помешало ей прожить 79 лет. Еще до приезда в Россию супруги имели троих детей: Петр родился в 1724-м, Гедвига Елизавета — в 1727-м и Карл Эрнст — в 1728 году. И вот здесь нужно коснуться довольно устойчивого слуха о том, что матерью последнего ребенка Бирона Карла Эрнста была не Бенигна Готлиб, а сама императрица Анна Иоанновна.

Вначале я скептически относился к этому слуху, да и сейчас прямых доказательств, подтверждающих или опровергающих его, у меня нет. Но, знакомясь с документами, читая «Санкт-Петербургские ведомости», я обратил внимание на то обстоятельство, что в государственном протоколе сыновьям Бирона отведено было особое и весьма почетное место, на которое не могли претендовать дети любого заморского герцога.

В феврале 1733 года восьмилетний сын Бирона, Петр, был пожалован чином ротмистра Первого кирасирского полка, в июле того же года был сделан капитаном гренадерской роты Преображенского полка. Особенно возрос его статус после избрания отца герцогом Курляндии. Петр стал официально именоваться «наследным принцем Курляндским», и «Санкт-Петербургские ведомости» писали о нем так часто и почтительно, что если бы мы не знали о скрытых обстоятельствах положения его отца, то могли бы подумать, что не Курляндия зависит от России, а Россия от Курляндии. Вот он в марте 1737 года, «получа за несколько дней перед тем от бывшей своей чрез некоторое время головной болезни и флюсов облегчение, своим присутствием почтил» праздник «Воспоминания учреждения лейб-гвардии Измайловского полка», будучи его командиром-подполковником. Петру в это время только что исполнилось 13 лет. Но все же еще больше официального внимания уделялось второму сыну Биронов Карлу Эрнсту. 1 мая 1738 года, в годовщину коронации Анны, самым заметным событием, судя по газете, стало награждение Петра и его младшего брата — Карла Эрнста «алмазами, богато убранныя польский кавалерии» ордена Белого Орла, причем сама Анна Иоанновна их «на обоих светлейших принцев высочайшею своею персоною наложить изволила».

По свидетельству источников, дети Бирона совершенно свободно чувствовали себя при дворе, проказничали, шалили без меры и тем самым приводили в трепет придворных. 14 августа 1738 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили радостную весть о том, что подполковник Измайловского полка и кавалер Петр Бирон приобретает боевой опыт: «Третьяго дня и вчера пополудни соизволила Ея императорское величество формальной осады, обороны и взятия учреждением Его высококняжеской светлости, наследного Курляндского принца Петра построенной здесь крепости Нейштата в провожании всего придворного штата смотреть». Особо отмечалось, что «Его высококняжеская светлость не только устроения помянутой крепости, и при открытии траншей неотступно присутствовал, но и определенной для атаки команде собственною персоною предводителем был, причем все военныя операция с наибольшими при осаде и обороне укрепленного города случащимися обстоятельствами с всевысочайшею похвалою и к совершенному удовольствию Ея императорского величества показаны».

1 октября того же года по приглашению двора «чужестранныя и здешния особы обоего пола в богатом убранстве» съехались к императорскому двору, чтобы поздравить с днем рождения Карла Эрнста. Событие было приметное: десятилетие отпрыска. Сам юбиляр за год до торжества просил императрицу, чтобы она его пожаловала, как папеньку, в «камер-геры», то есть избрал иную, чем старший братец, карьеру. В своей челобитной девятилетний Карл Эрнст писал: «Ваше императорского величества неизреченная ко мне милость, которая ежедневно, без всяких моих заслуг, умножается, подает мне смелость сим моим всенижайшим прошением утруждать...»

То, что Карл Эрнст получал без всяких заслуг «неизреченную милость», не было преувеличением — он действительно был всегда рядом с государыней. Особо примечательно то, что, когда верховники выбрали Анну в императрицы и срочно пригласили ее в Москву, она поехала налегке, но взяла с собой... только малыша — Карла Эрнста, которому исполнилось один год и три месяца. В литературе обращают внимание лишь на то, что противники верховников использовали пеленки Карла Эрнста для передачи писем сидевшей во Всесвятском под фактическим арестом Анне Иоанновне, но при этом не задумываются о том, что она, ехавшая навстречу неизвестности, взяла с собой крошечного ребенка вовсе не для конспиративных целей, а как самое близкое ей, родное существо. Думаю, что именно ему предназначались игрушки, о которых так подробно пишет Анна в своей цидульке Салтыкову в конце 1736 года: «Купите на Москве в

лавке деревянных игрушек, а именно: три кареты с цуками, и чтоб оне и двери отворялись, и саней, и возков, также больших лошадей деревянных, и хорошенько все украсть, чтоб не обломились, и пришли». Не менее примечателен и тот факт, что младший сын Бирона с младенчества и до десяти лет постоянно спал в кроватке, которую ставили ему в императорской опочивальне.

Конечно, можно предположить, что Анна, не имея собственных детей, искренне привязалась к детям своего фаворита, как впоследствии Елизавета Петровна нянчилась с племянниками своего тайного супруга Алексея Разумовского, что стало даже причиной появления версии о ее тайных детях — так называемых Таракановых. Но я все больше склоняюсь к мысли, что младшего сына Бирону действительно родила императрица Анна Иоанновна.

Что же касается взаимоотношений императрицы с женой Бирона, то можно с уверенностью утверждать, что фаворит, его жена и императрица Анна составляли как бы единую семью. И удивительного в этом нет — история знает много подобных любовных треугольников, шокирующих чинное общество, хотя внутри такой житейской геометрической фигуры давным-давно все решено и совершенно ясно для каждой стороны. Вспомним Панаевых и Некрасова, Брик и Маяковского. На следствии в 1741 году Бирон показал, что так желала сама императрица, и что «хотя от Ея императорского величества как иногда он, или его фамилия (то есть жена и дети. — *Е. А.*) и отлучались, тогда, как всем известно, изволила в тот час жаловаться, что он и фамилия его ее покидают и яко бы-де она им прискучила». Сказанному Бироном можно верить — ведь любя фаворита, не обязательно терпеть его жену и чужих детей. Для Анны семья Бирона была ее семьей.

Так они и жили дружно, «домком». Фельдмаршал Миних писал в мемуарах: «Государыня вовсе не имела своего стола, а обедала и ужинала только с семьей Бирона и даже в апартаментах своего фаворита». Похоже, так оно и было. Саксонский посланник Лефорт рассказывал, что он вместе с приехавшей в Россию итальянской певицей Людовикой был приглашен женой Бирона в гости. «Там нам подали кофе, а затем вошла Ее величество, оказала ласковое внимание Людовике, просила ее спеть наизусть какую-нибудь арию, которою осталась очень довольна». Он же писал в 1734 году, что прусский посланник Мардефельд имел прощальную аудиенцию у императрицы в покоях обер-камергера Бирона. «Санкт-Петербургские ведомости» от 20 октября 1737 года

сообщают, что «для услуг Его великокняжеской светлости герцога Курляндского из Франции призванной сюда зубной лекарь г. Жеродли уже свое лечение окончал. А его великокняжеская светлость в изрядное и совершенное состояние здравия своего приведен». Незадолго перед этим «помянутой лекарь имел высочайшую честь Ея императорского величества зубы чистить и за оные труды получил в награждение 600 рублей, от Ея светлости герцогини Курляндской за то же подарено ему 200 рублей. А от его княжеской светлости герцога прислана ему... в подарок золотым позументом обложенная и преизрядным рысьим черевьем мехом подбитая епанча». Идиллическая картина дружного похода домочадцев на чистку зубов от зубных камней!

Не менее достойна кисти живописца и другая картина, сюжет которой нам подарил английский резидент Клавдий Рондо. Она называется «Ужин у постели больного»: «Ее величество не совсем здорова. Несколько дней назад ей, а также фавориту ее, графу Бирону, пускали кровь. Государыня во все время болезни графа кушала в его комнате». Частенько все вместе — Анна Иоанновна, принцесса Анна Леопольдовна с женихом принцем Антоном Ульрихом, Бирон с «Бироншей» (так ее называли в документах того времени) и общими детьми — проводили досуг, из которого, собственно, и состояла бóльшая часть их жизни: «гуляньем на санях по льду Невы-реки до моря забавлялись», слушали в лютеранской кирхе «преизрядных и великих органов» и т. д.

Чтобы закончить тему семьи Бирона, отметим, что братья его устроились тоже неплохо: оба стали генерал-аншефами, а старший, Карл Магнус, успел накануне переворота Елизаветы 1741 года, закончившегося для него ссылкой в Средне-Колымск, побыть еще и московским генерал-губернатором.

О Карле Магнусе ходили довольно мрачные легенды. Старший брат Бирона оказался в России сразу же после вступления Анны на престол в 1730 году. Он, подполковник польской армии, был вопреки закону принят на русскую службу в чине генерал-майора и начал быстро делать военную карьеру. Современники говорили о нем как об уродливом калеке, человеке грубом и глупом. В украинской же «Истории руссов» Георгия Конисского рассказывается следующее: «Калека сей, квартируя несколько лет с войском в Стародубе с многочисленным штатом, уподоблялся пышностью и надменностью гордому султану азиатскому: поведение его и того ж больше имело в себе варварских странностей. И не говоря об обширном серале... комплектуемом на-

силием, хватали женщин, особенно кормилиц, и отбирали у них грудных детей, а вместо их грудью своею заставляли кормить малых щенков из псовой охоты сего изверга, другие же его скаредства мерзят самое воображение человеческое». Возможно, малороссийский автор сильно преувеличивал, описывая ужасные повадки старшего Бирона, хотя надо сказать, что такое поведение напоминало не столько султанов, сколько русских помещиков-крепостников.

Второму брату Густаву в 1732 году была предназначена в жены младшая дочь тогда уже всеми забытого генералиссимуса Меншикова — Александра Александровна, которой исполнилось 20 лет. Ничего особенного в истории этого брака, в принципе, нет, однако сопоставление некоторых фактов позволяет заметить любопытные детали. Меншиковы — сын Александр и дочь Александра — после смерти в 1729 году отца и второй дочери Марии и воцарения Анны продолжали сидеть в березовской ссылке. В начале 1731 года о них неожиданно вспомнили, и весной того же года брата и сестру поспешно доставили в Москву. Как сказано в одном из источников, «по прибытии оных в Москву поехали они прямо во дворец Ея императорского величества и представлены Ея императорскому величеству того ж часу от его превосходительства генерал-лейтенанта графа фон Левенвольде в их черном платье, в котором они из ссылки прибыли». Почти сразу же на Меншиковых посыпались милости: Александр Александрович был пожалован в поручики Преображенского полка, а Александра Александровна — в камер-фрейлины императорского двора. От императрицы они получили деньги, гардероб отца, экипаж, «алмазные вещи» и дворец покойной царицы Прасковьи Ивановны. Эта милость со стороны злопамятной Анны Иоанновны к детям недруга, доставившего ей столько горя, кажется весьма странной, а учитывая натуру Анны, даже противоестественной, если, конечно, за всем этим не стоял холодный расчет. Через год — в феврале 1732 года — состоялось торжественное обручение старшего Бирона и Александры Меншиковой, причем «обоим обрученным показана при том от Ея императорского величества сия высокая милость, что Ея императорское величество их перстни всевысочайшею Особою Сама разменять изволила» («Санкт-Петербургские ведомости» от 7 февраля 1732 года). А еще через три месяца «с великою магнифицензиею» была сыграна свадьба Карла Магнуса и Саши Меншиковой при дворе, и «учрежденный сего ради бал по высокому Ея императорского величества повелению до самой ночи продолжался».

Думаю, что Анной двигали не великодушие и не отмеченное выше желание быть всероссийской свахой. Скорее всего, правы те исследователи, которые считают, что хотя Меншикова все забыли, денежки его, кои он хранил за границей, забыты не были, и дети опального светлейшего князя были использованы Бироном и его кланом для законного получения неправедных богатств светлейшего. Извлеченные из небытия ссылки дети Меншикова как раз вступили в дееспособный возраст, стали солидными людьми и могли претендовать на наследство отца, против чего гаагские и амстердамские банкиры возражать, естественно, не могли. Поспешность всей реабилитации Меншиковых могла быть следствием пришедшей кому-то в голову поистине золотой мысли. Впрочем, следов этой операции за границей не обнаружено — возможно, деньги Меншикова на счетах зарубежных банков были мифом, столь обычным для России.

Однако вернемся к самому фавориту. По отзывам современников, Эрнст Иоганн Бирон был красавцем. Генерал Манштейн пишет, что Бирон имел «красивую наружность» и что «своими сведениями и воспитанием, какие у него были, он был обязан самому себе. У него не было того ума, которым нравятся в обществе и в беседе, но он обладал некоторого рода гениальностью, или здравым смыслом, хотя многие отрицали в нем и это качество. К нему можно было применить поговорку, что дела создают человека. До приезда своего в Россию он едва ли знал даже название политики, а после нескольких лет пребывания в ней знал вполне основательно все, что касается до этого государства... Характер Бирона был не из лучших: высокомерный, честолюбивый до крайности, грубый и даже нахальный, корыстный, во вражде непримиримый и каратель жестокий».

Испанскому посланнику герцогу де Лириа, напротив, Бирон показался очень приветливым, вежливым, внимательным и хорошо воспитанным, «обхождение его было любезно, разговор приятен. Он обладал недурной наружностью и непомерным честолюбием с большой примесью тщеславия». Но по письмам де Лириа видно, что он не был большим знатоком людей, а вот Манштейну, бывшему многие годы адъютантом Миниха и часто видевшему Бирона, лучше было знать первого человека анненского царствования. Поэтому ему следует доверять больше, чем испанскому дипломату.

Патрон Манштейна фельдмаршал Миних добавляет: Бирон был «коварен (в дореволюционном переводе более точно: «пронырлив» — любимая негативная оценка человека

мемуаристами XVIII века; по Далю, это означает «пролазничать, заниматься происками, хитрым и самотным искательством, быть пролазой, пошляком, пройдохой, строить козни, каверзы». — *Е. А.*) и чрезвычайно мстителен, свидетельством чему является жестокость в отношении к кабинет-министру Волынскому и его доверенным лицам, чьи намерения заключались лишь в том, чтобы удалить Бирона от двора».

Утверждение Миниха о том, что вина Волынского, стремившегося убрать Бирона от двора, смехотворна, явно рассчитано на простаков, ибо ясно, что столь же «мстителен» был и Меншиков, убравший П. А. Толстого и А. М. Девиера в 1727 году, когда они попытались воспрепятствовать подписанию умирающей Екатериной I завещания в пользу великого князя Петра Алексеевича. Этим пороком грешили и сам мемуарист, и десятки других фаворитов, отчаянно боровшихся за свое влияние при дворе и «мстительно» убиравших своих конкурентов, «вся вина» которых заключалась только в том, что они желали удалить от двора «действующего» фаворита.

Нет, при всей негативности оценок Бирона в мемуаристике не дотягивает Бирон до Малюты Скуратова. Бесспорно, он — человек недобрый, но уж никак не злодей. Несомненно, он был хамом, ни во что не ставил подчиненных ему людей, с которыми обращался грубо и бесцеремонно. Его гнева боялись многие, думаю, что даже сама государыня, сильно от него зависевшая. В обвинениях Бирона в 1741 году дана, можно сказать, достоверная зарисовка нравов двора: в присутствии самой государыни «не токмо на придворных, на других и на самых тех, которые в знатнейших рангах здесь в государстве находятся, безо всякого рассуждения о своем и об их состоянии крикивал и так продерзостно бранивался, что и все присутствующие с ужасом того усматривали и Ея величество сама от того часто ретироваться изволила». Видно, что этот текст написан под диктовку кого-то из высопоставленных членов следственной над Бироном комиссии, который сам много претерпел их хамства и «крикивания» временщика.

Как эти сцены происходили на самом деле, можно понять по мемуарам Я. П. Шаховского. Он писал, что в тот момент, когда Бирон стал запальчиво и грубо ругать его, «все бывшие в той палате господа, один по одному ретировались вон и оставили меня в той комнате одного с его светлостью, который ходил по палате». Примечательно, что, как ни был расстроен Шаховской выволочкой Бирона, выходя,

он заметил «в боковых дверях за завешенным не весьма плотно сукном стоящую и те наши разговоры слушающую Ее императорское величество, которая потом вскоре, открыв сукно, изволила позвать к себе герцога». Думаю, что при оценке Бирона следует прислушаться к Е. П. Карновичу, писавшему: «Без всякого сомнения, личность Бирона не может возбудить ни в каком историке, ни русском, ни иностранном, ни малейшего сочувствия. Он был самый обыкновенный человек, и имя его попало на страницы истории вследствие благоприятно сложившихся для него обстоятельств. Бирон громко и беззастенчиво проповедовал правило: «Il se Faut posser au monde» («Нужно пробиваться в люди», или по-русски: «Хочешь жить — умей вертеться». — *Е. А.*) — и неуклонно следовал этому правилу. Он поступал, как все — и прежние, и новейшие — карьеристы, имея в виду только личные, а не общественные интересы и не разбирая средств для достижения цели. Он, в сущности, поступал точно так же, как и знаменитый его противник Волынский, который, в свою очередь, заявлял, что нужно «глотать счастие» и «хватать его обеими руками».

Однако нельзя согласиться с исследователем, когда он пишет, что Бирон отстранялся от участия в управлении. Это одна из распространенных в литературе и, кстати, распространяемых еще самим Бироном легенд. Вообще нет фаворитов, которые бы не занимались политикой, — это был воздух дворца и не дышать им они не могли. Однако в некоторых исследованиях значение Бирона как государственного деятеля откровенно принижается. Это явное недоразумение, продиктованное похвальным намерением развенчать историографический миф о «бироновщине» как мрачном, зловещем «антинародном» режиме, господстве некоей сплоченной «немецкой партии». Документы той эпохи свидетельствуют, что и во внешней, и во внутренней политике влияние фаворита было огромным. Думаю, что в той системе верховной власти, которая сложилась при Анне, без Бирона — ее доверенейшего лица, человека властолюбивого и сильного, — вообще не принималось ни одного важного решения. Он был постоянным докладчиком у императрицы, и при ее невежестве и нежелании заниматься делами именно его решение становилось окончательным.

В своих письмах временщик постоянно жалуется на загруженность государственными делами в то время, когда нужно быть рядом с императрицей в ее неспешной праздной жизни. «Я должен быть целый день у Ея императорского величества, и, несмотря на то, всякое дело должно идти сво-

им чередом», — пишет он русскому посланнику в Варшаве Кейзерлингу в апреле 1736 года. При всем том он был осторожен и не выпячивал свою роль в управлении, оставаясь, как правило, в тени. Яков Шаховской в своих «Записках» сообщает, что Бирон внимательнейшим образом следил за делами на Украине (начиналась русско-турецкая война 1735—1739 годов) и Шаховской передавал прямо ему письма и донесения о состоянии дел на Украине и «часто имел случай с герцогом Бироном по комиссии слободской и о малороссийских делах... разговаривать». В. Строев — автор книги о внутренней политике времен Анны, разобрав бумаги Бирона, приходит к выводу, что в них он «рисуется скорее человеком уклончивым, чем склонным во все вмешиваться». И для подтверждения своего вывода приводит цитату из письма временщика одному из своих просителей: «Уповаю, что Вашему сиятельству известно, что я не в надлежащие до меня дела не вступаю и впредь вступать не хочу, для того, чтобы никто на меня никакого сумления не имел...» Думаю, что подобные письма доказательством непричастности временщика к государственным делам служить не могут, как неубедительны и утверждения, что Бирон был лишь передатчиком бумаг императрице, играя при ней роль простого секретаря.

Не может служить подтверждением «уклончивости» Бирона и его письмо, в котором он подчеркнуто напоминает своему адресату: «Как и самим Вам известно, что я в Кабинет не хожу и не присутствую и там мне никакого дела нет». Примерно так же вели себя многие другие временщики, например, Иван Иванович Шувалов при Елизавете Петровне. И дело было не столько в особой скромности фаворитов, а в их желании уйти от ответственности, в их стремлении не обязывать себя ничем и ни перед кем, в своеобразии «постельного и сердечного господства» фаворита, который старается не афишировать постыдного происхождения своей власти, но тем не менее ею пользуется, направляя руку и мысли императрицы. Такому человеку незачем заседать в Советах и Кабинетах, ибо самодержавная власть от них, в сущности, не зависит. Фаворит лишь помогает императрице принять нужное решение своим будто бы дружеским, бескорыстным советом. Если же она не внемлет его советам, то можно пустить в ход угрозу добровольной «сердечной отставки», притворную обиду, когда глубоко несчастный вид стоящего на коленях друга растопляет мягкое сердце доброй повелительницы. В случае, когда Бирон не хотел впутываться в ненужное ему дело, он отстранялся от него и говорил, как передает Шаховской, «что он того не знает, а говорил бы я о том с министрами, ибо-де они ко мне благосклонны».

Думаю, что Бирон, исходя из особенностей его характера, обычно действовал наступательно, требовательно, решительно, твердо зная, что императрица, полностью от него зависимая, не посмеет ему отказать. Таким, по некоторым свидетельствам, было его поведение в деле Артемия Волынского, когда он настоял на опале министра, весьма ценимого Анной за деловые качества. Впрочем, Бирон при своей настырности был достаточно расчетлив и осторожен. В письме Кейзерлингу в 1736 году он (я думаю — вполне искренне) вздыхает, что не решается поднести Анне инспирированный его доброжелателями за границей рескрипт с предложением о поддержке кандидатуры его, Бирона, на курляндский престол. И причина нерешительности проста: «Вашему сиятельству известно, как я поставлен здесь и, вместе с тем, как крайне необходимо осторожно обращаться с великими милостями великих особ, чтоб не воспоследовало злополучной перемены». Иначе говоря, Бирон опасался, что если не подготовить Анну искусным способом, то его желание стать герцогом она воспримет как неблагодарность, стремление обрести независимость и т. д. Так как в 1737 году Бирон все-таки стал герцогом Курляндским, он, надо полагать, сумел внушить своей подруге, что было бы хорошо, если бы он стал герцогом и за будущее его детей ей бы не пришлось беспокоиться. Сам же он при Анне не только никогда не ездил в Курляндию, но и носа из Петербурга не показывал.

Несомненно, Бирон был мастером тонкого обращения с «великими милостями великих особ». Думаю, что он и «за ручку» Анну Иоанновну водил и никогда с ней не разлучался из-за боязни, как бы в его отсутствие «не воспоследовало злополучной перемены», такой, какая воспоследовала с его предшественником Петром Бестужевым-Рюминым. Позже, однако, он изображал себя чуть ли не пленником императрицы: «Всякому известно, что [от] Ея императорского величества никуда отлучаться было невозможно, и во всю свою бытность в России [я] ни к кому не езжал, а хотя куда гулять выезжал, и в том прежде у Ея императорского величества принужден был отпрашиваться и без докладу никогда не езжал».

Ключевую роль Бирона в системе управления можно скрыть, наверно, лишь от доверчивых потомков, не обнаруживших на государственных бумагах подписи временщика и

на этом основании делающих вывод о его отстраненности от государственных дел. Современники же знали наверняка, кто заправляет делами в империи, и потому с просьбами обращались именно к Бирону, не занимавшему никаких государственных должностей. Впрочем, завершая этот сюжет, отметим, что активность Бирона как политика столь очевидна, что ему нередко не удавалось остаться в тени политической кулисы. Опубликованная переписка Бирона с Кейзерлингом убедительно свидетельствует о том ключевом месте во власти, которое он занимал в течение целых десяти лет. Несомненно, он очень много знал о различных внешне- и внутриполитических делах, ему рапортовали сановники, писали российские посланники из европейских столиц. Неоднократно он упоминает о продолжительных беседах с иностранными дипломатами, аккредитованными при русском дворе. Из переписки наследника прусского престола, в 1740 году ставшего королем Фридрихом II, а также саксонского дипломата в Петербурге Зума видно, что несколько лет Фридрих был на содержании Бирона, который (вероятно — в надежде на будущее) «прикармливал» наследника Фридриха I, державшего сына на небольшом пенсионе. В марте 1738 года Зум писал Фридриху о Бироне: «Правда, что у него ресурсы огромные. Поэтому без сомнения, должно подумать, как черпать из оных на будущее время...» Ни одно назначение на высшие должности не проходило мимо Бирона, он прочно держал в руках все нити государственного управления, формируя на протяжении целого десятилетия политику правительства Анны Иоанновны. И делал это он весьма успешно.

Читая письма Бирона к Герману Карлу Кейзерлингу, отметим его вполне определенные и здравые принципы в подходе к государственным делам. В одном из писем он делает выговор этому неопытному дипломату (вчера еще бывшему президентом Петербургской академии наук) относительно посылаемых им в Петербург донесений: «Реляции должны быть ясны, а не так кратки и отрывисты, а еще менее двусмысленны, чтобы не иметь нужды для отыскания смысла часто перечитывать, для чего нет времени при поступлении многих и различных рапортов и реляций», о которых ему приходилось постоянно докладывать императрице.

Эти и другие письма Бирона подтверждают мнение современников о том, что их автор был достаточно опытен и искусен в политике и — что чрезвычайно важно — обладал даром сложной политической интриги. Бóльшая часть переписки Бирона с Кейзерлингом посвящена судьбе Курляндского герцогства после ожидаемой всеми смерти престарелого опекуна-герцога Фердинанда. Кейзерлинг был не только земляком фаворита, но и находился на решающем для курляндского дела посту посланника в Польше. Конечно, в очевидном намерении Бирона занять престол в Митаве сомневаться не приходится. Но он вел достаточно тонкую игру, которая в конечном счете должна была привести его к желанной цели.

С одной стороны, он опровергает распространенные подозрения относительно своего желания занять курляндский престол, притворно утверждая, что к этому «не чувствует в себе никакого влечения, напротив — скорее робость», что главное его желание — «видеть счастливым свое отечество (то есть Курляндию. — *Е. А.*) из врожденной любви к нему», более того — он готов поддержать любого кандидата, который будет печься о его процветании. Немало слов сказано им о своих преклонных «летах, болезнях, постоянных заботах, трудах» на благо императрицы, доверием которой он дорожит превыше всего.

С другой стороны, формально отказываясь от курляндского престола, он прибегает к весьма изощренным маневрам, чтобы помешать другим возможным кандидатам занять опустевший трон. Бирон распространяет слухи о том, что доходы герцогства ничтожны и стать герцогом Курляндии — значит разориться. Одновременно он стремится подкупить высшие польские чины, от которых зависит судьба Курляндии, а также обеспечить себе полную поддержку со стороны самого Кейзерлинга, которому предлагает «свои услуги» и обещает дать в долг сорок тысяч флоринов, педантично добавляя: «Мы уж согласимся относительно процентов, и я не буду также торопить Вас отдачею капитала». Так он пишет посланнику в апреле 1736 года, недвусмысленно намекая на ожидаемую взаимность: «Нельзя знать, как долго можно быть полезным, хотя все знаем, куда мы придем под конец. Я не имею другого намерения, как только служить Вам, чему Вы можете вполне верить». Именно так, давая в долг и намекáя при этом на взаимную полезность, обычно покупают людей. Итогом всех этих и других усилий стало успешное избрание Бирона в 1737 году герцогом Курляндии.

Конечно, в зоне внимания фаворита были не только курляндские дела. Он контролировал также и внутреннюю политику, причем можно утверждать, что без его, влиятельнейшего при дворе человека, содействия многие проблемы были бы неразрешимы. Иван Кирилов, выполнявший важные поручения в Башкирии в 1734—1735 годах, регулярно

сообщал именно Бирону о ходе дел и писал, к примеру: «Молю Ваше высокографское сиятельство не оставить меня бедного не для иного чего, но для высочайшего Ея императорского величества интересу, для которого, усмотря удобное время, отважился ехать... а окроме Вашего высокографского сиятельства иной помощи не имею, дабы, Ваше высокографское сиятельство, старание о пользах Российской империи к безсмертной славе осталось». Письмо этого прилежного и ревнительного к порученному делу человека хорошо показывает особую роль Бирона в государственных делах. В условиях вязкой бюрократии не только воровать, но и делать что-нибудь полезное государству можно было только тогда, когда в этом помогала чья-то мощная властная рука. Иначе все погрязнет в переписке, склоках чиновников, спорах ведомств...

Поэтому думаю, что Кирилов не преувеличивал, когда писал Бирону благодарственное письмо за вовремя присланные именные указы императрицы Анны и, не кривя душой, признавал, что в том фаворит «есть скорый помощник, более Ваше высокографское сиятельство и никого утруждать не имею, покамест зачну город строить».

Речь идет о строительстве Оренбурга, который долго не появился бы на карте, если бы не действенная помощь Бирона Кирилову. Так уж повелось у нас издавна — огромное счастье для страны, если фаворит, влиятельный вельможа — не просто хам или злодей, а пусть не очень образованный, но все же не чуждый культуре человек. И не будет преувеличением утверждать, что не видать бы нам первого университета в 1755 году или Академии художеств в 1760 году, если бы с императрицей Елизаветой Петровной делил ложе кто-то другой, а не добрейший Иван Иванович Шувалов — гуманист, бессребреник и просвещенный друг Ломоносова. Долго бы волны Черного моря омывали пустынные берега Севастопольской и Одесской бухт, если бы не бешеная энергия другого фаворита другой императрицы — Григория Потемкина. И так далее, и так далее...

Бирон оказывал решающее влияние не только на ход дел, но и на судьбы многих людей. От его симпатий, антипатий, подозрений и расчетов напрямую зависила жизнь многих высокопоставленных подданных. Упомянутая выше судьба кабинета-министров Артемия Волынского — наиболее яркий тому пример. Благодаря Бирону Волынский сделал стремительную карьеру, но потом, не угодив временщику, оказался в опале и даже был казнен как государственный преступник, причем многое говорило за то, что Бирон лич-

Анна

Император Петр I Алексеевич.

Царь Иоанн V Алексеевич,
отец Анны.

Царица Прасковья Федоровна,
мать Анны.

Измайлово. *Гравюра И. Ф. Зубова. 1720-е годы.*

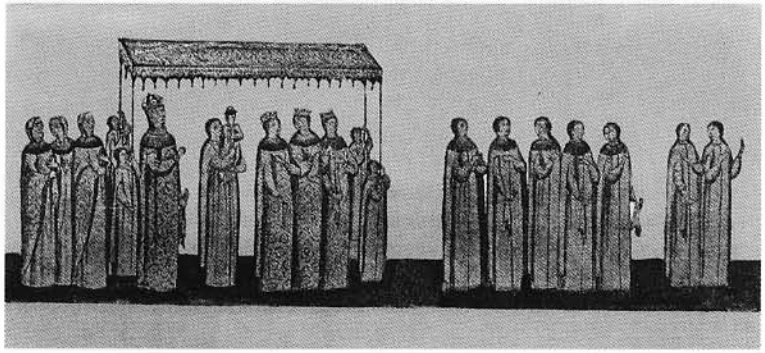
Царевна Екатерина Ивановна, сестра Анны.

Царевна Прасковья Ивановна, сестра Анны.

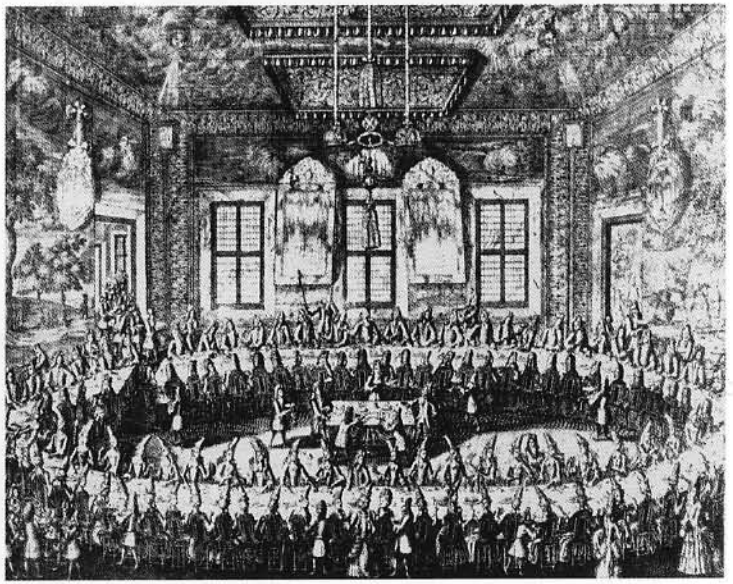
Цесаревна Анна Петровна.

Царевна Елизавета Петровна.

Выход царицы в XVII веке. *Гравюра из альбома Мейерберга.*

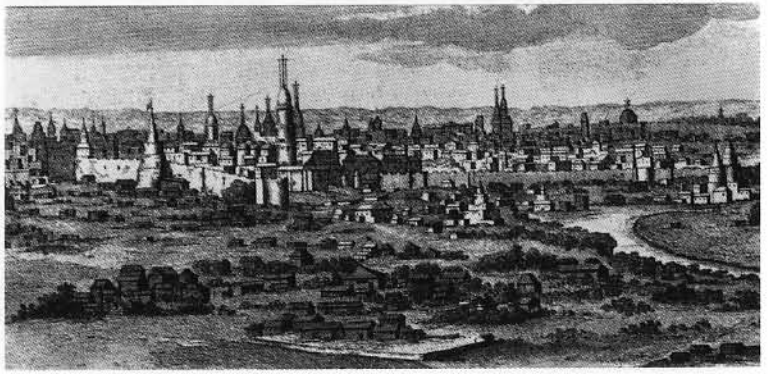


Свадебный пир Петра I и Екатерины 19 февраля 1712 года. *Гравюра А. Ф. Зубова. 1712.*



Император Петр II.

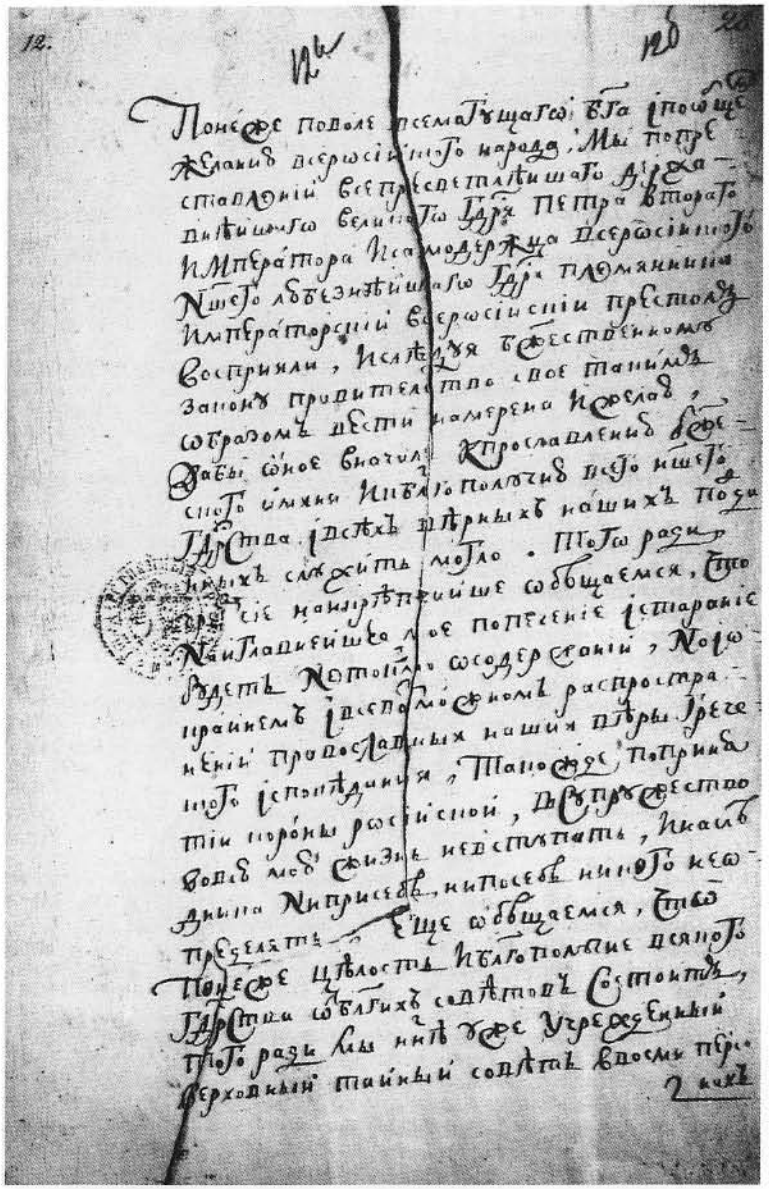
Панорама Москвы в 1702 году. *Иллюстрация к книге К. Де Брюйна.*



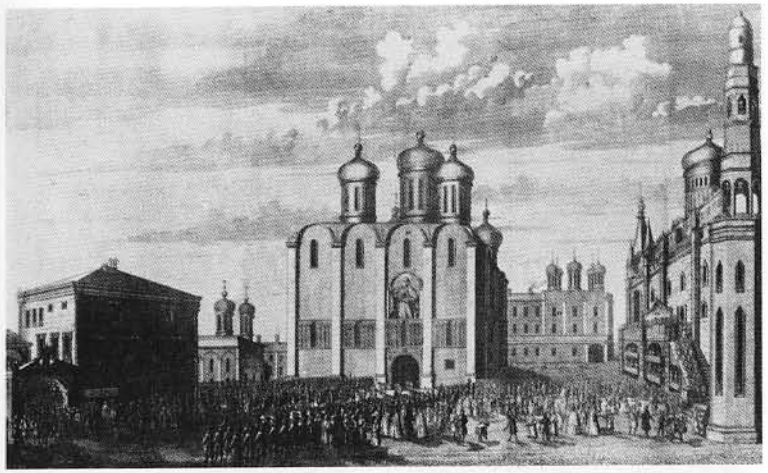
Фридрих Вильгельм,
герцог Курляндский.

Граф Гавриил Иванович
Головкин.

Князь Дмитрий
Михайлович Голицын.

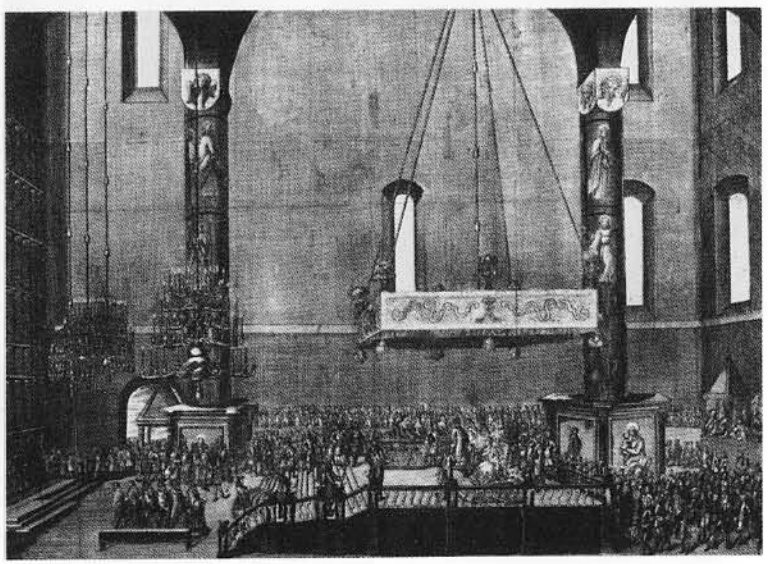


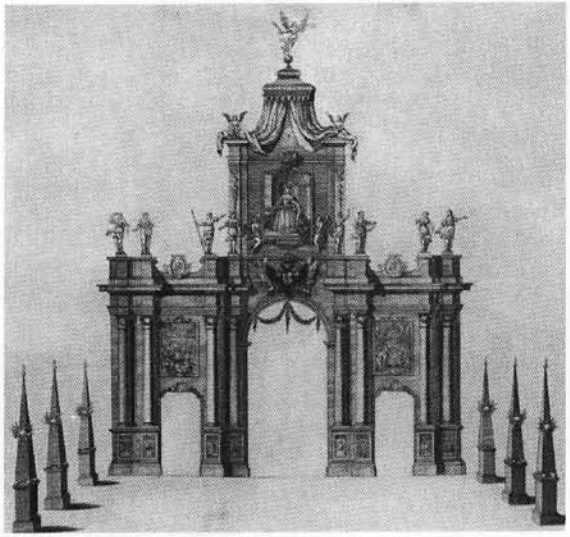
«Кондиции», разорванные рукой Анны Иоанновны.
Фрагмент подлинника.



Коронация Анны Иоанновны. 1730 год. Шествие в Успенский собор.

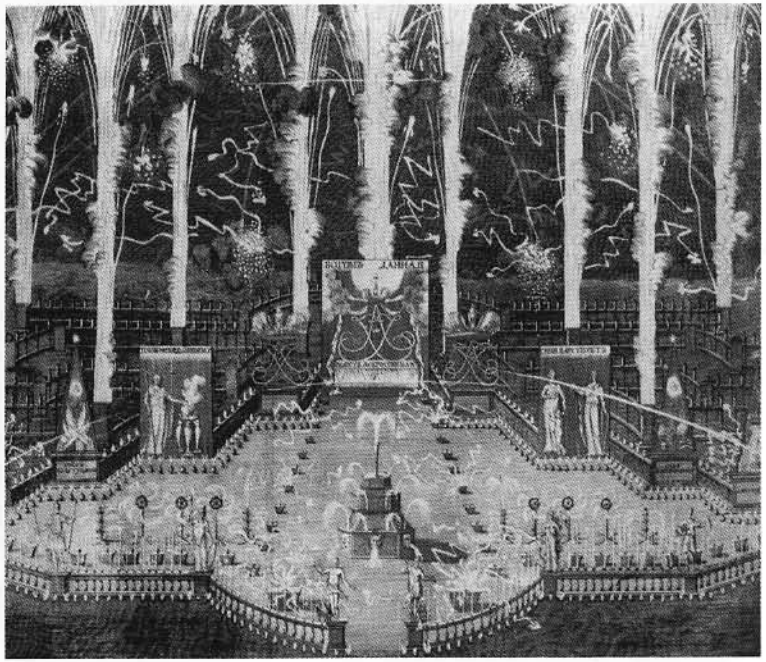
Коронация Анны Иоанновны в Успенском соборе Московского Кремля.





Триумфальная арка в честь коронации Анны Иоанновны. *Проект.*

Фейерверк в честь коронации Анны Иоанновны.



Императрица Анна Иоанновна. *Парадный портрет.*

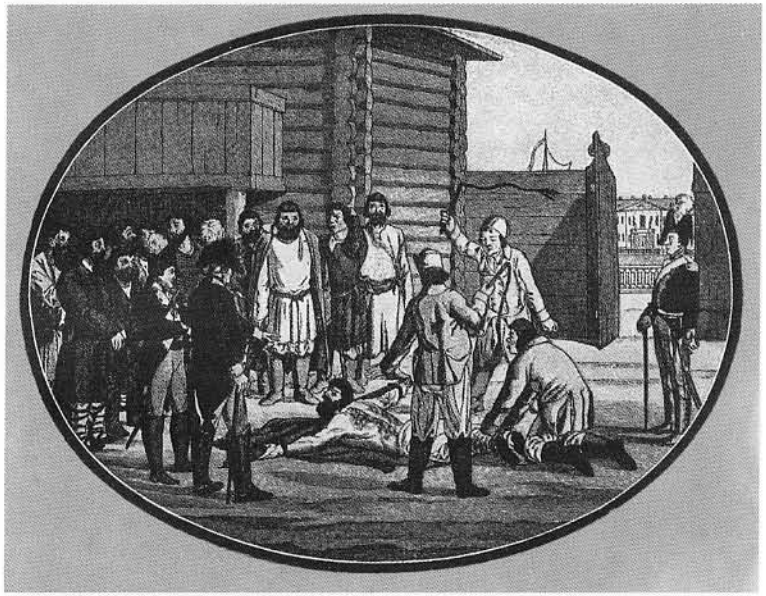
Императрица Анна Иоанновна.

Герцог Эрнст Иоганн Бирон.

Фельдмаршал граф
Бурхард Христофор фон Миних.

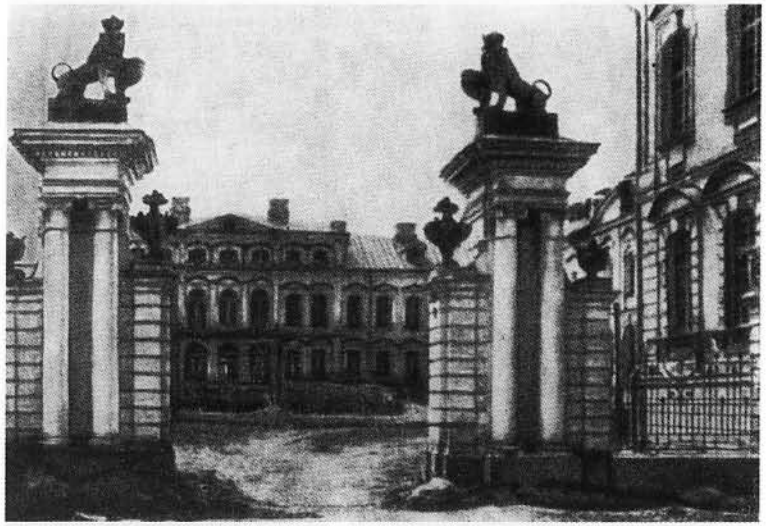
Вице-канцлер граф
Андрей Иванович Остерман.

Князь Алексей Михайлович
Черкасский.



Наказание плетью в Тайной канцелярии. *С акварели Гейслера.*

Дворец Бирона в Руентале (Рундале).



Артемий Петрович Волынский.

Граф Павел Иванович Ягужинский.

Портрет императрицы
Анны Иоанновны.
Работа скульптора
Х. Л. Люке.

Граф Андрей Иванович Ушаков.

но сделал все необходимое, чтобы его бывший любимец закончил жизнь на эшафоте на грязной площади Обжорного рынка в Петербурге. Позже, уже во времена Елизаветы Петровны, в письме из ярославской ссылки Бирон признавался канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину, что было немало людей, о «сохранении которых ежели бы я не постарался, они уже пред несколькими годами принуждены были бы из России выехать». Речь идет, в первую очередь, о Минихе, который просил заступничества фаворита после неудачного штурма Очакова в годы русско-турецкой войны. Впрочем, отношения Бирона с Минихом были сложными. С одной стороны, Бирон знал честолюбие Миниха и старался не спускать с него глаз и, как писал в 1732 году саксонский посланник Лефорт, «хотя Миних еще раболепствует перед обер-камергером Бироном, но сей последний очень хорошо знает, как опасно согревать змею за пазухой». Ирония судьбы как раз и состояла в том, что уже после смерти Анны Иоанновны благодаря усилиям Миниха Бирон стал регентом, но вскоре Миних сверг его, в сущности, нанес удар в спину своему патрону. Змея-таки согрелась и тяпнула!

Переписка Бирона, его бумаги и особенно — его следственное дело, заведенное после свержения регента и его ареста осенью 1740 года, говорят об одном — это был человек умный, волевой, сильный. Обычно над свергнутыми вельможами потешаются, ищут для них, низверженных и поэтому безопасных, самые невыгодные обидные клички, сравнения и образы. В сохранившейся до наших дней эпиграмме на опального Бирона его сравнивают с бодливым быком, которому обломали золотые рога. В этом образе нет уничижительного подтекста, наоборот есть что-то от Зевса, но главное — образ этот достаточно точен: могучий, страшный для многих, упрямый, необузданный, независимый, несокрушимый. А то, что ему обломали рога, сделали его как тогда говорили, комолым — ну что ж, такова жизнь, со всяким быть может.

Важно также заметить, что даже в стесненных условиях заключения в Шлиссельбургской крепости, куда отправили Бирона, при непрерывном и грубом давлении следователей, под угрозой позорной смертной казни через четвертование, Бирон в отличие от других своих подельников держался молодцом. Соблюдая необходимую и принятую в такой ситуации демонстративную позу покорности, верноподданной надежды на милосердие правителей, Бирон сумел так убедительно и столь безошибочно ответить на поставленные ему «смертельные» вопросы, что этого обстоятельства не может

скрыть даже обычно весьма тенденциозная запись следственного канцеляриста. И уже совсем из ряда вон выходящим оказалась очная ставка Бирона с первоначально давшим в феврале 1741 года против него обвинительные показания А. П. Бестужевым-Рюминым. Составленные заранее «Пункты в обличение Бирона, по которым следует очная ставка с Бестужевым» в конце ее оказались не грозным, смертоносным документом, а простым, ненужным листком бумаги. Встретившись «с очей на очи» со своим бывшим благодетелем, Бестужев вдруг отказался от своих прежних показаний и «повинился», сказал, что ранее страх угрозы вынудил его оболгать бывшего регента империи. Такие «возвратные» показания в истории политического сыска встречаются крайне редко. Допускаю, что (при всех других сопутствующих делу обстоятельствах) сила, исходившая от личности Бирона, повлияла на Бестужева, давление свергнутого регента оказалось сильнее чувства самосохранения, желания во имя собственного спасения оговорить Бирона, как этого хотели следователи. В итоге главный свидетель снял свои обвинения, следствие зашло в тупик, правительница Анна Леопольдовна выразила недовольство деятельностью Следственной комиссии, которая не смогла выполнить задания в отношении Бирона: «привести его в надлежащее чювствование и для явного его обличения». Более того, воодушевленный таким благоприятным для себя ходом следствия, Бирон приободрился и через следователей фактически предложил Анне Леопольдовне, а главное — стоявшим за ее спиной людям у власти (Миниху, Остерману, заправлявшему тогда делами), сделку: его милуют от смертной казни, а он будет держать язык за зубами обо всех их неприглядных делах. В общем, так и вышло: приговоренный к четвертованию, Бирон был помилован и сослан в Сибирь, причем задолго до вынесения смертного приговора в Березов был послан офицер для того, чтобы подготовить острог для будущего заточения временщика.

Несомненно, все расследование могло бы пойти и по другому сценарию. Если бы бессменный начальник Тайной канцелярии А. И. Ушаков получил указ пытать Бирона и Бестужева и устроил им, висящим на дыбах, очную ставку, то нужный результат был бы, несомненно, получен: преступники бы покаялись, оговорили друг друга и головы бы их слетели с плеч вне зависимости от того, сумели они оправдаться или нет в допросах и очных ставках без пытки. Но в той обстановке, которая создалась при кратковременном и вполне гуманном правлении Анны Леопольдовны в

1741 году, Бирон остался с головой на плечах во многом благодаря собственному хладнокровию, силе характера, точному расчету, основанному на знании людей, с которыми он имел дело. Ни правительница, ни ее муж принц Антон Ульрих, свергнув Бирона, не знали, что с ним, в сущности, нужно делать. Они были случайными людьми у власти и не имели достаточно острых клыков для того, чтобы добить поверженного быка. Накануне своего падения Бирон со смехом говорил одному из иностранных дипломатов, что принц Антон Ульрих — совершеннейшая тряпка и главное предназначение его в России — «производить детей, но и на это он не настолько умен».

Вернемся, однако, к государственной деятельности Бирона. Не будем наивными — своим огромным влиянием он пользовался главным образом не для государственных, а для личных целей. Не буду распространяться о том, что Бироны материально не бедствовали, — достаточно посмотреть на Рундальский дворец в Латвии — творение гениального и очень дорогого для заказчика архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Став герцогом, Бирон купил землю возле города Бауска, и Анна Иоанновна поручила Растрелли заняться строительством дворца. Из Петербурга были посланы мастера разных ремесел, везли материалы, и дворец начал быстро расти. Было видно, что денег на благоустройство его роскошных апартаментов, на Большой, Золотой, Мраморный и Белый залы хозяин не жалеет. Откуда берутся эти деньги на строительство дворца, как и другого — зимнего Митавского на реке Лиелупа (с 1738 года), а также на сооружение охотничьего дворца и парка в Светгофе, никто спрашивать не смел. В народе говорили об этом прямо: Бирон вывез в свою Курляндию два корабля денег. Болтунам резали языки и ссылали в Сибирь. Слухов об этих двух кораблях всерьез принимать не будем, но ясно, что бездонный карман новоиспеченного герцога был непосредственно соединен с подвалами Штатс-коллегии, где хранилась российская казна.

Естественно, что деньги из казны шли к Бирону и законным путем — в виде наград и пожалований императрицы своему любимому камергеру, который к тому же получал большое жалованье за свои тяжкие государственные труды и награды. В 1735 году, например, Анна приказала разделить часть присланных из Китая подарков между А. И. Остерманом, П. И. Ягужинским, Левенвольде, А. М. Черкасским и, конечно, Бироном. А по случаю завершения в 1739 году в целом малоуспешной войны с Турцией фаворит получил награду — полмиллиона рублей — сумму астрономическую по

тем временам, ведь все расходы на армию и флот составляли тогда около шести миллионов рублей в год.

Но богатства в прошлом нищего кенигсбергского студента накапливались и не всегда праведными путями — а именно, в виде подарков и взяток. Отбоя от высокопоставленных просителей не было. Сохранилось немало свидетельств «ласкательств» Бирона и его жены холопствующей русской знатью. Вот типичное письмо к фавориту генерала Чернышева: «Сиятельнейший граф, милостивый мой патрон! Покорно Ваше сиятельство прошу во благополучное время милостиво доложить Ея императорскому величеству, всемилостивейшей государыне... чтоб всемилостивейшей Ея императорского величества указом определен я был в указное число генералов и определить мне каманду, при которых были генералы Бон или Матюшкин». Такие просьбы не могли не быть подкреплены соответствующим им подарком.

А вот сестра Антиоха Кантемира, Мария, 11 декабря 1732 года просит Бирона как «патрона и благодетеля», «дабы предстательством своим исходатайствовал у Ея императорского величества всемилостивейший указ о додаче нам недоставшего дворов числа... (Суть челобитной состояла в том, что из пожалованных Кантемирам 1030 дворов реально им дали только тысячу. — *Е. А.*) Истинно бедно живем — ни от кого не имеем помощи, понеже инаго патрона не имеем, то в крайнее придем убожество».

Не упустил случая польстить Бирону и известный гибкостью спины архиепископ Феофан Прокопович. Он послал Бирону свой перевод французской пьесы, чтобы тот, надо полагать, как «природный француз», потомок французских герцогов Биронов, посмотрел, «прямо ли она переведена», хорош ли перевод. Как к «отцу своему» обращается к Бирону княгиня Прасковья Голицына, жалуясь на своего родственника В. П. Голицына, который не отдает ей какой-то «складень алмазной», и просит, «улуча удобное время, по оному доложить всемилостивейшей нашей государыне».

Как все знакомо. В системе деспотической власти интрига состояла в том, чтобы упросить фаворита или влиятельного секретаря-порученца, «улуча удобное время», доложить повелителю в доброжелательном, а может быть и в шутливом, тоне просьбу страдальца — и дело сделано. Так просили о содействии кабинет-секретаря Петра I А. В. Макарова, так просили камергера императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалова и т. д.

За исполнение просьбы фаворит получал благодарственное письмо просителя и подарок. Вот, например, еще один

аристократ, московский генерал-губернатор Б. Юсупов, в 1740 году сообщает Бирону, что его послание с сообщением об успешном ходатайстве перед Анной Иоанновной «с раболепственною и несказанною радостию получить сподобился не по заслугам моим... всенижайший раб». Окончание другого письма Юсупова к Бирону приводит князь П. В. Долгоруков в своей книге «Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны»: «С глубоким уважением осмеливаясь поцеловать руку Вашего высочества, имею честь быть Вашего высочества верный раб».

Письменными благодарностями, как правило, дело не ограничивалось — благодетелю дарили богатые подарки, до которых Бирон и его экономная супруга были большие охотники. Посылая две «нашивки жемчуга» Бирону, графиня М. Я. Строганова писала: «И того ради прошу Ваше сиятельство пожаловать — уведомить меня, которой образец понравится, а жемчюг, из которого буду низать, будет образцового гораздо крупнее, на оное ожидаю Вашего сиятельства повеление... Покорная услужница...» (подпись). Другая родовитая «покорная услужница» М. Черкасская, посылала «нефомильной» Бирону подарок поскромнее. Ей, даме очень богатой, все же трудно тягаться с «соляной царицей» Строгановой: башмаки, «шитые по гродитуре (вид ткани. — *Е. А.*) алому, другие — тканые, изволь носить на здравие в знак того, чтоб мне в отлучении быть уверенной, что я всегда в вашей милости пребываю». При этом княгиня просит уточнить, «по каким цветам прикажете вышить башмаки, что я себе за великое щастие приму, чем могла бы услужить».

Вся тонкость состояла в том, что такие подарки как бы не считались взяткой — это, мол, самоделки, пустяк, не купленная и не ценная вещь, а просто — знак внимания благодетельнице. Мужчины же стремились угодить самому благодетелю иными, более существенными подарками, например лошадьми.

К содействию Бирона прибегал даже Семен Андреевич Салтыков — доверенейший человек императрицы. Как-то в 1733 году он прогневал матушку регулярными пьянками и взятками, слава о которых дошла до Петербурга. И тогда родственника императрицы спас от ее гнева Бирон. В своем послании Салтыков «рабски благодарил» Бирона и выказал надежду, что милостию «оставлен не буду», и обер-камергер сможет «в моей невинности показать милостиво предстательство у Ея императорского величества... о заступлении». Сплетни же о злоупотреблениях московского главнокоман-

дующего он, естественно, отвергал: «А что на меня вредя доносят, будто б изо взятку идут дела продолжительно и волочат, и то истинно, государь, напрасно». Письмо это было послано не прямо Бирону, а сыну Салтыкова, Петру Семеновичу, причем отец поучал отпрыска: «Ты то письмо подай его сиятельству, милостивому государю моему, сам, усмотря час свободный, и чтоб при том никого не было, и за такую его ко мне высокую отеческую милость и за охранение благодари».

Наконец гроза царского гнева миновала, и Салтыков подобострастно пишет уже самому Бирону, что получил «милостивое письмо» Анны Иоанновны, «из чего я признаю, что оная... ко мне милость чрез предстательство Вашего высокографского сиятельства милостивого государя...». Это письмо датировано 18 сентября 1733 года. А 3 октября Салтыкову пришлось уже рассчитываться. В письме сыну Семен Андреевич сообщал: «Писала ко мне ея сиятельство, обер-камергерша Фонбиронова, чтоб я здесь купил и прислал к ней три меха горностаевых, да два сорока неделанных горностаев... И как ты оные мехи получишь и, приняв оные, распечатай и, выняв из ящика и письмо мое, отнеси к ея сиятельству два меха и горностаи и при том скажи: «Приказал батюшка вашей светлости донесть, чтоб оныя носили на здоровье!», и как оные подашь, и что на то скажешь, о том о всем ко мне отпиши».

6 ноября Салтыков писал уже своей невестке: «Что ты, Прасковья Юрьевна, пишешь, обер-камергерша говорила тебе, которые я послал мехи и горностаи, чтоб мне отписать оным мехам и горностаям цену, а ежели не отпишу, что надобно за них заплатить, то впредь ко мне она ни о чем писать не будет, и ежели она тебе впредь о том станет говорить, и ты скажи, что за оные мехи и горностаи даны восемьдесят один рубль». Думаю, что Салтыков цену сильно занизил.

Однако в иных случаях, когда ему это было выгодно, Бирон, как мы уже говорили, снимал с себя всякую ответственность за дела, прикрываясь своим неведением или нежеланием вмешиваться в чиновничьи проблемы. Генерал-прокурор елизаветинской поры Я. П. Шаховской вспоминает, что когда он попросил Бирона избавить его от должности советника полиции, то получил отказ: «Его светлость... с несколько суровым видом изволил ответствовать, что он того не знает, а говорил бы я о том с министрами, ибо они к тебе благосклонны». Бирон явно намекал Шаховскому на кабинет-министра А. П. Волынского, попавшего в опалу летом 1740 года из-за несогласия с Бироном.

Как у каждого фаворита, у Бирона было приемное время, когда он выслушивал просителей и добровольных доносчиков. Князь Я. П. Шаховской в своих «Записках» весьма колоритно описывает повадки временщика. Однажды дядя мемуариста — генерал А. И. Шаховской — попросил племянника походатайствовать за него перед Бироном. А. И. Шаховской знал, что на него постоянно «наносил» (то есть доносил, сплетничал) Миних. Поэтому живший в Петербурге племянник и должен был нейтрализовать злокозненные выпады Миниха, который требовал (между прочим, на законном основании), чтобы генерал Шаховской ехал по месту назначенной ему службы на Украину, а не отсиживался, якобы из-за болезни, в Москве. При очередном посещении Я. П. Шаховским двора случай переговорить с Бироном представился в тот момент, когда «герцог Бирон вышел в аудиенц-камеру, где уже много знатнейших придворных и прочих господ находилось, и подошел ко мне, спрашивал, есть ли дяде моему от болезни легче? и скоро ли в Малороссию к своей должности из Москвы поедет?». Будучи «инако к повреждению дяди моего уведомлен (от Миниха. — *Е. А.*), несколько суровым видом и вспыльчивыми речами на мою просьбу (о продлении лечения дядею больных глаз. — *Е. А.*) ответствовал, что уже знает, что желания моего дяди пробыть еще в Москве для того только, чтоб по нынешним обстоятельствам весьма нужные и время не терпящие к военным подвигам, а особливо там дела, ныне неисправно исполняемые свалить на ответы других: вот-де и теперь малороссийское казацкое войско, к армии в Крым идти готовящееся, более похоже на маркитанов, нежели на военных людей...» Как видим, Бирон довольно хорошо разбирался в перипетиях событий и интриг. Шаховской пытался возражать и оправдываться. Тут Бирон вспылил (опять подтверждается его весьма тяжелый и вспыльчивый нрав): «Уже в великой запальчивости мне сказал: «Вы, русские, часто так смело и в самых винах себя защищать дерзаете...» Бирон «ходил по палате, а я, в унылости перед ним стоя, с перерывами продолжал об оной материи речи близ получаса, которых подробно всех теперь описать не упомню, но последнее то было, что я увидел в боковых дверях, за завешенным не весьма плотно сукном стоящую и те наши разговоры слушающую Ея и. в., которая потом вскоре, открыв сукно, изволила позвать к себе герцога, а я с сей высокопочтенной акции с худым выигрышем с поспешанием домой ретировался».

Удрученный своей неудачей, Шаховской все же снова на следующий день приехал ко двору, но на этот раз прибег к

хитрости, которая, в конечном счете, и спасла все дело. Эта уловка позволяет судить о Шаховском как об опытном царедворце. Но дадим слово самому автору: «А на другой день приехал во дворец и в покоях герцога Бирона, не входя в ту палату, куда я между прочими знатными персонами прежде входил, [а] в другой, где маломощные и незнакомые бедняки ожидали своих жребьев, остановился, ведая, что его светлость, отделяясь от окружения знатных господ и во оную палату на краткое время выходит и выслушивает их просьбы, а некоторых удостаивает и своими разговорами, что вскоре и воспоследовало. Его светлость, отворя дверь, глядел во оную палату, принимая некоторые поклоны и другие просьбы, и, увидев меня, позади прочих в унынии стоящаго, сказал мне, для чего я тут стою и нейду далее сюда? указал мне ту палату, где он с окружающими его знатнейшими господами находился, куда я за ним немедленно и вошел. Через несколько минут его светлость, подошед ко мне, спрашивал меня благосклонно» и вскоре дал понять, что не гневается ни на племянника, ни на дядюшку, который может и дальше лечить свои глаза.

Как видим, немного унижения перед временщиком — и покорность оценена по достоинству, гнев снят. А уже через несколько дней, когда Шаховской принес во дворец пакет от дяди с надписью: «К герцогу Бирону для препровождения до рук Ея величества» (тоже один из распространенных способов добиться у государыни нужного решения через благосклонного к просителю фаворита), Бирон принял пакет и, «выслушав те мои речи, оставя прочих, пошел и мне приказал идти за собою в свой кабинет, где вынятыя из онаго письма приказал мне прочесть, потом, являя мне знак своей благосклонности, долго о той материи со мной разговаривал». Скользки придворные паркеты, и нелегко было балансировать на них даже такому ловкому царедворцу, каким оказался князь Шаховской. Ну а дяде мемуариста, о котором он так трогательно заботился, не повезло: ему пришлось-таки отправиться на Украину в конце мая 1736 году, однако по дороге А. И. Шаховской умер.

Бирон, так же как и императрица, имел свое увлечение — он был страстный лошадник, понимал, знал и любил лошадей и много сделал для организации коннозаводского дела в России. Одна из его первых государственных бумаг 1731 года была посвящена заготовке сена для прибывающих из Германии в дворцовую конюшню лошадей. Под его непосредственным и чутким руководством Артемий Волынский организовывал конные заводы, закупал за границей породистых

лошадей. Читая правительственные документы, начинаешь думать, что проблема коневодства была одной из важнейших в Российском государстве 30-х годов XVIII века. Однако это лишь первое впечатление. Эта действительно важная для русской армии задача так и не была решена — военному ведомству по-прежнему приходилось закупать лошадей у степняков Прикаспия и Поволжья, и, как показали войны XVIII века, в русской кавалерии были в основном плохие лошади. Когда во время Семилетней войны русская кавалерия вошла в Германию, там поражались низкорослости и непрезентабельному виду русских лошадей.

Но Бирон, собственно, и не стремился изменить ситуацию в целом; его заботили лишь те заводы, которые обеспечивали нужды придворной конюшни. В эту конюшню, вмещавшую не более четырехсот лошадей, попадали самые лучшие животные, для чего их покупали по всей Европе и Азии или попросту конфисковывали у частных лиц. Сохранились письма Анны к С. А. Салтыкову с требованием изъять лошадей у опальных Долгоруких и отвести к «конюшне нашей». Особое внимание уделялось персидским лошадям — аргамакам. Анна Иоанновна написала Салтыкову, чтобы он послал «потихонько в деревни Левашова (тогда командующего оккупационным корпусом в Персии. — *Е. А.*) разведать, где у него те персидские лошади обретаются, о которых подлинным мы известны, что оне от него (из Персии. — *Е. А.*) в присылке были, и, хотя сын его и запирается, тому мы не верим и уповаем, что их есть у него довольно, а как разведаешь и где сыщутся, то вели их взять, за которыя будут заплачены ему деньги, смотря по их годности».

Так и видишь за спиной пишущей эти строки императрицы алчущие глаза отчаянного лошадника Бирона, мечтавшего разжиться каким-нибудь великолепным ахалтекинцем. И действительно, разведка императрицы донесла, что генерал лошадей утаил; они были изъяты, но не все оказались хороши — пришлось брать других у офицеров, служивших под началом Левашова в Персии. Требования к качеству лошадей, разумеется, были ничуть не ниже требований, которые предъявляла императрица к шутам.

Лошадей дарили и знающие страсть временщика иностранные монархи. Вероятно, самой приятной для Бирона взяткой была взятка лошадьми. В апреле 1735 года генерал Л. В. Измайлов, «одолженный неизреченною милостью и протекцией», писал Бирону: «Отважился я послать до Вашего высокографского сиятельства лошадь верховую карею не для того, что я Вашему высокографскому сиятельству какой

презент через то чинил (ни-ни! — *Е. А.*), но токмо для показания охоты моей ко услужению Вашему высокографскому сиятельству, а паче, чтоб честь имел, что лошадь от меня в такой славной конюшне вместится. Ведаю, милостивый государь, что она того не достойна (ну вот, в припадке лакейства обидел ни в чем не повинное благородное животное. — *Е. А.*), однако ж прошу милостиво принять. Чем богат, тем и рад...» Истинно, простота хуже воровства, и если это не взятка, то что такое взятка?

«Лошадиная» тема была популярна и на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей». 19 июня 1732 года газета сообщала, что Анна осматривала посланных ей «в презент» от австрийского императора цирковых лошадей, и они «были очень хороши и при том чрезвычайной величины, что превеликую забаву подает, когда они с подаренными в прошедшем годе от Его величества короля Шведского малыми готландскими зело пропорциональными лошадьми сравнены будут». Можно предположить, что именно по инициативе Бирона в 1732 году был создан гвардейский Конный полк — краса и гордость Марсова поля.

13 ноября 1735 года в газете сообщалось, что Анна осматривала конюшню кирасирского полка, «так и недавно из немецкой земли прибывших 500 лошадей... на обое всемилостивейшее свое удовольствие показала». Тогда же была открыта школа конной езды (здание строил архитектор Растрелли), которую патронировал сам Бирон, и он там «с знатными придворными сам присутствовал. Выбранные к тому изрядныя верховыя лошади всяк зело похвалял». 3 октября 1734 года сам Бирон демонстрировал пленным французским офицерам, привезенным из-под Данцига, «наилучших верховых лошадей разных наций, а именно турецких, персидских, неаполитанских и проч., в богатом уборе и под попонами». Их выводили, и «ими все конские экзерциции делали».

Немало волнений доставляли чиновникам «наикрепчайшие» указы Анны о содержании и размножении лошадей. Майор гвардии Шипов в апреле 1740 года получил указ, которым ему под страхом наказания предписывалось тщательно отобрать на Украине здоровых кобыл и жеребцов, «расчисля к каждым семи кобылам, наличным и здоровым, по одному жеребцу, и при том старание иметь, чтобы вышеупомянутыя кобылы в нынешний год без плода не остались». Вот и старался Шипов, зная, что его ждут большие неприятности в случае неисполнения указа императрицы. Детальные именные указы о том, чтобы «старыя и ныне новоприведенные кобылицы все были у припуску, не упустя удобного времени», получал и главный начальник Москвы Семен Салтыков.

Думаю, что те восторги, которые, согласно корреспонденциям газеты, изъявляла Анна, были искренними. Лошадь действительно прекрасное животное, а потом ведь этим увлекался обожаемый ею Бирон. Во второй половине 30-х годов Анна, несмотря на зрелые годы и изрядную полноту, выучилась верховой езде, чтобы всегда быть рядом со своим любимым обер-камергером, а тот, в свою очередь, угождал пристрастиям императрицы: устраивал для нее в том же манеже мишени для стрельбы.

Впоследствии, при Анне Леопольдовне, когда Бирона арестовали, одно из обвинений, которые выдвинули ему следователи, гласило: Бирон «свои тайные интриги для повреждения Ея величества здравия производить начал и 1. О дражейшем Ея величества здравии стал пренебрегать; 2. Усмотря до блаженной Ея величества кончины за многое время начинающуюся тогда... каменную болезнь, к таким трудным, едва и здоровому человеку удобоносимым, а особливо оной каменной болезни противным движениям и частым выездам из покоев, не токмо в летние дни, но и в самое холодное... время Ея величества склонял». Все эти витиеватые обвинения сводились к тому, что Бирон, увлекая императрицу верховой ездой, ускорил таким образом ее кончину. Последствием верховой езды стало движение камня в почках, которое и привело государыню к смерти. В принципе, действительно, верховая езда могла способствовать роковому движению камня, однако Бирон императрицу к этому, тем более умышленно, не склонял. Верховая езда объяснялась ее искренним желанием находиться как можно чаще и как можно дольше рядом с любимым человеком. Покой этой благополучной четы надежно охранял бравый воин — фельдмаршал Миних.

Фельдмаршал Миних, или «Столп Российской империи»

Вот он стоит перед нами, слева от Анны Иоанновны — суровый, в римском стиле, воин в доспехах, блещущих в лучах его славы. Это Бурхард Христофор Миних. «Высокорожденный и нам любезноверный» — так называла его Анна Иоанновна в своих указах. «Столпом Российской империи» скромно именовал сам себя Миних в написанных им позже мемуарах.

История жизни «столпа» началась вдали от России — он родился в Ольденбургском герцогстве в 1683 году. Называя

своего фельдмаршала «высокорожденным», Анна кривила душой — знатность его была весьма сомнительной. Отец будущего графа получил дворянство уже после рождения Бурхарда Христофора. Думаю, что «нефомильность» сформировала особый комплекс превосходства, который владел Минихом всю жизнь. Отец его был офицером датской армии, военным инженером, фортификатором, строителем дамб и каналов. Сын пошел по той же стезе, требовавшей немалых знаний и способностей. За два десятилетия службы Миних, как и многие другие ландскнехты, сменил несколько армий: французскую, гессен-дармштадтскую, гессен-кассельскую, саксонско-польскую. С годами он стал профессионалом в инженерном деле и постепенно поднимался по служебной лестнице. Но сказанное не передает всего своеобразия ранних лет Миниха. Процитирую отрывок из его биографии, как бы сейчас сказали, «резюме», помещенное в книге Д. Н. Бантыш-Каменского «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов»:

«Вступил в службу гессен-дармштадскую капитаном (1701 г.) на осьмнадцатом году от рождения; находился при взятии крепости Ландавы (1702 г.) Иосифом I-м; получил старанием отца своего место главного инженера в княжестве Ост-Фрисландский; оставил эту должность и молодую, прекрасную жену (1706 г.), чтобы в звании гессен-кассельского майора участвовать в победах Евгения [Савойского] в Италии и Нидерландах; получил за оказанную им храбрость чин подполковника (1709 г.), был опасно ранен во Фландрии, при Денене (1712 г.), взят в плен французами, отправлен в Париж. Там познакомился со славным Фенелоном (французский писатель-моралист, архиепископ. — *Е. А.*), которого часто посещал, утешая себя христианскою его беседою. Возвратясь в Германию, пожалован полковником и употреблен Гессенским ландграфом Карлом для устроения шлюза Карлсгавенского и канала».

В конце 1710-х годов он, служа в польско-саксонской армии Августа II, вступил в острый конфликт со своим шефом — фельдмаршалом Флемингом, решил в очередной раз сменить знамя и в поисках нового господина, которому был готов служить своей шпагой (точнее — циркулем), обратился к Петру I, направив ему свой трактат о фортификации. Сочинение Миниха Петру, хорошо знавшему фортификационное дело, понравилось, и он взял Миниха на русскую службу. Не дожидаясь оформления договора о службе — так называемой «капитуляции», Миних выехал в Россию, положившись на высокое слово русского царя. Так с 1721 года

началась карьера Миниха в России, где его ждали взлеты и падения, победные сражения и дворцовые перевороты, почет и тюрьма, а затем двадцатилетняя ссылка в Сибирь. Петр, перед тем как дать Миниху генеральский чин, испытывал его: поручил сочинить план укрепления Кронштадта, сделать инспекцию укреплений Риги и отчитаться о командировке, и только после бесед по итогам поездки выдал ему патент на чин генерал-майора. Генерал-поручика Миних получил в 1722 году за создание шлюзов на невских порогах. Его перу принадлежит план гавани в Балтийском порте (ныне Палдиски, Эстония). В 1723 году Петр, отчаявшись дождаться окончания начатого в 1719 году Ладожского канала, поручил это дело Миниху и был весьма доволен его проворством и распорядительностью — стройка наконец-то сдвинулась с мертвой точки. С опалой в 1727 году Меншикова, главного недруга Миниха, карьера последнего резко пошла вверх: он стал графом Российской империи, получил имение в Лифляндии, был назначен генерал-губернатором Петербурга (1728 год).

Время царствования Анны Иоанновны оказалось для Миниха вообще золотым веком. Он быстро вошел в число самых доверенных сановников новой императрицы. Анна почувствовала его надежное плечо сразу же после восстановления самодержавия в феврале 1730 года. Миниха не было в Лефортовском дворце в ночь смерти Петра II. Не было его и в Кремле в нервные дни «затейки» верховников. Он, как уже сказано, был главнокомандующим в Петербурге — тогда забытой, опустевшей столице, время короткой жизни которой, казалось, истекло. Вероятно, Миних подумывал о поиске новых патронов, готовых на выгодных условиях на очередные пять лет купить его шпагу. Но как только Анна пришла на трон, Миних за сотни верст четко уловил силу этой власти. 9 марта в Петербург пришла отпечатанная присяга и манифест, в котором было сказано, что «верныя наши подданныя все единогласно нас просили, дабы мы самодержавство в нашей Российской империи, как издревле прародители наши имели, восприять соизволили... [что] и соизволили». Миних быстро провел присягу на верность Петербурга самовластной государыне Анне Иоанновне и 9 марта спешно докладывал, что «здешние полки начали сего дня в церкви Святыя Живоначальныя Троицы при присутствии его превосходительства господина генерала графа фон Миниха присягать». Анна могла вздохнуть с облегчением — Петербург был уже ее. А между тем так благополучно присяга проходила не везде и несколько лет потом в Тайной канце-

лярии расследовали десятки дел о священниках и администраторах, которые отказывались присягать (и главное — приводить к присяге подданных) неведомо откуда взявшейся государыне, в то время как была жива «настоящая государыня» Евдокия Федоровна (*постриженная в монахини* первая жена Петра I, которая в это время жила в Новодевичьем монастыре).

Но не только быстрота, с которой Миних привел Петербург в верность государыне, понравилась новому двору. Был еще один верноподданнический поступок: Миних сразу же донес на адмирала Петра Сиверса, который в дни избрания Анны Иоанновны позволил себе усомниться в ее праве занять русский престол вперед дочери Петра Великого — Елизаветы. По доносу Миниха Сиверс вскоре был лишен всех званий и орденов и в итоге на десять лет отправился в ссылку. И лишь когда сам Миних оказался в Сибири, он признался в письме к императрице Елизавете Петровне в этом своем неблаговидном поступке. Но в начале 30-х годов Миних был «в своем праве надежен» и действовал решительно, твердо, *с перспективой на повышение. Сочиняя донос на* Сиверса, он явно стремился угодить новой императрице, с тревогой посматривавшей в сторону Елизаветы — опасной соперницы. Из этих же соображений исходил Миних, когда ему было поручено дело фаворита Елизаветы — прапорщика Шубина, сосланного в Сибирь. Миних вел и дело одного из теоретиков ограничения власти императрицы — Генриха Фика, также сосланного в Сибирь. Только с образованием в 1731 году Тайной канцелярии фортификатора и инженера Миниха освободили от поручений политического сыска.

Было бы большой ошибкой представлять Миниха исключительно грубым солдафоном. Конечно, он был чужд отвлеченному философствованию, но оставшиеся после него письма свидетельствуют об известной изощренности ума, умении ловко скользить по дворцовому паркету, на котором *он чувствовал себя не менее уверенно, чем на строительстве* бастионов или каналов. Миних обладал выспренным, цветастым стилем, был мастером комплиментов, мог ловко польстить высокому адресату, хотя, как и во всем другом, ему часто изменяло чувство меры. Чего стоит только его письмо к Елизавете из Пелымской ссылки в марте 1746 году, в котором истомившийся в Сибири опальный фельдмаршал, восхваляя императрицу, густо смешивает патоку с медом и сахаром! На какие только педали он не нажимает, к каким только возвышенным образам не прибегает, чтобы убедить императрицу Елизавету в том, что он желает ей добра! Не

дает Миних покоя и праху великого отца Елизаветы: «И так дозвольте, великодушная императрица, воздать мне дань памяти Петра Великого, которого прах я почитаю и который, ходатайствуя обо мне, ныне обращается к Вам с сими словами: «Прости этому удрученному все его вины из любви ко мне, прости ему из любви к тебе, прости ему из любви к империи, которую ты от меня унаследовала, благосклонно выслушай его предложения и прими их как плоды тебе верного, преданного и ревностного. Простри руки к удрученным, извлеки их из несчастья и Спаситель прострет к тебе руки, когда ты явишься перед ним. Не внимай тому, что тебе говорят про них...»

Недоверчивая Елизавета осталась равнодушна к высокопарной риторике Миниха. Ее не прельстил даже предложенный Минихом фантастический проект строительства канала от Петербурга до Царского Села: «Я повезу вас, всемилостивейшая государыня, — заливался соловьем Миних, — из вашего летнего петербургского дома в Царское Село на прекрасной яхте в сопровождении сотни шлюпок по каналу, который проведу с помощью Божиею прежде чем умереть». И еще один аргумент: «Напоследок я сделаю для Вашего величества то, чего никто не сделает с равным усердием и успехом: я пожертвую всем для Вас. Сделайте для меня то, что вам стоит одного слова! Произнесите божественными вашими устами сии угодные Богу слова: «Я тебя прощаю!». Но нет, не произнесла этих слов государыня! Прошло еще двадцать лет — и Миних, припадая уже к стопам Екатерины II, вновь прибегает к стилю банальных романов XVIII века: «Пройдите, высокая духом императрица, всю Россию, всю Европу, обе Индии, ищите, где найдете такую редкую птицу... Но скажете Вы: «Кто же этот столь необыкновенный человек?» Как, милостивейшая императрица! Это тот человек, которого Вы знаете лучше других, который постоянно у ног Ваших, которому Вы протягиваете руку, чтобы поднять его. Это тот почтенный старец, перед которым трепетало столько народа, это патриарх с волосами белыми как снег, который... более, чем кто-либо, предан Вам». Речь, как понимает читатель, идет о самом Минихе. На одно из таких посланий Екатерина не без иронии отвечала: «Наши письма были бы похожи на любовные объяснения, если бы ваша патриархальная старость не придавала им достоинства».

Думаю, что возвышенные формулы были испытаны их автором на многих дамах, чему есть документальные свидетельства. Вот что писала леди Рондо своей корреспондентке в Англии в 1735 году: «Мадам, представление, которое сло-

жилось у Вас о графе Минихе, совершенно неверно. Вы говорите, что представляете его стариком, облику которого присуща вся грубость побывавшего в переделках солдата. Но ему сейчас что-нибудь пятьдесят четыре или пятьдесят пять лет (в 1735 году Миниху было 52 года. — *Е. А.*), у него красивое лицо, очень белая кожа, он высок и строен, и все его движения мягки и изящны. Он хорошо танцует, от всех его поступков веет молодостью, с дамами он ведет себя как один из самых галантных кавалеров этого двора и, находясь среди представительниц нашего пола, излучает веселость и нежность».

Леди Рондо добавляет, что все это тем не менее малоприятно, ибо Миниху не хватает чувства меры, он кажется насквозь фальшивым, и это видно за версту. И далее, описывая обращенный к дамам нарочито томный взор Миниха и то, как он нежно целует дамские ручки, леди Рондо отмечает, что таков он со всеми знакомыми женщинами. Одним словом, подводит итог леди Рондо, «искренность — качество, с которым он, по-моему, не знаком», и далее она цитирует подходящие к случаю стихи:

Ему не доверяй, он от природы лжив,
Жесток, хитер, коварен, переменчив.

Герцог де Лириа придерживался того же мнения: «Он лжив, двоедушен, казался каждому другом, а на деле не был ничьим [другом]. Внимательный и вежливый с посторонними, он был несносен в обращении со своими подчиненными». Психологический портрет Миниха, нарисованный этими людьми, нельзя не признать точным. Об этом свидетельствуют документы, оставшиеся после Миниха. Оказаться под его командой — значило испытать унижения, познать клевету, быть втянутым в бесконечные интриги. Глубинные причины такого поведения Миниха — в истории как его жизни, так и его карьеры. Миних не слыл трусом, война была его ремеслом, и не раз и не два он смотрел в глаза смерти. Прошел он и через испытание дуэлью — в 1718 году в Польше стрелялся с французом, подполковником Бонифу. В письме к отцу Миних писал о поединке: «Меня довели до такой крайности, что я вынужден был стреляться... Я первый явился на место и отбросил камни с дороги, по которой надобно было идти моему противнику. Когда он был от меня не далее как в 30-ти шагах, я сказал ему: «Государь мой! Вот случай показать на опыте, что мы храбрые и честные люди!» Тут мы, изведя курки, подступили друг к другу на 12 шагов. Прицелившись, я спустил курок, и мой враг

мгновенно повергся на землю». Читая это письмо, видишь, что Миних с годами не менялся — точно так же он писал впоследствии о своих победах в войнах с поляками, турками, татарами. Храбрость и решительность сочетались в нем с невероятным апломбом, самолюбованием, высокомерием и спесью.

До 1730 года Миних занимал в высшей военной иерархии России весьма невысокое место. Он не командовал войсками, а руководил строительством Ладожского канала, который и закончил успешно к 1728 году. Его ценили как опытного инженера, фортификатора, но не более того. В 1727 году Миниху, несмотря на все его старания, не удалось занять почетную должность начальника русской артиллерии — генерал-фельдцейхмейстера, которую долгие годы занимал знаменитый Яков Брюс. При этом артиллерии он не знал и, поступая на русскую службу в 1721 году, писал в прошении: «По артиллерии не могу служить, не зная ее в подробности». Но в стремлении к должности он проявил всю свою изворотливость. Так, желая ублажить фаворита Меншикова, генерал-лейтенанта Волкова, Миних, уже будучи генерал-аншефом, подобострастно писал ему с Ладоги: «Ежели Вашему высокоблагородию несколькими бочками здешними (то есть ладожскими. — *Е. А.*) сигами для росходу в дом Ваш или протчими какими к строению материалами отсюда служить могу, прошу меня в том уведомить». Однако с Меншиковым у Миниха были непростые отношения, и опала светлейшего оказалась ему на руку. В 1729 году Миних получил-таки вожделенную почетную должность генерал-фельдцейхмейстера.

Вообще-то в те годы в полководцы он не рвался — впереди него были люди с подлинными и блестящими воинскими заслугами. В русской армии в конце 1720-х годов имелись два боевых фельдмаршала, прошедших горнила петровских войн: князь М. М. Голицын и князь В. В. Долгорукий. Пятидесятипятилетний Михаил Михайлович Голицын был гордостью русской армии. Екатерина Великая поучала потомков: «Изучайте людей... отыскивайте истинное достоинство... по большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не высовывается из толпы, не стремится вперед, не жадничает и не твердит о себе». Эти слова как будто сказаны об одном из лучших генералов армии Петра I князе Михаиле Михайловиче Голицыне. Потомок древнего рода Гедиминовичей, сын боярина, он начал службу барабанщиком Семеновского полка, и, безмерно любя военное дело, сражался во всех войнах петровских вре-

мен. Современники в один голос говорили о нем: «Муж великой доблести и отваги беззаветной: мужество свое он доказал многими подвигами против шведов». Особенно запомнился всем подвиг Голицына 12 октября 1702 года, когда во главе штурмового отряда он высадился у подножия стены шведской островной крепости Нотебург (будущий Шлиссельбург). Первая атака захлебнулась в крови, и Петр, внимательно наблюдавший за штурмом, приказал Голицыну отступить, однако получил от него дерзкий ответ: «Я не принадлежу тебе, государь, теперь я принадлежу одному Богу». Потом на глазах царя и всей армии, Голицын приказал оттолкнуть от берега лодки, на которых приплыл его отряд и пошел на новый штурм — и добился победы. Подвиг красивый, истинно античный, в духе спартанцев или римлян! Да и потом Голицын блистал мужеством, никогда не отсиживался за спинами своих солдат. Он победил шведов при Добром в 1708 году, в пору отступления русской армии в глубь страны. Эта победа воодушевила армию. При Лесной в 1708 году Голицын разбил корпус генерала Левенгаупта, шедший на помощь армии Карла XII, участвовал в Полтавском сражении 1709 года, в 1710 году он взял Выборг, оккупировал Финляндию, участвовал в Гангутском сражении 1714 году и под конец Северной войны, в 1720 году, командовал победным сражением русского флота у острова Гренгам в Балтийском море. Он имел обыкновение, как сообщает современник, «идя навстречу неприятелю, держать во рту трубку, не обращая внимания на летящие пули и направленное на него холодное оружие».

Но не только победы и подвиги особенно интересны в истории Голицына. Он принадлежал к редкому типу генералов русской армии, которых все любили: и солдаты, и офицеры, и начальство. Как писал о нем В. А. Нащокин в своих «Записках», «зело был в войне счастлив и в делах добраго распорядка, и любим подкомандующими в армии». Невысокий, коренастый, с темным от загара лицом, ясными голубыми глазами и породистым носом, Голицын был у всех на виду. Его любили не только за отвагу, но и за «природный добрый ум, приветливое обращение с подчиненными», приятные, скромные манеры, что, как известно, для генералов — вещь почти недостижимая. Как и многие выдающиеся военные, князь Михайло Голицын был наивен и неопытен в политических делах и во всем слушался старшего брата — многоопытного Дмитрия Михайловича Голицына, главного верховника. Говорили, что израненный славный фельдмаршал не смел даже сидеть в присутствии старшего брата — так его почитал...

Близость к брату Дмитрию и сгубила Михаила Голицына. После прихода к власти императрицы Анны Иоанновны и роспуска Верховного тайного совета, в который был включен князь Михаил, он некоторое время управлял Военной коллегией, в отличие от всех других бывших верховников даже получил земельные пожалования ко дню коронации, но дни его у власти были сочтены. Его отстранили от дел, и в декабре 1730 года он умер, хотя узнать причину его внезапной смерти так и не удалось. Как пишет Д. М. Бантыш-Каменский, «полководец, неустрашимый на бранном поле, сделался жертвой душевной скорби». Что бы это значило?

Так исчез самый серьезный конкурент Миниха в борьбе за власть над армией. Прошел год, и исчез другой незаурядный боевой генерал, также бывший в составе Верховного тайного совета — князь Василий Владимирович Долгорукий. Он имел яркую биографию, хотя она была все же менее блестящей, чем биография Михаила Голицына. В. В. Долгорукого рано заметил Петр Великий, он поручал ему сложные дела вроде подавления восстания Кондратия Булавина. И Долгорукий с успехом эти поручения государя исполнял. Он был смел и на поле боя, знал военное дело, за что получал от государя чины и награды. Но все же... кажется, будто какой-то злой рок преследовал заслуженного воина. Ему страшно не везло в жизни. Причиной этого невезения была прямолинейность князя Долгорукого. Не задумываясь о последствиях, грубым солдатским языком он высказывался о политике и тем ставил в неловкое положение тех, кто его слушал или следовал его советам. Да и сам князь Василий из-за этого не раз попадал впросак. Впервые он узнал, что язык его — враг его, в 1718 году. Тогда на следствии по делу царевича Алексея Петровича выяснилось, что Долгорукий говорил царевичу нечто крайне неодобрительное о его великом отце. Напрасно родственник князя Василия, уважаемый государем князь Яков Долгорукий умолял Петра простить болтуна — ведь, писал князь Яков, «ино есть слово с умыслом, а ино есть слово дерзновенное без умыслу». Не помогло — князя Василия арестовали, лишили чинов, орденов и сослали в казанскую деревню, где он томился шесть лет. Потом, к концу царствования Петра I, Долгорукого выпустили, вернули генеральство, ордена. В 1728 году он стал генерал-фельдмаршалом, кавалером высшего ордена Андрея Первозванного. Но ни опала, ни сидение в казанской деревне не научили князя Василия главной премудрости русской жизни — держанию языка за зубами. В декабре 1731 года, уже при Анне, он опять не сдержался. В присутствии свиде-

телей фельдмаршал крайне грубо прошелся по адресу новой государыни и ее сердечного увлечения Бироном. Последовали донос, новый арест, опала, лишение чинов, орденов и даже княжеского титула. На этот раз Долгорукого за преступление, которое классифицировалось в указе как «озлобление на Ея императорское величество» ждала уже не дальняя деревня, а тюрьма в каземате Иван-города, где он и просидел восемь лет и откуда в 1739 году был переведен в Соловецкий монастырь. С приходом к власти Елизаветы Петровны князя Василия выпустили, вернули княжеский титул, во второй раз он был награжден орденом Андрея Первозванного, во второй раз стал фельдмаршалом — случай необычайный в русской военной истории. С тех пор князь Василий помалкивал, а поэтому и дожил до своей смерти в 1746 году без особых приключений.

Но нас интересует исключительно 1731 год. В этом году судьба расчистила перед Минихом служебный горизонт. И благодеяния посыпались на него как из рога изобилия. Весной 1732 года Миних получил (в придачу к пожалованному ранее Крестовскому острову в Петербурге) поместье Кобона на Ладоге, 10 тысяч рублей на экипаж, стал председателем комиссии по делам армии, президентом Военной коллегии и — самое главное — 25 февраля 1732 года получил вожделенный жезл генерал-фельдмаршала. Миних стал одиннадцатым по счету в этом списке после Ф. А. Головина, герцога Евгения Кроа, Б. П. Шереметева, Г. В. Огильви, Гольца, А. Д. Меншикова, князя А. И. Репнина, князя М. М. Голицына, Яна Сапеги, Я. В. Брюса, князя В. В. Долгорукого и князя И. Ю. Трубецкого.

Нет сомнений в том, что Миних был хорошим инженером и организатором военного дела. Его знания и умения позволили успешно завершить строительство Ладожского канала в конце 1720-х годов. Тут дала о себе знать еще одна характерная для Миниха черта. Он хорошо умел делать дело и еще лучше умел его подать окружающим. Бесспорно, Ладожский канал был большой инженерной удачей Миниха. Но он раздул вокруг своего успеха такую шумиху, что ему могут позавидовать пропагандисты позднейших времен. Об успехе на Ладоге трубили всюду, каждую прошедшую по нему лодку зачисляли на победный счет Миниха. Сам он лично таскал по каналу иностранных посланников «для осмотрения... тамошней великой и зело изрядной работы». В 1732 году он завлек на канал Анну Иоанновну. И хотя та плавать по всему каналу не возжелала, но вдоль проехалась и заложила камень в основание фундамента.

В 1731 году Миних стал фактическим организатором Кадетского корпуса на Васильевском острове в Петербурге. Корпус позволял молодым дворянам получать офицерские чины не только через службу рядовыми в гвардии или стажировки в иностранных армиях, но и в российском учебном заведении. Обязательным условием стало включение в число кадетов трети прибалтийских немцев, что отвечало целям формирования интернациональной имперской элиты. После нескольких лет работы Корпуса было сделано важное дополнение в его программу. Военные экзерциции, занимавшие много времени кадетов, были ограничены одним днем в неделю, а основное время уделялось наукам, воспитанию из мальчиков джентльменов, которые владели и шпагой, и пером, умели ловко скакать на лошади, складно говорить на нескольких языках и при необходимости встать не только в дуэльную, но и танцевальную «позитуру». Важной частью учебного процесса стал кадетский театр — истинное увлечение юношей. Он получил широкую известность за пределами Корпуса благодаря виртуозной игре актеров и творчеству выпускника Корпуса А. П. Сумарокова. В Корпусе, в немалой степени благодаря просвещенному Миниху и назначенным им начальникам, шло не просто создание контингента офицеров, а активное воспитание из дворянских недорослей дворян европейского типа с высоким представлением о личной чести, о долге, о верности служению знамени, Отечеству и государыне.

В 1730-х годах Миних руководил перестройкой в камне Петропавловской крепости. Эта работа была начата еще при Петре I и продолжена под руководством архитектора Доменико Трезини. С 1731 года за это дело взялся Миних. Он добился передачи ведения крепостью Канцелярии фортификации и артиллерии и сразу же забраковал проект Трезини, считая, что тот ничего не смыслит в оборонительных сооружениях и строит такую крепость, которую нельзя будет защищать при нападении неприятеля. Возможно, что это так. Да и великий Трезини — автор множества построек при Петре I — был уже не тот: стал слабым, больным, терял память. В письме от 25 февраля 1731 года к Миниху он «хоронит» Екатерину I в 1726 году, хотя она умерла на его памяти в мае 1727 года, и делает такие ошибки, которые говорят, что в голове первого строителя Петербурга уже было не все в порядке. Впрочем, не это важно. Важно то, что в своих действиях Миних бесцеремонно обошелся с заслуженным человеком, и подобный стиль общения с людьми стал для него так же характерен, как и необыкновенная заносчивость, интри-

ганство и сварливость. Почти всюду, где бы он ни оказывался, можно было услышать шум грандиозного и безобразного скандала. Чем выше он поднимался по служебной лестнице, тем становился грубее и бесцеремоннее. Власть развращала его у всех на глазах. Особенно изменился он, когда стал президентом Военной коллегии. Лефорт писал, что «с тех пор как Миних поднялся, в нем нельзя узнать прежнего человека: приветливость уступила место высокомерию, сверх того, утверждают, что он не забывает своих собственных интересов... [его] нельзя узнать, и желание первенствовать ослепляет его до такой степени, что он забылся». Последние слова весьма мягки для оценки манеры поведения Миниха.

Впрочем, были пределы и для Миниха. Их устанавливал другой, еще более могущественный человек, которого боялись все. Умный Бирон довольно рано раскусил честолюбивые устремления обворожительного для дам полководца и стремился не дать Миниху войти в доверие к императрице. Надо думать, что ревнивый фаворит, человек сугубо штатский, боялся проиграть в глазах Анны этому воину в блестящих латах — известно, что женщины в прошлые века были падки до военных. Как пишет Лефорт, Бирон «сам признался мне, что удивляется его образу действий и сожалеет, что сделал для этого хамельона, у которого ложь должна заменять правду». Поэтому Бирон не позволил Миниху войти в Кабинет министров, куда тот, естественно, рвался. Раздругой столкнувшись с непомерными амбициями и претензиями Миниха, Бирон постарался направить всю огромную энергию фельдмаршала в другом направлении — на стяжание воинских лавров преимущественно там, где они произрастали, то есть на юге, подальше от Петербурга. Посланный на русско-польскую войну (другое название — Война за польское наследство 1733—1735 годов), Миних потом почти непрерывно воевал с турками на юге, благо в 1735 году началась война с Османской империей. Она продолжалась до 1739 года и уж по крайней мере на время летних кампаний Миних столицу покидал. Окончательно выскочить из степей на скользкий дворцовый паркет Миниху удалось лишь в 1740 году, и тут он сумел-таки ловко подставить ножку своему давнему сопернику-благодетелю Бирону, арестовав его, правителя России, темной ноябрьской ночью 1740 года.

Вернемся к карьере Миниха в армии. С его приходом на пост главнокомандующего его нрав проявился во всей красе — начались такие непрерывные свары и скандалы в среде генералитета, которых русская армия ни до, ни после не

знала. Вообще, у Миниха была поразительная способность наживать себе смертельных врагов. Его адъютант Манштейн хорошо показал, почему оскорбления Миниха вызывали такую ярость у его окружающих. Оказывается, Миних умел вначале приласкать, приблизить человека, а затем жестоко оскорбить его, не ожидавшего такого поворота событий: «Ничего не было ему легче, как завладеть сердцем людей, которые имели с ним дело; но минуту спустя он оскорблял их до того, что они, так сказать, были вынуждены ненавидеть его».

В 1735 году разгорелся скандал между Минихом и генералом графом фон Вейсбахом — командующим корпусом русских войск в Польше. Как-то раз Миних в резкой форме потребовал от Вейсбаха отчета о денежных расходах на содержание войск. Вейсбах обратился к Анне Иоанновне с рапортом, в котором писал, что Миних поставил под сомнение его честность, и «меня обидел напрасно... а я из давних лет, с начала вступления моего в службу Вашего императорского величества, порученные мне Вашего величества высочайшие интересы всегда сохранил и сохранять должен безпорочно, и ни в каких утайках и неверностях не бывал». Оскорбленный старый генерал отказался впредь знаться с Минихом. Тут важно заметить, что Миних не был кадровым полевым офицером. Он не тянул армейской лямки, как Вейсбах, Голицын или Долгорукий. Миних в русской армии был с самого начала инженером, да и приехал служить в Россию в начале 1720-х годов, когда уже утихло пламя всех испытаний Северной войны. У него не было опыта командования полевой армией, он не знал ее проблем и специфики, а самое главное — и думать не хотел о том, чтобы считаться со знаниями, опытом, чувствами своих коллег — таких боевых генералов, как Вейсбах. В итоге скандала Миниха с Вейсбахом Анна была вынуждена написать обоим, чтобы «все такия между вами партикулярные ссоры и озлобления вовсе отставлены» были и чтобы оба полководца помнили, что «от безвременных друг другу чинящих озлоблении» могут быть причинены делу «предосудительные остановки».

Между тем сам Миних был горе-полководцем. В его действиях во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов видны непродуманность стратегических планов, низкий уровень оперативного мышления, рутинная тактика, ведшие к неоправданным людским потерям. От поражения его не раз спасал счастливый случай или фантастическое везение, о чем будет сказано особо.

После того как осенью 1735 года Вейсбах неожиданно умер и ссора таким образом прекратилась, Миних стал ини-

циатором новой генеральской склоки. Как писал Яков Шаховской, Миних никогда «не упускал удобных случаев, когда бы можно ему было, прицепясь, делать повреждение» другим военачальникам. И вот уже в ответ на оскорбительное письмо Миниха взорвался начальник русской артиллерии генерал-фельдцейхмейстер принц Людвиг Вильгельм Гессен-Гомбургский. Он писал Миниху: «Что Ваше графское сиятельство в наставление мне писать изволите, чтоб впред того не чинить и за оное (хотя при моих летах [сам] знаю, что чинить надлежит) Вашему сиятельству благодарствую, однако при том доношу, что я уже имею честь быть в службе Ея величества четырнадцать лет, а еще того не чинил, чтоб Ея величества противно было, и того не надеялся, чтоб от Вашего графского сиятельства за то, что к лучшей пользе интересов Ея величества чинил, мог реприманды (укоры, упреки. — *Е. А.*) получить, и весьма чувствительные, и прошу меня оными обойти». Мы видим, что, как некогда Вейсбах, принц Гомбурский, получив служебное послание Миниха, почувствовал себя глубоко оскорбленным. Наверное, такие оскорбительные приказы нужно уметь писать!

Но и на этом Миних не успокоился. Его отношения с принцем так обострились, что во время Крымского похода 1736 года русской армии тот пытался сколотить против Миниха нечто вроде генеральского заговора. Все это вызвало особое беспокойство Анны Иоанновны. Она писала А. И. Остерману: «Я вам объявляю, что война турецкая и сила их меня николи не покорит, только такие конувиты (поступки. — *Е. А.*), как ныне главные командиры имеют, мне уже много печали делают, потому надобно и впредь того же ждать, как бездушно и нерезонабельно (неразумно. — *Е. А.*) они поступают, что весь свет может знать. От меня они награждены не только великими рангами и богатством, и вперед [их] я своею милостью обнадежила, только все не так, их поступки не сходны с моею милостью».

Опасаясь продолжения ссоры генералов, Анна велела руководству внешнеполитического ведомства срочно искать пути для заключения мира с турками. Скандал в ставке генералов беспокоил ее больше, чем наступление неприятеля. Между тем не успел закончиться конфликт с принцем Гессен-Гомбургским, как Миних затеял свару с фельдмаршалом П. П. Ласси. Осенью 1736 года Анна и ее правительство, обеспокоенные противоречивыми слухами, доходившими до Петербурга о Крымском походе армии Миниха, потребовали от прибывшего из Австрии генерала Ласси собрать сведения о положении в войсках. Опасаясь, что это будет понято

Минихом как расследование его весьма не блестящей военной деятельности, Анна, верная своим принципам, предписала Ласси «о прямом состоянии армии под рукою проведать... что разумеется тайно». Но старый солдат, поняв, что «под рукою» собрать полную информацию о миниховской армии невозможно, попросил самого Миниха предоставить ему нужные сведения. Тут-то и начался скандал. Миних отправил Бирону письмо, в котором жаловался, что «высокая конфиденция (доверие — *Е. А.*) пред прежним умалилась», и просился в отставку, ибо «не в состоянии... тех трудов, которые доныне со всевозможною ревностью нес, более продолжать».

Тут уж Анна не выдержала. В указе от 22 октября она писала: «Мы не можем вам утаить, что сей ваш поступок весьма Нам оскорбителен и толь наипаче к великому Нашему удивлению служить имеет, понеже не надеемся, что в каком другом государстве слыхано было, чтоб главный командир, которому главная команда всей армии поручена, во время самой войны и когда наивящая служба от него ожидается, к государю своему так поступить захотел». В конце указа она, гася конфликт, обещала свою благосклонность верному фельдмаршалу.

Миних, поняв, что переусердствовал, взял другой тон и постарался все свои неприятности свалить на Ласси. В письме к императрице в начале 1737 года Миних с показной душевной болью писал, что вновь просит об отставке только из-за того, что не желает мешать Ласси. Мол, уступаю для пользы дела, «а не гонора ради». Нетрудно догадаться, что наибольшие неприятности во всей этой истории выпали на долю П. П. Ласси, которого подсидел Миних, да еще отругала за несоблюдение тайны императрица.

В этом и других эпизодах проявилось своеобразное служебное лукавство Миниха. Дело в том, что он не был подданным русских императоров. В 1721 году Миних, как и все иностранцы на русской службе, подписал договор — «кондиции», согласно которым обязался честно и добросовестно служить определенное число лет, после чего власти не могли его удерживать на русской службе. И такое положение было для него чрезвычайно удобно. Несмотря на служебные успехи, он не спешил переходить в русское подданство и вряд ли думал, что после смерти будет покоиться не на тихом кладбище в зеленом Ольденбурге, а возле вечно шумящего Невского проспекта, под полом церкви Святой Екатерины, куда его опустили в 1767 году. Десятилетиями служа России и в России, Миних любил использовать для упроче-

ния карьеры это свое положение временнообязанного ландскнехта. Вот, например, составляя в 1725 году свое мнение о сокращении расходов на армию, он, как настоящий генерал, безапелляционно утверждает, что сокращение средств нанесет армии вред, а потом делает маневр, снимающий с него всякую ответственность за решение: «От подушных денег что-либо убавить ли, другая душам переписка учинить ли, или нет, или при Адмиралтействе какое умаление производить ли (это хитрый ход — подставить под сокращение другое ведомство. — *Е. А.*), о том всем мне, яко чужестранному, который состояние государства не ведает, неизвестна...» В «кондициях» 1727 года Миних пишет, что «домашние мои нужды мне не позволяют ныне более как на 5 или 6 лет обязаться [службой]». На самом же деле все наоборот — никаких дел у него в Ольденбурге не было, он только и мечтал остаться в России с повышением по службе без ограничения в сроке, да еще получить поместья в Лифляндии и под Петербургом, но при этом формально оставаться не подданным России. Наивная надежда получить индульгенцию от Сибири!

Но особенно могучим карьеристским оружием Миниха были его прошения об отставке, которые он периодически подавал именно тогда, когда знал наверняка, что в этот момент его со службы ни за что не отпустят. С самого начала он поставил себя как человека совершенно незаменимого, и власть, привыкнув к этому, с готовностью шла на удовлетворение его амбициозных требований. Забегая вперед, скажу, что подобный же успешный маневр Миних пытался совершить в начале 1741 года, искренне рассчитывая получить чин генералиссимуса русской армии за свой ночной «подвиг» 9 ноября 1740 года — арест спящего Бирона. Но правительница Анна Леопольдовна, исходя из принципа «Люблю предателя — ненавижу предательство», сделала генералиссимусом своего супруга — принца Антона Ульриха Брауншвейгского, и раздосадованный этим Миних демонстративно выложил прошение об отставке... которое Анна Леопольдовна, уже давно страдавшая от непомерных амбициозных претензий «столпа империи», и учитывая, как сказано в указе, «что он сам нас просит за старостью и что в болезнях находится», тотчас и подписала. В итоге, неожиданно для себя, полный сил и замыслов фельдмаршал оказался пенсионером. При этом ни правительница, ни ее супруг не имели мужества лично объявить Миниху о неожиданном для него решении дела — настолько они его побаивались. Указ об отставке Миниху прочитал сын Иоганн Эрнст, служивший

тогда при дворе правительницы. Но до тех пор, пока отставник Миних не переехал из дворца, где он жил, в свой дом, правительница каждую ночь меняла место своей спальни, опасаясь, как бы Миних не повторил с ней ночную историю свержения Бирона. Когда же Миних переселился в свой дом, к нему приставили караул. Забавно, что, стремясь обмануть потомков, Миних в своих мемуарах называет эту охрану почетным караулом.

Не брезговал Миних и доносами. Склонность к доносительству — черта его характера. История с адмиралом Сиверсом не была единственной. Ничем иным, как доносами, нельзя назвать рапорты Миниха о своих подчиненных. В апреле 1734 года из-под Гданьска он сообщает императрице о генералах русской армии: «Генерал-лейтенант Загряжский, вместо того чтобы вступить с ним (польским военачальником Тарло. — *Е. А.*) [в бой], заключил с ним перемирие и имел свидание... вместе пили, и слышно, что сын Загряжского принял 50 червонных в подарок от Тарло... Генерал-майор Любрас по десятикратно повторенному приказанию сюда нейдет под предлогом, что мало оставить в Варшаве 400 человек, затем пять полков его команды стоят там, а при армии шатров нет. Таким образом, Загряжский и Любрас подлежат суду. Волынский взял вчера паспорт в Петербург для лечения, князь Борятинский лежит уже четыре недели болен, также и большая часть полковников. Впрочем, здесь, при армии, слава Богу, все благополучно и ни в чем недостатку нет». Во вверенной ему армии все благополучно, но на боевых товарищей, подчиненных, донести не помешает! В итоге Любраса отдали под суд, хотя затем оправдали, а донос на генерала Загряжского оказался просто наветом, в основе которого лежала сплетня. Миних всегда охотно слушал сплетни и стремился использовать их в своих целях.

На совести Миниха есть и попросту уголовные преступления. Летом 1739 года по дороге из Стамбула в Стокгольм был убит шведский курьер майор барон Синклер, который вез важные дипломатические бумаги. Дважды до этого русский посол в Стокгольме М. П. Бестужев-Рюмин советовал своему правительству «анвелировать», то есть, говоря языком XX века, ликвидировать, этого врага России, «а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой». Российский и австрийский дворы договорились перехватить Синклера и изъять у него документы о связях турок и шведов. Когда же в начале июля 1739 года было получено известие об убийстве на территории Польши неизвестными людьми шведского дипкурьера, в европейских столи-

цах начался скандал. Тень была брошена на Россию, отношения со Швецией резко ухудшились. Такие поступки в просвещенной семье европейских государей XVIII века казались невозможными — ведь не Азия же! Понимая это, императрица Анна написала русскому послу в Саксонии барону Кейзерлингу: «Сие безумное богомерзкое предприятие нам подлинно толь наипаче чувствительно, понеже не токмо мы к тому никогда указу отправить не велели, но и не чаем, чтоб кто из наших определить мог. Иное было бы письма отобрать, а иное людей до смерти бить, да к тому ж еще без всякой нужды. Однако ж как бы оное ни было, то сие зело досадительное дело есть и всякие досадительные следства иметь может». Послание это предназначалось для «разглашения в публике».

Ту же мысль императрица выражала и в рескрипте Миниху: «Мы совершенно уверены находимся, что вы в сем мерзостном приключении столько ж мало участия, как Мы, имеете, и вам ничто тому подобное без нашего указу чинить никогда в мысль не придет». В ответном письме Миних полностью отрицал свою причастность к убийству Синклера и клялся Анне, что «меня никогда подвигнуть не может, чтоб нечто учинить, что честности противно, и сие еще толь наименьше, понеже я не токмо Вашего величества указами к тому не уполномочен, но и сам совершенно знаю, коль мало оное от Вашего императорского величества апробовано и вам приятно было б». Читая все эти излияния, просто теряешься в догадках — кто же больше врет: императрица, которая одобряла захват Синклера для изъятия у него бумаг, но была действительно встревожена международным скандалом, поставившим Россию на грань войны со Швецией, или ее «любезноверный», который честность понимал весьма своеобразно — пока не будет указа «нечто учинить, что честности противно»? А между тем вся эта эмоциональная переписка была просто типичной дымовой завесой. Есть неопровержимый документ, который как раз для посторонних глаз не предназначался: инструкция Миниха драгунскому поручику Левицкому от 23 сентября 1738 года, в которой мы читаем: «Понеже из Швеции послан в турецкую сторону с некоторою важною комиссиею и с письмами маеор Инклер, который едет не своим, но под именем называемого Гагберха, которого ради высочайших Ея императорского величества интересов всемерно потребно зело тайным образом в Польше перенять и со всеми имеющимися при нем письмами. Ежели по вопросам об нем где уведаете, то тотчас ехать в то место и искать с ним случая компанию свесть или иным

каким образом ево видеть, а потом наблюдать, не можно ль ево или на пути, или в каком другом скрытном месте, где б поляков не было, постичь. Ежели такой случай найдется (внимание! — *Е. А.*), то старатца его умертвить или в воде утопить, а писма прежде без остатка отобрать». В начале 1739 года Миних дал новую инструкцию поручику Левицкому, а также капитану Кутлеру и поручику Веселовскому уже не только насчет Синклера, но и насчет других подлежащих «анвелированию» врагов России — вождей венгров и запорожцев Ракоци и Орлика. Ну и наконец, вот сам доклад Миниха императрице от 1 августа 1739 года, который все ставит на свои места. Из него следует, что Миних получил указы Анны, «каким наилучшим и способнейшим образом как о Синклере, так и о Ракотии и Орлике комиссии исполнять и их анвелировать», и все, что от него требовалось, исполнил. Далее он описывает трудности проведенной операции, все лавры которой, конечно же, должны принадлежать ему.

Такие доказательства преступлений, как инструкции Миниха своим подчиненным и уж тем более его доклад императрице со ссылкой на прямые ее указы, среди источников тайной истории встречаются не часто — убийцы высокого ранга умеют прятать концы в воду. «За верныя и ревностныя его службы, которыя он Нам чрез многие годы показал», Анна в конце своего царствования прибавила к жалованью фельдмаршала Миниха еще пять тысяч рублей в год. Для этого, как мы видим, у нее были все основания. В написанных уже во времена Екатерины II мемуарах Миних, подводя итоги своих, скажем прямо, весьма посредственных действий в русско-турецкой войне (об этом — ниже), заключил: «Русский народ дал мне два титула: «Столпа Российской империи» и «сокола со всевидящим оком». Пунктуальный комментатор дореволюционного издания мемуаров Миниха со скрытой иронией замечает: «Название «Столпа Российской империи» и «Сокола», будто бы данное русским народом Миниху, сохранилось только в его записках». Зато до нас дошло мнение простого русского солдата: «Власьев (то есть Петр Петрович Ласси. — *Е. А.*) славен генерал, Азов сам собою взял. А как Миних живодер, наших кишек не берег».

О легендарной гордыне и амбициозности Миниха, беззастенчиво восхвалявшего свои весьма скромные воинские подвиги и требовавшего за них непомерных почестей и наград, напоминает и указ Анны, посланный рижскому вице-губернатору Гохмуту: «Усмотрели Мы из присланного от вас репорту, что в бытность в Риге генерал-фельдмаршал граф

фон Миних определил имеющиеся в Риге ворота от реки, которые бастионы вновь переделаны, именовать другими званиями, и оныя именования переменять Мы не указали, а именовать оные по-прежнему так, как оные прежде назывались. И повелеваем вам учинить о том по сему Нашему указу». Подозреваю, что Миних намеревался, воспользовавшись реконструкцией крепости, дать одним из ворот свое имя, чтобы таким способом навсегда остаться в истории. Но он напрасно волновался — он и так остался в истории (свидетельством чего служит и эта глава), хотя, вероятно, не с теми оценками, на какие он надеялся. В 1735 году Миних потребовал денег на перестройку Ладожского канала и на возведение там двух пирамид. В резолюции на прошение Миниха Анна отвечала, что «строением пирамид ныне отложить, а что кроме пирамид строить нужно, о том подать именную ведомость». Можно только догадываться, что бы написал о себе Миних на гранях этих пирамид! Впрочем, испытание медными трубами славы мало кто выдерживает. Даже великая и умнейшая Екатерина II к старости из-за звуков этих труб славы перестала слышать голос рассудка, утратила всегда присущую ей тонкую самоиронию. А уж о таких прямолинейных натурах, как Миних, и говорить не приходится.

При этом Миних был человеком ярким и неординарным, что особенно проявилось в час испытаний, несчастий и трагедий. Когда в январе 1742 года его вместе с другими членами правительства Анны Леопольдовны вели на казнь, устроенную перед зданием Двенадцати коллегий, Миних держал себя лучше всех: подтянутый, чисто выбритый, он шел спокойно в окружении конвоя и о чем-то дружески разговаривал с офицером охраны, который, возможно, когда-то служил под его началом. Особо подчеркну, что Миних был выбрит, тогда как все остальные приговоренные обросли бородами — ведь охране категорически запрещалось давать узникам острые предметы. Известно, что приговоренные, боясь мучительной смерти на эшафоте, нередко пытались покончить счеты с жизнью до казни, и если это им удавалось, охране грозили страшные наказания по подозрению в сообщничестве с государственными преступниками. А Миних был выбрит! Значит, ему доверили бритву, значит у охраны сомнений насчет того, как он, отважный воин, встретит смерть, не было.

Впрочем, здесь нам даже домысливать не нужно — о поведении Миниха в узилище есть сведения точные. После того как на эшафоте был прочитан указ императрицы Елизаветы Петровны о помиловании Миниха и других от смертной казни и ссылке их в Сибирь, преступников отвели в Петропавловскую крепость, где они ожидали дальнейшей судьбы. В ближайшие дни после отмены смертной казни советнику полиции князю Якову Шаховскому поручили объявить опальным сановникам приговор о ссылке в Сибирь и немедленно отправить их с конвоем из Петербурга. Шаховской заходил к каждому из узников Петропавловский крепости и читал им приговор. Люди по-разному встречали своего экзекутора. Вначале Шаховской зашел в казарму, где сидел бывший первый министр А. И. Остерман: «По вступлении моем в казарму, увидел я оного бывшего кабинет-министра графа Остермана, лежащего и громко стенающего, жалуясь на подагру, который при первом взоре встретил меня своим красноречием, изъявляя сожаление о преступлении своем и прогневлении... монархини». Тяжелой для Шаховского оказалась встреча и с бывшим обер-гофмаршалом графом Рейнгольдом Густавом Левенвольде. Это был один из типичных царедворцев того времени — холеный вельможа, обычно надменный и спесивый. Не таким он предстал перед Шаховским: «Лишь только вступил в оную казарму, которая была велика и темна, то увидел человека, обнимающего мои колени весьма в робком виде, который при том в смятенном духе так тихо говорил, что я и речь его расслушать не мог, паче ж что вид на голове его всклоченных волос и непорядочно оброслая седая борода, бледное лицо, обвалившиеся щеки, худая и замаранная одежда нимало не вообразили мне того, для которого я туда шел, но думал, что то был кто-нибудь по иным делам из мастеровых людей арестант ж». В таком же плачевном виде оказался и третий арестант — М. Г. Головкин: «Я увидел его, прежде бывшего на высочайшей степени добродетельного и истинного патриота совсем инакова: на голове и на бороде отрослые долгие волосы, исхудалое лицо, побледнелый природный на щеках его румянец, слабый и унылый вид сделали его уже на себя непохожим, а притом еще горько стенал он от мучащей его в те часы подагры и хирагры».

И только фельдмаршал Миних показал себя мужественным человеком и на пороге тяжких испытаний не утратил достоинства и самообладания: «Как только в оную казарму двери передо мною отворены были, то он, стоя у другой стены возле окна ко входу спиною, в тот миг поворотясь в смелом виде с такими быстро растворенными глазами, с какими я его имел случай неоднократно в опасных с неприятелем стражениях порохом окуриваемого видать, шел ко мне

навстречу и, приближаясь, смело смотря на меня, ожидал, что я начну».

Оказавшись в Сибири, Миних не изменил себе. В тяжелых условиях заполярного Березова он сумел прославиться успехами в домоводстве и экономии. Эти бесконечные двадцать лет, проведенные им в Пелыме, не пропали для него даром. Пока Миниха не выпускали из острога, он разводил огород на острожном валу, а когда получил возможность выходить за пределы узилища, то занялся скотоводством и полеводством. А. С. Зуев и Н. А. Миненко на основе документов показали, как опальный фельдмаршал сумел провести годы ссылки с достоинством, пользой и бодростью. В одном из своих писем он сообщал брату: «Место в крепости болотное, да я уже способ нашел на трех сторонах (крепостных стен. — *Е. А.*), куда солнечные лучи падают, маленький огород с частыми балясами устроить. Такой же пастор и Якоб, служитель наш, которые позволение имеют пред ворота выходить, в состояние привели, в которых огородах мы в летнее время сажением и сеением моцион себе делаем и сами столько пользы приобретаем, что мы, хотя много за стужею в совершенный рост или зрелость не приходит, при рачительном разведении чрез год тем пробавляемся... В наших огородах мы в июне, июле и августе небезопасны от великих ночных морозов. И потому мы, что иногда мерзнуть может, рогожами рачительно покрываем».

Долгими полярными ночами при свече фельдмаршал перебирал и сортировал семена, вязал сети, чтобы «гряды от птицы, кур и кошек прикрыть», а супруга его, Барбара-Элеонора, сидя рядом, латала одежду и белье. Это ее, урожденную баронессу фон Мольцах, Я. П. Шаховской застал у входа в казарму, куда он шел объявлять Миниху приговор о ссылке в Сибирь. Она стояла «в дорожном платье и капоре, держа в руке чайник с прибором, в постоянном (то есть спокойном. — *Е. А.*) виде скрывая смятение духа, была уже готова», после чего «немедленно таким же образом, как и прежние (ранее отправленные ссыльные. — *Е. А.*), в путь свой они от меня были отправлены». Между прочим, точно так же поступили и жены других ссыльных: Остермана, Левенвольде, Менгдена, Михаила Головкина — статс-дамы императорского двора.

Много дел ожидало Миниха и на скотном дворе, где у него были коровы и другая живность. Когда умер его друг пастор Мартенс, он сам вел для домашних богослужение. Летом пелымцы могли видеть, как Миних, в выгоревшем фельдмаршальском мундире без знаков различия, с косой на

плече, шел на сенокос с нанятыми им косцами. Он учил детей, но все равно его кипучей натуре было мало места в Пелыме, и он посылал пространные письма императрице Елизавете, А. П. Бестужеву-Рюмину, сочинял проекты. По-видимому, ему особенно тяжелы были первые годы ссылки. По его письмам видно, что бывший фельдмаршал изнемогает вдали от дел. Он то просит поручить ему какое-нибудь грандиозное строительство, то умоляет отпустить его в Ольденбург, чтобы жизнь «на моих тамошних малых маятностях окончить». Впрочем, в 1746 году высокопарные послания Миниха надоели в Петербурге, и ему запретили бумагомарание. Лишь в 1749 году, в качестве исключения, разрешили высказаться письменно, «только при том ему объявить, дабы он о всем достаточно единожды ныне написал, ибо ему впредь на такия требования позволения дано больше не будет». Но Миних не утратил бодрости духа, несмотря на неудачи «челобитной кампании». Когда весной 1762 года наступил вожделенный миг свободы и он вернулся в Петербург, все его многочисленные внуки и правнуки, встречавшие патриарха на подъезде к Петербургу, были потрясены, когда из дорожной кибитки в рваном полушубке выпрыгнул бравый, высокий старик, прямой и бодрый. Как писал современник, казалось, его «не трогали тление, перевороты счастия». А между тем ему было почти 80 лет! Вот что значит не подчиниться обстоятельствам жизни... Умер Миних в 1767 году в Петербурге.

Остерман, или Человек за кулисами

Еще один наш герой еле виден на воображаемом групповом портрете императрицы Анны Иоанновны. Кажется, что он вот-вот нырнет за малиновую портьеру — так ему вреден яркий свет, так он не хочет быть на виду. Одет он неряшливо и некрасиво, но глаза у него умные и проницательные. Это вице-канцлер Андрей Иванович Остерман — одна из ключевых фигур анненского царствования. Он, Генрих Иоганн, родился в 1687 году в Бохуме (Вестфалия), в семье пастора. Юношей поступил в Йенский университет и изучал то ли юриспруденцию, то ли теологию — неизвестно. Но учился он недолго, может быть, год, а затем на одной из обычных для разгульных немецких студентов-буршей вечеринке в кабаке «У Розы» в завязавшейся драке заколол шпагой своего однокурсника и, опасаясь возмездия, бежал в Голландию, в Амстердам. В этом смысле судьба Остермана похожа на судьбу драчливого кенигсбергского сту-

дента Бирона, который за сходное преступление угодил в тюрьму. Остерман же успел скрыться и в 1703 году примкнул в Амстердаме к партии специалистов, которых вербовал будущий адмирал русского флота Крюйс для поездки в Россию. Зная, что царь Петр охотно берет иностранцев на службу, не вчитываясь пристрастно в их послужной список, Остерман отбыл в неизведанную страну, где и сделал блестящую карьеру благодаря своему уму, знанию иностранных языков, услужливости, гибкости, умению держать нос по ветру — словом, всем или почти всем необходимым качествам политика. Начав при Петре с должности переводчика, скромный выходец из Вестфалии постепенно вырос в фигуру чрезвычайно влиятельную на русском политическом Олимпе.

Прежде всего его отличала фантастическая работоспособность. По отзывам современников, он работал всегда: днем и ночью, в будни и праздники, чего ни один уважающий себя министр позволить себе, конечно, не мог. Работа с Петром, который хорошо относился к Остерману, огромный административный опыт, знание политической конъюнктуры помогали ему ориентироваться как во внутренней, так и во внешней политике. Особенно силен Остерман был как дипломат. Не менее пятнадцати лет он «делал» русскую внешнюю политику, и результаты этой деятельности для империи были успешны. Так, только благодаря усилиям Остермана Россия с 1726 года вошла в тесный союз с Австрией, что было новым словом в русской внешней политике и оказалось перспективным и чрезвычайно важным в предстоящей борьбе с османами за Северное Причерноморье, а также при разделах Речи Посполитой. Основу русской политики Остерман видел в трезвом расчете, прагматизме, умении завязывать союзнические отношения только с теми державами, которые могли быть полезны России. В своих записках о внешней политике Остерман тщательно, педантично, «по-бухгалтерски» анализировал, сопоставлял соотношение «польз», «опасностей», «генеральных интересов» России и ее возможных партнеров и так, в конечном счете, вышел на союз именно с Австрией, который, как мы знаем, продержался с некоторыми перерывами более ста лет. Осторожность, расчет — вот что внес во внешнюю политику Остерман. В одной из своих инструкций дипломатам он писал: «Наша система должна состоять в том, чтобы убежать от всего, ежели б могло нас в какое пространство (то есть ненужные проблемы. — *Е. А.*) ввесть». Собственно, в этом и состоял главный принцип поведения Остермана как политика и человека.

Несомненна ключевая роль Остермана в деятельности Кабинета министров. Формально не занимая в этом высшем правительственном учреждении первого кресла (оно было за Черкасским), Остерман сосредоточивал огромную власть, подавляя коллег своей колоссальной работоспособностью и умом. Не случайно, опасаясь роста влияния Остермана, Бирон подсадил в Кабинет свою, как тогда говорили, «креатуру» — Артемия Волынского, с помощью которого хотел «укоротить» Остермана или, по крайней мере, следить за действиями скрытного и осторожного вице-канцлера. Но Волынский оказался неудачным кандидатом на роль, отведенную ему Бироном. Он горячился, делал глупости, и в конце концов Остерман нашел способ избавиться от ненужного ему соглядатая и соперника. На должности кабинет-министра Остерман оставался тем, чем создала его природа и сформировал житейский опыт: хитрым, скрытным, эгоистичным человеком, беспринципным политиком, что делало его вполне типичным для той эпохи. При этом нужно особо отметить, что он входил в редкий ряд государственных деятелей XVIII века, которые не замарали себя взятками, скандалами с государственным средствами. Его жизнь полностью и целиком была поглощена работой и интригой. Все остальное казалось ему второстепенным и неважным.

Андрей Иванович, живя в России десятилетия, никогда не имел друзей, был всегда одинок. Да это и понятно — общение с ним было крайне неприятно. Его скрытность и лицемерие были притчей во языцех, а не особенно искусное притворство — анекдотично. Как правило, в самые ответственные или щекотливые моменты своей политической карьеры он заболевал. Внезапно у него начинался приступ подагры или хирагры или какой-либо другой плохо контролируемой врачами болезни, он надолго сваливался в постель и вытащить его оттуда не было никакой возможности. Так было, как уже говорилось, в 1730 году, так многократно повторялось и позже. Не без сарказма Бирон писал в апреле 1734 года Кейзерлингу: «Остерман лежит с 18-го февраля и во все время один только раз брился (Андрей Иванович ко всему был страшный грязнуля даже в свой не особенно чистоплотный век. — *Е. А.*), жалуется на боль в ушах (чтобы не слышать обращенных к нему вопросов. — *Е. А.*), обвязал себе лицо и голову. Как только получит облегчение в этом, он снова подвергнется подагре, так что, следовательно, не выходит из дому. Вся болезнь может быть такого рода: во-первых, чтобы не давать Пруссии неблагоприятного ответа..., во-вторых, турецкая война идет не так, как того желали бы».

Другой вид «болезни» нападал на Остермана в ходе переговоров, когда он не хотел давать требуемый от него ответ. Вот что писал об Остермане английский посланник Финч: «Пока я говорил, граф казался совершенно больным, чувствовал сильную тошноту. Это была одна из уловок, разыгрываемых им всякий раз, когда он затруднялся разговором и не находил ответа. Знающие его предоставляют ему продолжать дрянную игру, доводимую подчас до крайностей, и ведут свою речь далее; граф же, видя, что выдворить собеседника не удается, немедленно выздоравливает как ни в чем не бывало». Действительно, в своем притворстве Остерман знал меру: острый нюх царедворца всегда подсказывал ему, когда нужно, стеная и охая, нередко на носилках, отправиться во дворец. А как же иначе, если ты получаешь от государыни такое письмо: «Андрей Иванович! Для самого Бога, как возможно, ободрись и завтра приезжай ко мне к вечеру: мне есть великая нужда с вами поговорить, а я вас николи не оставлю, не опасайся ни в чем, и будешь во всем от меня доволен. Анна».

Императрица Анна весьма уважала Андрея Ивановича за солидность, огромные знания и обстоятельность. Когда требовался совет по внешней политике, без Остермана не обходились. Нужно было лишь набраться терпения и вытянуть из него наилучший вариант решения дела, пропуская мимо ушей все его многочисленные оговорки, отступления и туманные намеки. Остерман был хорош для Анны как человек, целиком зависимый от ее милостей. Иностранец, он, хотя и взял жену из старинного рода Стрешневых, но в силу своего нрава и положения оставался чужаком в среде русской знати, «немцем». Да и говорил он по-русски неважно. Княжна Прасковья Юсупова раз была допрошена Остерманом и потом вспоминала: «А о чем меня Остерман спрашивал, того я не поняла, потому, что Остерман говорил не так речисто, как русские говорят: «Сто-де ти сюдариня, будет тебе играть нами, то дети играй, а сюда ти призвана не на игранье, но о цем тебя спросим, о том ти и ответствей».

Чем дальше он стоял от русской аристократии, тем плотнее льнул к сильнейшему. Остерман всегда делал это безошибочно. Вначале таким человеком был для Остермана петровский вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, потом Меншиков, которого Остерман предал ради Петра II и Долгоруких. При Анне он заигрывал сначала с Минихом и долго добивался расположения Бирона, став его незаменимым помощником и консультантом. Но тот был тоже умен и Остерману особенно не доверял. Акивно участвовал Остерман

в самых неприглядных политических процессах времен царствования Анны Иоанновны. Андрей Иванович часто по собственной инициативе брал на себя работу следователя Тайной канцелярии, проявлял себя как ревностный гонитель политических противников и просто жертв политического сыска. Понимая, что участие в делах малодостойных есть неизбежный удел политика, все же отмечу, что другие деятели того времени (Черкасский, Г. И. и М. Г. Головкины, Волынский) оказались в них почти не замешаны в отличие от Остермана, который вместе с начальником Тайной канцелярии генералом Ушаковым фактически руководил политическим сыском в 1730-е годы, сам вел допросы (выше приведен характерный для этого отрывок из показаний Юсуповой), составлял проекты решений по розыскным делам, готовил доклады для императрицы. Он приложил руку ко многим казням и ссылкам, которым подвергались неугодные режиму люди. Впрочем, так поступали многие политики того времени — они всегда помнили, что «если не они, то их»!

Особая сила Остермана-политика состояла в феноменальном умении действовать скрытно, из-за кулис. Особенно ярко это проявилось в 1727 году, когда он, облеченный особым доверием всесильного тогда временщика А. Д. Меншикова, был назначен воспитателем юного императора Петра II и, как казалось светлейшему, был безусловно ему лоялен. Однако вскоре выяснилось особое коварство Остермана, который сумел незаметно настроить мальчика против Меншикова и фактически организовать переворот, приведший к падению Меншикова, резкому усилению клана Долгоруких, фактической передаче всех важных государственных дел в руки Остермана. Интрига была проведена вице-канцлером так искусно, что Меншиков даже не заподозрил роли Остермана в обрушившемся на его голову несчастье и, уезжая в ссылку, просил его о содействии, вспоминая их прежние дружеские отношения. Известно также, что во многом благодаря интригам Остермана в анненское время не удалось восстановить своего положения после ссылки и бывшему начальнику и благодетелю Остермана П. П. Шафирову. Остерман незаметно, но последовательно «сталкивал» своего преемника на посту вице-канцлера с политического Олимпа, не давая тому возможности встать на ноги, хотя императрица Анна относилась к умному, опытному Шафирову неплохо. Не то чтобы Андрей Иванович был какой-то особенный злодей; он был не хуже и не лучше многих прочих тогдашних политиков, но сила его состояла в

закулисных действиях, успехами в которых могли похвастаться не все. В 1740 году, когда политическая сцена расчистилась от сильных политических фигур, когда исчезли Бирон и Миних и у власти стояла слабая правительница Анна Леопольдовна, Остерман решил, что наступила его минута и, став первым министром, вышел из-за кулис на авансцену. Но это была серьезнейшая ошибка Остермана. Привыкший действовать за кулисами, в политический темноте, чужими руками, он оказался несостоятелен как публичный политик, лидер, не имея необходимых для этой роли качеств — воли, решительности, авторитета. И первый же политический шторм в виде дворцового переворота 25 ноября 1741 года, приведшего к власти Елизавету Петровну, унес Остермана в небытие. При этом новая государыня, зная истинную роль Остермана в политической возне вокруг нее в предыдущую эпоху (сохранились предложения Остермана выдать цесаревну замуж за границу, арестовать ее придворных, чтобы вынудить дать против нее показания и многое другое), оказалась злопамятной — Остерман был сослан туда, куда он раньше отправил Меншикова, — в Березов. Здесь Андрей Иванович и окончил свои земные дни в 1747 году.

«Тело Кабинета», или Как раздобыть «мешочек смелости»

Вернемся к началу анненского царствования, когда началась упорная борьба за место в высшем правительственном органе — Кабинете министров. Туда не удалось пролезть ни оказавшему в 1730 году услуги Анне Павлу Ягужинскому, ни Миниху, зато совсем легко туда проник князь Алексей Михайлович Черкасский — человек ленивый, дородный и не казавшийся особенно умным. С 1731 года он солидно восседал на заседаниях Кабинета, являясь, по словам одного тогдашнего шутника, «телом Кабинета» («душой» же Кабинета был назван Остерман). А между тем фигура эта весьма любопытна. Для князя Алексея Михайловича назначение в Кабинет было резким прыжком вверх по служебным ступенькам. В тяжелые времена реформ и переворотов особенно трудно удержаться на вершине власти и почти невозможно дожить без опалы и отставки до своей естественной кончины. Еще труднее до самого конца быть «в милости», окруженным официальным почетом, утешенным и приободренным неизменной лаской государя. К числу таких редких счастливцев русской истории относится князь Алексей Михайлович Черкасский. Из года в год неизменно и невозмутимо он вел заседания Кабинета, пересидев всех своих друзей и недругов, да еще пятерых самодержцев.

Современники и потомки суровы к Черкасскому. В нем они не видят никаких достоинств. Язвительный князь М. М. Щербатов писал о нем: «Сей человек — весьма посредственный разумом своим, ленив, незнающ в делах и, одним словом, таскающий, а не носящий имя свое и гордящийся единым своим богатством». Сын боярина Михаила Яковлевича, он был потомком выходца из ханского рода Большой Кабарды, связанного родственными узами со знатнейшими родами России: один из его прадедов был женат на тетке первого царя династии Михаила Романова. Сам Алексей Михайлович был женат первым браком на двоюродной сестре Петра Великого, Аграфене Львовне Нарышкиной — дочери боярина Льва Кирилловича Нарышкина, а после ее смерти его супругой стала Мария Юрьевна Трубецкая — сестра фельдмаршала и боярина князя И. Ю. Трубецкого. Черкасский был фантастически богат. Его считали богатейшим человеком России, и действительно, он владел поместьями величиной с иные европейские державы и десятками тысяч крепостных крестьян.

И все же ни богатство, ни знатность, ни родство, ни тучность, ни тем более глупость обычно не спасали от опалы, гнева или недовольства самодержца. В личности Черкасского есть своя загадка. Приметим, что с юношеских лет он занимался государственными делами вместе с отцом — тобольским воеводой, боярином князем Михаилом Яковлевичем, и как второй воевода управлял Сибирью. В петровское время ему давали разные поручения, в том числе и руководство Городовой канцелярией. Это было такое учреждение, в котором не очень-то подремлешь на заседании — как известно, в строительных управлениях во все времена дым стоит коромыслом. А Черкасский руководил строительным ведомством целых семь лет! И царь был им доволен. Возможно, Черкасский не был так инициативен, как другие, ему, как писал один из современников, не хватало «мешочка смелости», но он явно сидел на своем месте, умел подбирать людей и успешно вел непростое дело.

Конечно, после смерти Петра Великого многие сановники задремали, расслабились. Но, как видно из документов, Черкасский дремал вполглаза. Этот флегматичный толстяк мог вдруг проснуться и произнести несколько слов, которые в устах несуетного и молчаливого вельможи звучали особенно весомо и авторитетно. Так, в начале 1730 года, когда верховники во главе с князьями Голицыными и Долгорукими

фактически ограничили самодержавную власть императрицы Анны Иоанновны в свою пользу, все вдруг с удивлением услышали громкий голос князя Черкасского. Как уже рассказывалось выше, на встрече дворянства с верховниками именно он, а не кто другой, смело вышел вперед и потребовал от Верховного тайного совета, чтобы будущее государственное устройство России обсуждали не в кулуарах, не в узком кругу, а в среде дворянства. Потом он превратил свой богатый дом в своеобразный штаб дворянских прожектеров и сам был автором проекта о восстановлении самодержавия. Вот и «мешочек смелости» нашелся!

«Затейка» верховников таким образом провалилась, а самодержавие было восстановлено. Все стало как прежде, и Черкасский мог вновь мирно дремать на заседаниях — императрица Анна Иоанновна, получив самодержавное полновластие, этой услуги Черкасскому не забыла. Любопытно, что шляхетская активность Черкасского в памятном 1730 году не была поставлена ему «в строку» при Анне (ведь тогда он не был сторонником неограниченной власти императрицы!), а наоборот, была воспринята как борьба с верховниками, что послужило ему, как и В. Н. Татищеву и некоторым другим активистам шляхетского движения, пропуском к чинам и должностям. Такой человек, как Черкасский, — родовитый, тесно связанный родственными и служебными узами со многими знатными вельможами, богатый и влиятельный — был весьма нужен Анне.

С 1734 года Черкасский стал канцлером. Однако он попрежнему вел себя скромно и незаметно, подпевая сильнейшим да прислушиваясь к советам своего формального подчиненного — вице-канцлера Остермана. Всю оставшуюся жизнь один из лидеров 1730 года «таскал свое имя» (впрочем ни на кого не донося, никого не травя и не убивая) и мирно досидел на своем высочайшем в чиновной иерархии месте до самой смерти в 1742 году. Новая императрица Елизавета Петровна, как и все ее предшественники на троне, уважала солидного Черкасского. Наверное, в таком поведении Черкасского и состояло не понятое окружающими величайшее искусство политического выживания без пожирания ближних своих.

Ученый лукавый поп

Среди людей, окружавших трон Анны Иоанновны, непременно должен стоять, сверкая золотыми ризами, святой отец — без него православную государыню, главу Священного Синода, невозможно и представить. Он и стоит на нашей воображаемой картине, правда не очень близко от трона. В русской истории этот человек известен как архиепископ Феофан Прокопович. Датский путешественник Педер фон Хавен, побывавший в Петербурге в 1736 году, встретился с Феофаном, и архиепископ поразил датчанина изысканным обхождением, необыкновенными и глубокими знаниями, блистательным умом. Все это правда. Другого такого образованного человека в тогдашней России не было. Но не только образованностью, знанием десятков языков, умом прославился у современников Феофан Прокопович.

Он родился в Киеве, происхождение его темно — скорее всего Елисей (светское имя ребенка) был бастардом, незаконнорожденным. Он блестяще закончил Киево-Могилянскую академию, принял униатство, пешком прошел всю Европу, учился в Германии и в Ватикане. Но кончить там курс он не смог — с грандиозным скандалом его выгнали из Ватикана, точнее он сам бежал оттуда в Россию. Причина скандала нам неизвестна, но скажем сразу, что скандалы сопровождали Феофана в течение всей жизни. Может быть, причина их — в его особом темпераменте. Неслучайно его первый биограф академик Байер писал, что Феофан был «зеленоглазым холериком сангвинического типа».

Вернувшись в Россию, наш холерик стал профессором родной Академии в Киеве, а в 1709 году произошел крутой поворот в его жизни. На торжественном богослужении в Киеве по случаю Полтавской победы в присутствии Петра он произнес такую блистательную речь, что был тотчас замечен и приближен государем. Вероятно, царя привлек не только ум, талант и ораторские дарования Феофана, его способности бессовестно говорить грубую лесть, но и та услужливость интеллектуала, которая называется беспринципностью, бесстыдством — а это свойство таланта всегда бывает востребовано всякой властью. С тех пор Феофан служил Петру как один из главных церковных деятелей, во многом руками которых была проведена синодальная реформа Русской православной церкви, окончательно превратившая ее в контору духовных дел, послушную служанку самовластия. Человек из иной церковной среды, он был равнодушен к судьбе и истории Русской православной церкви и России и делал то, что ему прикажут, причем делал хорошо, умно и с несомненой пользой для себя. Феофан мог подвести теоретическую базу под что угодно. Когда от него потребовали обоснования самодержавия, это он сделал блестяще, доказав на множестве примеров, как благотворна для

страны, народа единодержавная, никому не подчиненная сильная власть. Когда же от него потребовали обоснование вреда единодержавия патриарха в церковном управлении, он и это сделал так же блестяще, придя к обоснованному многочисленными примерами из истории выводу, что не видит «лучшаго к тому способа, паче Соборного правительства, понеже в единой персоне не без страсти бывает» (Духовный Регламент 1721 года).

В отличие от своих косноязычных русских иерархов, Феофан был блестящим проповедником, истинным артистом, он тонко чувствовал обстановку, умел найти такие яркие слова, что люди, его слушавшие, замирали от восторга, плакали от скорби, мысленно переносились за сотни лет и тысячи верст — и все это по мановению жеста, по воле слова и интонации Феофана. Всем была особенно памятна речь Феофана при похоронах Петра Великого в 1725 году.

Но насколько великолепен, возвышен был Феофан перед сотнями прихожан в сиянии праздничных риз, настолько ничтожен и мелок был он в обыденной жизни. «Карманный поп» был готов одобрить любое злодеяние, отпустить сильнейшему любой смертный грех. Стяжатель, честолюбец, он дрожал за насиженное возле трона место и был готов на все ради сохранения его. Множество врагов окружало и ненавидило этого выскочку, хохла, нахала. Не раз битый по левой щеке, он никогда не подставлял правую и давал сокрушительную «сдачу». Для этого он всегда дружил с начальниками Тайной канцелярии и всю свою жизнь сотрудничал с политическим сыском. По словам его биографа, он все время был в поле зрения сыскных органов — то как подследственный, на которого непрерывно доносили, то как доносчик, который доносил на других. После ссылки и заточения в 1725 году главы Синода архиепископа Феодосия Яновского — такого же бесстыдного проходимца, как и Феофан (последний приложил руку к этой опале), Феофан Прокопович занял место не только главы Синода, но и ближайшего сподвижника начальника Тайной канцелярии П. А. Толстого, а потом сменившего его генерала А. И. Ушакова как первейший эксперт в делах веры. До самой своей смерти в 1736 году Феофан тесно сотрудничал с Ушаковым, ставшим его приятелем. Феофан давал отзывы на изъятые у врагов Церкви сочинения, участвовал в допросах, писал доносы, давал советы Ушакову по разным проблемам и лично увещевал «замерзлых раскольников». Так, в 1734 году Феофан долго увещевал схваченного лидера старообрядцев старца Пафнутия, читая ему священные книги и пытаясь вступить с ним

в беседу, но Пафнутий «наложил на свои уста печать молчания, не отвечал ни слова и только по временам изображал на себе крест сложением большаго с двумя меньшими перстами». Увещевание проходило в присутствии секретаря Тайной канцелярии, и Пафнутия спрашивали о местах поселения старообрядцев, о конкретных людях. Как и прежде него Феодосий Яновский, Феофан не только боролся рука об руку с Толстым и Ушаковым за чистоту веры, но и использовал могучую силу политического сыска для расправы со своими конкурентами в управлении Церковью. Слывя знатоком художественной литературы, поэтом, Феофан давал экспертные оценки и попадавшим в сыск произведениям. В 1735 году именно он оценивал лояльность изъятых у певчего двора Елизаветы Петровны пьес, которые там тайно ставили приближенные полуопальной цесаревны. Правда, тут лукавый поп вел себя осторожно, как говорится, по принципу «бабушка надвое сказала» — оценку пьес дал такую, чтобы и себе не повредить в глазах власть предержащих, и дочь великого Петра не слишком обидеть: ведь кто знает, что будет с нею завтра?

В быту Феофан не был аскетом, любил красивые вещи и изящные постройки. Его можно назвать истинным сыном своего гедонического века, и под его рясой билось горячее сердце великого грешника. Он страстно любил жизнь и считал смерть «злом всех зол злейшим», был убежден, что «блаженство человечества состоит в совершеннейшем изобилии всего того, что для жизни нужно и приятно». Но годы наслаждений, страха и подлостей, отчаянной борьбы за свое счастье подорвали здоровье Феофана, и датский путешественник видел не 60-летнего мужчину, а уже немощного старца, который умер в том же 1736 году. Великий грешник был похоронен в одной из святынь православия — новгородской Софии.

Отношения Феофана с Анной, которой он всячески угождал, не сложились. А ведь что только не делал Феофан, чтобы понравиться новой государыне! Вспомним, как он послал тайного гонца в Митаву с известием о «затейке» верховников. Он же агитировал в Москве в ее пользу, он явился к государыне с поздравлениями во Всесвятское, когда она оказалась на пороге Москвы. С этим связан интересный эпизод, который отметил, анализируя «Санкт-Петербургские ведомости», М. И. Фундаминский. В газете от 9 марта 1730 года сообщалось, что архиепископ Феофан поднес государыне «изрядно сочиненную и важную письменную речь, о которой Ея императорское величество свое всемилости-

вейшее удовольствие показать изволила». В следующем номере от 12 марта эта речь была опубликована (фрагменты ее цитированы выше). Это было в высшей степени подобострастное послание, в котором говорилось, что Бог, дав России Анну, «обвеселил нас». Но любопытно другое. Через полтора месяца, 20 апреля, газета дала уточнение, что для того времени было исключительным случаем. Из уточнения следовало, что речь эта была вручена государыне не в момент ее въезда в Москву, а раньше, что Феофан послал речь навстречу Анне и ее вручил по приказу Феофана «при приезде Ея императорского величества к Новугороду» тамошний епископ. Следует удивляться необыкновенной пронырливости и отваге льстивого попа, который рискуя многим (ведь в то время положение верховников было устойчиво), заслал свою речь к Новгороду, чтобы новая государыня сразу поняла, какой он горячий ее сторонник, и не забыла этого. А тут еще досадная ошибка в газете, которую Феофан потребовал исправить. И все эти титанические усилия выслужиться пропали даром. Конечно, Анна была довольна всем, что говорил Феофан о ней публично. А он, как понимает читатель из вышесказанного, разливался соловьем, провозглашая в каждой своей проповеди, что он, как и все верноподданые, «обвеселен» явлением Анны, что все безмерно счастливы потому, что, наконец, «получили к заступлению Отечества великодушную героиню искусом разных злоключений неунывшую, но паче утвержденную». Тем не менее Анна не делала Феофана своим духовником, не привлекала его в свой ближний круг. При том, что она понимала его полезность для режима, всячески способствовала продолжению прежней, петровской (довольно жесткой) церковной политики. Но лично Феофан, с его иноземной ученостью, темным церковным происхождением, связями и репутацией был ей неприятен. В ее сердце были живы допетровские привязанности к тем людям из церковных кругов, которые окружали двор царицы Прасковьи и были втайне противниками церковных новаций Феофана и Петра Великого. Именно поэтому в окружении Анны появился другой, ранее малозаметный церковный деятель — архимандрит Варлаам.

С Варлаамом у Анны были давние отношения. Он, в миру Василий Антипеев, с 1692 или 1693 года занимал должность священника церкви Рождества Богородицы в Кремле. Это была традиционно придворная, «женская» церковь. Ее особенно часто посещали царицы и царевны. Вполне возможно, что именно отец Василий крестил царевну Анну, и уж точно известно, что он долгие годы был ее духовным от-

цом. В 1700 году отец Василий постригся в монахи Борисоглебского монастыря под Переславлем-Залесским под именем Варлаама и впоследствии стал его настоятелем. Тут с ним произошла довольно неприятная история. При строительстве церкви из земли были извлечены мощи древнего настоятеля этого монастыря Корнилия. В дело вмешалась сестра Петра I царевна Наталия Алексеевна. Она добилась перенесения мощей Корнилия в церковь. В итоге Корнилий был объявлен святым без утверждения Синодом, что вызвало резкую реакцию церковной конторы. Под удар попал именно Варлаам, который сообщил царевне, что лично собрал с груди нетленного тела «мокроту... и положил в пузырек стеклянный и тою мокротою помазал слепой девке глаза и оттого стала видеть». Формально, по канонам Церкви, это было чудо, позволяющее канонизировать Корнилия. Однако на дворе стояли петровские времена «борьбы с суеверием и ханжеством», и Варлааму с трудом удалось избежать серьезного наказания и то, наверное, благодаря своим старым знакомствам с царственными женщинами династии, духовником которых он был с самого начала своего служения в Кремле. К слову сказать, это приносило «батюшке» (так и называли его духовные дочери, в том числе и Анна) немало трудностей. Он даже проходил по делу царевича Алексея, который на допросе сказал, что исповедовался у Варлаама и в исповеди признался в утайке от Петра, что «желает он своему отцу смерти». Варлаам грехи Алексею отпустил, но по начальству о содержании исповеди, как положено, не сообщил. Однако причастность к делу несчастного царевича обошлась для Варлаама без последствий, и в 1726 году Екатерина I перевела Варлаама архимандритом Троице-Сергиева монастыря. С восшествием на престол Анны Варлаам стал вновь ее духовником, присутствовал при ее коронации в Кремле. Потом Анна вызвала Варлаама в Петербург, он был при дворе, объявлял ее волю членам Синода, что особенно не нравилось Феофану. Считается, что святители были в неприязненных отношениях, что и понятно: эти люди происходили из разных миров духовенства. Феофан в целом ориентировался на протестанский тип отношения государства и Церкви, Варлаам же считался сторонником старомосковского благочестия, был даже кандидатом в патриархи (по крайней мере, об этом шли разговоры в церковной среде), хотя лично как защитник этого благочестия в пору продолжения гонений на Церковь замечен не был. Близкий к Феофану Антиох Кантемир написал сатиру на Варлаама, рисуя его лицемерным пастырем, который публично отка-

зывается от вина, а сам дома съедает каплуна и запивает его бутылкой венгерского. Особого доверия эта сатира, сочиненная с явного одобрения Феофана, который предстает у Кантемира как образец духовного пастыря, конечно, не заслуживает, но все-таки манера подчеркнутого благочестивого поведения Варлаама, несомненно нравившаяся императрице, видна здесь отчетливо: «Варлаам смирен, молчалив, как в палату войдет // Всем низко поклонится, ко всякому подойдет, // В угол свернувшись потом, глаза в землю вступит; // Чуть слыхать что говорит, чуть как ходит, ступит. // Бесперечь четки в руках, на всяко слово // Страшное имя Христа в устах тех готово. // Молебны петь и свечи класть склонен без меру».

В сатире проявилось почти не скрываемое раздражение покровителя Кантемира Феофана, который по своему темпераменту, образу мысли и почти светской жизни, не мог соблюсти даже показного благочестия и поэтому не видел подлинного и у других. По некоторым данным видно, что пребывание при дворе было тягостно Варлааму и, в конце концов, он отпросился из Петербурга в Троице-Сергиев монастырь. В годы, проведенные при дворе, летом он жил на приморской даче, построенной недалеко от Стрельны еще для сестры Анны Иоанновны Екатерины, умершей в 1733 году. В 1734 году императрица разрешила разобрать и перевести к даче деревянную Успенскую церковь из загородного дома своей покойной матери, царицы Прасковьи Федоровны. На следующий, 1735 год, Анна приезжает к Варлааму в день празднования памяти преподобного Сергия Радонежского и обедает у «батюшки». Постепенно резиденция императорского духовника превратилась в монастырь, формально являвшийся подворьем Троице-Сергиева монастыря. Там были выстроены кельи, каменный дом для настоятеля, сюда из других мест переселили монастырских крестьян. Так возникла Троице-Сергиева пустынь, ставшая усыпальницей очень многих знатных семейств. Здесь похоронен и последний фаворит Екатерины II Платон Зубов, и десятки других очень известных людей Российской империи...

До самой смерти Варлаама в 1737 году Анна писала ему кроткие письма, трогательно заботилась о «батюшке». Когда тот отправился из Петербурга в Москву, императрица предупреждала главнокомандующего Москвы Салтыкова: «Не оставьте ево и в чем ему нужда будет вспоможение чинить». После же Варлаама другого духовного отца, к которому бы императрица проявляла такое расположение, уже не нашлось.

Начальник Тайной канцелярии, или Сообщник

Наконец, обратимся к последнему персонажу нашего группового портрета. Его мы почти не видим на картине — такая у него профессия. Он стоит скрытый спинкой трона императрицы Анны, и кажется, что они о чем-то только что быстро переговорили, но тотчас замолчали, как только приглашенные вельможи заняли свои места вокруг трона. Да, у них было много общего, у них была общая тайна: генерал, который при появлении Миниха, Остермана тотчас отступил в тень, был нужен Анне не меньше, чем перечисленные сановники. Этого человека звали Андрей Иванович Ушаков. Без преувеличения можно сказать, что начальник Тайной канцелярии генерал-аншеф и граф держал руку на пульсе страны, был самым информированным человеком и постоянным докладчиком у государыни. Пожалуй, не было в Тайной канцелярии ни одного сколько-нибудь заметного дела, с которым бы, благодаря Ушакову, не знакомилась императрица. Конечно, она не читала многотомные тетради допросов и записи речей на пытке. Как уже говорилось, для нее готовили краткие экстракты. Андрей Иванович приносил их императрице и, делая по ним обстоятельные доклады, покорно ожидал резолюции — приговора.

Карьера Ушакова на ниве тайного сыска началась еще в при Петре. К анненскому времени он многое повидал и испытал. К 1731 году, когда его назначили начальником возрожденной Тайной канцелярии (с 1726 года петровская Тайная канцелярия под руководством П. А. Толстого была ликвидирована), он сумел преодолеть обидный провал в своей карьере: в мае 1727 года его втянули в дело П. А. Толстого и других, да еще обвинили в недонесении, то есть по статье, за которую — ирония судьбы! — сам Ушаков за свою жизнь в сыске замучил множество людей. До этой неудачи карьера Ушакова шла вполне успешно. Он родился в 1670 году в бедной, незнатной дворянской семье. Согласно легенде, до тридцати лет он жил в деревне с тремя своими братьями, деля доходы с единственного крестьянского двора, которым они сообща владели. Ушаков ходил в лаптях с девками по грибы и, «отличаясь большою телесною силою, перенашивал деревенских красавиц через грязь и лужи, за что и слыл детиною». В 1700 году он оказался в Новгороде на смотру недорослей и был записан в преображенцы. По другим данным, это явление Ильи Муромца политического сыска произошло в 1704 году, когда Ушакову было уже 34 года.

Как бы то ни было, Ушаков благодаря своим способностям и усердию довольно быстро сумел выслужиться. Поворотным моментом в его карьере стало расследование дела участников восстания Булавина в 1707—1708 годах. С тех пор Петр I начал заметно выделять среди прочих скромного и немолодого офицера. К середине 1710-х годов Ушаков уже входил в элиту гвардии, в своеобразную «гвардию гвардии». Он стал одним из десятка тех гвардейских майоров — особо надежных и многократно проверенных на разных «скользких» делах порученцев, которым царь часто давал самые ответственные задания, в том числе и по сыскным делам. Среди этих гвардейских майоров — людей честных, инициативных, бесконечно преданных своему Полковнику, Ушаков выделялся тем качеством, которое в свое время помогло сделать карьеру начальнику страшного Преображенского приказа князю Ромодановскому: как и Ромодановский, Ушаков любил и умел вести сыскные дела. Он отличился в бестрепетном расследовании служебных злоупотреблений крупных чиновников, а в 1714 году Петр поручает Ушакову «проведать тайно» о кражах в подрядах, о воровстве в Военной канцелярии и в Ратуше, а также об утайке дворов от переписи. Для такого дела недостаточно рвения и честности, нужны были какие-то особые способности в сыскном деле. Ими, вероятно, Ушаков и обладал. По-видимому, по этой причине именно Ушакова царь поставил первым заместителем к П. А. Толстому в образованную в марте 1718 года Тайную канцелярию. По одной из версий, Ушаков был одним из убийц царевича Алексея в Трубецком бастионе Петропавловской крепости ночью 26 июня 1718 года. В отличие от других асессоров Тайной канцелярии — Г. Г. Скорнякова-Писарева и И. И. Бутурлина, Ушаков показал себя настоящим профессионалом сыска. Он много и с усердием работал в застенке. Интересная черточка характера Ушакова видна из дела баронессы Степаниды Соловьевой, которая в июне 1735 года была в гостях у Ушакова и за обедом жаловалась на своего зятя Василия Степанова. Баронесса сказала, что зять «ее разорил и ограбил и при том объявила словесно, что в доме того зятя ее имеетца важное письмо». Хозяин сразу насторожился и спросил: «По двум ли первым пунктам?», то есть касается ли письмо наиболее серьезных политических преступлений. И хотя Соловьева уклонилась от ответа, в Тайной канцелярии вскоре завели на нее и ее зятя дело, а потом баронесса оказалась за решеткой и просидела в Тайной канцелярии несколько лет. Как видим, начальник Тайной канцелярии и в

дружеском кругу, за обеденным столом, оставался шефом политического сыска.

В награду за расследование дела царевича Алексея Ушаков в 1719 году получил чин бригадира и 200 дворов. С успехом он заменял и самого Толстого, который, завершив дело царевича, тяготился обязанностями начальника Тайной канцелярии. Многие сыскные дела он перепоручал Ушакову, который делал все тщательно и толково. К середине 1720-х годов Ушаков сумел укрепить свои служебные позиции и даже стал докладчиком у Екатерины I по делам сыска. Гроза, которая в начале мая 1727 года разразилась над головой Толстого, А. М. Девиера и других, лишь отчасти затронула Ушакова — он не угодил на Соловки или в Сибирь. Его лишь, как армейского генерал-лейтенанта, послали в Ревель.

Во время бурных событий начала 1730 года, когда дворянство сочиняло проекты об ограничении монархии, Ушаков был в тени, но при этом он подписывал только те проекты переустройства, которые клонились к восстановлению самодержавия в прежнем виде. Возможно, в тот момент Ушаков угадал, за кем нужно идти. Позже, когда Анне Иоанновне удалось восстановить самодержавную власть, лояльность Ушакова отметили — в 1731 году императрица поручила ему ведать политическим сыском.

Ушаков, несомненно, вызывал у окружающих чувство страха. При этом он не был ни страшен внешне, ни кровожаден, ни угрюм. Современники пишут о нем как о человеке светском, вежливом, обходительном. Люди боялись не Ушакова, а системы, которую он представлял, ощущали безжалостную мощь той машины, которая стояла за его спиной. «Он, Шетардий, — рапортовали члены комиссии по выдворению из России французского посланника Шетарди в 1744 году, — сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменился. При чтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание свое сказать или что-либо прекословить мог».

Следя за карьерой Ушакова, нельзя не удивляться его поразительной «политической непотопляемости». В этом отношении с ним мог сравниться только князь А. М. Черкасский. А ведь в те времена ситуация в стране, а главное — при дворе менялась очень быстро и очень решительно. На пресловутых крутых поворотах истории в послепетровское время люди легко теряли не только чины, должности, свободу, но и голову. В 1739 году вместе с Артемием Волынским Ушаков судил князей Долгоруких, а вскоре, в 1740 году, по воле Бирона, он пытал уже Волынского. Потом, в начале

1741 года Ушаков допрашивал самого Бирона, свергнутого Минихом, еще через несколько месяцев, в 1742 году, уличал во лжи на допросах уже Миниха и других своих бывших товарищей, признанных новой императрицей Елизаветой врагами отечества. Вместе с любимцем императрицы Лестоком в 1743 году «непотопляемый» Ушаков пытал Ивана Лопухина, и если бы Ушаков дожил до 1748 года (он умер в 1747 году), то, несомненно, он бы вел «роспрос» и самого Лестока, попавшего к этому времени в опалу.

Ушаков сумел стать человеком незаменимым, неприступным хранителем высших государственных тайн, стоящим как бы над людскими страстями и борьбой партий. Одновременно он обладал каким-то обаянием, мог найти общий язык с разными людьми. Вежливый и обходительный, он охотно обращался за советом к тому, кто был «в силе», хотя, вероятно, сам лучше знал свое сыскное дело. Так, вместе с А. И. Остерманом он составлял доклады для императрице Анны по наиболее важным делам — тезки прекрасно дополняли друг друга, хотя доклады и одного Ушакова отличались особой деловитостью, краткостью и тактом.

Тут нельзя не отметить, что между самодержцами (самодержицами) и руководителями политического сыска всегда возникала довольно тесная и очень своеобразная деловая и идейная связь, некое сообщничество. Из допросов и пыточных речей они узнавали страшные, неведомые как простым смертным, так и высокопоставленным особам тайны. Перед ними разворачивались все «грязное белье» подданных и все их грязные закулисные дела. Благодаря доносам, пыточным речам государь и его главный инквизитор ведали, о чем думают и говорят в своем узком кругу люди, как они обделывают свои делишки. Там, где иные наблюдатели видели кусочек подчас неприглядной картины в жизни отдельного человека или общества в целом, им открывалось грандиозное зрелище человечества, погрязшего в грехах. И все это — благодаря особому «секретному зрению» тайной полиции. Только между государем и главным инквизитором не было тайн, и «непристойные слова» не облекались, как в манифестах и указах, в эвфемизмы. И эта определенная всей системой самодержавной власти связь накладывала особый отпечаток на отношения этих двух людей. Она делала обоих похожими на сообщников, соучастников не всегда чистого дела политики — ведь и сама политика не существует без тайн, полученных сыском с помощью пыток, изветов и донесений агентов. Иначе невозможно объяснить, как смог Ушаков — этот верный сыскной пес императрицы Анны — сохранить

прежнее влияние и право личного доклада у государыни при ее антиподе — императрице Елизавете. Исполнительный, спокойный, толковый, Ушаков не был таким страшным палачом-монстром, как князь Ромодановский; он всегда оставался службистом, знающим свое место. Ушаков не рвался на политический Олимп, не интриговал, он умел быть для всех правителей, начиная с Петра I и кончая Елизаветой Петровной, незаменимым в своем грязном, но столь важном для самодержавия деле. В этом-то и состояла причина его политической «непотопляемости».

Ведомство Андрея Ушакова было страшным местом. Некоторые из хранящихся в архивах бумаг Тайной канцелярии покрыты копотью и залиты воском со свечей, которые стояли в пыточных палатах, и имеют подозрительные ржавые пятна, очень напоминающие следы крови. Чтение таких дел, особенно в большом количестве, оставляет тяжелое впечатление: страх дыбы и раскаленных клещей отверзал любые уста, и под пыткой люди теряли честь, совесть, вообще — человеческий облик. Анна не испытывала отвращения к обнажению человеческих несчастий и пороков, ей, наоборот, было интересно узнавать всю подноготную, все грязные и позорные тайны своих подданных.

Ушаков быстро понял вкусы и пристрастия Анны и умело им угождал. Это было нетрудно сделать. С одной стороны, императрица очень не любила своих политических противников или тех, кого таковыми считала, и преследовала их беспощадно, а с другой стороны, она обожала копаться в грязном белье своих подданных, особенно тех, кто принадлежал к высшему свету. По делу баронессы Соловьевой, к примеру, Ушаков представил «на высочайшее рассмотрение» выписки из писем ее зятя, в которых не было никакого политического криминала, но зато содержалось много «клубнички»: жалоб на непутевое поведение дочери баронессы, описание скандалов и дрязг в семье и т. п. Все это было чрезвычайно интересно императрице.

Вот, наверное, о чем Ушаков и императрица говорили до того момента, как подошли к трону другие государственные деятели, запечатленные на нашем воображаемом портрете.

Глава 5

«ВО МНОГИЕ ГОДЫ ДНА НЕ ДОЙДЕМ», ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Взойдя на престол, Анна Иоанновна оказалась в довольно сложном положении. Она была провозглашена самодержавной императрицей теми политическими силами, которые при обсуждении шляхетских проектов выступали за ограничение ее власти и лишь в последний момент под давлением гвардии сняли свои требования. Еще целую неделю после 25 февраля 1730 года, когда гвардейцы «наорали» для Анны самодержавие, ее положение оставалось крайне неустойчивым. Документальных свидетельств политической борьбы, продолжавшейся до начала марта, не сохранилось, и судить об этом можно лишь на основании анализа проекта указа Анны от 4 марта и окончательного текста этого указа.

Проектом указа предлагалось срочно созвать «довольное Собрание разных главнейших чинов» для «лучшего рассуждения» о государственном устройстве в связи с ликвидацией Верховного тайного совета, а также и «для других нужд». Главнейшим чинам предписывалось собраться «сего месяца марта в «...» день в палату... а Верховному тайному совету отсель не быть». Напомню, что именно подобный учредительный орган — совет из высших чинов государства — просили созвать дворянские прожектеры из группы Черкасского — Татищева. Но когда этот проект стал указом от 4 марта 1730 года, в нем осталось только положение о ликвидации Верховного тайного совета. Значит, именно в начале марта чаша судьбы окончательно склонилась в пользу неограниченной власти Анны, и вопрос о каком-либо «Собрании главнейших чинов» — своеобразном Соборе — был похоронен. Какие силы сыграли решающую роль в борьбе вокруг проекта указа, мы, к сожалению, не знаем, а последующие события заслонили этот важный эпизод политической борьбы.

В поисках опоры под ногами

Довольно скоро стало ясно, что у Анны Иоанновны нет своей «партии» — политической силы, на которую она, придя к власти, могла бы опереться. Одновременно Анна ощущала свою незащищенность перед грубой силой гвардии, которая фактически возвела ее на престол, но при другом раскладе могла поступить и иначе. Поэтому новая императрица пошла неординарным путем — она создала противовес Семеновскому и Преображенскому полкам, организовав два новых гвардейских полка — Измайловский и Конную гвардию. В феврале 1731 года на Царицыном лугу за Москвой-рекой новые гвардейцы присягали в верности государыне. Примечательно, что офицерский корпус Измайловского полка был сформирован во многом из иностранцев, а также прибалтийских немцев во главе с К. Г. Левенвольде, а также «из русских, не определенных против гвардии рангами». Солдаты нового полка являлись однодворцами и были переведены из ландмилицейских полков Слободской Украины («выбраны из ландмилиции»). На надежность этих, не связанных с московским дворянством людей Анна могла рассчитывать в большей степени, чем на старую гвардию. Не случайно очевидец тех событий В. А. Нащокин отмечает, что с весны 1731 года измайловские караулы заменили во дворце императрицы семеновцев.

Тогда же была создана Конная гвардия и образованы кирасирские полки. В Конной гвардии было пять эскадронов общим числом около двух тысяч человек. Лошадей было решено купить за границей — в России лошади высотой 160 см в холке были редкостью. В новый гвардейский полк отобрали лучших солдат из обычных полков, дали им высокие оклады, избавили от палочных наказаний. 21 сентября 1732 года уже в Петербурге на Марсовом поле состоялся первый парад Конной гвардии. На гвардейцах были «васильковые кафтаны с красными камзолами, которые у офицеров золотыми позументами богато укладены». Лошади были все как на подбор вороные и «равной величины». Красивая, сытая Конная гвардия была искренне предана новой государыне — ведь именно она создала ее и заботилась о ней. Конные гвардейцы стали сопровождать государыню во всех ее поездках. Вообще же опыт перевода однодворцев в гвардию оказался удачным. В конце 1730-х годов по настоянию Бирона однодворцев (да и не только их — простолюдинов) внедряли во все четыре пехотных гвардейских полка с целью «разбавить» возможную дворянскую фронду.

Анна не могла не знать, что в пестром лагере приверженцев самодержавия было больше противников олигархов, чем сторонников Курляндской герцогини — «Ивановны», давно оторвавшейся от жизни России и не имевшей никакого авторитета в верхах русского общества. В этом, наверное, можно увидеть и истоки того, что впоследствии было названо «бироновщиной», и причины возвращения (если не сказать завуалированного бегства) императорского двора из Москвы в Санкт-Петербург. В деле полковника Давыдова, начатом в Тайной канцелярии в 1738 году, упоминается интересная деталь — одной из причин переезда двора в Петербург был случайно подслушанный Анной и Бироном разговор гвардейцев, возвращавшихся после тушения какого-то небольшого пожара, случившегося во дворце. Проходя под окнами царицы, они говорили между собой о временщике императрицы: «Эх, жаль, что нам тот, которой надобен, не попался, а то буде его уходили!» Этот разговор Бирон и Анна якобы подслушали из окна.

Простодушные гвардейцы вольно или невольно попали в точку: именно Бирон, тотчас вызванный из Курляндии самодержавной императрицей, стал ее главной опорой в это смутное время, именно к его советам, опасаясь своих новых подданных, прислушивалась она больше всего. Бирон вел себя осторожно, в соответствии с обстановкой. Иностранные дипломаты сообщали, что поначалу, приехав в Москву, он был скромен и незаметен, прислушивался к мнениям знавших русский двор иностранцев. Но постепенно его власть усилилась, и он стал собирать вокруг себя людей, которые должны были составить новое правительство Анны.

Логика политического поведения безошибочно подсказывала Анне, что нужно продолжать успешно начатую политику компромиссов с дворянством и даже с бывшими верховниками, ибо ее вступление на престол воспринималось как победа объединяющего все противоборствующие группировки начала. Поэтому ликвидация 4 марта 1730 года ненавистного Анне Верховного тайного совета была оформлена как обыкновенная реорганизация с целью восстановления системы управления государством по петровскому образцу во главе с Сенатом, который из «Высокого» вновь стал «Правительствующим». Верховный тайный совет был просто слит с Сенатом, и в состав сенаторов вошли почти все верховники. И лишь на клане Долгоруких Анна позволила себе выместить злобу — начались репрессии против Алексея, Ивана и других Долгоруких, которые иностранные дипломаты сразу охарактеризовали как «страшный удар по семейству». Так это и было. В отношении остальных активных сторонников ограничения царской власти Анна вела себя так, как будто ничего особенного не произошло. Наоборот, кажется, что она старалась всячески приблизить к себе активистов конституционного движения, примирить их со своей самодержавной властью. Многие из них не были обойдены наградами, высокими назначениями по случаю коронации. О судьбе князя Алексея Михайловича Черкасского мы уже говорили (и еще будем говорить ниже), а сейчас отмечу, что виднейшие шляхетские прожектеры были как бы поощрены за общественную активность. Один из них — Михаил Матюшкин, сочинитель шляхетских проектов, — был назначен киевским генерал-губернатором, Василий Татищев получил по случаю коронации Анны чин действительного статского советника и тысячу душ и вообще в течение почти всего ее царствования был на виду. Поначалу «ласкала» Анна и влиятельнейших верховников: фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын получил 4000 душ и место президента Военной коллегии, а его жена Татьяна Борисовна стала обергофмейстериной двора Анны. Дмитрий Михайлович Голицын вошел в новый состав Сената. Получили награды и повышения и другие верховники и вожди шляхетской «вольницы», мечтавшие об ограничении власти императрицы.

Вместе с тем для всех было ясно, что новая императрица не может доверить управление Сенату, который был наполнен ее вчерашними утеснителями и, кроме того, как уже показала послепетровская практика правительственной деятельности, не приспособлен к оперативной и конфиденциальной (главное условие самодержавного правления) работе и потому не может стать вспомогательным органом «при боку» Анны-императрицы. В Сенате оказалась, в сущности, вся политическая элита тогдашней России: канцлер Г. И. Головкин, фельдмашалы М. М. Голицын, В. В. Долгорукий, И. Ю. Трубецкой, а также Д. М. Голицын, В. Л. Долгорукий, Остерман, князь-папа И. Ф. Ромодановский, активист обсуждения проектов Черкасский, бывший «узник» П. И. Ягужинский, генерал Г. П. Чернышов, морганатический супруг царевны Прасковьи генерал И. И. Дмитриев-Мамонов, а также Г. Д. Юсупов, С. А. Салтыков, А. И. Ушаков, Ю. Ю. Трубецкой, И. Барятинский, С. И. Сукин, Г. Урусов, М. Г. Головкин, В. Я. Новосильцов. Словом, никогда Сенат не был таким многолюдным, пестрым и бесполезным, как весной 1730 года. Анне, мало смыслившей в управлении государством, напуганной политической борьбой, завязавшейся при ее вступлении на престол, такой «римский Сенат»

был не нужен. Несмотря на разделение его на пять департаментов, он был громоздким, а самое главное — требовал постоянного участия императрицы в решении множества представляемых на ее рассмотрение дел. Императрица нуждалась в небольшом совещательно-распорядительном органе «при боку» из доверенных, «своих» людей, не политиков, но высокопоставленных помощников. Примечательно, что такой вспомогательный орган рассматривался тогда как необходимый именно для женщины, оказавшейся на троне. Так, в проекте Татищева, который обсуждался дворянами в феврале 1730 года, есть такой пассаж: «О государыне императрице, хотя мы ея мудростию, благонравием и порядочным правительством довольно уверены, однако ж как есть персона женская, таким многим трудам неудобна; паче ж законов недостает, для того на время, доколе нам всевышний мужескую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи Ея величеству вновь учредить». Известно, что под этим «нечто» подразумевалась целая система выборных органов, совершенно неприемлемая для Анны. Однако сама идея правительственной «подмоги» слабой женщине у власти никому не казалась противозаконной. И эту идею оформили указом от 6 ноября 1731 года, создав Кабинет министров — полностью подчиненный императрице высший правительственный орган. Но в течение почти двух лет, предшествовавших этому законодательному акту, в придворных кругах шла ожесточенная борьба за право оказаться среди ближних советников Анны Иоанновны и в перспективе попасть в планируемый Кабинет министров.

Поначалу к совещаниям при дворе привлекались Бирон, А. И. Остерман, ставший снова генерал-прокурором Сената П. И. Ягужинский, А. М. Черкасский, братья Левенвольде, С. А. Салтыков. На первом месте, не считая, разумеется, Бирона, среди советников Анны вскоре оказался хорошо нам известный «вечный вице-канцлер» Андрей Иванович Остерман, который постоянно плел свою тонкую, невидимую для большинства интригу, благодаря чему во всех передрягах всегда всплывал наверх. Пережив тяжелое время борьбы за власть при Долгоруких, Андрей Иванович все-таки сумел удержаться и при Анне упрочил свои позиции, хотя после неосторожного участия в памятном совещании верховников у неостывшего тела Петра II ему пришлось нелегко и многим казалось, что карьере Остермана наступил конец. В феврале и марте 1730 года он часто и подолгу болеет, и для наблюдателей ясно, что болезнь эта, как всегда, — явное притворство, способ переждать смуту. Когда же в апреле ему

пришлось «выздороветь» — ведь на место вице-канцлера Анна могла найти и кого-нибудь более здорового и гибкого, — ситуация при дворе все еще оставалась для него неблагоприятной. В борьбе за власть Остерману пришлось выдержать конкуренцию со своим давним недоброжелателем Павлом Ивановичем Ягужинским, который резко пошел в гору, вновь став, с восстановлением Сената, «государевым оком» — генерал-прокурором Сената.

Сам Ягужинский — этот неуправляемый, экспансивный деятель, часто нетрезвый, со скандальной репутацией и неуживчивым характером, — в роковые для многих придворных авторитетов дни «затейки верховников» повел себя весьма противоречиво. Вначале, по некоторым данным, он выразил поддержку намерениям верховников ограничить власть императрицы, но потом, вероятно, после того как не был включен ими в Совет и оказался за пределами круга лиц, посвященных в замыслы верховников, обиделся, взбунтовался, отправил гонца в Митаву предупредить Анну о замыслах олигархов. Посланный от него с письмом для Анны Петр Сумароков (отец поэта и драматурга А. П. Сумарокова) был перехвачен В. Л. Долгоруким, и верховники приказали арестовать «бунтаря» Ягужинского. Он даже просидел несколько дней в тюрьме — не так много, чтобы рисковать спиной на допросах с пытками, но вполне достаточно, чтобы с приходом Анны выйти из узилища героем, пострадавшим «за правое самодержавное дело». И такой человек, конечно, не мог не быть приближен тронутой его поступком императрицей. При этом Ягужинский действовал во многом искренне. Человек неординарный, яркий, он был белой вороной в кругу сановников России, так как не воровал, и поэтому всегда представлял опасность для большинства своих высокопоставленных коллег.

Особую значимость Ягужинскому придавали его дружеские отношения с Бироном и братьями Левенвольде — графом Карлом Густавом и графом Рейнгольдом Густавом. Их имена как влиятельных советников начинающей императрицы упоминают все дипломаты. Особенно заметен был старший брат Карл Густав — человек, по словам французского дипломата, «смелый и предприимчивый». Во времена Петра II он был камергером, к тому же, по некоторым данным, являлся дипломатическим резидентом Курляндского герцогства в России. Сразу же после провозглашения Анны императрицей Карл Густав, так же как Ягужинский и Феофан Прокопович, послал курьера с письмом обо всех обстоятельствах этого избрания своему брату Рейнгольду Густаву,

который жил в это время в своем лифляндском имении и, как утверждают некоторые авторы, был близок Анне. Тот, естественно, помчался в Митаву с вестью о происшедшем в Москве, успел туда раньше, чем посланец Феофана, и все рассказал герцогине. Рейнгольд Густав был личностью, известной при дворе: после казни в 1724 году любовника Екатерины I Виллима Монса и смерти Петра I он стал фаворитом Екатерины I, осыпавшей симпатичного лифляндца наградами и чинами. Время Петра II он пересидел в уже упомянутом лифляндском поместье. Анна не забыла службы, оказанной ей братьями, и сторицей их вознаградила. Люди чрезвычайно опытные и знающие придворный мир русского двора, они были незаменимыми советниками Бирону.

Именно эта компания — Бирон, братья Левенвольде и Ягужинский — поначалу активно интриговала против Остермана, и летом 1730 года все иностранные дипломаты пророчествовали о скором падении бессменного фактического руководителя внешнеполитического ведомства России. Однако к 1731 году ситуация вновь изменилась: импульсивный Ягужинский, недовольный своей подчиненной ролью, постепенно отстает от компании Бирона и братьев Левенвольде. Остерман же, напротив, пользуясь своим государственным дарованием, знаниями и умением интриговать, да и просто тем, что он говорил с Бироном и Левенвольде на одном языке, находит путь к сердцу временщика и попадает в Кабинет министров, тогда как Ягужинский остается не у дел. Одновременно Остерман вступает в альянс с Минихом, усилившимся благодаря своим услугам императрице на поприще политического сыска, так что в ноябре 1731 года наблюдатели называют их «закадычными друзьями».

Ягужинский, чье значение как генерал-прокурора Сената после образования Кабинета, естественно, резко упало, начинает очередной в своей жизни «бунт», позволяет себе различные оскорбительные выходки и в ноябре 1731 года так обижает своего тестя — канцлера Головкина, что тот жалуется на зарвавшегося генерал-прокурора императрице. Уже отодвинутый к этому времени на второй план и утративший дружбу своих вчерашних закадычных приятелей — братьев Левенвольде, Ягужинский неблагожелательно высказывается о засилье немцев при дворе, хотя до этого проблема иноземного засилья его почему-то не волновала. Эти язвительные высказывания Ягужинского, угрозы Кабинету, публичное осуждение «доверия, которое царица имеет к иностранцам, управляющим делами», и многие другие неосторожные речи и стали причиной его срочной командировки в качестве посланника в Берлин.

Некоторое время на роль первого советника претендовал Миних, с триумфом встретивший императрицу в Петербурге и получивший чин генерал-фельдмаршала. Он участвует в заседаниях Кабинета министров и в своих позднейших мемуарах даже называет себя его членом. Но прямолинейный и властный стиль Миниха не мог понравиться Бирону и Анне, и уже к 1732 году Миних портит отношения со всеми своими сотоварищами по Кабинету, а Остерман, постепенно приучавший к себе Бирона, уже не является, как раньше, приятелем свежеиспеченного фельдмаршала. Андрей Иванович, по наблюдениям дипломатов, избегал объятий Миниха и открыто делал ставку на Бирона, которого, выражаясь языком того времени, усиленно «ласкал». Все ждали момента, когда Миниха можно будет задвинуть на второй план. Начавшаяся в 1733 году война за «польское наследство», а затем русско-турецкая война облегчили эту задачу — великий полководец был нужен на поле брани!

Кабинет министров как перелицованный Верховный тайный совет

Образование в 1731 году Кабинета министров — официального высшего органа власти — во многом изменило расстановку сил. Говоря об истории образования Кабинета, отмечу, что Анна ликвидировала Верховный тайный совет не как ненужную государственную структуру, а как враждебный ей политический орган, состоявший из ее политических противников. Потребность же в высшем учреждении типа Совета, тем не менее, не исчезла, и он возродился под новым названием, в новом составе, но, в сущности, с теми же целями, компетенциями и функциями. Кабинет министров учреждался для «порядочного отправления всех государственных дел, которыя к собственному Нашему определению и решению подлежат». Члены Кабинета — «несколько особ из Наших министров» — получали привилегированное право «Нам обо всех делах и обо всем протчем, что к Нашим интересам и пользе государства и подданных касатися может, обстоятельно доносить». Одновременно они были обязаны «состоявшиеся Наши всемилостивейшие резолюции по тому порядочно отправлять». Процитированные слова учредительного указа от 6 ноября 1731 года о создании Кабинета министров почти буквально повторяют мотивировочную часть указа Екатерины I о создании Верховного тайного совета в феврале 1726 года.

Кабинет был еще более узким органом, чем Совет. В него вошли всего три кабинет-министра: Г. И. Головкин, вице-канцлер А. И. Остерман и А. М. Черкасский. Несомненно, подлинным руководителем Кабинета был не его формальный глава канцлер Гаврила Иванович Головкин, дряхлый и малоинициативный, и не Алексей Михайлович Черкасский, который после смерти Головкина в январе 1734 года сменил его на посту канцлера. Как пишет саксонский посланник И. Лефорт, Головкин и Черкасский были включены в Кабинет только «для виду». Подлинным руководителем и «душой» Кабинета был вице-канцлер Андрей Иванович Остерман, за спиной которого стоял Бирон. Последний часто встречался с Остерманом и следил за всей проводимой Кабинетом политикой.

Мы уже говорили о личности Анны, теперь же скажем о том, как Анна управляла Россией. Поначалу, как некогда и Екатерина I, она участвовала в работе Кабинета, но вскоре сидеть за делами ей явно «наскучило», и она почти перестала приходить на его заседания, передав Кабинету право решать дела своим именем. Указом от 9 июня 1735 года подпись трех министров была приравнена к подписи императрицы. На практике же было достаточно и двух, а затем и одной подписи министра под указом. Не следует думать, что это де-факто ограничивало власть самодержца. Здесь мы, как и в истории с Верховным тайным советом, не должны забывать о том, что самодержец был волен поручить дела любому учреждению или доверенному лицу, оставляя за собой прерогативу ни в чем себя не ограничивать. Концепция самодержавия как раз и строилась на том, что ни круг дел, подлежащих компетенции монарха, ни само разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную никогда четко не устанавливались, ибо уже в одном этом состояло бы ограничение власти самодержца.

Конечно, практика управления диктовала довольно устойчивый порядок прохождения дел, их классификацию. Еще Петр I установил, что все бумаги, и в частности челобитные, прежде чем попасть к царю, должны последовательно пройти всю иерархию государственных инстанций, начиная с низших и кончая высшими. И только тогда, когда дело все-таки не будет решено Сенатом, оно может оказаться на столе самодержца. Анна полностью следовала этому облегчавшему ее жизнь принципу. Так, на докладе Сената по одному спорному земельному делу 1732 года мы читаем резолюцию царицы, под которой с удовольствием подписался бы и ее великий дядя: «По сему делу... рассмотреть в Вотчинной коллегии и со мнением подать в Сенат, а в Сенате решить, как указы повелевают, а ежели зачем решить будет невозможно, о том доложить Нам. Анна».

Иначе говоря, первый принцип работы самодержца в системе государственной власти состоял в рассмотрении им дел, не имеющих законодательного прецедента. В этом случае самодержец выступал как некий высший законодательный «орган», создающий новые законы. Но, как ни парадоксально это звучит, если бы этот принцип был непреложным законом работы государственной машины, то самодержавия бы не существовало. Ведь тем самым функции государя ограничивались бы только кругом «новых» дел. Поэтому параллельно с этим приниципом действовал и второй, согласно которому не должно было быть никаких критериев, отделявших дела, подведомственные монарху, от тех, которые он не мог рассматривать. Наряду с важнейшими государственными делами, к государыне попадали и такие, которые вполне мог решить и низший чиновник. Все зависело от воли и интереса самодержицы.

Сохранившиеся до наших дней материалы Кабинета министров Анны позволяют рассмотреть распределение и характер дел, попадавших к императрице и в Кабинет. Из 1623 указов, учтенных нами за 1735, 1736 и 1739 годы, а также за несколько месяцев 1738 и 1740 годов, лично императрица подписала 359 (то есть 22,1%), остальные 1264 указа были оформлены Кабинетом как «именные, подписанные кабинет-министрами», а также просто как указы Кабинета. Из 359 указов 161 указ Анна только подписала, остальные 198 содержат ее резолюцию: либо краткую («Апробуэтца. Анна», «Жалуем по его прошению. Анна», «Выдать. Анна»), либо пространную, в виде утвержденного ею проекта подготовленного Кабинетом решения. Именно в этом и состояла работа кабинет-министров, рассматривавших дела и составлявших проекты таких резолюций, под которыми императрице оставалось лишь поставить подпись.

По содержанию все именные указы Анны делятся почти пополам: 175 указов посвящены назначениям и снятию чиновников и военных, а также различным делам по землевладению. Это не случайно: служебные назначения и раздача земель — вот два важнейших дела, которыми издревле занимались русские самодержцы, именно на этой основе упрочившие свою неограниченную власть. Остальные 173 указа относятся к делам судопроизводства, финансов и других сфер управления. Нельзя сказать, что Анна, перепоручившая все дела Кабинету, полностью устранялась от управле-

ния. Императрица, месяцами занятая охотой, развлечениями, порой вдруг включалась в государственные дела, терпеливо томилась на докладах, которые ей делали Остерман или, начиная с 1738 года, Артемий Волынский. В основе государственной активности Анны был не только вспыхивавший порой интерес к делам своего обширного «имения», но и суровая необходимость. Всегда возникали и накапливались проблемы, которые без нее не мог решить (точнее — не мог взять на себя ответственность за их решение) никто из сановников. Анне приходилось выступать в роли верховного законодателя и распорядителя, даже если у нее к этому не лежала душа, особенно тогда, когда речь заходила о назначениях на должности или о земельных пожалованиях, приговорах в судебных делах. Порой государыня мучила себя теми государственными делами, в которых ее что-то интересовало. Почтительные просьбы окружения обратить внимание на то или иное дело также становились причиной активности Анны как государственного деятеля. Бывали и просто капризы, и тогда она, занимаясь иным делом, становилась придирчивой и педантичной. Вообще многое зависило от сиюминутного настроения государыни. Бывало, что настырных просителей, которые сумели прорваться к императрице и пасть перед ней на колени, держа над головой как щит заветную бумагу, отправляли в Тайную канцелярию, а бывало (если императрица была в духе или заранее подготовлена, или если оказывались затронутыми какие-то струны ее души), что челобитная рассматривалась лично государыней и решалась положительно.

Так, в 1738 году вдова лифляндского помещика Ю. К. фон Гогенбах сумела подать императрице челобитную крайне жалобного содержания, и Анна написала: «Ежели подлинно так, как в прошении написано, то учинить по сему челобитью» (речь шла о снятии доимок с имения несчастной вдовицы). В другом случае императрицу настиг челобитчик крестьянин Леонтий Мясников прямо в святая святых — в Петергофе, куда вход всем посторонним был запрещен, и Анна кротко предписала челобитную его рассмотреть, «дабы оной проситель более о том Ея императорское величество не утруждал». Видно, Анна была в этих случаях в благорасположении духа. Иначе было с другой помещицей-просительницей, которая приехала хлопотать в Петербург о задержанном ее супругу жалованье. Она, «долго ища случая», сумела «поймать» императрицу и пыталась подать ей челобитную. Но Анна сурово ее отчитала: «Ведаешь ли, что мне бить челом запрещено?» — и после этого «тотчас велела ее вывесть на площадь и, высекши плетями, денег выдать». «И как ее высекли, — продолжает рассказчик, полковник Давыдов, — то, посадя в карету, хотели везти к рентрее (кассе. — *Е. А.*), но она, бояся, чтоб еще тамо не высекли, оставя деньги, уехала домой».

Многочисленные челобитчики утомляли императрицу, мешали ее времяпрепровождению, и в 1738 году она, приказав рассмотреть в Сенате дело одного ограбленного родственниками просителя, распорядилась собрать все подобные дела и, разом «рассмотрев, решение учинить, как указы повелевают, чтоб бедным людям справедливость учинена была безволокитно и Ея императорское величество о таких своих обидах больше прошениями не утруждали». В этом можно видеть типичный ход мысли многих правителей России: стоит только рассмотреть «как следует» все собранные в одну кучу жалобы бесчисленных униженных и обиженных, и проблемы решатся сами собой. Но в жизни так не бывает.

Императрица не скрывала своего нежелания заниматься государственными делами и не раз выговаривала кабинет-министрам за то, что они вынуждали ее сидеть за бумагами. 31 июля 1735 года она с обидой писала в Кабинет министров о том, что адмирал Н. Головин беспокоит ее по пустякам, и предупреждала, чтобы впредь «о малых делах Нас трудить было ненадлежало». Хотя для того чтобы нацарапать на пространном докладе Сената или другого учреждения слово «Опробуэца» (иногда — «Апробуэтца», то есть «утверждается»), особых усилий от нее и не требовалось, тем более что под рукой был целый штат советников и помощников, которые «на блюдечке» подносили готовые решения. Отъезд же императрицы в Петергоф вообще избавлял ее от государственных трудов. Так, в июне 1738 года А. Волынский объявил указ, что государыня «изволит шествовать в Петергоф для своего увеселения и покоя, того ради, чтоб Ея императорское величество о делах докладами не утруждать, а все дела им самим решать кабинет-министрам (согласно указу 1735 года. — *Е. А.*), а которыя дела самыя важнейшия, такия, которых они сами, министры решить не могут, то только о таких Ея императорскому величеству доносить в Петергоф».

Любопытно, что в журнале Кабинета министров употребляется особый оборот, обозначающий доклад у императрицы: «Ходили вверх к Ея величеству...» (чаще писалось: «в Верх»). Это было старинное, идущее с XVII века, бюрократическое и придворное выражение, обозначающее посещение стоящего на холме Кремлевского дворца, в котором жили и решали дела московские цари. (Вспоминается меланхолическая жалоба одного подьячего XVII века: «Придешь в

приказ — тащат в Верх, с Верху прибредешь — от челобитчиков докука».) Петровская эпоха утратила этот оборот — никакого «Верха» в старом московском смысле в новой столице не было. Но, как видим, в анненскую эпоху он возродился даже в регулярном Петербурге, очевидно в общем контексте возрождения элементов московской старины. Позже, в эпоху Елизаветы Петровны, оборот этот не встречается, хотя выражение «наверху» и указание пальцем на потолок до сих пор означает начальство.

Дело, конечно, не только в мелочности запросов, с которыми постоянно обращались к государыне чиновники, связанные по рукам и ногам густыми путами бюрократических инструкций. С императрицей вообще было тяжело работать: Артемий Волынский — один из регулярных докладчиков у Анны — дома, в кругу друзей, был грубо-откровенен: «Государыня у нас дура, резолюции от нее не добьешься!» Не стану оспаривать особое мнение кабинет-министра об умственных способностях Анны Иоанновны, но надо быть справедливым — далеко не все дела в ее время погрязали в волоките, многие вопросы решались быстро и оперативно. Так, 28 апреля 1735 года Кабинет министров обсудил и составил на имя московского генерал-губернатора следующее письмо: «Сиятельный граф, превосходительный господин генерал и обер-гофмейстер, наш государь! Ея императорское величество изволила указать мартышку, которую прислал Ланг и в Москве родила, прислать ее и с маленькою мартышкою ко двору Ея императорского величества в Санкт-Петербург. Того ради, изволите, Ваше сиятельство, оных мартышек всех и с маленькою отправить, с кем пристойно, и велеть оных мартышек в пути несть всегда на руках и беречь, чтоб им, а паче маленькой, никакого вреда не учинилось. И о сем объявя, пребываем Вашего сиятельства, нашего государя, покорные слуги». А вот перед нами именной указ об отправке домой, в Воронежскую губернию, и награждении некоей «бабы, которая имеет усы и бороду мужскую». Читатель может быть уверен — доставка новорожденной мартышки и благополучная отправка бабы с усами, равно как и произведенная поимка белой галки в Твери для Ея императорского величества и Кабинета министров Ея императорского величества были делами не менее, а, может быть, даже более важными, чем подготовка армии к войне с турками или сбор недоимок подушной подати.

Особое, исключительное место в системе управления времен Анны занимал ее фаворит Э. И. Бирон, о чем уже сказано выше. Нет сомнения, что ни одно мало-мальски

важное назначение на государственные должности не обходилось без одобрения временщика. Он контролировал и Кабинет министров, хотя в какие-то моменты Остерман, пользуясь своей незаменимостью, пытался вести и свою игру. Бирону это, конечно, не нравилось. Он опасался, что вице-канцлер полностью подчинит себе Кабинет министров.

После смерти канцлера Головкина в январе 1734 года в Кабинете остались двое — Остерман и Черкасский, что сразу же нарушило равновесие: бесспорно, что пронырливый Андрей Иванович быстро подмял бы под себя анемичного Алексея Михайловича. Это заставило Бирона задуматься — за вице-канцлером, явно метящим в канцлеры, нужен был глаз да глаз. И тогда Бирон делает следующую рокировку: Черкасского назначают канцлером, а в Кабинет срочно вводят возвращенного из почетной берлинской ссылки Павла Ягужинского. Конечно, твердо полагаться на неуравновешенного Павла Ивановича Бирон не мог, зато мог уверенно рассчитывать, что тот — антипод осторожному Остерману — не позволит вице-канцлеру втайне обделывать свои дела и вредить Бирону.

Но в начале 1736 года Ягужинский занемог, и Бирон деловито и озабоченно пишет Кейзерлингу: «Ягужинский умрет, вероятно, в эту ночь, и мы должны стараться заместить его в Кабинете». На пустующее место кандидата подбирали долго, уж слишком были высоки требования к нему: с одной стороны, он должен быть неплохим администратором, а с другой — креатурой, доверенным лицом Бирона. И Бирон нашел Артемия Петровича Волынского, который хорошо зарекомендовал себя и как администратор, и как прилежный искатель милостей временщика и к тому же, к радости Бирона, не ладил с Остерманом. 3 апреля 1738 года, пройдя своеобразный испытательный срок, Волынский становится кабинет-министром. Введение деловитого, поначалу горячо преданного Бирону Волынского восстановило некое равновесие сил в Кабинете, нарушенное после смерти конфликтовавшего с Остерманом Ягужинского. Так временщик сохранил контроль за действиями скрытного вице-канцлера. В свою очередь, Остерман, недовольный тем, что приходилось делить власть с Волынским, интриговал против бироновского выдвиженца... Это тоже устраивало Бирона — ибо за Волынским тоже следовало присматривать. Словом, Бирон вел довольно сложную игру. И все же фаворит так и не решился сам войти в состав Кабинета. Ему больше подходила роль судьи, наблюдателя за деятельностью этого высшего учреждения — роль, которая избавляла его от ответственности.

У истоков дворянской эмансипации

Кабинет министров начал свою работу осенью 1731 года не на пустом месте — с самого начала царствования Анны шел поиск своей модели политики. Ее основами становятся, с одной стороны, во многом показная, формальная преемственность идеалов Петра Великого, верной последовательницей которого стремилась изобразить себя Анна, а с другой стороны — намерение исходить из той реальности, которая была уже несовместима с петровским политическим опытом и требовала другой политики. В начале анненского периода заметны попытки выработать общие принципы политики, которыми надлежало руководствоваться и в дальнейшем. Сохранилась записка Остермана за 1730 год, где он сформулировал принципы, которые надлежало, по его мнению, учитывать императрице во внутренней политике.

Остерман считал, что основу правления должны составлять «Страх Божий, милосердие и снисходительство, любовь к правосудию и исполнение онаго». Были и более конкретные предложения: проводить регулярные совещания сановников, привлекать к ним сенаторов и президентов важнейших коллегий, учредить комиссию, чтобы закончить свод законов — Уложение (давняя мечта законодателей XVIII века, все еще державших на столе устаревшее Уложение 1649 года). Остерман предлагал создавать новые школы, следить за судопроизводством и тем, что теперь называют «исполнительской дисциплиной». Разумеется, все это были благие пожелания, как и неопределенные советы «все слушать и все исследовать». Но все же в проекте вице-канцлера были хоть какие-то конструктивные принципы политики. До этого, во времена верховников, и таких общих положений не было — двигались вслепую.

Драматические события начала 1730 года выдвинули на передний план проблему статуса и положения российского дворянства. С петровских времен произошли заметные изменения в положении, а главное — в мировоззрении вчерашних служилых людей, а теперь — «шляхетства». И новое правительство Анны уже не могло не считаться с их требованиями и настроениями. Анна пошла навстречу пожеланиям и сословным требованиям шляхетства, а это расширяло социальную основу ее власти. Расчет был верный — как бы по-разному ни относились группировки дворян к проблеме ограничения власти императрицы, все они были едины, когда заходила речь об их сословных интересах. Наиболее полно социальные требования шляхетства отразил проект Черкасского, который был поддержан и авторами других проектов. Дворяне единодушно просили уменьшить срок службы до 20 лет, заменить учебой в специальных учебных заведениях тягостную службу своих сыновей рядовыми в полках. Все дворяне настаивали на отмене закона Петра I о единонаследии 1714 года, согласно которому помещик имел право передавать свое имение только старшему из сыновей, младшие же были обречены искать пропитание в канцеляриях и в армии.

Правительство Анны провело несколько изменений в сфере дворянской политики, которые позволяют говорить о том, что в 30-е годы XVIII века была начата новая глава в истории русского дворянства. 9 декабря 1730 года был издан указ, в котором констатировалось, что положения указа 1714 года о единонаследии «по состоянию здешняго государства не к пользе происходят». И далее детально обосновывалась необходимость его отмены: «отцам не точию естественно есть, но и закон Божий повелевает детей своих всех равно награждать», а потому помещики, пытаясь обойти петровский указ, продавали деревни, чтобы на вырученные деньги обеспечить будущее младших сыновей. Не меньше ухищрений было и с оформлением приданого для дочерей. Эти пункты, «яко необыкновенные сему государству», предлагалось отменить и «с сего указа в разделении детям как движимых, так и недвижимых имений чинить по Уложению» 1649 года и на этом основании помещикам «дать в том волю».

Указ дал дворянам несравненно бóльшую, чем прежде, свободу распоряжения имением, своим главным достоянием. В марте 1731 года был издан еще один указ, подтверждавший отмену закона о майорате и предписавший «как поместья, так и вотчины именовать равно одно: «недвижимое имение-вотчина», и отцам и матерям детей своих делить по Уложению всем равно, також и за дочерьми в приданыя давать по-прежнему». Слияние двух весьма различных видов собственности — поместья (временного держания) и вотчины (родового владения) — было также важным изменением, ибо, согласно букве закона, все поместья становились вотчинами, то есть наследственными, в принципе неотчуждаемыми владениями. (Впрочем, на практике вотчины, как и поместья, с легкостью отписывались на государя — полноправного властителя и повелителя жизни и имущества служилого человека, каким был и остался в это время дворянин.)

Исчезновение юридического понятия «поместье» как временного земельного владения, предоставленного дворя-

нину на срок службы, знаменовало изменение самого понятия «служба». Образование при Петре I шляхетства как особого сословия не изменило сущности прежней службы, которую исполняли служилые люди в прошлые века. Более того, с образованием регулярной армии, «правильного» бюрократического государства служба становилась все труднее, требования к ее исполнению — все строже, а наказания за провинности — все суровее. Дворянин первой трети XVIII века уже не мог, как его отец или дед, отсидеться в деревне, ограничиваясь присутствием на ежегодных, довольно формальных, смотрах, куда он приезжал «конно, людно и оружно», а затем с облегчением возвращался в свое поместье. При Петре I служба дворянина, оставаясь поголовной, пожизненной и обязательной, стала еще и регулярной, постоянной. Она вынуждала его надолго, если не навсегда, покидать свое поместье. К тому же эта служба стала требовать серьезной профессиональной подготовки, исполнительности, самоотверженности и дисциплины, что давалось не просто.

Хотя после смерти Петра и произошли некоторые послабления, но принципы службы остались прежними, петровскими, то есть суровыми. Как обязательное поступление на службу молодого недоросля («новика» в XVII веке), так и увольнение его от службы сопровождались довольно сложной процедурой. Если раньше все решалось на публичных смотрах-маневрах, то теперь сам смотр в значительной мере стал бюрократической процедурой, проводился в Военной коллегии, в Герольдмейстерской конторе Сената, перед специальной комиссией, причем с обязательным освидетельствованием офицера врачами. Вот перед нами типичное медицинское заключение о здоровье бригадира А. Голенищева-Кутузова: «Оный бригадир одержим разными застарелыми болезнями несколько лет, а те болезни у него имеются: 1) каменная, от которой песок и ломота великая, более тогда, когда запирается урина, которая у него часто бывает...» Далее следует описание еще четырех старческих болезней, из которых более всего бригадира донимал «лом», то есть, по-видимому, ревматизм. От него он «весь высох, и объявляет он, бригадир, что от оной болезни больше, как от других болезней, имеет мучение и в жилах великую стрельбу, от которых болезней, по разсуждению доктора, вылечить его неможно, и за всеми вышепоказанными застарелыми болезнями уже и движения не имеет, чего для всегда служителями водим бывает и затем более принужден лежать».

Лишь в таком состоянии можно было рассчитывать на увольнение из армии и от службы. Если же офицер еще мог

передвигаться, например, прыгая на своей деревяшке, то его могли направить служить в провинцию, в гарнизонные, нерегулярные полки или отослать на должность воеводы, коменданта дальнего городка или острога. И только смерть единственная освобождала такого бедолагу от службы.

Фактически обязательная служба отставников на гражданских должностях вызывала недовольство дворян, лишенных, несмотря на отставку от армии, возможности жить в своих поместьях. В деревнях за отлучением помещиков, по мнению властей, происходили ужасные вещи: приказчики разоряют крестьян, а крестьяне ленятся, «помещикову и свою пашню запускают, в воровствах и разбоях являются, тюрьмы таковыми везде наполнены». Сенат знал, что отставные офицеры в губерниях прибегают к различным ухищрениям и уловкам, чтобы избежать обязательной для них явки на смотр и соответственно — назначения после него «в разные дела и посылки». Эти почтенные старцы, извещали сенаторы императрицу, «знатно уведав о том (смотре. — *Е. А.*), из своих деревень, где они жили, выехали в другия свои деревни, и хотя за то все их деревни отписаны, сверх того на них штрафы положены, но и затем многие не явились же». Сенат просто не знал, что ему «с такими ослушниками чинить». При этом сенаторы в своем докладе отмечали, что молодые дворяне тоже без особой охоты идут на смотры, пренебрегают своим долгом перед императрицей и Отечеством. Более того, некоторые ослушники даже записываются в тяглое (то есть неслужилое) сословие купцов, посадских и даже «в дворовую службу к разных чинов людям, и переходят из города в город, дабы звание свое утаивать и тем от службы отбыть».

Оценив все эти факты, правительство Анны в декабре 1736 года издало указ, который, по словам историка С. М. Соловьева, «составил эпоху в истории русского дворянства в первой половине XVIII века». В указе разрешалось одному из сыновей хозяина имения «для лучшей государственной пользы и содержания шляхетских домов и деревень» оставаться «в доме своем для содержания экономии». Молодые шляхтичи могли идти на службу в возрасте двадцати лет, а прослужив 25 лет, имели право вернуться «в домы», даже если они были вполне годны для дел. Если же офицеры или чиновники «за болезнями или ранами по свидетельствам явятся к службам неспособны», то разрешалось увольнять в отставку и тех, кто не достиг указного 45-летнего возраста. Вскоре был изменен и порядок учета недорослей. Они были обязаны являться на смотр лишь трижды в

жизни: в семь, двенадцать и шестнадцать лет, а в промежутках их обязанностью было овладение науками.

Указ 1736 года был подлинной революцией в системе прежней, то есть петровской службы дворян. Правда, из-за начавшейся войны с Турцией в действие его так и не ввели, но он давал тысячам дворян надежду скинуть с плеч казенное тягло. И как только был заключен Белградский мир 1739 года, правительству пришлось пожалеть о своем великодушии — огромное число дворян сразу же запросилось в отставку. Но дело было сделано, и российское дворянство, добившись значительного облегчения в службе, еще на один шаг продвинулось к своей эмансипации.

Гора Благодать, или «Ту фабрику размножить сильною рукою»

Как и всякое другое, анненское царствование было обильно законодательством. Но как тут не вспомнить В. О. Ключевского: «При великом множестве законов — полное отсутствие законности». За время царствования Анны Иоанновны было издано не менее 3,5 тысячи указов, но из этой гигантской груды бюрократических произведений в истории осталось буквально несколько по-настоящему важных для будущего развития страны указов. О тех из них, которые касались статуса дворян, уже сказано, теперь пойдет речь об одном важном указе уже из другой сферы — законодательства о промышленности.

Этот указ появился 7 января 1736 года. Он провозглашал, что «всех, которые при фабриках обретаются и обучились какому-нибудь мастерству, принадлежащему к тем фабрикам и мануфактурам, а не в простых работах обретались, тем быть вечно при фабриках». За дворцовых и помещичьих крестьян, ставших мастерами, мануфактурист платил компенсацию дворцовому ведомству и помещику в размере 50 рублей. Это был принципиальнейший в истории русской промышленности указ, ибо он ликвидировал социальную группу вольнонаемных промышленных рабочих, среди которых помимо беглых крестьян имелось немало «вольных и гуляющих людей» — основы наемной рабочей силы. Известно, что Петровская эпоха коренным образом изменила классическую схему образования категории наемных рабочих из числа свободных от тягла, зависимости или службы людей. Петр ничего не жалел для предпринимателей, которые решились завести заводы и мануфактуры. Он давал им ссуды, материалы, приписывал к их заводам государственных

крестьян. В 1721 году Петр разрешил мануфактуристам прикупать к фабрикам крепостных, чтобы использовать их как рабочих. Одновременно были резко сужены возможности найма на предприятия свободных людей: состояние вольного, не связанного тяглом, службой или крепостью, человека было признано криминальным. Такого человека, появившегося без паспорта от своего помещика или местного коменданта, считали беглым, то есть преступником.

Такая политика экономического кнута и пряника предопределила развитие русской промышленности по крепостническому пути. Капиталистическая же альтернатива развития экономики оказалась подавленной. Указ 1736 года продолжил эту тенденцию социальной политики Петра I. Анна покончила с последними остатками вольнонаемного труда, так как признавала собственностью предпринимателя всех работавших у него в данный момент рабочих вне зависимости от их социального положения. Так было окончательно ликвидировано знакомое еще с XVII века юридическое понятие «свободного», «вольного» человека. Анненский указ 1736 года, как и другие дополнившие его постановления власти, разрешал принимать на работу только «пашпортных» крестьян, то есть получивших от своего помещика или местной власти временный паспорт на отходничество. Таких людей называли «вольными с паспортами».

Общий дух неволи распространялся на все общество. Воля не понималась более как «свобода, простор в поступках, отсутствие неволи, насилования, принуждения» (В. Даль). Характерен в этом смысле указ Анны 1740 года об освобождении из ссылки опального князя А. А. Черкасского. В нем предписывалось: «Из Сибири его свободить, а жить ему в деревнях своих свободно без выезда». Вот так жили — «вольными с паспортами» и «свободными без выезда».

Было бы глубоким заблуждением считать, что, приобретя крепостных, мануфактурист был волен распоряжаться ими по своему усмотрению. Напротив — его права как душевладельца были существенно ограничены. Специальный закон обязывал мануфактуристов использовать таких крепостных только на заводских работах. Предприниматели не становились помещиками. Государство не менее зорко, чем за качеством и количеством продукции мануфактур, следило за неукоснительным соблюдением этого закона. Первое и главное правило, которое утвердилось при Петре I и последовательно проводилось в жизнь после его смерти, состояло в том, чтобы деревни к заводам покупались «под такою кондицею (условием. — *Е. А.*), дабы те деревни всегда были при

тех заводах неотложно и для того как шляхетству, так и купечеству тех деревень особо без заводов отнюдь никому не продавать и не закладывать», чтобы заводы «не ослабевали, но в лучшее состояние произвожены были».

Но предприниматели благодаря заботам государства не были и настоящими капиталистами. Бесспорно, как и в петровские времена, правительство Анны поощряло тех, кто «старание и тщание свое в размножении фабрики прилагали». Вместе с тем оно же было крайне сурово к тем, кто не выполнял казенных заказов: их заводы строго ревизовали, и если «усмотрится, что оные ослабевать будут», то надлежало строго спросить с мануфактуриста, в случае его нерадения — «принуждать к порядочному содержанию» предприятия или «отрешить» его вообще от владения. Мануфактур- или Берг-коллегии строго предписывали ассортимент, качество, объемы выпуска продукции, проводили частые проверки предприятия и при попытках нарушить условия заведения и эксплуатации мануфактуры отбирали ее в казну или передавали другому владельцу — понятия частной собственности не существовало, все оставалось государево — имущество, капиталы, земля, люди. При этом пределов для злоупотреблений, конечно, не было. А после конфискации такой мануфактурист, подобно суконному фабриканту из Путивля Ивану Дубровскому, обивал пороги государственных контор и умолял «оную его собственную фабрику и со всеми к ней заводами отдать ему в прежнее содержание, с которой обязуется он ставить сукна на гвардию против прежних поставок с уступкой (в цене. — *Е. А.*)». Впрочем, нередко такие суровые меры власти применяли к тем мануфактуристам, которые думали не о производстве, ради чего им и приписывали крестьян, а о том, как бы стать если не душевладельцами, то льготниками, против чего их предупреждали указы: «Повелеваем ту фабрику размножить сильною рукою, а не под видом содержать, чтоб оною от служб и постоев быть свободну». В этом и в других случаях государство даже не смотрело, что завод основан «на своем коште» и, лишившись его, мануфактурист теряет все свое состояние. Как ни парадоксально, на долгие годы частное предпринимательство, которое обычно крепнет в острой конкурентной борьбе, было задушено в теплых объятиях щедрого на помощь ему и одновременно бдительного к своим интересам государства.

Государственная политика в экономической сфере была, в целом, предопределена при Петре, и в анненскую эпоху промышленность уверенно двигалась по крепостническому пути, приносящему (в условиях примитивного производства) несомненные доходы. От конкуренции иностранных предприятий экономика была ограждена таможенными законами протекционистского типа, хотя при Анне таможенный забор понизили — жизнь показала, что особо жесткий Таможенный устав 1724 года реализовать трудно.

Ко всему прочему, экономическая политика диктовалась сочетанием различных, в том числе личных, клановых отношений. Это особенно хорошо видно при решении вечного для русской промышленности вопроса — что лучше: частная или государственная промышленность. В конечном счете, и та и другая формы в условиях России имели и свои преимущества, и свои недостатки. Вечная борьба инициативного, предприимчивого, жуликоватого Акинфия Демидова с представителями государства на Урале Виллимом Генниным, а потом Василием Татищевым является ярким примером неразрешимости этой дилеммы. Горное дело было исключительно выгодно, денежно, на нем удалось сколотить огромные капиталы, в том числе и бесчестным путем. Но все это, как и воровство, беспорядок, злоупотребления, было незаметно — так велико, беспредельно было богатство страны, ее недр, что если даже в казну попадали всего несколько процентов от возможных доходов, государство могло не думать о будущем. Символом этих неисчерпанных богатств стало открытие знаменитой горы Благодать на Урале. В 1735 году Татищев описывал, что́ он увидел среди густых лесов. Перед ним была целая, огромная гора железа: «Она, гора, есть так высока, что кругом видать с нее верст по 100 и более, руды в оной горе не токмо наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но и кругом в длину более 200 сажен поперек на полдень сажен на 60 раскапывали и обрели, что всюду лежит... одним камнем в глубину; надеюсь, что и во многие годы дна не дойдем. Для такого обстоятельства назвали мы ту оную гору «Благодать», ибо такое великое сокровище на счастие Вашего величества по благодати Божией открылось, тем же и Вашего величества имя в ней в бессмертность славиться имеет». Имя Анна, как известно, означает Благодать. Умным и тонким человеком был Отец русской истории!

«Объявить указ с гневом», или Можно ли командовать шепотом

Конечно, проблемы дворян и мануфактуристов были важными, но не единственными в политике правительства Анны Иоанновны. Императрице и ее министрам пришлось разгребать те авгиевы конюшни, которые образовались за пяти-

летие правления Меншикова и Долгоруких. А нижний слой финансового навоза образовался уже при Петре Великом: недоимки в сборах пошлин и подушной подати. Первые сведения о финансовом положении страны, полученные Кабинетом, заставили анненских деятелей схватиться за голову — финансы оказались в полной «расстройке». Кабинет признал, что Камер-коллегии — главному финансовому органу — совершенно невозможно сочетать текущую финансовую работу по сбору налогов с расчисткой тех завалов, которые скопились в финансах за три предыдущих царствования. И тогда было принято, пожалуй, уникальное в мировой управленческой практике решение: наряду с прежней Камер-коллегией была создана новая Камер-коллегия, с новым президентом, новым штатом служащих, которые начали работу с «чистого листа». Это делалось для того, чтобы прежняя, созданная еще при Петре I, Камер-коллегия могла сосредоточиться лишь на приведении в порядок крайне запущенных финансовых дел и — самое главное — чтобы она, наконец, взыскала скопившиеся за столь многие годы недоимки в сборах налогов и пошлин. При этом было постановлено, чтобы служащих старой Камер-коллегии в новую не переводить ни под каким видом и работать им «до окончательного сбора запущенной в оной доимки безотлучно и без жалованья». Словом, действия были решительные и... нереальные.

В 1735 году Кабинет министров потребовал отчета о деятельности «прежней Камер-коллегии» (так ее называли), так как министрам «известно учинилось о непорядочных произвождениях прошлых лет счетов и замедлении прежней Камер-коллегии от президентов и членов (коллегиальных советов. — *Е. А.*)» и что «по се время продолжены оные счета и к указному термину не окончаны и для чего, по получении указа, оные дела, книги, выписи, о пошлинах указы все не собраны».

Думаю, что учить чиновников Камер-коллегии сочинять отписки о том, почему они дела к «указному термину» не закончили, не пришлось. В 1737 году Кабинет был вынужден создать особую Комиссию для взыскания недоимок под непосредственным ведением Сената. Зная опыт работы подобных комиссий в прошлом, Кабинет министров в своем указе подчеркнул, что эта Комиссия создается «не для того, чтоб указ на указ сочинять и о взыскании доимок только ведомости из места в место переносить и одному на другого такую тягость положить». И тем не менее именно так и поступали чиновники. В 1738 году Адмиралтейская коллегия жаловалась, что недоимки составляют полтора годового оклада коллегии (1,5 млн руб.), артиллерийское ведомство сообщало о 870 тысячах недоимок. В сердитом указе Анна предупреждала, что если недоимки не будут собраны до 1 января 1739 года, то их будут взыскивать «на губернаторах и воеводах, и ратушских бургомистерах, из их собственных имений». Власти были убеждены, что плательщики в состоянии внести подушную подать, оплатить сборы, если бы «от губернаторов и воевод, и бургомистеров, по их страстям, послабления не было, чего ради о взыскании с них сами собою подали причину». Однако суть состояла не только в нерадивости и лености чиновников, ответственных за сбор налогов и недоимок по ним. Недоимки образовались потому, что народное хозяйство еще не оправилось от разорения времен Петра Великого, и это отражалось на бюджете. Сказались и серьезные недостатки самого негибкого принципа подушного обложения — с первой подушной переписи 1720-х годов прошло более 10 лет, но из списков плательщиков не выбрасывали ни выбывших, ни умерших. Правда, в кадастры не вносили и новорожденных, однако эта молодежь 12—14 лет еще не могла заменить включенных в 1724 году, но уже умерших или беглых работоспособных мужчин. Не будем забывать и просто исконное нежелание русских людей платить налоги. С явным раздражением Кабинет министров писал в адрес любимого государыней Троице-Сергиева монастыря, жаловавшегося на невозможность платить недоимку: «Доимку надлежит взыскать без всякого послабления, понеже всякому известно, что неимущих в таком великом монастыре служителей нет».

Но у правительства Анны, начавшей в 1734 году польскую войну, которая в 1735 году плавно перешла в турецкую, выбора не было — только привычным путем принуждения можно было получить деньги с крестьян и на армию, и на другие государственные нужды. «Наикрепчайшие» указы «с гневом», обещавшие страшные кары ослушникам законов, требовали от местных властей и специальных эмиссаров «непрестанно понуждать» в сборе как текущей подати, так и недоимок, росших год от года. В анненское время от помещиков потребовали, чтобы они лично несли ответственность перед армией за уплату подушных денег их же крепостными крестьянами. Бывало, что упорствующих в неплатежах помещиков арестовывали и даже конфисковали у них имущество, чтобы продать его и внести деньги за неимущих крестьян-недоимщиков. Но в целом дело взыскания долгов оказалось долгим и неэффективным.

Не раз и не два Кабинет министров пытался одним ударом покончить с проблемой недоимок. 24 января 1738 года

был издан указ, предписывающий выплатить недоимки «от публикования того указа, конечно, в месяц», то есть к 24 февраля того же года. 16 июля 1738 года Сенат сообщал в Кабинет, что «предписанному платежу термин минул», а из недоимок в несколько миллионов собрано всего 150 тысяч рублей. Перед нами очередной, привычный «lex impossibilis» — «закон неисполнимый». «Философскую» суть его можно свести к тому, что законодатель, не считаясь с реальностью, идет напролом, прибегает к насилию, но принятый им закон, противореча жизни, остается, в конечном счете, неисполнимым. Эта ситуация позволяет понять истоки и традицию наплевательского отношения к закону.

Листая журнал Кабинета министров за 1737 год, я наткнулся на следующую запись от 26 ноября: «Вчерашняго числа объявлено от Кабинета Ея и. в. Полицмейстерской канцелярии, чтоб на реку Неву спуски (на лед. — *Е. А.*), как с Адмиралтейской стороны у двора Ея и. в., так и у церкви св. Исаакия, и против тех мест с Васильевского острова, сделаны были, конечно, к завтрему, но у церкви св. Исаакия, також и от Васильевского острова против кадетского корпуса и делать не начато, а 28 сего месяца персицким послам имеет быть аудиенция и к тому числу надлежит такие спуски совсем сделать хорошие и прочные, чтоб каретами без опасения можно было ехать; того ради г.г. кабинет-министры приказали еще подтвердить, чтоб оные спуски завтрашняго дня, конечно, сделаны были, и для того от полиции определили к тому нарочных офицеров, и мастеровых, и работных людей толикое число, каким можно завтрашняго числа исправиться».

Имея некоторый исторический и личный опыт, я сильно усомнился, чтобы «к завтрему» все могло быть сделано. И точно — в журнале от 10 (!) декабря (то есть две недели спустя) читаем: «Приказано от г.г. кабинет-министров объявить генерал-полицеймейстеру Василью Федоровичу Салтыкову, також и советнику Тихменеву: 18 и 25 ноября и 5 сего декабря от Кабинета Ея и. в. объявлено, чтоб на Неву спуски у дворца Ея и. в., також и у Исакиевской церкви, и против тех мест с Васильевского острова сделаны были, и как их укрепить, о том советнику Тихменеву приказано именно, но и поныне у Исакиевской церкви спуск не сделан, от чего и конференция персицких послов остановилась. Того ради приказано от г.г. кабинет-министров еще подтвердить, чтоб оные спуски, всеконечно, в самой скорости были сделаны» (помета: «Записка послана»).

К этой теме в журнале больше не возвращались — может быть, страница не сохранилась, а может быть, и действительно спуски на лед достроили, но такая ситуация в целом типична не только для анненского периода.

Следует заметить, что одну из главных причин неурядиц и беспорядков в государстве верховная власть, как и раньше, видела в плохой работе самого государственного аппарата, волоките, лихоимстве, мздоимстве, разгильдяйстве, а главное — повсеместном, неистребимом взяточничестве чиновников всех уровней и рангов. Императрица Анна Иоанновна встала в бесконечный ряд русских правителей, так и не победивших многоголовую гидру русской бюрократии. Она шла по проторенному пути издания указов «с гневом», призывала чиновников исполнять свой долг, некоторых наказывала, но ничего не менялось. Четкая работа государственного механизма на основе регламентов, указов оставалась и при Анне недостижимой мечтой. Создается впечатление, что в действие вступают неподвластные царям и императорам законы «вечного двигателя» бюрократии, работающего лишь на себя самого. Созданный Петром Великим бюрократический аппарат, неподконтрольный никаким сословно-представительным структурам, к анненским временам так разросся, что им было трудно управлять из центра. Из года в год ставились одни и те же вечные вопросы о борьбе с пороками бюрократии, но все было бесполезно. Взятка была непременной нормой русской жизни, без нее мир терял свою логику. Честное исполнение своего служебного долга казалось невероятным, ненормальным. Напомню название популярной в екатерининскую эпоху комедии Н. Р. Судовщикова «Неслыханное диво, или Честный секретарь». Чиновнику не брать взятку было невозможно — он становился белой вороной, казался непредсказуемым для окружающих, вызывал у них опасения, что начнет брать взятки каким-то диковинным способом или в немыслимых, чудовищных размерах. В 1735 году В. Н. Татищев, назначенный представителем государства на Урал, писал, что к нему приходил первейший из местных купцов-раскольников «и приносил 1000 рублев, и хотя при том никакой просьбы не представлял, однакож я мог выразуметь, чтоб я с ними также поступал, как прежние [начальники]; я ему отрекся, что мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. Назавтра прислал паки, да с ним, Осокиным, приказчик Набатов, и принес другую тысячу, но я им сказал, что ни десяти не возьму, понеже то было против моей присяги, но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест (то есть побегут — обычная для старообрядцев фор-

ма сопротивления насилию. — *Е. А.*), и я, опасаясь, чтоб какого вреда не учинить, обещал им оные принять». И, наверное, принял! А что делать?

После Петра Великого резко упала обыкновенная служебная дисциплина. Обер-секретари Сената, секретари других учреждений часто жаловались на членов коллегий, которые постоянно прогуливали часы заседаний, что не позволяло вовремя решать самые насущные дела. В свое время Петр I строго выговаривал сенаторам, которые при обсуждении дел перебивали друг друга и вели себя «аки базарные торговки». Во времена Анны проблема эта была по-прежнему актуальна. В журнале Кабинета министров от 11 декабря 1738 года мы читаем: «Призван в Кабинет Ея императорскому величеству обер-прокурор Соймонов, которому объявлено: Ея императорскому величеству известно учинилось, что г.г. сенаторы в присутствии своем в Правительствующем Сенате неблагочинно сидят, и, когда читают дела, они тогда об них не внимают для того, что имеют между собою партикулярные разговоры и при том крики и шумы чинят, а потом велят те дела читать вновь, отчего в делах продолжение и остановка чинится». К старой проблеме прибавилась новая, которой не знал петровский Сенат: «Також в Сенат приезжают поздно и не дела слушают, но едят сухие снятки, крендели и рябчики и указных часов не высиживают». Разумеется, «Ея императорское величество указала объявить ему (обер-прокурору. — *Е. А.*) с гневом, и дабы впредь никому в том не упущал и о скорейшем исправлении дел труд и радение имел».

Как вспоминает Я. П. Шаховской, однажды в Сенат внезапно явился генерал-полицмейстер В. Ф. Салтыков и подозвал к себе чиновников, чтобы объявить императорский указ «с гневом». Он «весьма громким и грозным произношением объявил нам, что Ея императорскому величеству известно учинилось, что мы должность свою неисправно исполняем, и для того приказала ему объявить свой монарший гнев и что мы без наказания оставлены не будем». Это любопытная особенность государственной жизни той эпохи. Салтыков не просто прочитал жесткий указ «с гневом», но читал его «громким и грозным произношением». Это отвечало представлениям Анны о строгости: выше уже приводилась цитата из ее письма С. Салтыкову, чтобы он, призвав какого-то неугодившего императрице попа, «покричал» на него. В другой раз Анна потребовала, чтобы Салтыков вызвал одного из чиновников и объявил ему, что «за то (долгое и неоправданное держание в своем учреждении под замком арестованных. — *Е. А.*) есть на него наш гнев». Позже, узнав об исполнении указа, отвечала: «...Пишете вы, что на Зыбина за непорядки кричали...» Повышение голоса таким образом придавало указу «с гневом» особый вес.

Нам неизвестно, сумел ли обер-прокурор добиться, чтобы сенаторы не лакомились на заседаниях рябчиками, заедая их кренделями, но вся эта история обогащает картину чиновничьего нерадения. В 1736 году кабинет-министры с возмущением отмечали, что многие служащие московских филиалов коллегий в присутствие «не съезжались и указных часов не высиживали, а в других местах о слушании и решении дел волокиты чинили... и закрепою (подписанием. — *Е. А.*) волочили до двух лет». Не лучше была ситуация и в столице. В 1735 году Кабинет выговаривал Военной коллегии за то, что, несмотря на множество дел «при нынешних нужнейших конъюнктурах» (кончалась война в Польше и начиналась война с Турцией), «после обеда не токмо, чтоб все члены [коллегии] присутствовали или дежурный был, но иногда и обор-секретаря и секретарей не бывает».

А говорят, что сиеста бывает только в южных, жарких странах! Собственно, для большинства послепетровских бюрократов, недобрым словом поминавших неумеренный административный энтузиазм Петра, а также его суровую строгость к бездельникам, ворам и прочим «нарушителям уставов», наступила долгая «сиеста», которую не могли прервать никакие гневные указы преемников царя-реформатора. Этому способствовала и общая обстановка при дворе. Если в первой половине 30-х годов XVIII века заметна правительственная активность — создаются и плодотворно действуют комиссии по рассмотрению состояния армии, флота, монетного дела, кажутся серьезными намерения власти завершить Уложение, пишут и издают те указы, о которых уже шла речь выше, то во второй половине 30-х годов все заметно меняется: основное внимание уделено русско-турецкой войне, а в остальном Кабинет министров занят «залатыванием дыр» — самыми необходимыми делами, без которых было бы трудно контролировать страну.

Глава 6

«РЕЗИДЕНЦИЯ НАША В САНКТПЕТЕРБУРХЕ», ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Путешественники, побывавшие в Петербурге в последние годы жизни Петра Великого, поражались масштабам, размаху и энергии, с которыми возводилась молодая столица России. Из-под строительных лесов, из хаоса и неразберихи уже проглядывали контуры будущего регулярного города, непохожего на другие русские города. Петербург рождался, что называется, «из головы», по вымыслу и замыслу своего создателя, не приспосабливаясь к среде, а пытаясь подчинить ее себе. И природа жестоко мстила за пренебрежение ею: одно наводнение следовало за другим. Но воля царя была непреклонна, и стройка не останавливалась ни на день. Можно понять изумление одного из современников — голштинца Берхгольца, осматривавшего город в 1721 году с колокольни Петропавловского собора: «Непостижимо, как царь, несмотря на трудную и продолжительную войну, мог в столь короткое время построить Петербург!» Да, Петр сумел этого достичь, потому что сделал строительство столицы одной из главных целей своей жизни. Этой цели он подчинил и жизни десятков тысяч своих подданных. Тяжкие «петербургские» повинности несли все жители России — от Киева до Охотска. Они платили денежный налог «к санктпетербургскому городовому делу на кирпичное дело», поставляли «петербургский провиант», десятками тысяч ежегодно отправлялись в столицу на строительные работы, возили туда камни, лес, землю. По указу царя тысячи купцов, ремесленников, посадских людей из десятков городов России насильственно переселяли в новую столицу. Не избежали переселения и дворяне: их заставляли возводить городские усадьбы, размеры которых строго определялись количеством крепостных. Петербург стал и местом ссылки

преступников, ибо его строительство было каторгой, тяжким наказанием.

«Создание новой столицы было сложным делом, особенно потому, что ее следовало строить как можно скорее — царь не хотел жить в ставшем ему ненавистным городе... Объем работ был огромен. Приходилось одновременно возводить храмы... дворцы, здания официальных учреждений, дома знати, жилища и мастерские для многочисленных ремесленников. Предстояло развести сады, выкопать пруды и колодцы, провести каналы. Требовались строительные материалы, растения, даже земля. Деревья, очевидно, привозили — ждать, пока они здесь вырастут, было некогда... Привозились не только материалы, надо было доставить множество строителей, скульпторов, живописцев, различных ремесленников, просто чернорабочих. Несмотря на все трудности, задача была выполнена...» Прервем цитату. Читатель ошибается, если полагает, что перед ним рассказ о строительстве Санкт-Петербурга. Нет, речь идет о новом городе — Ахетатоне, — основанном египетским фараоном XII династии Аменхотепом IV Эхнатоном — реформатором, еретиком и отступником. Введя новый культ бога Атона, он уехал из Фив — старой столицы Египта — и на берегу Нила основал новую столицу государства — Ахетатон. Но вот, когда после семнадцати лет царствования, в 1400 году до н. э., Эхнатон умер, наступило странное, смутное время, о котором историки не могут сказать ничего определенного. В конце концов к власти пришел военачальник Харемхеб, который начал с того, что разрушил Ахетатон. «До этого времени город еще как-то существовал, хотя его покинул двор, уехала основная часть жителей... Однако многие дома, покинутые и заколоченные, еще стояли, — надеялись ли их обитатели вернуться сюда, или просто не успели их снести, не ясно. Все здания Ахетатона были разрушены. Уничтожение было беспощадным». Город погиб, его развалины затянуло песком, имя царя-еретика было предано проклятью и забвению... Современники прекрасно понимали, что судьба северного Ахетатона — Санкт-Петербурга тоже неразрывно связана с одним человеком, что все держится на нем — и строительство города, и строительство флота, и строительство империи. Неизвестный польский путешественник писал в 1720 году: «Теперь уже город большой, и его всё застраивают, и если царь еще сколько-то проживет, то сделает город громадным». Этот припев: «если царь еще сколько-то проживет» — встречается в мемуарах и дипломатических посланиях довольно часто. И когда эта великая жизнь оборвалась, судьба новой столицы стала туманной, неясной.

Поначалу, при Екатерине I, все еще шло по накатанному пути: Доменико Трезини достраивал Петропавловский собор, совершенствовал императорский Зимний дом. Медленно, но верно поднимались стены здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, других сооружений, задуманных Петром и осуществленных гением Д. Трезини, Ф. Б. Растрелли, Г. И. Маттарнови, Т. Швертфегера, Н. Гербеля, Г. Киавери, М. Г. Земцова, А. Шлютера и многих других. Как и раньше, напряженно работала Канцелярия от строений, обеспечивая стройки столицы рабочей силой, материалами, всем необходимым. Никто не отменял петровских указов об обязательном строительстве чиновниками и помещиками домов на линиях Васильевского острова. Со стапелей Адмиралтейства и Галерной верфи на воды Невы спускались заложенные еще при Петре корабли и галеры, а следом закладывались новые морские суда. После инспекции Кронштадтской крепости президентом Адмиралтейской коллегии Ф. М. Апраксиным в мае 1725 года объемы строительных работ были даже увеличены. Одним словом, обширная программа военно-морского строительства, принятая Петром в последние годы жизни, не остановилась сразу же при его преемнице. Не изменилась и жизнь Петербурга — столицы империи: парады, спуски кораблей, фейерверки следовали один за другим в соответствии с утвержденным Петром календарем и дипломатическим протоколом. Императрица продолжала жить так, как было заведено при Петре: весной — торжественный переезд из Зимнего дома в Летний, осенью — наоборот; по-прежнему устраивались морские прогулки в Петергоф, Ораниенбаум, Кронштадт. Летом центром праздников становился Летний сад. В нем к свадьбе цесаревны Анны Петровны и голштинского герцога Фридриха Вильгельма архитектор Михаил Земцов построил «Залу для славных торжеств». Здесь и в Летнем саду, возле грота «из различных камней и раковин» с «преизрядными статуями и фигурами», устраивали балы и маскарады. Зимой местом празднеств знати становился построенный Д. М. Фонтана и И. Г. Шеделем Меншиковский дворец на Васильевском острове, щедрый хозяин которого не жалел на стол и музыку ни своих, ни казенных денег. По вечерам дворец украшала иллюминация. Как вспоминает очевидец, даже с противоположного берега Невы зрелище было грандиозное: «Фигуры, гербы и буквы были видны более чем за полверсты, как будто смотришь с близкого расстояния».

Но вот в мае 1727 года умерла Екатерина, в сентябре того же года в ссылку отправился первый губернатор и главный строитель Санкт-Петербурга А. Д. Меншиков. А в январе 1728 года двор Петра II перебрался в Москву. Вначале говорилось, что это лишь на время предстоящей в старой столице коронации юного императора, и переехавшие в Москву следом за двором коллегии и канцелярии взяли с собой лишь текущие бумаги делопроизводства. Однако для современников не был скрыт истинный смысл происходящего. «Молодой монарх, — писал испанский посланник де Лириа в конце 1727 года, — не походит на них (Петра и Екатерину I. — *Е. А.*): он ненавидит морское дело и окружен русскими, которые, скучая своим удалением от родины, непрестанно внушают ему, чтобы он переехал в Москву, где жили его предки, превозносят московский климат и бездну дичи в ее окрестностях, а здесь-де климат не только нездоров, но и мрачен, и негде охотиться». После коронации весной 1728 года было объявлено, что царь пробудет в Москве также и лето. Осенью же началась весьма удачная охота, и возвращение было отложено до первого снега. Потом легла пороша, и мог ли истинный охотник не воспользоваться ею? Постепенно к мысли о том, что в Москве нужно остаться насовсем, привыкли. Стали сбываться давние предсказания дипломатов о том, что как только умрет Петр Великий, «бояре» сделают все, чтобы вернуть Россию «к ее прежнему варварству и первобытному состоянию», и забросят с такими нечеловеческими усилиями возведенный в нежилом месте Петербург.

Необходимость возвращения столицы в Петербург была в 1728—1730 годах постоянной темой политических переговоров, переписки и интриг иностранных дипломатов, переехавших в старую столицу вслед за двором. Суть состояла в том, что Петербург был не только символом России, покончившей с «варварством», но и символом новой империи, смело и решительно вошедшей в европейскую политику. Это новое мощное государство заняло важное место в системе международных отношений, определявших «баланс сил» в мире. Уход России от активной политики разрушил бы уже сложившуюся хрупкую европейскую систему. Было бы ошибкой думать, что все европейские державы только и мечтали о том, как бы отбросить Россию назад в ее «дикие степи». Наоборот, после Северной войны для ряда стран, особенно тех, кто боролся против гегемонии Англии и побаивался реваншизма потерявшей свои заморские владения Швеции и усиления Пруссии, ослабление России в Балтийском регионе и в Европе в целом было крайне невыгодно и нежелательно.

Обращаясь к Петру II от имени австрийского императора и императрицы, посланник граф Вратислав отмечал в специальной памятной записке: «Они нежнейшим образом умоляют Ваше величество не оставлять великих завоеваний, добытых героем — вашим дедом — силою побед и трудов, и быть лично в виду своего страшного [для врагов] флота, который дозволяет Ваше величество держать в страхе весь Север и который погибнет, если Ваше величество не будет по времени его видеть». Но все было бесполезно. Де Лириа, закадычный приятель Ивана Долгорукого, просил, требовал, умолял, чтобы тот передал в руки Петра II хотя бы совместную записку австрийских и испанских дипломатов о настоятельной необходимости возвращения двора и правительства в Петербург. Князь Иван обещал похлопотать перед императором, но просил испанского и австрийского посланников держать в тайне и саму записку, и свое содействие. Тема возвращения столицы в Петербург, как видим, становилась попросту запретной. Иван Долгорукий каждый раз находил какой-нибудь благовидный предлог, чтобы не передавать записку царю, и затянул дело так, что в конце концов записка где-то затерялась.

Думаю, что настойчивое стремление иностранных посланников вернуться в Петербург объяснялось не только интересами высокой политики, но и личными мотивами — там европейцу было уютнее, чем в безалаберной, хаотичной Москве, представлявшей собой, как писал иностранный путешественник, совокупность «многих деревень, беспорядочно размещенных и образующих собой огромный лабиринт, в котором чужестранцу нелегко опознаться». Вспоминается ужас датского посланника Юста Юля, внезапно высаженного своим спутником — канцлером Гавриилом Головкиным из кареты посредине этого лабиринта, из которого не знавший ни единого русского слова посланник никогда бы не выбрался, если бы случайно не встретил знакомого иностранца — московского жителя. В начале января 1729 года де Лириа уже сообщал, что фаворит водит дипломатов за нос и «слабо относится к нашему проекту. Поэтому мы начинаем терять надежду на возвращение в Петербург», а в мае того же года сделал окончательный вывод: «Надежда на возвращение в Петербург исчезла совершенно». Весьма символичным было и то, что умершая осенью 1728 года сестра царя Наталья Алексеевна была похоронена в Архангельском соборе Кремля — фамильной усыпальнице всех Романовых в допетровские времена. Там же был впоследствии похоронен и Петр II. Многим казалось, что краткий и безумный петербургский период истории страны заканчивается на их глазах

и жизнь входит в старое, привычное русло. Северный Ахетатон прозябал. Редкий историк, касаясь этих печальных для Петербурга лет, не упомянет о следах его угасания — о проросшей на некогда оживленных улицах траве, о вое волков, смело забегавших в опустевший зимний город. Петербург обезлюдел: ушли гвардейские полки, переехали коллегии, оставив малочисленные конторы, переехали другие учреждения, бежали присланные по разнарядкам ремесленники, купцы. В июле 1729 года был издан специальный указ, предписавший всем ремесленникам, самовольно уехавшим из Петербурга, вернуться под угрозой каторги вместе с семьями, чтобы «впредь бы без указа особаго из Санкт-Петербурга отнюдь не разъезжались». Подобного указа в отношении дворян издано не было — дворяне выехали из новой столицы на законном основании — следом за двором. Многие из них с облегчением покинули Петербург, так и не привыкнув «к неудобствам необоснованного города в стране печальной, болотистой, вдали от их деревень, доставка запасов из которых соединялась с большими затруднениями и расходами». А далее С. М. Соловьев пишет замечательно точно: «...тогда как Москва была место нагретое, окруженное их имениями, расположенными в разных направлениях, и откуда так легко было доставлять все нужное для содержания барского дома и огромной прислуги».

Действительно, за Москвой были традиция, бытовые, геополитические, экономические удобства не только для помещиков, но и для других сословий: крестьян, посадских, купцов. Петербург же, с его удаленностью от центра, с трудностями неосвоенного пути к нему, дороговизной городской жизни, не стал даже тем портом, который мог бы приносить купцам доход. Петр всегда искусственно стимулировал развитие внешней торговли через Петербург, запретив традиционную внешнюю торговлю в Архангельске, что крайне болезненно ударило по интересам купцов, столетиями ориентировавшихся на северный порт. Эта мера вызвала недовольство и иностранных купцов, не раз обращавшихся к Петру и его преемникам с просьбами об открытии Архангельска. Страдали от указа Петра и жители других северных городов. Посадские Вологды писали в своей челобитной в 1728 году, что от закрытия Архангельска им «учинилось великое разорение» из-за прекращения транзита и вывоза продуктов, производимых в северных уездах. Верховники видели, что закрытие Архангельска наносит ущерб казне, недополучавшей налоговые и пошлинные сборы. Весной 1727 года был принят закон, разрешавший архангелогород-

скую внешнюю торговлю. И хотя принятое тогда же уменьшение пошлин в Петербурге по сравнению с пошлинами в Архангельске и ставило задачу хотя бы отчасти сохранить привилегии петербургской торговли, этого явно не получалось: экономически Петербург начал хиреть. В 1729 году петербургские купцы писали в Комиссию о коммерции, что «с прошлаго 728 году за отбытием от Санкт-Петербурга многих обывателей имеется в купечестве многое умаление». Не только купцы, но и все петербуржцы боялись неустроенности, наводнений, скверного климата, неуютности, непривычности жизни в городе, более похожем на военный лагерь, где первым человеком был генерал-полицмейстер со своей командой. Петербург был «парадизом» только для его основателя, который лежал в это время под балдахином в еще неразобранной деревянной церкви, стоявшей внутри недостроенного Петропавловского собора. Вскоре возле гроба царя был поставлен гроб императрицы Екатерины I, а в 1728 году к ним присоединился саркофаг с телом умершей в Голштинии Анны Петровны. Там же стоял и гробик малолетней младшей дочери Петра и Екатерины, умершей в 1725 году Натальи Петровны. Так почти вся вторая семья Петра Великого собралась в недостроенном соборе, как бы ожидая приговора новых властителей о месте своего вечного упокоения.

Но все же Петра и его город миновала судьба Эхнатона и Ахетатона. Город не был ни проклят, ни официально оставлен, никто не собирался разрушать его до основания или отдавать шведам. Его жизнь продолжалась по инерции, которой вполне хватило на четыре года безвременья. Иностранные специалисты, нанятые Петром, не уехали — они отрабатывали свои, заключенные на долгие годы, контракты на строительство дворцов, садов и парков, инженерных сооружений. А работали Трезини, Растрелли, Миних и многие другие хорошо — иначе их и не взял бы в свою столицу Петр Великий. Военный инженер подполковник де Кулон, назначенный в 1727 году главным строителем Кронштадтской крепости, не сидел сложа руки, и петровский проект возведения укреплений успешно осуществлялся. За состоянием работ тщательно следил Миних, на которого также вполне можно было положиться: если бы не безмерное честолюбие будущего фельдмаршала, то лучшего строителя и фортификатора в России XVIII века было бы не найти. В эти годы Миних, как уже сказано выше, завершил строительство сложного гидросооружения — Ладожского канала. Открытый в 1728 году, он облегчил мореплавание. Кроме того, Миних усердно достраивал Петропавловскую крепость.

Именно при нем все бастионы стали каменными и были покрыты столь знакомой нам краской из толченого кирпича. Любимые Петром корабельные мастера: Гаврила Меншиков и три Ричарда — Козенц, Броун и Рамз, как и другие, продолжали свое дело и без мастера Петра Михайлова. В 1727 году был спущен на воду гигантский по тем временам 110-пушечный корабль «Петр Великий», в 1728 году спустили на воду три корабля, в 1729-м — еще два. За 1728—1729 годы были построены и 24 новые галеры.

Миних устраивал парады, фейерверки в честь официальных праздников. Но все же — как и позже, в советское время, — на берегах Невы повеяло духом провинциальности, и, если бы Петр II продолжал царствовать, город никогда бы не превратился в блистательный Санкт-Петербург. Его столичность была тем стимулирующим фактором, дающим жизненные соки началом, без которого он хирел.

Он был рожден имперской стать столицей.
В нем этим смыслом все озарено.
И он с иною ролью примириться
Не может и не сможет все равно... —

напишет впоследствии Наум Коржавин.

...Всего четыре года продолжалось «гонение на Петербург». 17 января 1732 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали, что «третьего дня ввечеру изволила Ея императорское величество, к неизреченной радости здешних жителей, из Москвы щастливо сюда прибыть». Миних постарался встретить Анну со столичной помпезностью: экипаж государыни проехал под пятью триумфальными арками — творениями Трезини, Земцова и Коробова. Вдоль всего будущего Невского, называемого тогда еще Першпективой, стояли войска и обыватели, под колокольный звон и пушечный салют прилежно кричали: «Виват!». Торжественным и долгим был молебен в Исаакиевской церкви. После этого императрица Анна проследовала в свою резиденцию — Адмиральский дом — бывший дворец Ф. М. Апраксина, отошедший в казну после смерти этого петровского сподвижника в 1728 году. Еще задолго до приезда императрицы дворец — лучшее на Адмиралтейской стороне здание, стоявшее на месте современного Зимнего дворца, — был по ее распоряжению существенно расширен архитектором Доменико Трезини. То, что распоряжение гоф-интенданту Мошкову о перестройке дворца Апраксина было дано императрицей еще в декабре 1730 года, примечательно. Замысел вернуть столицу в Петербург возник уже в первые месяцы жизни Анны в Москве. Для этого было немало причин.

В отличие от своего предшественника Анна, как и ее фаворит, понимала значение города на Неве — столицы новой империи. Преемственность имперской доктрине Петра Великого, провозглашаемая во времена Анны Иоанновны, требовала и упрочения петровской столицы — эксцентрического центра на Балтийском побережье. Но дело не только в этом. Дворянское движение в Москве в первые дни царствования Анны, как уже говорилось выше, не могло не устрашить императрицу, Москва казалась ей опасной и враждебной. В апреле 1730 года Лефорт писал о том, что Анна намерена переехать в Петербург: «она хочет избавиться от многих неприятных лиц, которые останутся здесь или будут отправлены далее, она хочет иметь полную свободу». Однако сразу на переезд Анна не решилась. Вначале, 15 февраля 1730 года она приказала Ф. Б. Растрелли построить новый деревянный дворец недалеко от старого, обветшавшего Кремлевского дворца — так сложилось, что жить в Москве императрице фактически было негде. В новом деревянном дворце предполагалось соорудить и украсить 130 покоев. За два месяца сумасшедшей работы Растрелли дворец закончил. Но уже в марте 1730 года Анна приказала заново отстроить бывший Головинский дворец, стоявший напротив Лефортова дворца, за Яузой. Новый дворец был закончен в начале 1731 года, назван Анненгофом, при нем был разбит обширный парк, бассейн, фонтаны. Государыня там сразу же и поселилась. Почему она не хотела жить в центре Москвы и почему ее, «природную» русскую императрицу, тянуло на окраину, поближе к Немецкой слободе и иноземцам, можно только гадать. Может быть, дело в том, что там были поселены верные ей офицеры Измайловского полка. Напугало Анну и странное происшествие в 1731 году. При возвращении двора из Измайлова в Москву под следовавшей первой каретой князей Голицыных (а обычно первой ехала карета Анны) вдруг образовался провал, в который рухнула карета с лошадьми, кучером и форейтором. Супружеская чета Голицыных успела в последний момент выскочить. Французский дипломат Маньян сообщал о ходе расследования этого эпизода: «Есть полное основание думать, что дело это было подготовлено заранее, и нетрудно было поэтому произвести действие в момент, назначенный для его исполнения. По способу, которым руководствовались при размещении бревен и камней, можно судить, что сделано это таким образом, чтобы можно было переменить положение их в то мгновение, когда это будет необходимо; чрезвычайное же удивление было вызвано тем, как могли приготовить подобную засаду на пути из Черкизова в Измайлово, путь этот всегда закрыт решетками, так что никто не может по нему пройти иначе, как с письменного разрешения императрицы».

Анна решилась перехать в Петербург в конце 1731 года. Однако подготовка к переселению, как уже сказано, началась раньше. Видя, как жители новой столицы бегут из нее, Анна в 1730 году распорядилась остановить отток населения и воспрепятствовать запустению города. Миниху как главнокомандующему Санкт-Петербурга было приказано «иметь смотрение, дабы как на Васильевском, так и на прочих островах до разорения домов и растаскивания строений не допускать». В конце 1730 года в Москву для доклада о состоянии петербургских строений прибыл обер-директор Канцелярии от строений Ульян Синявин, а потом, в начале 1731 года, — архитектор Михаил Земцов, который взял с собой чертежных учеников для каких-то подготовительных работ. Получив все необходимые указания, Земцов вернулся, и с весны начался напряженный строительный сезон — город спешно приводили в порядок. Ремонтировали дворцы, сады, дороги, набережные, чистили каналы, пруды и реки. Все было готово в конце 1731 года. Столица украсилась триумфальными арками у Аничкова дворца, Адмиралтейства и в других местах. Словом, все ждали государыню...

Она появилась здесь 16 января 1732 года. Подготовка к встрече была тщательно продумана. Войска были построены от Зимнего дворца до соборной Исаакиевской церкви, куда императрица заезжала «для отдания всемогущему Богу должного благодарения», и потом они двумя шеренгами стояли вдоль «прешпективы» (Невского), по которой Анна въезжала в столицу в золоченой карете, запряженной восьмеркой лошадей. Гвардейских полков для всей этой диспозиции не хватило, вдоль Невского построили также гардемарин, морскую пехоту, а также пять полевых и четыре гарнизонных полка. Можно думать, что на Невском в строю находилось не менее 30 тысяч человек. Кроме того, на Литейном стояли в шеренгах артиллеристы и местные купцы, так как государыня первую ночь провела в бывшем доме Якова Брюса возле Литейного двора. Дом заранее был «вытоплен и вычищен». Миних, организатор встречи, как фортификатор особенно озаботился шумовыми эффектами. На башне Адмиралтейства целый день били в литавры и «на трубах трубили», литаврщики, трубачи и музыканты сидели на верхних ярусах триумфальных ворот, артиллерия Петропавловской и Адмиралтейской крепостей давали залпы из 101 и 100 орудий. Но самым грандиозным номером стал беглый залп всех

стоящих вдоль пути следования кортежа войск. Он начинался выстрелом солдат Преображенского полка, которые стояли в начале Невского, на его правой стороне. Затем беглый огонь стремительно, подобно огню на подожженном бикфордовом шнуре, перебегал дальше вдоль правой стороны Невского, перебрасываясь от одного полка к другому. Когда вспышки выстрелов достигали у Фонтанки позиции Ингерманландского полка и выстрел сделал последний стоящий в его строю солдат, беглый огонь перебросился на левую сторону Невского и также быстро вернулся к Адмиралтейству уже по левой стороне Невского. За это время солдаты на правой стороне Невского успевали перезарядить ружья, и огонь перекинулся вновь на ряды преображенцев. И это необыкновенно впечатляющее действие повторялось трижды, вызывая восторг зрителей. Колокольный звон и бой часов продолжались весь день, а иллюминация горела восемь дней! Государыня, по-видимому, осталась довольна усердием Миниха и петербуржцев.

Анна Иоанновна уехала из родной Москвы навсегда. А потому скажем немного о судьбе Москвы в ее царствование. Вспышка политической активности в начале 1730 года оказалась последней. До самого созыва Уложенной комиссии при Екатерине II Москва вновь, как и при Петре I, впала в спячку — все политики были в Петербурге. При этом экономически Москва в царствование Анны продолжала развиваться — как и раньше, она оставалась сердцем России и главным торговым и деловым центром страны. Самыми заметными событиями в Москве 1730-х годов стали великий пожар 1737 года и эпопея с Царь-колоколом.

Пожар 29 мая 1737 года был позже назван «лютейшим». Он породил известнейшую пословицу, которой обычно (и вполне бесполезно) призывают русских людей быть внимательными к каждой мелочи в большом деле: «Москва от копеечной (денежной) свечки сгорела». Пожар действительно начался с мелочи. В Троицын день неподалеку от Каменного моста, в доме поручика Милославского, жена повара зажгла перед иконой восковую свечку, а сама ушла на кухню. Свеча упала и подожгла комнату, народу в доме не было — все стояли на обедне. Загорелся дом, жаркая погода благоприятствовала огню, поднявшийся вихрь быстро разнес головешки по округе. Выгорели Кремль, Китай-город, Белый город, многие улицы Земляного города, от пожара пострадало около ста церквей, погибло 94 человека. Пожар нанес Москве страшный ущерб. Еще много лет спустя в городе то и дело встречались заросшие бурьяном и кустами пожарища. Власть, уделявшая все внимание только Петербургу, денег на восстановление Москвы так и не выделила.

История московского пожара 1737 года тесно связана с историей самого большого в России колокола. Его решили отлить для колокольни Ивана Великого в начале 1730-х годов. Дело было поручено бригаде опытных литейщиков Ивана Маторина. Новый, или как его называли в документах, «Успенский Большой колокол» должен был превзойти прежний 1654 года, упавший и разбившийся во время пожара 1701 года. Грандиозные обломки колокола Алексея Михайловича (весил он 8 тысяч пудов) привлекали всеобщее внимание, и Анна в 1731 году решила продолжить традицию и в память о своем деде, царе Алексее Михайловиче, отлить новый, еще больший (в 9 тысяч пудов) колокол. Французский инженер Жермен, которого хотели нанять для этого дела, воспринял предложение отлить колокол в 9 тысяч пудов как шутку, что и не удивительно — при западноевропейской системе колокольного звона, когда в движение приводится не язык колокола, а сам колокол, существование такого гигантского колокола кажется немыслимым. Иван же Федорович Маторин за дело взялся, и на Ивановской площади Кремля началась подготовительная работа, к которой привлекли около 100 человек. Были изготовлены чертежи, на стенках колокола предстояло изобразить «образы и персоны» Анны Иоанновны и Алексея Михайловича, а также надписи с указанием времени отлития колокола и имени мастера, его изготовившего. Все это утверждал Сенат. С осени 1734 года началась отливка, точнее растопка меди в специальных печах-домнах. Двое суток непрерывно горели топки, и вдруг на третьи сутки часть меди прорвалась и ушла под печь. Маторин, чтобы восполнить потерю, начал бросать в печь старые колокола, олово, старые медные деньги, но растопленная медь снова вырвалась из печей, начался пожар окружающих печь сооружений. Его с трудом погасили, но отливка колокола закончилась полной неудачей. Маторин от перенесенных трудностей и огорчения вскоре умер, и его дело продолжил сын Михаил, бывший при отце помощником. В октябре 1735 года все было вновь готово к литью, 23 ноября печи затопили. Вокруг стояли пожарные команды с трубами на случай повторения трагедии 1734 года. Но на этот раз все обошлось благополучно — уроки прошлого были учтены, и 25 ноября 1735 года колокол был отлит, хотя на нем осталась указана прежняя дата — 1733 год. Это произошло потому, что дата эта первоначально стояла на форме колокола, изготовленной в 1733 году.

Мы не знаем, когда колокол получил свое нынешнее название — «Царь-колокол». Подобного огромного произведения литья и в самом деле нет нигде в мире. Он весит даже больше, чем хотела Анна, — 12 327 пудов. В феврале 1736 года началась обработка колокола. В ответ на донесение Московского генерал-губернатора князя Барятинского Кабинет министров отвечал: «У вылитого большого колокола чеканную работу и расчиску исправлять и полировать начисто и изнутри болван (модели. — *Е. А.*) вынимать нынешнею зимою».

После отливки колокол стоял в глубокой яме на специальной железной решетке, укрепленной на дубовых столбах. На этот счет в указе было сказано особо: «Что же касается до поднимания оного колокола, то имеете вы брусья и прочие к тому потребные материалы готовить заблаговременно и искусных к тому людей в Москве и инде где можете уведать, сыскивать и какия к тому потребны машины и прочее, представлять в Кабинет». Впрочем, это легко было отписать на бумаге, а исполнить трудно — операцию по подъему такой махины никогда не проводили и как это делать, не знали. Забегая вперед скажем, что многократные попытки поднять колокол заканчивались ничем, и только через сто лет после отлития колокола, в 1836 году, да и то со второго раза, чудище поднял из ямы за 42 минуты и 33 секунды великий инженер и архитектор Огюст Монферран — создатель Александровского столпа и Исаакиевского собора. Правда, к тому времени колокол был уже серьезно поврежден: через год после отливки, в страшном пожаре 29 мая 1737 года сгорело деревянное сооружение над ямой, в которой стоял колокол. Горящие бревна и доски попадали вниз. Пожарные начали заливать разогретый огнем колокол водой. Что в этом случае обычно происходит, знает каждый школьник — колокол лопнул. Так он никогда и не загудел над Москвой...

Приехав в Петербург, Анна успокоилась. Здесь, вдали от дворянских гнезд, в новой обстановке, Анна, как и ранее Петр I, начинала свое царствование, окруженная близкими ей людьми. Центром жизни Петербурга в 30-е годы XVIII века были два дворца Анны. Бывший дворец Апраксина, в котором она поначалу поселилась, оказался мал для императорского двора, и с 1732 года началась его перестройка и расширение. Строительством ведал Ф. Б. Растрелли. Как известно, вдоль набережной Невы от нынешнего Дворцового моста до Зимней канавки стояли дома петровских принципалов: Александра Кикина, Саввы Рагузинского, Павла Ягужинского, Григория Чернышева и других. Растрелли сломал дом Кикина и за счет этого расширил дворец Апраксина, а с другой стороны присоединил к нему дома Рагузинского и Ягужинского. Окончательно императорский дворец, известный как Третий Зимний дворец, был завершен в 1736 году. Впрочем, к этому времени Анна уже давно жила во дворце, постепенно занимая все новые и новые покои, законченные отделкой. Молилась же она не только в нарядной придворной церкви, но и в особой, «комнатной», куда не было доступа посторонним.

Дворец был обширен и красив. Главным фасадом он выходил на Адмиралтейство. Двадцать восемь медных драконов-водостоков в дождливые дни низвергали с крыши потоки воды, напоминая Петергоф. Белокаменные лестницы и балконы, выходившие на Неву и во двор, были украшены деревянной резьбой. Деревянные вызолоченные фигуры, подобные тем, что сохранились на Петровских воротах Петропавловской крепости, громоздились на фронтоне. Растрелли писал, что во дворце он создал, кроме Большого зала и Галереи, 138 апартаментов. Плафон, расписанный Луи Каравакком, украшал торжественный Тронный (Большой) зал, где Анна принимала посланников и проводила имперские торжества. Не менее великолепны были и другие залы: Красный, Желтый, Шахматный. Золотом сверкала Парадная столовая (Сала). Хрустальные люстры, изящные подсвечники на кронштейнах между окон, наборный паркет, картины Луи Каравакка и других художников, лепнина, изразцовые печи, зеркальные окна — все это создавало уют и простор в новом доме Анны.

В этом дворце 28 января 1736 года и был торжественно отмечен день рождения государыни. После литургии в придворной церкви, приема поздравлений, салюта построенных возле дворца полков, «изволила Ея императорское величество подняться в новопостроенную 60 шагов длины имеющую и богато украшенную Салу к убранному золотым сервисом столу, за которым Ея императорское величество с их высочествами, государынею цесаревною Елизаветой Петровной и принцессою Анною [Леопольдовной] на седьмиступенном высоком престоле под золотым балдахином между золоченых столбов кушать соизволила. В виду Ея императорское величество по обеим сторонам в длину Салы накрыты были для нескольких сот персон (наподобие сада зделанныя и везде малыми оранжереями украшенные) столы. (Добавим от себя, что столы могли быть поставлены самым причудливым образом, даже в виде двуглавого орла. — *Е. А.*) На стол-

бах между окон и на стенах в Сале стояли в больших сосудах посаженные померанцовые древа, от которых вся палата подобна была прекраснейшему померанцевому саду».

Напротив стола Анны, в другом конце зала, находился большой «постав» — вид буфета с золотой, серебряной и фарфоровой посудой. Обед проходил под непрерывное музыкальное сопровождение: «Вверху на галерее стояли виртуозы, кастраты и певицы, которыя переменою своих изрядных концертов и кантат Ея императорское величество при столе забавляли». Кастраты считались в те времена самыми лучшими певцами, они получали жалованье, превышавшее зарплату министров и генералов. Так, об одном таком кудеснике в сборнике материалов о русском театре, опубликованном Л. М. Стариковой, сказано: «Трейер, кастрат, высокий голос, хороший музыкант... 1200 рублей». Столько же получали Трезини и Растрелли.

Музыка и пение часто прерывались торжественным грохотом: «Когда при всевысочайшее Ея императорское величество и всей Ея императорской фамилии здравие пили, в то время была беспрерывная музыка с литавренным боем и пальба из поставленных на Неве полевых пушек». На следующий день, 29 января, в придворном театре впервые в музыкальной истории России давали оперу «Сила любви и ненависти». Императрица и зрители были в полном восторге от пения, балета, театральных «махин» и роскошных костюмов и декораций.

В Зимнем дворце Анна жила зимой, а летом ее ждал или Петергоф, или новый Летний дворец, который начали строить из дерева в 1732 году в Летнем саду на месте разобранного «Зала для славных торжеств». Возвращение столицы в Петербург вообще благоприятствовало его строительству. К сожалению, от бурной градостроительной деятельности того десятилетия мало что дошло до нашего времени: исчезли с лица земли или скрылись под новыми постройками Летний и Зимний дворцы Анны, триумфальные ворота, многие дворцы знати вдоль Невы, дома на Васильевском острове. Исчез, как бы растворился в невской воде, оригинальнейший Подзорный дворец, который строил ван Звитен, а закончил в 1731 году Михаил Земцов. Дворец стоял на крошечной косе в устье Фонтанки, и с кораблей, подходивших от Кронштадта к Петербургу, он казался выплывающим из водных глубин сказочным замком, чьи окна горели золотом в лучах заходящего солнца.

Но многое от анненского Петербурга и сохранилось. 29 июня 1733 года торжественно освятили Петропавловский

собор, ставший с той поры главным храмом империи и усыпальницей российских императоров. Важный момент в истории собора наступил несколько раньше: в субботу 29 мая 1731 года, в 11 часов утра, то есть в день 59-летия со дня рождения Петра Великого, гроб с его телом, а также гробы Екатерины I и их дочерей были опущены в склеп. До этого, с 1725 года, тело великого основателя города стояло в закрытом гробе в центре собора. Склеп вскрыли в 1740 году, когда умерла Анна Иоанновна, и «батюшке-дядюшке» и «тетушке-матушке» пришлось подвинуться, уступая место племяннице. Поначалу Анна Иоанновна не предполагала устраивать в соборе усыпальницу для всех Романовых, даже наоборот — она предписала «все имеющиеся в соборной здешней Петропавловской церкви гробы, яко царевича (Алексея Петровича. — *Е. А.*), царевен (Екатерины, Анны — дочерей Петра I и Екатерины. — *Е. А.*) и протчие фамилии их величества из той церкви вынести... а каким впредь тут гробам быть, о том будет особливый указ». Историки собора считают, что в конечном счете ограничились только тем, что убрали надгробные плиты, а сами захоронения под полом не тронули. В огромном пространстве храма сверкал свежей позолотой великолепный резной иконостас работы московского мастера Ивана Зарудного. И хотя судьба собора не была счастливой — он часто горел и перестраивался, — все же свой величественный вид он окончательно приобрел именно в анненское время. То же можно сказать и об открытом в 30-е годы XVIII века здании Двенадцати коллегий, и о законченной в 1734 году Кунсткамере.

Интересна судьба Адмиралтейства в анненское время. По указу Анны в 1732 году было разобрано петровское мазанковое здание Адмиралтейства и по проекту И. К. Коробова под «смотрением» Д. Трезини построили новое, каменное, здание. Оно не дожило до нашего времени, уступив место великолепной классике Андреяна Захарова, но сама идея высокого золотого шпиля (на голландский манер — шпица) с золотым корабликом пришло к нам от Коробова, от анненских времен, — именно по указу Анны было приказано «оббить оной шпиц и купол медью и вызолотить добрым мастерством». Под шпилем был повешен 60-пудовый колокол, который отбивал время и извещал жителей Адмиралтейского острова о пожарах, наводнениях и прочих происшествиях. Теперь мы, видя сверкающие шпили Петропавловского собора и Адмиралтейства, дополненные блеском золотого купола Исаакия, не задумываемся над тем, что это — квинтэссенция самой эпохи петровских преобразований: строгие,

стройные шпили, рисующие привычный профиль западных городов, но — вызолоченные, подобно кремлевским соборам, «чтобы чаще Господь замечал». Также и здание Двенадцати коллегий, построенное в новом, западноевропейском, стиле, но — по плану кремлевского здания приказов XVII века...

В анненское время были быстро восстановлены все основные принципы петровской градостроительной политики. А они, как известно, были весьма жесткими. Вот мы читаем майский 1735 года указ императрицы обывателям Немецкой и Задней улиц, что на Адмиралтейском острове, которые, оказывается, еще в 1734 году дали подписку в том, что будут строить себе каменные дома, но «не токмо не начали строить, но и к нынешнему году материалов ничего не приуготовили и под строение (каменных домов. — *Е. А.*) хоромного строения (то есть временных деревянных зданий. — *Е. А.*) не ломают». Поэтому по императорскому указу было предписано: «У тех обывателей по линии хоромное строение сломать каторжными, а им объявить: буде они на тех местах с нынешняго мая месяца строить палат не будут, то те дворы их взяты будут на Ея императорское величество». Вероятно, в одно прекрасное майское утро можно было видеть, как страшные безносые и безухие каторжники, под вой собак и вопли жителей, начали крушить вполне пригодные, но противоречащие образцовой застройке дома обывателей. Автор изображает эту сцену со знанием дела — в 70-х годах XX века он видел нечто подобное на Кавказском побережье: в одно прекрасное утро местные власти начали сносить «незаконные» пристройки за домами жителей приморского поселка. И хотя вместо безносых каторжников за дело взялись отряды солдат с бульдозерами, впечатление было весьма сильное, и еще долго ветер нес над бескрайним морем тучи пыли, пух из перин, крики внезапно поднятых с постелей дачников и хозяев, страшный вой обезумевших от грохота собак...

Тогда же, в мае 1735 года, был подтвержден петровский указ шляхетству об обязательном строительстве на выделенных участках Васильевского острова. Стиль указа был петровский — безапелляционный и недвусмысленный. В 1738 году указ этот был подтвержден — делать было нечего, даже самым большим упрямцам приходилось, кряхтя и стеная, переселяться из своих нагретых «подмосковных». Эти строгие указы подкреплялись распоряжениями о насильственном возвращении в Петербург владельцев недостроенных домов. Подлежали возврату в город и съехавшие из него ма-

стеровые. К последним был применен старый, проверенный еще при Петре способ: «всякого чина работные люди» были обязаны явиться в петербургскую полицию «конечно, в неделю», с тем чтобы отправиться, по заключении договора, на казенные стройки. Тем же, кто противился добрым намерениям императрицы строить город, как провозглашено в указе, «для лучшего регулярства и красоты», указ доходчиво разъяснял: «Ежели оные работные люди с публикования указа, конечно, в неделю в Главной полиции и в конторах полицейских добровольно не явятся, а после того пойманы будут и приведены в полицию и тогда, по поимкам, отосланы будут на работы без всякой за работу заплаты» (то есть без оплаты).

Во второй половине 30-х годов на строительные работы требовалось особенно много людей — два пожара (1736 и 1737 годов) уничтожили самую густонаселенную часть города — Адмиралтейскую. Как известно, Петр хотел, чтобы центр города находился непременно на острове — слава Венеции и Амстердама не давала ему покоя. Сначала возникла идея сделать центром города остров Котлин, чтобы петербуржцы могли всеми порами впитывать живительный морской воздух Финского залива. Но потом Петр передумал и центр предполагал разместить на Васильевском острове, где, не щадя людей, средств и времени, прокладывали линии и возводили набережные. «Громадье» планов Петра явно не сочеталось с естественным течением жизни, которая, несмотря на строгие правила, все же пробивалась в виде нерегулярной застройки и в новой столице. Именно на материковой, Адмиралтейской, части города с первых дней жизни города селились люди, без особого плана строились дома первопоселе́нцев — корабельных мастеров, купцов, солдат. На берегу же Мыи, напротив будущего дворца Строгановых, был сооружен Гостиный двор — деловой центр материковой части города, действующий в течение круглого года — ведь его в отличие от других районов Петербурга никогда не разрывали ледоходы и ледоставы Невы и ее рукавов.

Петр снисходительно смотрел на хаотичную застройку Адмиралтейской слободы, считая ее временной. Но, как известно, у нас нет ничего более постоянного, чем то, что задумано как временное. Адмиралтейская слобода разрослась, застроилась, и улицы ее, кривые и грязные, больше напоминали Москву или другой русский город, чем новую регулярную столицу. Московским духом веяло от этих улочек, тупичков, рынков, рядов. В 1735 году власти были вынуждены издать указ: «На Адмиралтейском острову по берегу речки

Мыи имеющиеся мясной и соленой рыбы ряды, для всякой нечистоты и мерзости тяжкаго воздуха из нутра онаго острова с тех мест перевести... приискав от полиции другия удобныя под те ряды места».

Петр не успел перестроить Адмиралтейскую — не доходили руки. При Анне за перестройку пришлось взяться — пожары заставили. Известно, что пожары вообще были бичом средневековых городов. Поколения англичан помнили чудовищный пожар Лондона 1666 года, в историю России навсегда вошли страшные пожары «от копеечной свечки», испепелившие Москву в 1493 и 1737 годах. Поэтому Петр так заботился о противопожарной безопасности в Петербурге. При нем больших пожаров не было. Но после его смерти произошли два страшных пожара. 11 августа 1736 года в полдень неподалеку от Полицейского моста у Невского проспекта загорелся двор персидского посла Ахмед-хана. Кто-то из слуг уронил искру из трубки в лежавшее на дворе сено, вскоре загорелся дом. Стояла жаркая погода, огонь, несмотря на безветрие, стал стремительно распространяться по Адмиралтейской слободе, точнее по Морской слободе, которая занимала пространство от нынешнего Адмиралтейского проспекта до Мойки. Загорелся кабак у Синего моста, и огонь быстро охватил Морскую слободу. Восемь часов пылала эта часть города, в небо поднимался страшный столб дыма, закрывшего солнце. Сгорело множество домов, тысячи людей остались без крова.

Не прошло и года, как 7 июля 1737 года на Адмиралтейской стороне вновь вспыхнул пожар, причем он начался сразу в двух местах и быстро охватил городские улицы. В этом пожаре сгорело более тысячи домов и погибло несколько сот человек. Снова чудовищный столб дыма поднялся к небу (это можно хорошо видеть на одной из немецких гравюр). Власти были в отчаянии. Способы, которыми в то время тушили пожары, оказались неэффективными. Ведь обычно пожарные и воинские команды и окрестные жители, вооружившись баграми и топорами, быстро раскатывали соседние с горящим дома и не позволяли огню перекинуться на них. Но когда горит тысяча домов, когда горящие головни летят на соседние кварталы, когда улицы превращаются в чудовищные топки и возникшая при этом тяга завлекает в них нерасторопных пожарных и ротозеев, когда гул и треск огня так громок, что нельзя расслышать голос стоящего рядом человека, обычные способы тушения бессильны. Нужно ждать, когда огонь пожрет все, что может, и утихнет. Так было и на этот раз.

Впрочем, этот пожар сразу же показался людям неслучайным; заподозрили поджог, тем более что за несколько дней до него недалеко от Марсова поля был найден горшок с воспламеняющимся материалом. За поимку поджигателей была обещана крупная награда, шпионы полиции усилили бдительность и вскоре поймали троих — женщину и двух мужчин. Это были крестьяне — дворцовый Петр Петров и монастырский Владимир Перфильев, а также их подружка. Они пришли в город на заработки, видели пожар 1736 года и его специфические последствия. Об этом в указе императрицы Анны Иоанновны с укоризной писалось так: жители «вместо унимания пожара, многие... только в грабеж и воровство, пуще разбойников, ударились, и... сундуки насильственно разломали, пожитки растащили», причем хуже всех поступали брошенные на тушение пожара солдаты и матросы, которые, согласно укорявшему их указу, были виновны в «насильственном отнимании и грабежи у самих хозяев пожитков, которые они с великим... трудом спасли», словом, поступали так, что «что и в неприятельской земле пуще того и горче поступать было невозможно». Вот на такую удачу и рассчитывали поджигатели. Собравшись в кабаке «в Большой Морской улице близ Синего моста», Петров и Перфильев подожгли фитиль в горшке с порохом и наблюдали, как занялся пожар. Их почти сразу же поймала полиция (один из них накануне покупал порох на рынке), как и сожительницу Перфильева, Стефаниду Козмину, знавшую о замыслах поджигателей, но не донесшую «куда следует». Осенью 1737 года, при большом стечении любопытствующего народа, на том самом месте, «где тот пожар учинили», оба преступника были сожжены. В те времена в России сжигали уже не очень часто. Народу собралось много: «заутра казнь, привычный пир народа». Впрочем, эта страшная казнь для толпы оказалась не слишком интересной. Дело в том, что преступников опускали в деревянный сруб, обложенный хворостом и облитый смолой, и потом сооружение поджигали. Зато можно было вдоволь посмотреть на казнь Стефаниды Козминой. Ее помиловали от сруба и возле пылающего костра с живыми людьми отсекли голову. По обычаем того времени, палач, совершив свое дело, высоко поднимал отрубленную, перекошенную последней болью голову, чтобы толпа убедилась — все чисто, без обмана...

Как бы то ни было, нет худа без добра: два страшных пожара расчистили место для регулярной застройки Адмиралтейской слободы, которую теперь можно было застроить заново «как для безопасности от пожарного случая, так и луч-

шаго регулярства и красоты города». Планами застройки начала заниматься специальная «Комиссия о санкт-петербургском строении», в которую входили А. Нарышкин, Ф. Соймонов и другие. Большую работу в Комиссии вел архитектор Петр Михайлович Еропкин — ученик итальянского мастера Чиприани. Еропкин составил несколько планов застройки Адмиралтейского острова и других частей Петербурга. Он пошел по тому пути, который указывала жизнь — отказался от петровского плана устройства центра города на Васильевском острове и сделал таким центром Адмиралтейскую сторону. В основу планировки Адмиралтейской стороны Еропкин заложил римскую трехлучевую систему. Три «першпективы» — Невская, Вознесенская и вновь прорубленная Средняя першпектива (Гороховая улица) — «вытекали» из единого центра — от башни Адмиралтейства. Их на разных уровнях пересекали цепи кольцевых магистралей и площадей. Проект Еропкина и придал в конечном счете столице тот самый известный всему миру и неповторимый «строгий, стройный вид». Опираясь на точную геодезическую съемку инженера Зихгейма, Еропкин распланировал ту часть города, которая стала называться Московской. Как пишет исследователь его наследия С. С. Бронштейн, «в результате работы Комиссии была намечена не механическая разбивка «линий», как то широко практиковалось в Петербурге, а в высшей степени интересная и зрелая в градостроительном отношении композиция кварталов, улиц, проездов и площадей, которая определила в основном ныне существующую планировку этого района. Литейная улица была продолжена (это ныне Владимирский проспект) и вливалась в площадь шестиугольной конфигурации, посредине которой предполагалось поставить церковь».

Именно Комиссия от строений нанесла на чертеж многие улицы города, по которым мы сейчас ходим. Еропкин и его товарищи придумали будущую Сенатскую площадь, Царскосельскую першпективу (Московский проспект) и многие другие жизненно важные магистрали города. Под пером Еропкина довольно дикая просека на Васильевском острове превратилась в аллею длиной около двух километров — нынешний Большой проспект. Вместе с Коробовым Еропкин разработал «Должность архитектурной экспедиции» — кодекс архитектора, планировщика и строителя. Жизнь блестящего мастера закончилась трагично: летом 1740 года он был арестован и казнен на эшафоте вместе с Артемием Волынским.

Строить дома можно было только «по архитектуре», то есть по утвержденному властями плану-чертежу в строго

оговоренном месте так, чтобы фасад дома выходил на «красную линию» проспекта и дома на улице стояли единым строем. Предусматривали построить и общественные центры — вечную троицу: трактир, аптека, почта. В 1738 году было решено по «обеим сторонам третьей от Адмиралтейства прешпективной (Вознесенская улица. — *Е. А.*) к назначенной у Синего моста площади и против того ж места к Адмиралтейскому лугу построить казенные строения: 1. Трактирный дом, 2. Нижнюю аптеку, 3. Почтовый двор» и что особенно любопытно — некий «культурный центр» — «для свадеб и других партикулярных людей публичных отправлений дом». Волновала проектировщиков еще одна специфическая российская проблема. Было приказано учитывать «старый указ о строении кабаков — во скольких верстах от городов и в каком расстоянии кабак от кабака строить велено». Кстати, из другого указа — 1736 года — видно, что проблема эта была нешуточной. Расплодившиеся в уездах кабаки приносили убыток государству, «а паче же крестьянство от непрестанного безмерного пьянства всех своих пожитков лишается и пашню в пусте оставляют, отчего в платеже податей превеликия доимки являются».

В целом, при Анне центр Петербурга окончательно переместился на Адмиралтейскую сторону, и государыня в своих указах уже не понуждала подданных исполнять суровые петровские указы об обязательном строительстве жилья на линиях Васильевского острова. Жизнь победила петровскую схему, и Анна Иоанновна это признала...

Труды этого поколения строителей не пропали даром — Петербург анненской поры производил на путешественника благоприятное впечатление. «Хотя страна здесь ровная и город открыт, — пишет прибывший в 1736 году датчанин фон Хафен, — но окрестности его до того окружены густыми лесами, что они, подобно толстой стене, заслоняют его. Наконец, река делает поворот к югу, вправо (вероятно, путешественник плыл по Малой Неве и поворачивал к западу. — *Е. А.*), и тогда вдруг лучшая часть города бросается в глаза. По обеим сторонам стоят отличные дома, все каменные, в четыре этажа, построенные на один манер и окрашенные желтою и белою краскою. При самом попутном ветре полчаса надо плыть до плашкоутного моста, и все это время по обоим берегам представляются подобныя же палаты. Но самое приятное, что представляется в этой картине, когда въезжаешь по Неве в Петербург, это крепостные строения, которыя придают месту столько же красы, как и возвышающаяся среди укреплений церковь с высокой, покры-

той медью колокольнею, глава которой вызолочена червонным золотом. А также приятно поражает бой часов, какого нет ни в Амстердаме, ни в Лондоне, сопровождающий прелестною музыкою удары в колокол». Те же чувства испытал позже, в 1739 году, и Франческо Альгаротти: «Несколько часов гребли, не видя кругом ничего, кроме этого тихого и убогого леса, вот, наконец — изгиб реки и ни много ни мало, а как в Опере, перед нами нежданно открылась сцена имперского города. Помпезные постройки на том и другом берегу реки, стоящие группами, башни с золочеными шпилями, там и сям пирамидально возвышающиеся, корабли с мачтами и развевающимися вымпелами, выделяющиеся на фоне строений и вычленяющие детали из общей картины...»

Город рос не из одного, а сразу из нескольких центров — слобод, которые в те годы еще не слились в единый городской массив, и поэтому уже тогда без городского транспорта перемещаться по Петербургу было трудно. Фон Хафен не без юмора описывает такую поездку на городском извозчике: «Люди знатные и богатые имеют свои экипажи и ездят в одну лошадь, парой и четверкою с форейтором, смотря по чину и званию... Иностранцы же и другие смертные могут обращаться к извозчикам, которые наезжают в то время из деревень в большом числе и, стоя на каждом углу улицы, предлагают свои услуги. Сани у них короткие, низкие, не выше локтя от земли, и столь узки, что может поместиться только один седок. Запряжены они в одну лошадь, на которой сидит извозчик, для большей предосторожности потому, что в многолюдном Петербурге бубенчиков не употребляют во избежание большого шума. Если едущему известно положение места и несколько русских слов, а именно: «Stupai! Pramo! Napravo! Nalevo! Stoy!», то можно очень скоро приехать куда угодно. В обширном Петербурге это большое удобство. Извозчик обыкновенно гонит лошадь галопом, делая в час по 10 верст (огромная по тем временам скорость. — *Е. А.*), и за это удовольствие платят 10 копеек. Здесь я должен заметить, что во всей России существует обычай едущих при встрече поворачивать направо. Поэтому даже при быстрой езде не происходит замешательства, и если кто забудет правило, то ему кричат встречные: «Держи правее!» Другой мемуарист отмечал редкостную для России гладкость булыжных мостовых Петербурга.

Насладившись быстрой ездой и зрелищем бесконечных ровных улиц и прекрасных зданий нового города, путешественник искал достопримечательности, полезные не только глазу, но и уму. И такой достопримечательностью была Петербургская Академия наук с Кунсткамерой. Вот как описывается в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 5 августа 1736 года пятичасовая экскурсия персидского посла Хулефа Мирзы Кафи (так назван он в газете), который прибыл на Васильевский остров «для смотрения хранящихся там редких и особливаго примечания достойных» вещей. Впрочем, вначале посол прошел не в здание Кунсткамеры, а в бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны, стоявший на месте нынешнего Зоологического музея. В нем размещалась собственно Академия со всеми ее службами, которая перебралась из дома Шафирова на Петербургской стороне, где она начала свою работу во времена Екатерины I. Через академическую гимназию посла провели в «словолитную, а оттуда наверх в ту палату, где всякие математические инструменты делаются». Инструментальной палатой ведал петровский токарь Андрей Нартов и его помощники — умелые мастера-инструментальщики. (Не выдержавший травли коллег и вернувшийся в Германию академик Г. Бюльфингер писал в 1731 году: «Искуснейшие вещи делаются в Петербурге... трудно отыскать искусство, в котором я не мог бы назвать двух или трех отличнейших мастеров...») «Потом прошел он, — читаем мы о персидском после в газете, — в физическую камеру, где в его присутствии разныя эксперименты антлиею пневматическою учинены были и при чем он особливое внимание и удовольствие показывал». Речь идет о пневматическом насосе, отсасывающем воздух из-под стеклянного колпака. Опыт производился на животных и птицах. Известен рассказ о том, как отнюдь не слабонервный Петр Великий прекратил опыт над ласточкой, посаженной под колпак и умиравшей без воздуха. Из физической камеры перса провели в Гравировальную палату и типографию. В «Грыдоровальной палате смотрел он все различные роды грыдорования, а потом пошел в Печатную палату грыдоровальных фигур, где в его бытность портреты Ея императорского величества и всея высокия императорския фамилии напечатаны были». Оттуда экскурсия продолжилась через переплетную и книжную лавку как в русскую, так и в немецкую типографии, в которых «некоторые на персидском языке зделанные стихи напечатаны и ему поднесены были». (Много бы отдали современные востоковеды, чтобы взглянуть на эти персидские стихи!)

Типография была подлинной жемчужиной Академии наук. Ей не было цены — такое гигантское значение имела ее работа для просвещения России, для истории нашей культуры и науки. Создать типографию в те времена было чрезвы-

чайно трудно, и когда в 1728 году все четыре стана типографии заработали, это стало настоящей победой культуры. Здесь с 1728 года стал впервые печататься первый научный журнал (преимущественно естественно-математического профиля) — «Комментарии Санкт-Петербургской Императорской Академии наук». В том же году появился гуманитарный журнал «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания к Ведомостям». В отличие от «Комментариев», выходивших на латыни, «Примечания» издавались на русском и немецком языках. Невозможно выразить благоговение, которое испытываешь, держа в руках бесценные творения Академической типографии того времени: учебники и календари, сборники стихов и словари, карты и планы — все то, без чего немыслимы были бы наука и культура в России.

Из Академической типографии по всей России регулярно расходилась первая русская газета «Санкт-Петербургские ведомости». Это теперь, когда есть интернет и сотни газет, выпуск одной маленькой газеты не кажется особенно важным событием, но тогда благодаря ей наступила новая эпоха в русской истории. «Санкт-Петербургские ведомости» пришли на смену захиревшим «Ведомостям» Петра I. Они были поставлены на прочное основание академии, в которой работали видные ученые, переводчики; появилась и расширилась сеть корреспондентов. Это была тогда единственная газета в России, и она почти сразу же стала подлинным окном в мир. Газета стоила по тем временам дорого — четыре копейки за номер, выходила часто — сто раз в год. Если в 1728 году подписчиков можно было пересчитать по пальцам, то потом число их стало непрерывно расти. Впрочем, многие читали «Ведомости» бесплатно — в академической лавке (что не запрещалось); другие брали газету у знакомых, переписывали в канцеляриях, пересказывали друг другу ее статьи. Еще бы — ведь это было захватывающе интересно. Тут были (правда, уже здорово подзасохшие от времени) известия о военных действиях, стихийных бедствиях или, например, волнующее сообщение, что у французской королевы Марии «явились вновь некоторые знаки чреватства», которые, как узнавал читатель из следующего номера, «счастливо умножились». Но, как и всегда, людей больше всего интересовали сенсации, невероятные факты, о которых можно было посудачить в разговоре или в письме в деревню дальнему родственнику. То сообщалось, что римского папу «несколько раз в день обморок обшибает», от чрезмерного, как считали ученые-медикусы, потребления сырых

овощей. Вообще по газете видно, что врачи в те времена оставались такими же невежественными, как и во времена постановки «Мнимого больного» Мольера в XVII веке.

В одной из газет той поры можно было прочитать, как медикусы рассматривали простого лотарингского крестьянина, который давно «жаловался, будто в его желудке какой зверь находится. Он чувствовал, как оной зверь от одной стороны к другой скакал», что медикусы и подтвердили, прикладывая к животу больного руки. Один медикус предложил изгнать зверя с помощью поносного лекарства, другой, видно самый авторитетный, предложил «помянутого зверя отравой умертвить». Вспыхнул научный спор. Оппоненты возражали, что «такой отравы сыскать невозможно, которая бы натуре сего зверя противна была, а притом и больного не повредила». Наконец, присутствовавшая при сем ученом консилиуме некая старушка не выдержала всего этого безобразия и порекомендовала попросту дать больному сильного рвотного. Так и поступили. И вот на третий день «вышел оный зверь жив, который был 5 диумов длиной (то есть 12,5 см. — *Е. А.*), имел черную голову и быстрые глаза и два малые черные роги. Шесть ног были остры, как иглы, а хвост наподобие рыбы. Тело было круглое, а на спине волосатое, а брюхо так бело, как снег, и восемь титек, из которых белый сок шел. Всякий устрашился, смотря на такого страшного зверя и рассуждали, что еще боле таковых зверей в сем человеке находятся, которые от сего зверя, как от матери, рождены и воспитаны». После медикусов в дело вступил персонаж другой комедии Мольера — а именно «Тартюф» — католический священник, который сразу же объявил, что это, несомненно, черт. По приказу кюре зверя «в сковороде на огонь поставили, который с оной сковороды несколько раз соскочивши, напоследок с таким трещанием розселся, якоб бы из фузеи выпалили. Ныне ожидают получить известие, когда и прочие молодые дьяволенки такожде на свет выйдут».

А вот другой, также всегда волнующий людей сюжет — уголовный: «Из Лондона. Как за несколько дней богатый мясник отсюда в Румфард в провинцию Эссекс поехал, то встретилась с ним на дороге изрядно одетая и на доброй лошади верхом ехавшая женщина, которая, вынявши пистолет, угрожала его застрелить, ежели он всех своих денег и дорогих вещей ей тотчас не отдаст. Но как он начал представлять, что женскому полу такия дела весьма неприличны, то прискакала в самое то время верхом мужская персона в хорошей одежде, которая ему сказала: “Как тебе не стыдно,

глупый мужик, даме в том отказать, что она требует, ежели ты ей тотчас тово не отдашь, чего она от тебя желает, то научу я тебя учтивее поступать с женскими особами". Сие говорила помянутая персона, имея в руке пистолет, чего ради мясник принужден был отдать оной женщине карманные свои часы и деньги, после чего они, простившись с ним, отпустили его без всякого задержания». Было чему подивиться в этом сообщении русскому читателю. Вот бы были так галантны наши лесные разбойники, а то проломят сначала голову, а потом уже невежливо грабят! Нет сомнений, что известий о дьяволятах, о приключениях вежливой английской амазонки с нетерпением ожидали теперь и в России — страна вошла в европейский мир и дышала с ним одним воздухом забот, страстей, проблем и сенсаций.

Впрочем, зачитавшись газетой, мы порядком отстали от персидского посла, который уже успел перейти из бывшего дворца царицы Прасковьи Федоровны в здание Кунсткамеры и скрылся за дверями ныне несуществующего крыльца в торцевой его части. Здесь начинались Библиотека и Музей Академии наук — святая святых, храм науки нового ученого учреждения. Основу Библиотеки составили книжная коллекция Петра Великого, вывезшего в Петербург собрание книг московских царей, редкие медицинские издания бывшего Аптекарского приказа. Библиотеки лейб-медика Ричарда Арескина, Петра Шафирова, Андрея Виниуса, Якова Брюса и других деятелей сделали Библиотеку Академии наук уже в анненское время основным книгохранилищем страны. Их книги попадали сюда либо после смерти владельцев, либо после того, как попавший в опалу вельможа лишался библиотеки вместе со всем прочим имуществом.

Главным библиотекарем был И. Д. Шумахер. За скверный характер и интриганство его очень не любили ученые, и в особенности М. В. Ломоносов, который, кстати, и сам не блистал версальским воспитанием. Эта нелюбовь к Шумахеру передалась и потомкам, у которых с тех пор не находилось ни единого доброго слова для главного библиотекаря, прилагавшего большие усилия, чтобы сохранить и умножить богатства академической библиотеки. В официальной советской «Истории Академии наук СССР» Шумахеру бросили упрек даже за то, что, делая прочные дубовые шкафы с медными решетками и заказывая дорогие переплеты для библиотечных книг, он якобы исходил исключительно из соображений «большого карьериста, которому было важно показывать Библиотеку знатным посетителям». На самом деле шкафы для книг и коллекций играли в культуре того

времени гораздо бóльшую роль, чем мы думаем. Но об этом чуть ниже.

Основу Кунсткамеры составляли купленные Петром в Голландии собрания зоологических экспонатов Альберта Себы и анатомическая коллекция Фредерика Рюйша. Это были подлинные произведения искусства. Технику бальзамирования Рюйш держал в строжайшем секрете, и все поражались его препаратам, которые выглядели, «как живые». В самой системе размещения экспонатов в Кунсткамере была своя философия, внутренняя логика. «Единицей» измерения был могучий, обширный шкаф, который включал в себя так называемый тезаурус — композицию предметов, препаратов, коллекцию, изучая которую можно было проследить какой-то биологический, геологический или иной процесс и, в итоге, глубже постичь мир, не отходя от шкафа — маленького кусочка Вселенной.

Кроме того, «его величество шкаф» с книгами и искусно подобранными экспонатами играл роль своеобразного научного алтаря, воспитывал людей. Ученые тех времен — единицы в море неграмотных простецов — высоко задирали нос; они, как теперь выясняется, постигнув лишь некоторые законы природы, считали себя вправе поучать людей. Поэтому тезаурусы были утомительно назидательны. Так, в одном шкафу находилась композиция, сооруженная из камней, извлеченных из желчного и мочевого пузырей с использованием высушеных телячих кровеносных сосудов, в который был впрыснут красный воск. На этих «скалах» стояли скелетики неродившихся детей, которые, что-то изображая, держали в «ручках» ожерелье или «окаменевшее сердце юноши». Девиз тезауруса таков: «К чему мне любить эти мирские вещи?» Это типичная сухая (в смысле сушеная) экспозиция. Другие, заспиртованные препараты не менее поучительны, а для нас жутковаты. Рюйш любил использовать для различных демонстраций в банках препарированные и помещенные в спирт отрезанные детские ножки в кружевных штанишках или ручки с батистовым платочком. «Они, — писал знаменитый анатом и моралист, — мило и естественно могут что-нибудь держать» или попирать. В последнем случае речь шла о вредных предметах, следах порока. Так, детская ножка этакого путти в спирту попирала пораженный сифилисом женский череп. Все это сопровождалось нравоучительной надписью о вреде порока и его ужасающих последствиях. Бренности жизни посвящена «сухая» композиция, которую описывает голландский ученый А. М. Лёйендейк: три скелетика стоят на «скалах» из моче-

вых камней и играют на инстументиках: один на скрипке из куска кости, у второго в руках гармоника из засушенных кишок овечьего эмбриона. Третий держит в руках «дирижерскую палочку», сплетенную из волокон мочевого пузыря. На переднем плане картинно лежит скелетик, который держит в руках сушеную бабочку-однодневку — символ быстротечности времени. Все они хором восклицают страшненькими оскалами: «Подобно цветку полевому я быстро взошел и тут же вырван».

Ну, мы опять отстали от экскурсии! Пройдя Библиотеку, заглянем в находившийся в центре здания Анатомический театр. Он, к счастью для перса и для нас, в этот день не давал представления по вскрытию очередного человеского тела. Представления возобновились в 1737 году, о чем сообщала газета: «Охотникам до Анатомии объявляется чрез сие, что обыкновенныя публичные демонстрации на анатомическом театре в императорской Академии наук... по прежнему учреждены. Чего ради доктор и профессор Вейтбрехт нынешнего числа пополудни в третьем часу первую лекцию начал и оныя по понедельникам, средам и пятницам так долго продолжаться будут, как то состояние способных к тому тел допустит», то есть пока трупы еще не испортятся на академическом леднике.

Из Анатомического театра гости попадали в собственно Кунсткамеру — грандиозный музей, представлявший собой довольно беспорядочную, зато огромную и разнообразную коллекцию. Утомившись от смотрения достойных внимания вещей, посол отдыхал в той части Кунсткамеры, которая называлась «Императорский кабинет». Здесь, в первом мемориальном музее Петра I, он «трактован был для прохлаждения всякими напитками и, осмотревши там редкие и дорогие вещи (принадлежавшие самому Петру Великому. — *Е. А.*), пошел в ту палату, где токарные станы и прочие великим иждивением зделанные машины находятся». Как выглядят токарные и копировальные станки Петра Великого, мы знаем по коллекции современного Эрмитажа, а потому задержимся за столом с прохладительными и, как нам совершенно точно известно, горячительными напитками. Дело в том, что помимо 100—200 ведер водки в год, которые ежегодно отпускала казна для консервации препаратов, специально для музея выдавали вино и другие напитки, шедшие по туманной статье «на чрезвычайные расходы». Как известно, Петр установил особый режим посещения первого русского музея: каждый экскурсант мог получить здесь чашку кофе, чай или рюмку водки. В этом историки русской науки усматривают особую

склонность царя к просвещению собственного народа. В книге Т. Станюкович о Кунсткамере по этому поводу не без патриотической гордости говорится: «Факт угощения посетителей музея крайне показателен. За осмотр аналогичных учреждений Западной Европы в начале XVIII века, как правило, взималась довольно высокая плата». Думаю, что Петром двигала мысль о том, что дармовое угощение — лучший способ заманить русского человека даже в музей. Вообще же, для просвещения собственного народа Петр I ничего не жалел — ни кнута, ни пряника (точнее — рюмки водки).

Самые главные экспонаты припасли на конец экскурсии: «Показана была ему в особливой камере из воску зделанная персона Петра Великаго... а потом видел он и славной Готторпской глобус». «Восковая персона» — произведение Б. К. Растрелли — была передана в Кунсткамеру в 1732 году. Это была искусно сделанная восковая кукла, с лицом, воспроизведенным с прижизненной маски Петра, с подлинными его волосами, в его одежде и сшитых самим же царем башмаках. Подобные куклы не были новинкой в Европе. Русский посол в Бранденбурге А. А. Матвеев в 1699 году так описывал виденное им в берлинском дворце курфюрста Фридриха Вильгельма I чудо: «Самого курфирста подобие сделано из воску, седящего в креслах, зело подобно, одето в суконное алаго цвету французское платье и в золотном штофном камзоле со всем надлежащим убором, в шпаге и под рукою его шляпа и так живо, что, вшед в полату за ним, послом, переводчик Петр Вульф, увидя то подобие, совершенно возомнил быть самого курфирста, с почтением ему поклонился». Матвеев, по-видимому, ошибся. Как и его переводчик, он был введен в заблуждение сходством правившего тогда в Бранденбурге курфюрста Фридриха Вильгельма (1688—1740) с восковой персоной, которая изображала покойного отца курфюрста — тоже Фридриха Вильгельма. Именно его восковую персону, в окружении восковых персон умерших принцев, видел в 1721 году в Берлине Ф. В. Берхгольц. «Восковую персону» люди воспринимали как «куриоз», диковинку, поначалу пугаясь жутковатой фигуры, поразительно похожей на грозного царя, а потом восхищаясь мастерством художника и помогавшего ему механика. Испуг должен был переходить в какой-то момент в ужас, ибо, входя в комнату «восковой персоны», посетитель Кикиных палат — там первоначально была Кунсткамера — незаметно для себя нажимал половицу, приводившую в движение куклу, которая вдруг вставала с кресла и кланялась, приветствуя входившего. Но персидскому послу не

довелось испытать сего ужаса — механизм был сломан в 1732 году и более не восстанавливался. Среди монстров в банках, чучел животных, скелетов и разных диковинок, навезенных в Кунсткамеру со всего света, «восковой персоне» было самое место.

Апофеозом экскурсии было «путешествие» внутрь знаменитого Готторпского глобуса. Подаренный Петру опекуном малолетнего Голштинского герцога Карла Фридриха в 1714 году, глобус — творение немецкого мастера и хорошо известного в России путешественника Адама Олеария, являл собой редкостное зрелище: огромный шар (диаметром 3,3 м), снаружи — земной глобус, а внутри — планетарий со звездным небом, «вместимостью» 12 человек. Вращение искусного механизма в основании глобуса создавало полную иллюзию движения небесной сферы.

Персидскому послу ничего не говорили имена людей, с которыми его знакомили в Академии. Вряд ли он, проходя академическую гимназию, мог заметить среди приветствовавших его гимназистов великовозрастного ученика Михаила Ломоносова, который буквально через несколько дней отправится учиться в Марбургский университет и, говоря высокопарно, встанет на путь своей бессмертной славы. Среди профессоров-академиков было также немало выдающихся ученых. Они приехали в Россию по приглашению Петра, движимые не только открывшимися перед ними перспективами служебного повышения, но и возможностью свободной и материально обеспеченной научной деятельности.

Несмотря на то, что Академия наук воспринималась властью как бюрократическое учреждение и на ученых смотрели как на государственных служащих довольно низкого ранга, все же в Академии можно было плодотворно работать. Гениальный математик Леонард Эйлер, приехавший в Петербург в 1727 году после окончания Базельского университета, достиг поразительных успехов во многом благодаря условиям, созданным для научной работы в Академии. Позже — в 1749 году — он писал из Германии Шумахеру: «Я и все остальные, имевшие счастье состоять некоторое время при Русской Императорской Академии, должны признать, что тем, чем мы являемся, все мы обязаны благоприятным обстоятельствам, в которых там находились. Что касается собственно меня лично, то при отсутствии столь превосходного случая я бы вынужден был заниматься другой наукой (Эйлер был приглашен как физиолог. — *Е. А.*), в которой, судя по всем признакам, мне предстояло бы стать лишь кро-

пателем». Уехав в 1740 году в Берлин, он спустя 26 лет вновь вернулся в здание на берегу Невы, где и остался до конца своей жизни.

Пример Эйлера показателен и типичен. Стремление получить творческую свободу, не быть «кропателем», бегая до седых волос в ассистентах у европейских знаменитостей, двигало многими учеными, приезжавшими в Россию. Академики Г. Крафт, И. Гмелин, Г. Штеллер, Г. Байер, Г. Ф. Миллер и многие другие сумели достичь выдающихся успехов в науке благодаря тому, что однажды не устрашились откликнуться на призыв Петра и его преемников и приехать в «страну льдов». В послепетровское время в Академии блистал выдающийся французский астроном Ж. Н. Делиль, основатель астрономической школы в России, составитель обширной программы научного картографирования России, которую он сам и реализовывал. В 1728 году Делиль разработал картографическую проекцию для черчения генеральной карты России, которая использовалась в течение двух столетий. В личности этого всемирно известного астронома было что-то весьма притягательное для современников. Блестящий, разносторонний ученый, энергичный и веселый человек, вокруг которого всегда были ученики и друзья, Жозеф Никола Делиль был подлинной звездой, украшением молодой русской Академии, и когда читатель слышит в полдень грохот пушки с бастиона Петропавловской крепости и тотчас смотрит на часы, пусть он вспомнит добрым словом Осипа Николаевича (так его звали в России). Именно Делиль, используя приборы созданной им астрономической обсерватории и особо точные астрономические часы, основал в России службу точного времени и предложил ровно в полдень давать пушечный выстрел. Начиная с 1735 года, каждый полдень более 200 лет (за исключением 1938—1957 годов) Делилев сигнал заставляет петербуржцев вздрагивать...

За знаменитым круглым столом Академии рядом с Делилем, Г. Бюльфингером, Д. Бернулли и многими другими учеными, заложившими основы науки в России, сидел и Герард Фридрих Миллер. В 1731 году он стал академиком и прослужил в России 60 лет. Всю жизнь занимаясь историей России, он собирал бесценные источники, вел изыскания в не тронутых рукой профессионального историка русских архивах. Без знаменитых «Портфелей Миллера» — обширной коллекции документов и копий с утраченных позже источников — ныне вообще невозможно представить себе развитие исторической науки. Его научная судьба оказалась пе-

чальной. Неутомимый труженик, он, не вынеся интриг в Академии, был вынужден покинуть Петербург, но не уехал из России, а поселился в Москве, чтобы не прерывать занятий российской историей. Последующая, в особенности советская, историография, не простив Миллеру «грех» норманизма, задвинула его в лагерь врагов великого Ломоносова и соответственно — «всего прогрессивного» в исторической науке, хотя сам Ломоносов всегда высоко ценил Миллера. Их же коренное расхождение касается не только оценки роли варягов в образовании Древней Руси, но острой и для современной науки (как, впрочем, и литературы и искусства) проблемы, которую последние семьдесят лет называли «проблемой партийности». Рассуждая о задачах истории и долге историка, Ломоносов писал, что историограф должен быть «человек надежный и верный и для того нарочно присягнувший, чтобы никогда и никому не объявлять и не сообщать известий, надлежащих до политических дел критического состояния... природный россиянин, чтоб не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и посмеянию». Миллер придерживался диаметрально противоположной точки зрения: историк «должен казаться без отечества, без веры, без государя... все, что историк говорит, должно быть строго истинно, и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести». Этот спор не кончен и до сих пор...

С Петербургской Академией наук был связан и другой незаурядный человек, уже известный нам шляхетский прожектер Василий Никитич Татищев. Он не состоял в Академии и бóльшую часть жизни провел далеко от столицы, воюя со шведами, усмиряя бунтующих башкир, выполняя дипломатические поручения Петра I, руководя промышленными стройками Урала. Человек редкой образованности, Татищев вел еще одну, незаметную для многих, жизнь — он писал историю России. Как показали прошедшие с тех пор века, именно это увлечение и обеспечило Татищеву — одному из сотен талантливых тайных советников, администраторов, инженеров XVIII века — прочную посмертную славу. Сюда, в Петербургскую Академию, он привез в конце 30-х годов главный труд своей жизни — рукопись «Истории Российской». Эта книга оказалась первой попыткой систематизировать огромный запутанный материал по тысячелетней истории страны, «просветить» этот материал лучами идей Просвещения, проследить в истории России развитие истинного, по его мнению, двигателя истории — «просвещенного ума».

Пристрастный, противоречивый человек, Татищев в своей «Истории» отразил весь круг мыслей, предубеждений, недостатков и достоинств просвещенного человека своего времени. Годами собирая редкие рукописи, сопоставляя их, он интуитивно вышел на самое главное в истории — научную критику исторического источника, постижение его смысла, скрытого под наслоениями и правкой древнего летописца. С. М. Соловьев нашел для Татищева-историка самые точные слова: «Он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований... одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русской историей».

Та напряженная работа, которая шла в камерах и палатах Академии, весьма своеобразно воспринималась при дворе и в обществе. В то время не было распространено представление о самоценности науки, фундаментальных исследований как таковых. Подписывая в 1724 году указ о создании Академии наук, Петр видел в ней не столько научное, сколько научно-практическое и учебное заведение, которое могло бы приносить непосредственную пользу экономике, морскому делу, готовить различных специалистов. И это был характерный для того времени прикладной подход к науке. В академиках-профессорах видели не ученых-теоретиков, а высокооплачиваемых специалистов по фейерверкам и геодезии, пороховому делу и практической медицине, хранителей забавных раритетов и поучительных древностей, знатоков мудреных и непонятных для профанов приборов, с помощью которых можно было рассматривать Луну, сделать поразительный физический или химический фокус.

Именно как на дорогое, но престижное развлечение (вроде заморского страуса), по-видимому, смотрела на «Десианс-Академию», как тогда называли Академию наук, и императрица Анна Иоанновна. Она изредка посещала публичные научные лекции и показы, которые устраивали для высокопоставленной публики ученые, точнее — указывала проводить их при дворе. Академики, читая лекции и показывая опыты, не только просвещали присутствующих, но и стремились, в формах, доступных для совсем не академических мозгов императрицы и ее окружения, доказать очевидные «пользы» наук и необходимость их «приращения». «В прошедшую субботу, — пишут «Санкт-Петербургские ведомости» 3 марта 1735 года, — ко двору были призваны Делиль

и Крафт. Последний из них до обеда в высочайшем присутствии Ея величества с чирногаузенским зажигательным стеклом некоторые опыты делал, а ввечеру показывал... господин профессор Делил (Делиль, как мы помним, был астрономом мирового класса. — *Е. А.*), причем Ея величество между прочими на Сатурн с его кольцом и спутниками чрез Невтонианскую трубу, которая на 7 футов длиной была, смотреть изволила. Ея императорское величество объявила о сем свое всемилостивейшее удовольствие и приказала, чтоб как физическия, так и астрономическия инструменты для продолжения таких обсерваций при дворе Ея величества оставлены были».

То-то, наверное, горевал о судьбе дорогих инструментов Делиль, представляя, как к ним подберутся вездесущие и невоспитанные дети светлейшего герцога Курляндского! Впрочем, представлению о науке как прикладном и одновременно развлекательном виде деятельности немало способствовали и сами ученые. Связь науки с практикой была весьма тесной, и никого не удивляло появление в 1739 году академиков Л. Эйлера и Г. Крафта на испытании усовершенствованной ими лесопильной мельницы на Галерной верфи или на Артиллерийском дворе.

Прагматизм господствовал при дворе и в отношении искусства, литературы, поэтического слова. В 1735 году в Академии было организовано Российское собрание, целью которого стало совершенствование русского языка. Руководил им В. К. Тредиаковский — первый поэт России анненской поры. Н. И. Новиков, поминая добрым словом Тредиаковского, писал: «Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия; весьма знающ в латинском, греческом, французском, итальянском и в своем природном языке, также в философии, богословии, красноречии и в других науках. Полезными своими трудами приобрел себе бессмертную славу». Но многие современники и потомки думали о Тредиаковском иначе. Они писали о его «схоластическом педантизме», «бездарном трудолюбии», «бесплодной учености» и «варварских виршах». Драматична судьба Василия Кирилловича: коллега и соперник, даже враг Ломоносова, он начал свою жизнь не менее экзотично, чем великий помор. Поповский сын из Астрахани, он, как и Ломоносов, в юности ушел из дому, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию, из которой затем бежал за границу — в Голландию, а потом пришел во Францию, где обучался в Сорбонне различным наукам: философии, богословию, математике. В 1730 году

он, первый наш дипломированный гуманитарий, вернулся в Россию и стал первым русским академиком. Его книга — перевод на русский язык романа француза П. Тальма «Езда в остров Любви» — сделала его знаменитым, модным поэтом, которого приблизили ко двору. Но впоследствии он испытал горечь судьбы придворного, точнее — дворового, поэта императрицы Анны. Та видела в нем лишь высокообразованного лакея, стихоплета, которому поручалось сочинительство «публичных ораций», од и гимнов, а «к случаю» и непристойных куплетов — «для увеселения». Согласно легенде, именно с сочинением скабрезных стишков связан эпизод, о котором сам Тредиаковский вспоминал: «Имел счастие читать государыне императрице у камеля (то есть камина. — *Е. А.*) и при окончании онаго достоялся получить из собственных Ея императорского величества рук всемилостивейшую оплеушину». Так что в способности языка к версификации непристойностей убедились в нашем отечестве задолго до бессмертного Ивана Баркова, работавшего в той же Академии. Печально известная история 1740 года, когда кабинет-министр Артемий Волынский жестоко избил Тредиаковского как непослушного холопа, а потом, посадив в холодную, заставил учить сочиненные им же стихи к маскараду, хорошо отражает и отношение власти к поэту, и беззащитность сносящего унижения и побои поповского сына — творца «Телемахиды». Да, поведение Тредиаковского в этой и других историях не отличалось благородством, у него не было той «упрямки», которой в спорах с сильнейшими мира сего так гордился Ломоносов. Но сравнивать этих, очень разных, людей не следует: современники, они начинали свой творческий путь в разных условиях и в разные десятилетия (Тредиаковский в 30-е, а Ломоносов в 40-е годы XVIII века), и стоило бы задаться вопросом: что было бы с Ломоносовым и его «упрямкой», если бы дерзости «нашего первого университета» выслушивал не мягкий, гуманный Иван Шувалов — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, а суровый герцог Бирон?

Как бы то ни было, анненская эпоха жестоко обошлась с Василием Кирилловичем. В ее вульгарной и тяжелой атмосфере он не нашел себе «ниши», где мог бы, подобно прочим академикам, творить, и довольно быстро превратился в сварливого неудачника, нудного жалобщика, болезненно страдающего от уколов и глумления критиков и публики (как он писал о себе: живу, «прободаемый сатирическими рогами»). Одинокий, терзаемый недоброжелателями и собственными комплексами, «ненавидимый в лице, презира-

емый в словах, уничтожаемый в делах, осуждаемый в искусстве» (так он писал о себе в 50-е годы), Тредиаковский был глубоко предан словесности и с редкостным упорством и терпением писал, совершенствовал и переписывал свои труды. Автор десятков томов переводов и собственных поэтических и прозаических творений, блестящий знаток и теоретик поэзии, он оказался бессилен против новых — более ярких, броских — талантов Ломоносова и Сумарокова, безжалостно отобравших у Василия Кирилловича в следующее (елизаветинское) царствование пальму поэтического первенства. Но в 30-е годы XVIII века, при всех своих проблемах и трудностях, Тредиаковский был все-таки первым поэтом и без него не обходились ни при дворе, ни в Академии, ни в театре.

Дело в том, что, кроме манежа, зверинца и «слонового двора», развлечься в Петербурге можно было по-настоящему только в театре. Без театра вообще трудно представить себе анненскую эпоху, особенно долгие зимы, когда, наскучившись проделками шутов, сплетнями кумушек, стрельбой и оздоровительными катаниями в санях по Першпективной, Анна со своими домочадцами отправлялась в театр. «Оперный дом был у дворца, — вспоминает мемуарист, — имел вид большого овала с двумя галереями, а вокруг театра были тоже две галереи, одна над другою. Театр был внутри прекрасно украшен живописью и скульптурой (добавим от себя, что проект театра разработал великий Растрелли, а декорации и интерьер писал итальянский художник Джироламо Бон. — *Е. А.*). Вокальная и инструментальная музыка была несравненна. Государыня, не могшая более, по причине суровой погоды, наслаждаться стрельбой, которая для ее удовольствия почти ежедневно устраивалась в Петергофе летом, являлась теперь всякий раз со всем двором, когда давали оперу, комедию или интермедию. Сверх того, всякому прилично одетому иностранцу, а также знатному бюргеру в Петербурге дозволено было присутствовать в числе зрителей, и притом без всякой платы, если только имевшие желание бывать в театре являлись вовремя, потому что караул получал затем приказание не впускать никого больше. В оперном доме могло поместиться до 1000 человек». Этот огромный для города зал, как свидетельствуют источники, не пустовал — слишком удивительным, красочным зрелищем в довольно однообразной полувоенной городской жизни были даваемые здесь спектакли. Историк русской музыки Н. Финдейзен отмечал, что анненское царствование оказалось во многом переломным для музыкальной культуры

страны. Именно тогда музыка потеряла прикладное значение: победные фанфары и танцевальная музыка натужных петровских ассамблей уходят на второй план, уступая место театральной и концертной музыке. При Анне царило редкое сочетание крайностей во вкусах: итальянская опера — и дураки с дурками, балет — и вульгарные фарсы, первая серьезная статья о музыке в газете, написанная Якобом Штелиным, — и издевательский шутовской праздник в Ледяном доме. Но все же, несмотря на всю эту вкусовую эклектику, все больше укоренялись в обществе и при дворе идеи прекрасного: на пороге стоял «музыкальный век» Елизаветы.

Постоянного театра в анненский период не было — было лишь здание, в котором гастролировали скитавшиеся по всем европейским столицам итальянские и немецкие труппы. Редко, примерно раз в год, ставились оперы, которые сочинял принятый на русскую придворную службу итальянский композитор Франческо Арайя. Опера — «действие, пением отправляемое», — была грандиозным, сложным сценическим мероприятием, в которое вовлекалось огромное количество людей. Красочные декорации, роскошные костюмы, множество сложнейших театральных механизмов — «махин» — все это делало театр фантастическим, сказочным миром, и его эффекты глубоко потрясали не очень избалованных развлечениями людей XVIII века. В оперных постановках часто использовались и балетные номера, которые исполняли заезжие артисты. Но гастролеров не хватало, и в 1737 году французский балетмейстер Жан Батиçт Ланде, приехавший в Россию в 1733 году и служивший балетмейстером в Кадетском корпусе, набрал из детей русских придворных служителей небольшую группу русских мальчиков и девочек (12 человек), которых стал обучать балетному искусству. Это была не просто частная труппа, а государственное учреждение. В своей челобитной Ланде (сентябрь 1737 года) обещал за три года обучить учеников «танцеванию театральному». Кроме того, учитывая полифонию тогдашнего театра, он писал: «Обязуюся обучить способу помянутым ученикам моим... рецитовать (декламировать. — *Е. А.*) в комедии на российском диалекте, мешая забавы танца с комедиею».

Для открытия школы Ланде просил себе и помощнику определить жалованье в 1500 рублей в год, дать бесплатную квартиру, выписывать дрова и свечи. Отобранные мальчики и девочки (по шесть человек) должны были жить на полном пансионе под присмотром воспитателей. У школы предполагался также «особый сал» для репетиций. Все это не без

оснований позволяет согласиться с мнением русских историков театра и балета, что с этой танцевальной школы Ланде началась история современного русского балета.

Но всего милее Анне были итальянские интермедии, которые требовали мало затрат и лишь нескольких исполнителей и музыкантов. Итальянский театр «дель-арте», который пришел прямо с итальянской улицы, был построен на принципе шутовского передразнивания жизни. Он нашел горячий прием в Комедиантском зале Зимнего дворца, потому что соответствовал русской культуре шутовства, и значение жеста и движения (особенно непристойного) было понятно такому невзыскательному зрителю, как Анна. Для того чтобы представить себе это зрелище, обратимся к типичной для анненского времени программке интермедии, где действуют вечно ссорящиеся и тут же милующиеся герои — Арлекин и Смеральдина. Название интермедии: «Любовники, друг другу противящиеся, с Арлекином, притворным пашою. Комедия италианская». А вот «Перечень всея комедии», то есть, по-нашему, краткое содержание, или либретто: «Панталон, доктор, Бриггелл и Арлекин, влюбившися в Смералдину — портомою сельскую, стараются, по всякой своей возможности, чтоб ея получить за себя. Смералдина всячески в пользу себя употребляет страстию своих любовников и обманывает их разными способами, хотя она и вправду любила Арлекина, за которого она, наконец, и вышла, а тем и кончится комедия». Обманы «разными способами» были так же незатейливы, как и весь сюжет пьесы.

Фабула сыгранной в 1734 году интермедии «Больным быть думающий» еще проще: «Эригетта-вдова, хотя вытьти замуж за господина дон Килона — богатого человека и думающего себя быть больным, сказавши ему, что она знает одного Доктора, могущаго вылечить его, и, будучи прошена от Килона, чтоб онаго Доктора к нему прислать, наряжается сама в Доктора и приказывает ему жениться, чтоб вылечиться от всех болезней, что тот больной и чинит, беручи за себя хитрую Эригетту, которая чрез сей вымысел выходит за него по своему намерению».

Обычно актеры-певцы импровизировали в рамках либретто, но от данной интермедии сохранилась даже партия самой Эригетты, переведенная на русский язык для императрицы. Вообще заезжие «комедианские банды» (от слова *band* — группа, оркестр) стремились подстроиться прежде всего под вкусы императрицы. В 1733 году режиссер и актер Томазо Ристоли писал: «Выяснив, что Ее величество царица совершенно не понимает итальянского языка, я усердно

начал работать над усовершенствованием поведения артистов на сцене, машин и полетов и составил комедию, которая произвела на Ее величество столь приятное впечатление, что тотчас по ее окончании она поднялась и, повернувшись к публике, начала хлопать в ладоши, приглашая всех последовать ее примеру». Так вот текст партии Эригетты, с которым заранее ознакомили Анну, был такой: «А как сказать по правде, вдовство нас очюнь в великую приводит трудность, а та, которая желает опять быть свободною, принуждена вытьти за первопопадшагося человека. Но вот Килон, которой весьма по мне: имея мнение, что бутто он всегда болен и что бутто ему все надлежит лежать в постели, то он все мне вручит домовое право, его гиппохондрия учинит мое тихое щастие. Он очюнь богат, а то еще лучше всего, что он никого не имеет...» Ну а дальше зрители с наслаждением следили за проделками ловкой проказницы и смеялись над недотепой Килоном. Эта и подобные интермедии: «В ненависть пришедшая Смеральдина», «Перелазы чрез заборы», «Переодевки Арлекиновы», «Портомоя-дворянка», «Забавы на воде и в поле», «Муж ревнивый», «Несчастья обрезанного Арлекина» и т. п. были как раз во вкусе Анны Иоанновны и ее окружения и, по-видимому, «очюнь-очюнь» им нравились.

Немало развлечений другого свойства можно было наблюдать под куполом импровизированного цирка или на свежем воздухе. В 1738 году «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «Прибывшия сюда из Голандии комедианты, которыя по веревкам ходя, танцуют, на воздухе прыгают на лестнице, ни за что не держась, в скрипку играют, с лестницею, ходя, пляшут, безмерно высоко скачут и другие удивительные вещи делают, получили от двора позволение в Летнем Ея императорского величества доме на театре игру и действия свои отправлять... Цена смотрильщикам (то есть билеты для зрителей. — *Е. А.*) положена с первых мест по 50 копеек, с других — по 25, а с третьих — по 10 копеек с человека». В 1730 году в Москве еще более поразительные вещи на канате, протянутом вниз с колокольни Ивана Великого в Кремле до Красного крыльца, показывал заезжий иранский акробат.

В Россию приезжали и другие труппы, итальянские кукольники, «которые пропитание имеют — кажут кукол», французские савояры, которые привезли в далекую Россию подобие «Галереи мадам Тюссо». Об этом было подробно рассказано петербуржцам в объявлении: «Пред недавним временем прибыли сюда два савояра и привезли с собою в

Версалии деланной кабинет с преудивительными вещьми, которыя они здесь за деньги показывают; где можно видеть персону короля французского с королевою, дофином и с принцессами, его величества дочерьми, также высокую фамилию Его величества короля аглинского и всех знатнейших министров французского двора, в совершенной величине их роста, в платье и во всем уборе, в котором они при дворе ходили, а потом для положения на сии подобия их лиц помянутым савоярам отдали». Более того, указано, что многие придворные «засвидетельствовали, что их с живыми лицами, которыя сим художеством представляют, весьма трудно распознать», иначе говоря — не различить. И в конце указывался типичный для Петербурга тех времен описательный адрес дома, где на все это можно полюбоваться: «Приходить в самой последней дом на углу у Большого лугу, на двор портнова иноземца Нейманова, у Зеленаго мосту против погорелых лавок, а хозяин того двора называется г. Берлие».

Думаю, что любопытная до таких диковинок императрица обязательно возжелала лицезреть восковые персоны Людовика XV и Георга II. Точно известно, что она смотрела, как по улицам Петербурга водили слона. Слон был прислан в 1736 году персидским Надир-шахом «в полном своем наряде», и Анна «изволила онаго видеть и разных проб ево проворства и силы более часа смотреть».

Что же касается петербургской публики, то она могла заехать и в зверинец, в котором появились привезенные из-за границы какие-то особенно дикие быки ауроксы. В 1739 году особым указом было предписано, чтобы «по той улице, где содержатся ауроксы или дикие быки, никакой мертвечины, а особливо коров отнюдь не возили и для того велеть поставить караул, да и обывателям, которые по той улице жительство имеют, накрепко подтвердить, дабы никто в домах у себя коров не держали». По-видимому, быки, почуяв наших петербургских буренок, были вне себя от страсти и ломали ограду зверинца.

Особую роль в жизни двора занял Петергоф — главная и, в сущности, единственная загородная резиденция императрицы. Возвращение двора на берега Невы стало истинным благом и для Петербурга, и для Петергофа. Как в сказках оживает расколдованный сказочный город, а прохожие, застывшие на ходу, снова пускаются в путь, так в одно мгновение ожил и задвигался Петергоф. В нем разом появились рабочие, зашумела стройка, стали спешно достраивать одно, возводить другое, проектировать третье. Еще в конце 1730 года Анна распорядилась возобновить строительство и

ремонт сооружений в парках Петергофа. Главным архитектором был назначен Михаил Земцов, его помощниками стали Иван Бланк и Иван Давыдов. Они тщательно готовились к первому приезду императрицы в Петергоф, намеченному на лето 1732 года. Да и к каждому летнему сезону (а Анна ежегодно подолгу жила в Петергофе) в парках открывалось что-нибудь новое.

В Нижнем саду государыня могла уже пройтись по новой проложенной Малибанской (Морской) аллее, связавшей Марли с Монплезиром, подойти к Марлинскому каскаду, который недавно закончил Земцов. Он украсил каскад семью свинцовыми вызолоченными скульптурами античных божеств. К приезду государыни новых сделать не успели, так что сняли готовые скульптуры с постаментов из сада при дворце Меншикова в Петербурге на Васильевском острове. Парк, как полагалось тогда, тщательно стригли — ведь он был по моде тех лет «регулярным», то есть с симметричными, ровными, часто крытыми аллеями (перголами), боскетами, партерами. Стрижка парка была обязательной, как у новобранцев в армии, и причудливой, как у модников. Иностранец, побывавший в Петергофе анненской поры, сообщает, что повсюду видны «можжевеловые кусты, постриженные в виде птиц и четвероногих зверей».

Целой проблемой для архитекторов оказался задуманный еще при Петре Руинный каскад. На этом месте вначале хотели соорудить Малый грот, потом Петр решил здесь построить Малый каскад, получивший название Руинного — вода должна была бежать будто бы среди руин старинного замка. Но строительство затянулось, и Земцов с Бланком завершили его уже при Анне созданием «Драконовой горы», главными «героями» которой стали три страшных дракона, извергающие воду из пастей (теперь каскад называется «Шахматная горка»). Внизу были устроены два «Римских» фонтана, образцом которых послужили фонтаны на знаменитой площади Святого Петра в Риме. При Анне изменил свой облик и Верхний сад. Здесь поработали скульптор Б. К. Растрелли, архитекторы Бланк и Давыдов. Верхний сад особенно напоминал Версаль: строгая симметрия стриженых аллей и партеров, тщательно утрамбованные и присыпанные белым песком дорожки, трельяжная ограда, кадки с подстриженными тисовыми и другими южными деревьями, которые на зиму убирали в оранжерею. Главным фонтаном Верхнего сада стал «Персей и Андромеда»: могучий греческий герой на коне и с головой Медузы Горгоны в руке спасает красавицу Андромеду от ужасного дракона. Фигуры этого фонта-

на (названного позже «Межеумный») отлили из свинца по проектам Растрелли. Фонтан был необычайно красивым. Впрочем, простоял он недолго — в 1740-е годы первой стала падать несчастная Андромеда, и ее пришлось поддерживать специальной подпоркой, а потом фонтан разобрали. Сильное впечатление на посетителей производил и другой фонтан Верхнего сада, «Нептун». По замыслу Растрелли вода била струями даже из трезубца повелителя океана, а также из ноздрей и копыт его морского коня.

Как и ее предшественники на троне, Анна любила разные «водяные забавы». Подобно Екатерине I она наслаждалась звоном клокшпиля — «водяного органа» — хитроумного устройства, в котором сила воды вращала колесо, а укрепленные на нем молоточки с пробковыми бойками ударяли по стеклянным колокольчикам. Они издавали удивительно нежные звуки, которые сплетались с журчанием воды. Это водяное чудо создал «колокольный игральный мастер» голландец И. Ферстер. Он был человек знаменитый — ведь именно Ферстер «научил» играть все куранты башен и церквей тогдашнего Петербурга. В Петергофе еще в петровские времена устроили «веселую воду» — забавные водяные развлечения. В солнечный день был особенно красив фонтан-шутиха «Дубок» в виде стройного деревца, извергавшего из своих веточек десятки тонких струек воды. Его соорудили по проекту Б. К. Растрелли. Задумавшемуся гостю у Руинного каскада порой приходилось пускаться по тропинке вприпрыжку: внезапно с обочин начинали бить струи воды, они образовывали над головой «крытую водой» аллею — водяное берсо.

Англичанин Джон Кук описывает еще один потешный фонтан-шутиху в Большом гроте: «Дно выстлано гравием, в котором проложено очень много маленьких трубок, незаметных для беспечного новичка». Когда в этом месте скапливалось много гуляющих ротозеев, служитель поворачивал ручку и включал фонтан, обливая их струями воды, бьющей снизу. Наверное, в XVIII веке это было так же смешно, как и сейчас: питерские дети получают огромное удовольствие от шутовского крещения веселой петергофской водой, например, возле «Диванчика» в Монплезирском саду. Особенно потрясали зрителей волшебные фонтанные фокусы, на которые были большие мастера Растрелли и «фонтанщики» П. Суалем и А. Иванов. На вершине высоких струй фонтана «Нептун» в Верхнем парке плясал, крутился, сверкал на солнце и... не мог упасть полый металлический шар. В этом фонтанном фокусе — суть очарования водной стихии, неизменной в своей непрерывной текучести и изменчивости.

Большую часть петергофской скульптуры делал Бартоломео Карло Растрелли. Итальянец, приглашенный в 1716 году из Парижа, он приехал в Россию как архитектор. Ему сразу поручили планировку парка в Стрельне, но рядом с блестящим французом Леблоном он терялся, и скоро стало ясно, что Растрелли архитектор никудышный, не то что его подросший сын гениальный Варфоломей. Зато как скульптор Растрелли-старший оказался лучшим в России. Мы можем оценить его талант по сохранившимся бюстам Петра, Меншикова, памятнику Петру, стоящему ныне перед Михайловским замком. Многие годы Растрелли напряженно работал в Петергофе. Для начала он создал несколько десятков «фабольных» фонтанов. Как известно, Петр Великий был увлечен баснями Эзопа и на их сюжеты (фабулы) решил создать фонтаны. Идея таких фонтанов была обычной для той эпохи — людям полагалось не просто слоняться по саду, но и постигать нечто важное, словом, обогащать свой разум мудростью. Возле таких фонтанов ставили доску с пояснениями, что за басня тут изображена и какова ее мораль. Растрелли умел очень быстро лепить скульптурные группы — «Лиса и ворона», «Гора, родившая мышь», «Змей, грызущий наковальню» и другие, а голландский и французский литейщики тут же воплощали замыслы скульптора в свинце, самом легком в обработке материале. Иногда вообще ограничивались деревянными статуями — нужно было успеть в срок! Затем фигуры золотили и выставляли в фонтанах. Конечно, это были более скромные статуи, чем теперь, многие из них не служили собственно элементами фонтана, а лишь его декоративным украшением, причем недолговечным. Зато золотое сверкание статуй украшало парк необыкновенно.

Скульптура, в сочетании с «играющими» фонтанами, водометами, в окружении «изрядной» природы, как и теперь, умиротворяла и веселила всех, кто сюда приходил. Как пишет в своих записках швед К. Р. Берк, «здесь отовсюду открывается приятный вид — каскады, море, статуи (они, если подойти ближе, оказываются не особенно отделанными, однако достаточно хороши, чтобы замыкать перспективу) или же какой-нибудь... из увеселительных домов». Побывавшая в 1734 году в Петергофе англичанка Элизабет Джастис написала о петергофских фонтанах то, что повторяли потом многие другие путешественники: «Они настолько прекрасны, что описать их свыше моих сил». Главным достижением анненской эпохи в украшении Петергофа стал фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву» — грандиозная, прославившаяся на весь мир скульптурная фонтанная группа в

центре Ковша. Ее создал тот же Растрелли. Как и все в Петергофе, группа символична. Легенда о ветхозаветном богатыре Самсоне, который голыми руками убил напавшего на него льва, была популярна в петровское время. Петра Великого часто сравнивали с Самсоном, а сравнение со львом его противника Карла XII напрашивалось само собой: ведь он правил Швецией, гербом которой был золотой лев под тремя коронами. Людей того времени поражала ассоциация — Полтавское сражение, сломившее могущество шведского льва, произошло 27 июня 1709 года, то есть как раз в День святого Самсона. Впрочем, идея фонтана, бьющего из раздираемой богатырем пасти зверя, не была оригинальной. Маскароны в виде масок и звериных морд, которые, как тогда писали, «блевали» воду, были популярны давно. В России прямым предшественником Самсона стал придуманный Петром I, но не достроенный при нем фонтан возле Марли — «Геркулес, борющийся с семиглавой гидрой». И наконец, также по замыслу Петра, в 1726 году Усов и Растрелли соорудили возле Оранжереи фонтан, изображающий морское божество, Тритона, разрывающего пасть чудовищу. Словом, если бы Петр вдруг появился летом 1735 года возле Большого каскада и увидел «Самсона», он бы, несомненно, похвалил племянницу — она чтила его традиции. Впрочем, он бы тут же и обругал Анну за недосмотр в Монплезире: как писал побывавший там англичанин Дэшвуд, «многочисленные прекрасные живописные полотна... совсем не берегут и некоторые картины уже испорчены, да и вообще все портится».

Одного из иностранных гостей, англичанина Джона Кука, побывавшего в Петергофе во времена Анны, изумила выдумка строителей Большого грота. Он писал, что два входа в грот «охраняют» статуи, «которые, когда вы внутри, не дают выйти, пока смотритель, повернув ручку, не положит этому конец». Оказывается, что эти статуи «Бойцов»-стражников, сделанные Растрелли, не выпускают человека из грота без существенного ущерба для его внешности: сила встречных струй, бьющих из водяных «пистолетов» и «пушек» каменной стражи была такова, что, как сказал Куку смотритель, «они могут сбить с ног любого человека». Сам Кук силу их не пробовал, а благоразумно дождался, когда служитель выключит воду.

Анна впервые приехала в Петергоф в июле 1732 года. «Санкт-Петербургские ведомости» тотчас откликнулись на это, сообщив читателям, что государыня пребывает в Петергофе, «причем... в приятные дни в здешних садах почти ежедневно гулять изволит. Однакож Ея императорское величество при том такожде и в государственных делах с неусыпным и матерним попечением упражняется». Последнему верить ни в коем случае нельзя — наоборот, Анна Иоанновна строго предписывала членам Кабинета министров не утруждать ее в Петергофе делами. Только с началом русско-польской войны в 1733 году министры стали часто приезжать в Петергоф, и там «бывало прилежное советование». В 1737 году фельдмаршал Миних привозил в Петергоф похвастаться перед государыней свои трофеи, взятые в турецкой крепости Очаков: знамена, литавры, оружие, восточные редкости.

Анна не была любительницей многолюдных маскарадов, не терпела придворных попоек. При ее дворе в Петербурге и в Петергофе по четвергам и воскресеньям проводились так называемые куртаги — съезды знати ко двору. Они проходили довольно тихо и скучно, в основном за картами. Иногда устраивали и танцы, на которых блистала цесаревна Елизавета Петровна, но прежнего размаха, разгула и плясок до пяти утра, как бывало при Екатерине I, а потом при упомянутой Елизавете Петровне, уже не случалось.

После одного такого куртага, как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости» от 31 июля 1732 года, «тамошние палаты, так каскады, фонтаны и аллеи в Верхнем и Нижнем саду до самой ночи к превеликому каждого удивлению многими тысячьми ламп обвешаны были». В Петергофе отмечались, причем очень торжественно, праздники, приходившиеся на лето. Приглашали множество гостей, в том числе иностранных. В Верхних палатах давали пышные обеды. Во время этих многочасовых трапез непрерывно играла музыка, пели кастраты и певицы.

Как и в предыдущие царствования, различные иллюминации, фейерверки были утехой тысяч людей. Устраиваемые по случаю официальных празднеств, они были роскошны, многокрасочны и технически очень сложны — огромные деньги, труд квалифицированных инженеров, пиротехников, рабочих творили подлинные чудеса с управляемым огнем. Глядя на взлетающие над городом однообразные и хилые пучки нынешних салютов, всегда вспоминаю старинные гравюры фейерверков XVIII века, которые были подлинными огненными пирами, роскошным огненным действом. Императрица с балкона Зимнего дворца, а бесчисленные толпы горожан с берегов Невы любовались огненной потехой, происходившей посредине самой главной водяной (или зимой — ледовой) площади столицы — между Стрелкой Ва-

сильевского острова, Петропавловской крепостью и Дворцовой набережной. (Трудно представить Петербург без этого великолепного пространства: только на секунду вообразим, что вместо Невы здесь течет, например, Москва-река или Яуза, и город тотчас утрачивает всю свою державную роскошь.) В феврале 1733 года на этой Невской площади, покрытой ровным льдом, зрители могли видеть огненный «театр» необычайной красоты. Вот как описывает это зрелище — «позорище» на тогдашнем языке — газета: «На реке от полат Ея императорского величества до самаго театра зделан был из многих [тысяч] зеленых и синих стеклянных ламп сад, в средине которого еще Ея императорского величества вензловое имя красными цветами изображено было; а зделанную над оным корону представляли разные цветы, такой вид имеющие, какой в употребленных в государственной короне натуральных камнях находится. Чтоб все тем наилучше казалось, что крепость и Академия наук, между которыми театр посредине стоит, такожде новым образом иллуминированы были, и можно сказать, что толь славнаго позорища, к которому больше 15 000 ламп и фонарей (вероятно, свечных и масляных. — *Е. А.*) употреблено, еще никогда учинено не бывало». К этому нужно добавить стоящую посредине пирамиду с надписью: «Имя ее вознесут народы».

А вот еще один фейерверк. Он был устроен, точнее — сожжен, на льду Невы против Зимнего дворца 5 января 1736 года. Фейерверк был подожжен «при пущении великого множества ракет, лусткугелей и прочих огней к особливому удовольствию Ея императорского величества и при радостном восклицании народа благополучно представлен был». Что же представлял собой театр фейерверка — огромная рама с пиротехническими приспособлениями? Там была изображена «Россия в женском образе, стоящая на коленях пред Ея императорским величеством, которая освещалась сходящим с небес на Ея императорское величество и от Ея императорского величества возвращающимся сиянием, с сею надписью: «Блажены нам тобою лета». Напротив дворца была видна «украшенная многими тысячами фонарей разных цветов галерея, имеющая в средине храм Янусов, а на крепости (Петропавловской. — *Е. А.*) и Адмиралтействе находилась такожде изрядная иллуминация». Кроме этого иллюминировали Академию наук и другие здания, как писали в газете, «для смотрения достойный вид имели».

Апофеозом зимних публичных утех анненского царствования стало строительство напротив Зимнего дворца знаменитого Ледяного дома в феврале 1740 года. Он был сооружен к шутовской свадьбе императрицына шута князя Михаила Голицына-Квасника и калмычки Авдотьи Буженинова. Делали его архитекторы П. Еропкин и И. Бланк при участии академика Крафта, оставившего подробное описание дивного и странного сооружения. Склонность людей XVIII века к «куриозам» нашла здесь свое крайнее выражение. Анне мало было потешной свадьбы, маскарадного шествия по улицам столицы, на которое свезли со всей страны «инородцев» в национальных одеждах. Она распорядилась построить роскошный ледяной дворец для новобрачных. Он, как и все сооружения вокруг него, отвечал главному принципу, создававшему феномен «куриоза», делавшему его удивительным и забавным: на первый взгляд — реальные вещи, живые существа, а при внимательном рассмотрении — муляжи, обманки, чучела и «восковые персоны». В данном случае — не восковые, а ледяные. По фасаду на крыше стояли ледяные статуи, над входом возвышался «преизрядный фронтишпиц, в разных местах статуями украшеный». Возле дворца виднелись ледяные кусты с ледяными ветвями, на которых сидели ледяные птицы. Народ толпился и возле ледяного слона в натуральную величину, который трубил как живой (внутри конструкции сидел трубач) и выбрасывал из хобота воду, а ночью — горящую нефть. Во дворе, как полагается, была устроена «ледяная баня со всеми принадлежностьми, а именно с печью, каменкою и с прочею к мыльне принадлежащей посудою, все изо льда».

Но все же больше всего потрясал «смотрителей» сам Ледяной дом: через окна, застекленные тончайшими льдинками, можно было видеть роскошные покои, стены, мебель, зеркала. На ледяном столе стояли ледяные стаканы, блюда, лежали игральные карты, «к столу приморожденныя». Тут же стояли «столовые часы с колесами и с прочими в подлинных часах находящимися вещьми». Все это было сделано изо льда, выкрашенного в естественные для всех этих предметов цвета. В «уютной» ледяной спаленке стояла «кровать с постелею, все изо льда» со всеми принадлежностями (одеялом, подушками, колпаком и чепцом, а также мужскими и женскими ночными туфлями). В эту постель, с соблюдением всех свадебных церемоний, уложили привезенных в клетке новобрачных. Там они и провели ночь под надежной гвардейской охраной. А перед этим по улицам Петербурга гуляла потешная свадьба, медленно двигалась торжественная процессия насильно присланных «представителей» всех народов России от ненцев и эскимосов Севера до украинцев Юга. Последние ехали в «потешных» санях с тысячами

колокольчиков и под звуки рожковой музыки, в сопровождении ладных певучих мужиков и баб, которых долго отбирали в России и Украине как «умеющих плясать и собою негнусных».

Несчастный, битый Василий Кириллович Тредиаковский читал приветственную оду:

Квасник-дурак и Буженинова
Сошлись любовию, но любовь их гадка.
Ну, мордва, ну, чуваши, ну, самоеды!
Начните веселье, молодые деды:
Балалайки, рожки, гудки и волынки!
Сберите и вы бурлацки рынки.
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, бренчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!

Под эти вымученные в холодной Артемия Волынского стихи гости «изрядно шумствовали» в манеже Курляндского герцога.

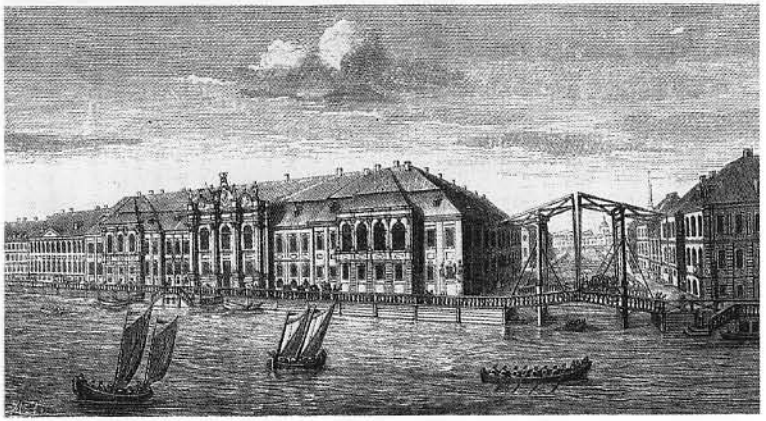
Если празднества приходились на лето, то на водном пространстве перед дворцом для фейерверков и огненных «картин» ставили на якоря большие плоты и барки. Все торжества непременно завершались праздничным фейерверком и салютом грандиозных масштабов. И если путешественник в это время прибывал в город на корабле — а именно в 30-е годы XVIII века порт был перенесен с Выборгской стороны на оконечность (Стрелку) Васильевского острова, — то еще издали по оглушающему грохоту салюта и редкой красочности фейерверка в бледном полуночном небе Петербурга он мог понять, что перед ним — столица великой, могущественной империи...

Императрица Анна Иоанновна.

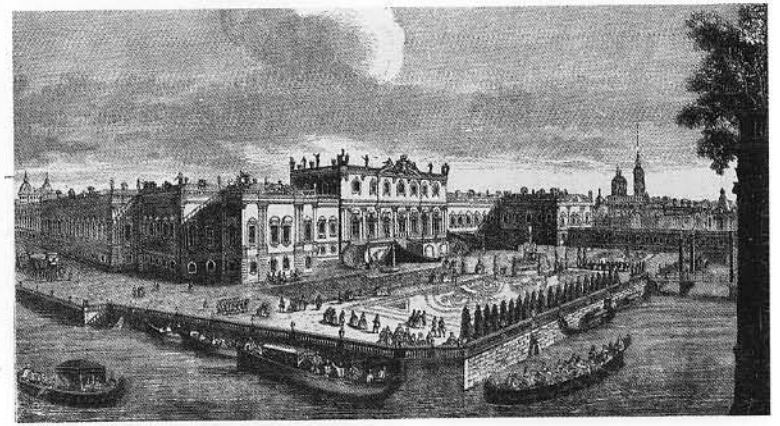
Императрица Анна Иоанновна.
Барельеф Б. К. Растрелли. 1732.

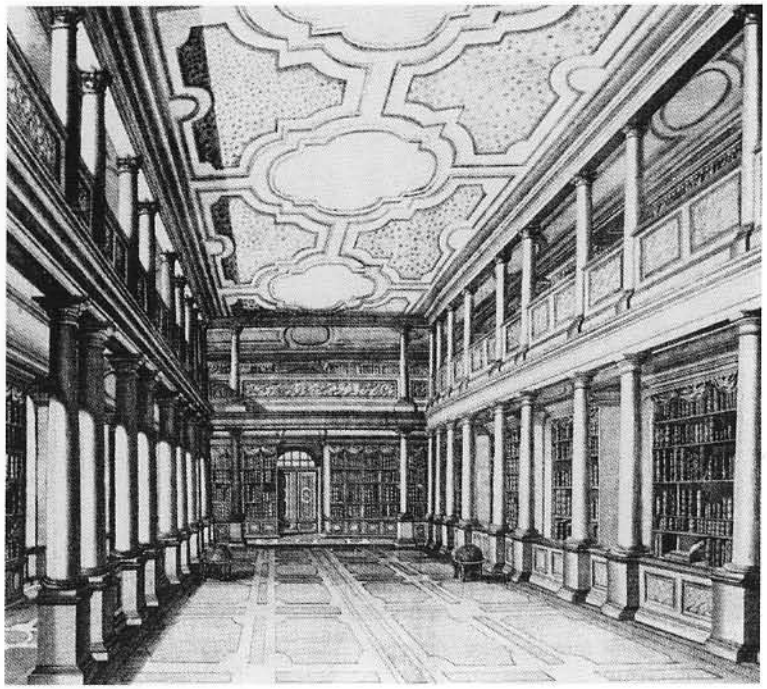
Гостиный Двор. *С гравюры 1716 года.*

Зимний дворец в первой половине XVIII века.
С гравюры М. И. Махаева.



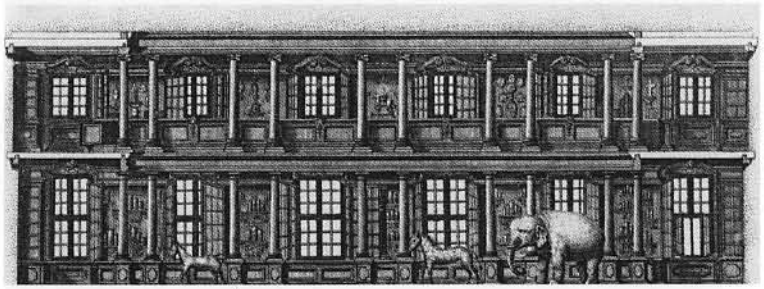
Летний дворец в Петербурге. *С гравюры М. И. Махаева.*





Библиотека Академии наук.

Кунсткамера.



Феофан Прокопович.

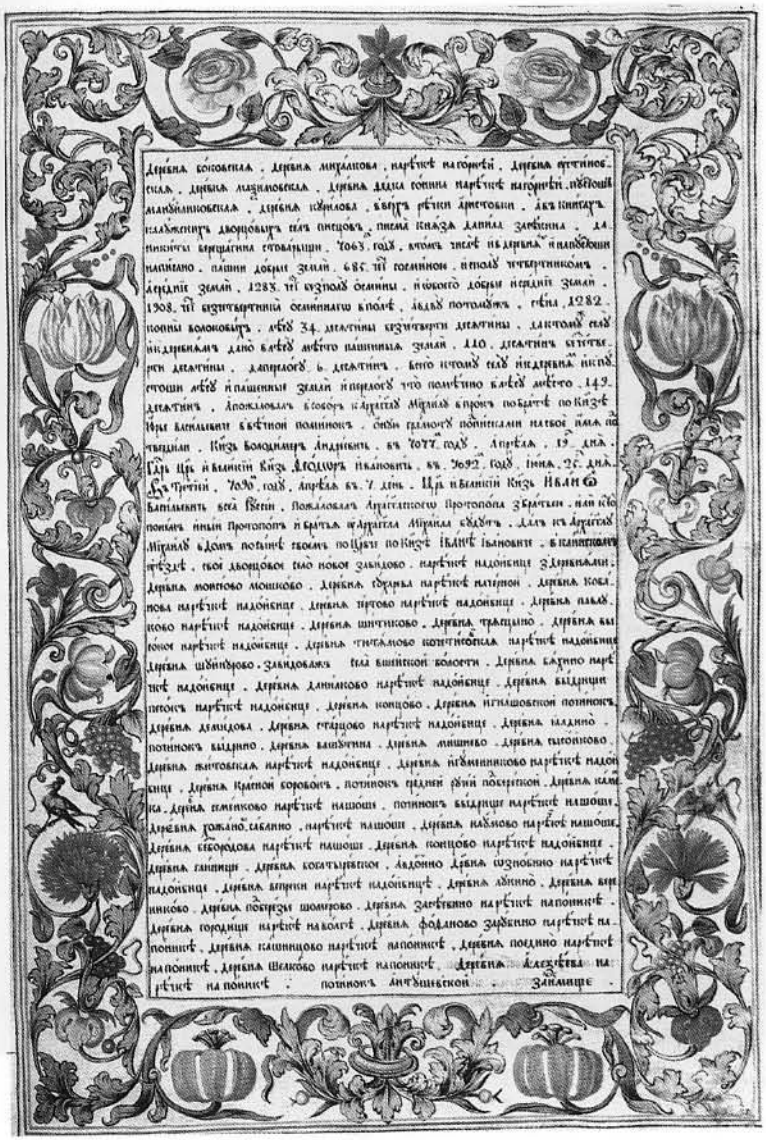
Василий Кириллович Тредиаковский.

Василий Никитич Татищев.

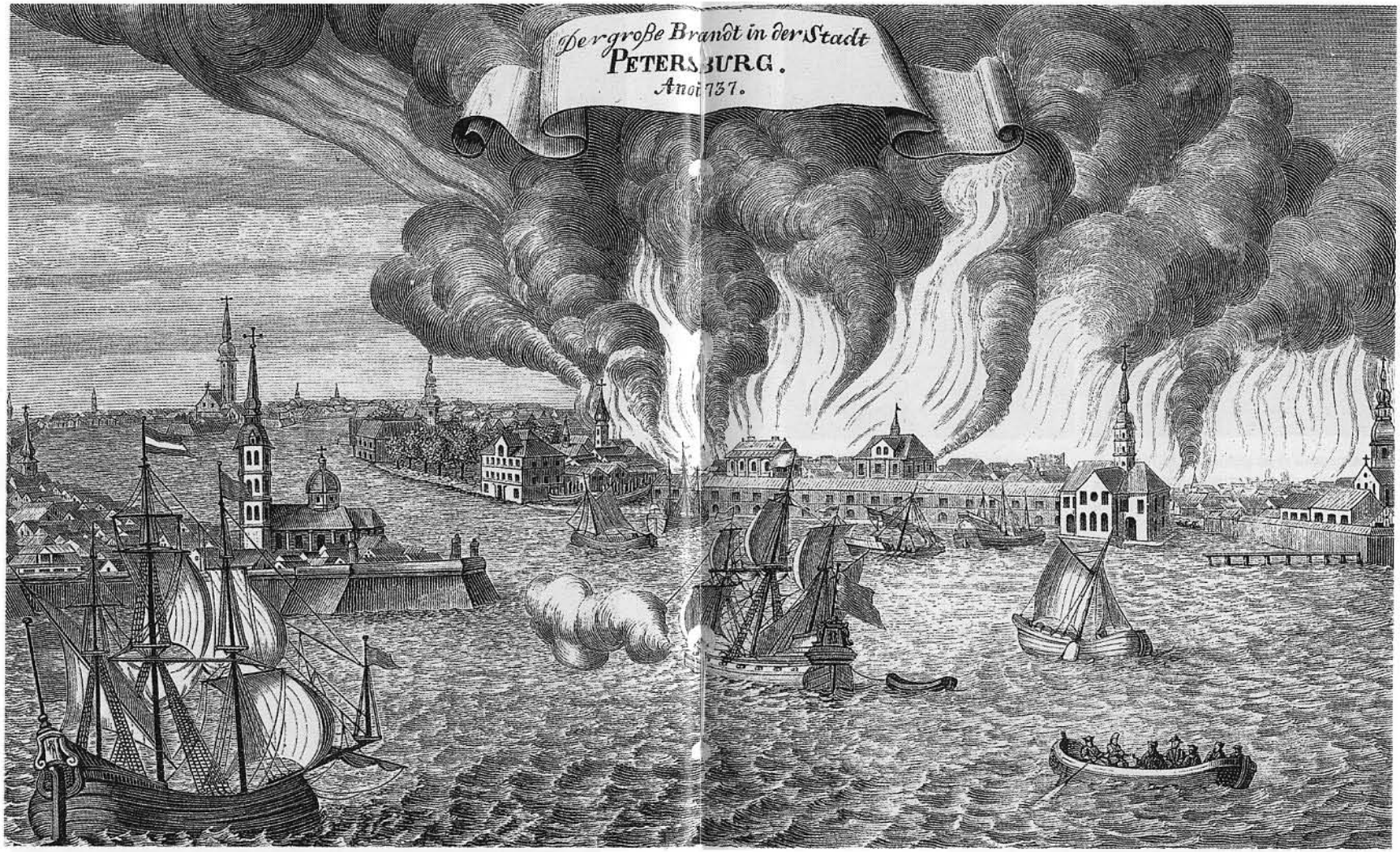
Антиох Кантемир.

«Подзорный дворец», построенный Петром Великим при устье Фонтанки. *С гравюры Я. Штелина.*

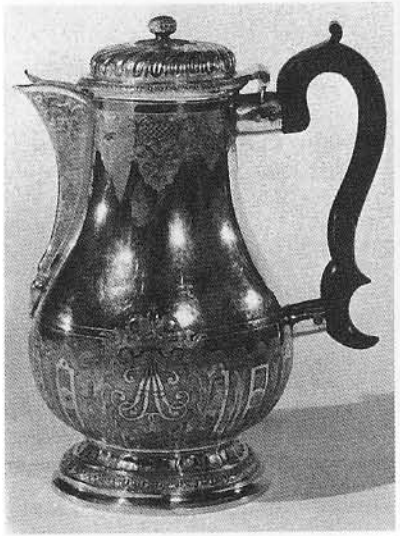
Свадьба карликов во времена Петра I.



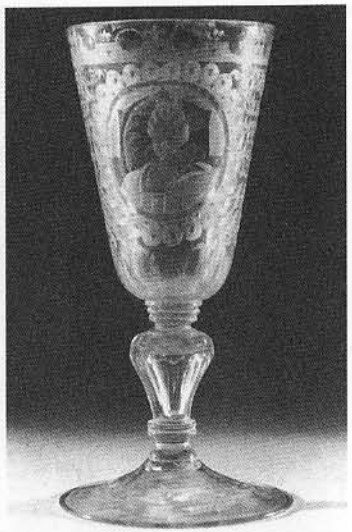
Жалованная грамота императрицы Анны Иоанновны Архангельскому собору Московского Кремля на земли и крестьян. *1734.*



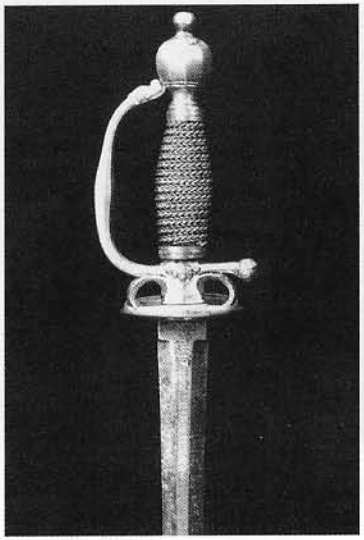
Пожар в Петербурге в 1737 году. *С немецкой гравюры XVIII века.*



Серебряный с позолотой сосуд для шоколада с инициалами императрицы Анны Иоанновны.



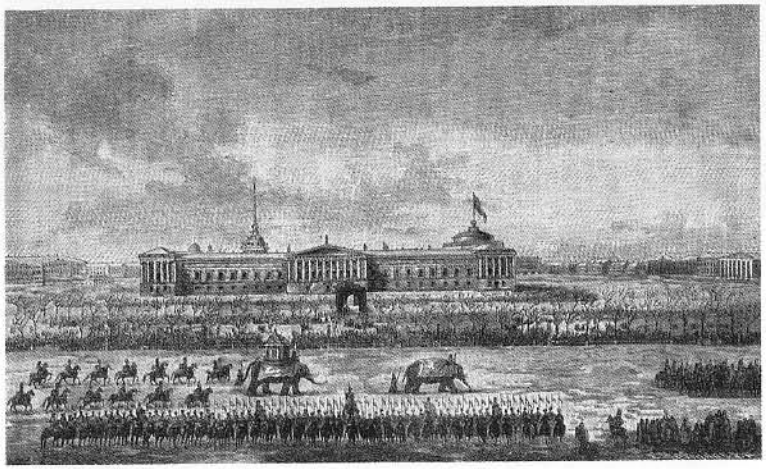
Стеклянный бокал с портретом императрицы Анны Иоанновны.



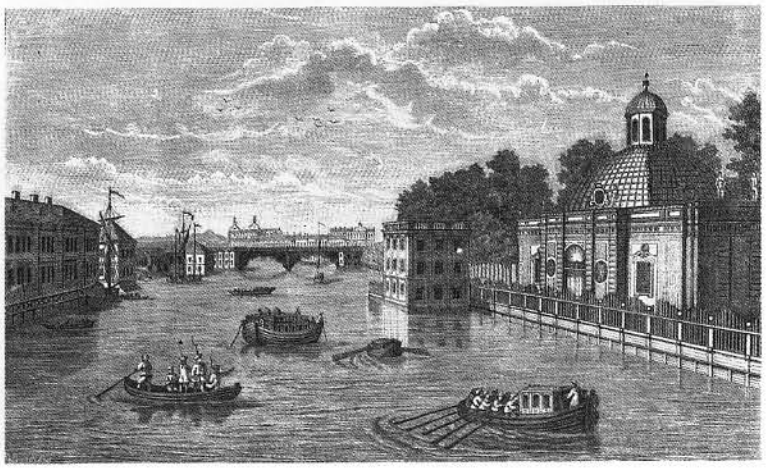
Шпага офицерская пехотная.

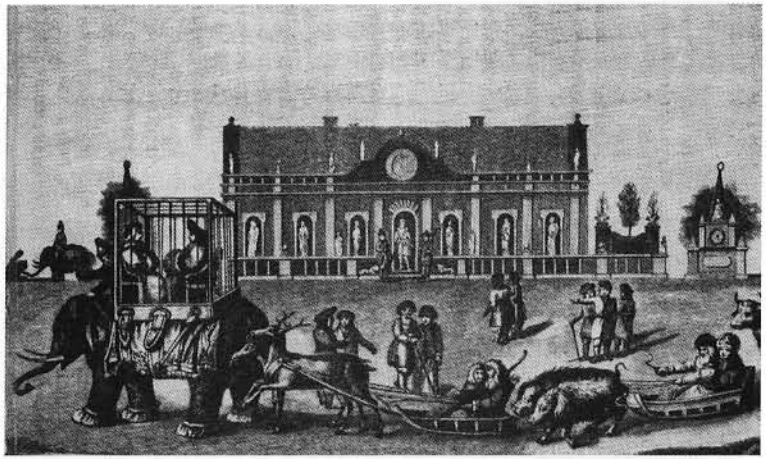
Кираса офицерская лейб-гвардии Конного полка с вензелем императрицы Анны Иоанновны.

Шествие слонов, присланных в подарок императрице Анне Иоанновне персидским шахом. *С акварели Воробьева.*



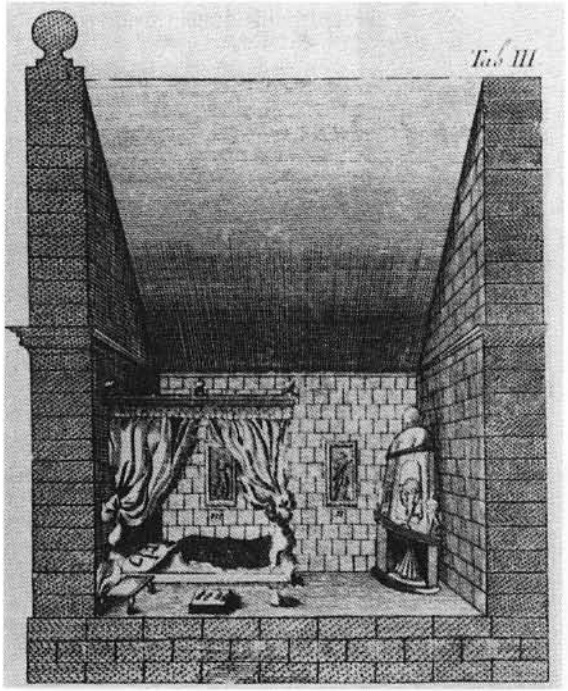
Вид реки Фонтанки близ устья и части Летнего сада с «Гротом». *С гравюры середины XVIII века.*





Свадебный кортеж направляется в Ледяной дом. *С рисунка 1740 года.*

Шуты при дворе Анны Иоанновны. *С картины К. Якоби.*



Интерьер Ледяного дома. Спальня.

Прорытие Ладожского канала. *С картины А. В. Моравова.*

Принцесса
Анна
Леопольдовна.

Принц Антон Ульрих
Брауншвейгский.

Император Иоанн VI Антонович.

Императрица Анна Иоанновна с арапчонком.
Скульптура Б. К. Растрелли. 1741.

Глава 7

В НЕДРУЖНОЙ СЕМЬЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ НАРОДОВ

Приход Анны Иоанновны к власти был воспринят в европейских столицах ведущих стран как факт несомненной политической стабилизации в России. Теперь все ждали оживления усилий Российской империи на внешнеполитической арене. Поэтому вопрос о сохранении или разрыве новым правительством заключенных ранее международных соглашений в первые месяцы царствования Анны оставался для западных наблюдателей самым важным. Кто станет главным партнером и союзником России — Австрия или Франция, Англия или Пруссия? Об этом думали многие дипломаты. Австрийский император Карл VI, заинтересованный в сохранении договора 1726 года, сразу же показал новой государыне свои добрые намерения — летом 1730 года безвестный ранее Э. И. Бирон стал имперским графом. Опытные австрийские дипломаты прекрасно понимали, что путь к сердцу императрицы пролегает через грудь ее фаворита, и поспешили украсить ее усыпанным бриллиантами портретом Карла VI. Но не дремала и французская дипломатия, умело боровшаяся с австрийским влиянием в Петербурге и использовавшая для этого разногласия придворных группировок. Главной целью французского поверенного в России Маньяна было устранение А. И. Остермана — основателя и ярого приверженца русско-австрийского альянса. Француз делал ставку на Миниха — принципиального противника имперцев. Как известно, в 1730—1732 годах влияние Миниха, благодаря поддержке Бирона, постоянно возрастало, и Маньян вел с Минихом активные переговоры о заключении русско-французского союзного договора, что должно было привести к разрыву русско-австрийского союза 1726 года. На какое-то время усилиями Бирона и Миниха

Остерман был исключен из этих переговоров, и во второй половине 1732 года Маньян был почти уверен в успешном завершении начатого им дела. Австрийцы, в свою очередь, понимали опасность отрыва России от союза. Летом 1732 года Миних доверительно сообщил Маньяну, что Карл VI направил Анне специальное послание, содержавшее «выражения настолько сильные, что они превосходили все вероятие: император заявляет в письме, что не только он никогда не отступит от обязательств, данных царице, но питает еще сильнейшее желание распространить полезное применение своего союза на все, что только может интересовать здешнюю государыню».

Это был очень сильный ход: Россия нуждалась в авторитетной поддержке при решении курляндского и многих других внешнеполитических вопросов. Французское правительство в своих меморандумах стремилось доказать русским бесперспективность дружбы с эгоистичной Веной, думавшей якобы лишь о том, как подчинить своему влиянию всю Европу. Но доказать это было довольно сложно: уж слишком разнились интересы России и Франции на юге. Для России не было там более серьезного соперника, чем Турция, и в этом она находила полное понимание у Австрии, тогда как французы традиционно дружили с османами и даже помогали им. Неслучайно Миних, дружески расположенный к Франции еще со времен своего пленения в Париже, сообщал Маньяну, что самым серьезным препятствием на пути русско-французского союза является турецкий вопрос, по которому у России и Австрии — полное единство, и обойти это препятствие почти невозможно. Нужно отдать должное и Бирону, который возражал профранцузски настроенному Миниху с общих позиций: для союза с Францией России предстоит изменить всю систему своих политических связей в Европе, а это, говорил он, «такая вещь, которой не следует делать, не разобрав хорошенько, могут ли преимущества, представляемые союзом с Францией, в достаточной мере уравновесить выгоды союза с императором». Маньяну не помогли и сто тысяч экю, которые были выделены на подкуп Бирона, — линия союза с Австрией оказалась сильнее, и в ноябре 1732 года Маньян был вынужден расписаться в своем бессилии, обвинив «лица, имеющие преобладающее влияние на волю и решения царицы», в том, что они «обнаруживают гораздо менее преданности собственным интересам этой государыни, чем интересам императора». Миних был убежден, что все решили австрийские деньги.

Как бы то ни было, после некоторых колебаний в правящих верхах России было принято единственно верное в тех условиях политическое решение — сохранить союзнические отношения с Австрией, общность интересов с которой проявилась в следующем, 1733 году не только в Причерноморье, но и в Польше. Год 1733-й начинался обыкновенно, не предвещая ничего из ряда вон выходящего. Листаешь страницы «Санкт-Петербургских ведомостей» и мало что заносишь в тетрадь для записей — обычные новости. Вот в номере 1-м за 1 января опять, как уже не раз прежде, — сообщение из Парижа: «Чреватство Ея величества Королевы знатно умножается, и вся королевская фамилия еще в вожделенном благополучии находится». Действительно — «еще». Отец будущего ребенка — Людовик XV — молод, ему всего 23 года. Восемь лет назад, в 1725 году, он женился на Марии Лещинской — дочери польского короля Станислава I, сторонника Карла XII, изгнанного из Польши войсками Петра I. Этот брак очень болезненно восприняли в Петербурге — ведь в жены Людовику XV прочили дочь Петра I, Елизавету, и брачные переговоры велись в течение нескольких лет. Однако предпочтение было отдано Марии. Впрочем, у каждого своя судьба. Елизавета станет императрицей, а Мария будет рожать и рожать детей (всего — девять), и среди них окажется тот мальчик, который, став королем Людовиком XVI, окончит свою жизнь 21 января 1793 года под ножом гильотины.

Но до этого еще далеко, и 22 января 1733 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщают, что по-прежнему «королева в своем чреватстве поныне еще благополучно находится и того ради для предосторожности себе кровь пустить велела». Это тоже обычный в тогдашней медицине профилактический прием. Чуть что — сразу звали цирюльника с медным тазом, скальпелем или банкой, полной извивающихся пиявок, и жертве пускали кровь. И в самом деле помогало — люди света в XVIII веке были неумеренны в еде, излишне тучны и полнокровны, и кровопускания действовали достаточно эффективно — улучшали самочувствие и аппетит. Смотрим газету далее. Вот в 11-м номере за 5 февраля вроде бы обычное сообщение: в Петербург приехал накануне тезоименитства Анны Иоанновны принц Антон Ульрих Брауншвейг-Бевернский. Да, это тот самый Антон Ульрих, который через шесть лет, в 1739 году, станет мужем Анны Леопольдовны, потом отцом будущего императора Ивана VI Антоновича, чтобы затем, пробыв несколько месяцев русским генералиссимусом, кануть в небытие и уме-

реть больным и слепым в холмогорском заточении, отсидев в тюрьме 32 года. Но сейчас на дворе февраль 1733 года; он молод и спешит в Петербург, чтобы успеть на праздник тезоименитства императрицы Анны, увидеть свою невесту — племянницу Анны Иоанновны, Анну Леопольдовну, и полюбоваться в праздничный вечер петербургским фейерверком. И действительно, принц успел вовремя и уже на следующий день был не только принят императрицей, но и с «высокою императорскою фамилиею за императорским столом публично кушал», сидя, вероятно, рядом с принцессой Анной. «Жених! Жених!» — шептались, глядя на него, собравшиеся гости. Если бы, разорвав время, мы вошли в этот зал и шепнули бы Антону Ульриху о будущем, которое его ждет, он, вероятно, поперхнулся бы, а потом покинул стол якобы «нужды ради» и бежал бы без оглядки, пока не достиг бы своего милого Брауншвейга.

Но это все наши досужие фантазии, оставим их и вернемся к газете... Фейерверки, приемы, малозначащие для будущего новости... Но вот наконец то, ради чего мы и листаем страницы официальной газеты.

Генеральная репетиция разделов Речи Посполитой

В «Прибавлении» к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 13 февраля 1733 года читаем: «Из Варшавы от 5 дня февраля. 1 дня сего месяца пришли все, а особливо саксонские подданные, здесь в великую печаль, как от двора сие нечаянное известие получено, что Его величество, всемилостивейший наш король, от имевшейся в левой ноге болезни, которую Его величество, едучи сюда, получил, в 10 часу поутру в 64 году своей хотя довольной, но еще долее желанной старости преставился.... Незадолго перед своею кончиною повелел Его величество своему верному камердинеру Петру Августу, родом калмыку, который ему прежде от российского императора блаженной памяти Петра Великого подарен был, у своей постели завес закрыть. Как с полчаса потом оный завес опять открыли, то нашли, что Его величество на левом боку уже мертв лежал».

Это была новость первостепенной важности — умер польский король Август II Сильный! — и в Петербург она пришла, конечно, раньше, чем была опубликована в газете.

В Польше королей выбирали, и конец 35-летнего царствования Августа II означал, как и всегда прежде, начало «бескоролевья», следовательно, отчаянной борьбы за власть над Польшей — борьбы, управлявшейся зарубежными дирижерами. Эти дирижеры находились в трех столицах: Петербурге, Вене и Берлине. Именно им с давних пор были небезразличны политические порядки в Польше. Именно они добровольно напросились в гаранты польской дворянской республики — Речи Посполитой, в гаранты тех свобод, о которых не мог и помыслить дворянин ни в России, ни в Пруссии, ни в Австрии. В этом-то и состояла хитрость политики в отношении польского политического строя: гарантировать не свободы, а анархию, не дать ни при каких обстоятельствах укрепиться в Польше сильной королевской власти, не допустить усиления польской государственности вообще. Ложные друзья польской демократии зорко стояли на охране ее незыблемости, ослабляющей государственность Польши, и использовали для этого все доступные им средства: подкуп, шантаж, разжигание национальной вражды, а при необходимости — вооруженное вторжение.

На этот раз для будущих союзников по трем разделам Польши ситуация была чрезвычайно сложная. Август II, он же курфюрст Саксонии, имел сына Фредерика Августа, который как кандидат на польский престол явно уступал уже известному нам Станиславу, жившему в изгнании во Франции. Смерть Августа II запустила необратимый механизм конфликта: у 56-летнего Станислава Лещинского, который уже успел побывать королем Польши в 1704—1711 годах, появился последний шанс вернуть себе корону, опираясь на поддержку своего могущественного зятя — Людовика XV и волю части польского шляхетства. Из Парижа 16 февраля сообщали: «Говорят, что кардинал Флери (глава дипломатического ведомства Франции. — *Е. А.*) чрез несколько дней в Шамборе был и там с королем Станиславом о зело важных делах разговаривал. Здесь ныне подлинно надеются, что помянутой король, которого сторону в Польше очень многие содержат, перед всеми компетентами (соискателями. — *Е. А.*) польской короны, которые бы ему в том спорить не могли, первенство иметь будет». А уже 20 февраля тот же парижский корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» писал: «Здесь слух носится, будто король Станислав, услышавши о смерти польского короля Августа, тотчас в Варшаву на почтовых поехал. Между тем еще и поныне надеются, что сей король в Польше многих его сторону содержащих особ иметь будет, которыя всячески потщатся ему ныне праздный польский престол изходатайствовать».

Информатор петербургской газеты был прав: Франция намеревалась поддержать Станислава исходя не только из родственных чувств своего короля, но и из своих имперских интересов, требовавших вмешательства в спор «трех черных орлов» за влияние в Польше. Станислав действительно под видом купеческого приказчика устремился (правда, лишь несколько месяцев спустя) в Польшу, где его с нетерпением ждали: на его стороне было большинство польской шляхты и многие из сенаторов во главе с временным властителем государства — примасом, архиепископом Гнезно Федором Потоцким. Благодаря его усилиям конвокационный (избирательный) сейм в конце апреля принял решение о том, что королем отныне может стать только католик и только природный поляк. Тем самым перед Станиславом расстилалась ковровая дорожка к вратам собора Святого Яна, где венчали на царство польских королей. И на эту дорожку уже не могли ступить ни курфюрст Саксонии, ни любой другой заморский претендент. Но судьба Польши решалась уже не в Варшаве. Между Веной, Петербургом и Берлином и их представителями в Варшаве начались интенсивные переговоры: каждый из «гарантов» польской демократии стремился урвать от слабеющей Польши кусок покрупнее. Жадная до чужих земель Пруссия хотела от Польши территориальных уступок, Анна и ее любимый обер-камергер — отказа будущего польского короля от влияния в Курляндии, у Австрии были свои аппетиты. Фигура Станислава как преемника Августа II на польском престоле была абсолютно неприемлема для Австрии и России. На заседании Кабинета министров 29 июня 1733 года о Станиславе было сказано недвусмысленно жестко: «Русскому государству отъявленный неприятель, так тесно связан с французскими, шведскими и турецкими интересами, что, кроме злых поступков, ожидать от него ничего нельзя». Это был приговор, кассации не подлежащий. И хотя союзники решить свои споры не смогли и прусский король, обидевшись на «товарищей», заявил о своем нейтралитете в надвигавшемся конфликте, машина подавления Польши уже начала действовать: примасу была направлена грамота российской императрицы Анны с полагающимися к случаю словами. В грамоте говорилось: «Понеже вам и всем чинам Речи Посполитой давно известно, что ни мы, ни другие соседние державы избрания оного Станислава или другого такого кандидата, который бы в той же депенденции (зависимости. — *Е. А.*) и интересах быть имел, в которых оный Станислав находится (намек на французское влияние. — *Е. А.*), по верному нашему благожелательству к Речи Посполитой и к содержанию оной покоя и благополучия, и к собственному в том имеющемуся натуральному великому интересу, никогда допустить не можем, и было б к чувствительному нашему прискорбию, ежели бы мы для препятствования такого намерения противу воли своей иногда принуждены были иные действительные способы и меры предвосприять». В последних словах — явно угрожающее рычание!

Впрочем, как все напоминает прошлое — совершенно так же за 36 лет до этого, после смерти короля Яна Собеского в Польше образовалось бескоролевье. Тогда, 31 мая 1697 года, Петр I послал примасу Радзиевскому грамоту, в которой говорилось: «Мы, великий государь, Наше царское величество, имея ко государям вашим, королям польским, постоянную дружбу, так же и к вам, паном раде и Речи Посполитой, такого короля с французской и с турской стороны быти не желаем, а желаем быти у вас на престоле королевства Полскаго и Великаго княжества Литовского королем... какова народу ни есть, толко б не с противной стороны». Корпус Михаила Ромодановского, перешедший осенью того года русско-польскую границу, предопределил результаты выборов: на престол был возведен Август II — отец кандидата на польский трон 1733 года.

События развивались по сценарию 1697 года. Уже 22 февраля 1733 года, когда в Париже собирали слухи о том, куда поехал и с кем разговаривал Станислав, состоялось расширенное заседание Кабинета министров Анны Иоанновны, Сената и генералитета, на котором было решено, что ни Станислава, ни любого другого кандидата, связанного с Францией, Швецией и Турцией — тогдашними врагами России, допускать к престолу никак нельзя, и если русскому послу в Варшаве Р. Г. Левенвольде и посланному к нему на помощь его брату — обер-шталмейстеру Карлу Густаву Левенвольде в деле «отвращения» поляков от Станислава не помогут деньги, то следует применить вооруженную силу и для этого «без опущения времени» подтянуть к границе двадцать восемь полков регулярной армии и одновременно готовить к походу другие войска. Причина подобного решения была проста, как и многие другие причины, приводившие Империю в движение: действие принципа «influence legitime» («законного вмешательства»), понимаемого как непреложное право Российской империи, исходя из собственных представлений о безопасности, активно вмешиваться в дела соседей, ограничивая их суверенитет. Так поступали все тогдашние империи, так действовала и Россия. Но по-

вод для вторжения был весьма цинично-благороден — «защита польской конституции».

Россия была решительнейшим образом настроена против Станислава. Французский поверенный Маньян в своем донесении в апреле 1733 года отметил необычную для флегматичного канцлера Головкина резкость, как только зашла речь о Станиславе. «О! что касается Станислава, — отвечал канцлер... даже довольно резким тоном, — он не может претендовать на избрание, это невозможно, нет, это невозможно», — повторил он трижды, качая отрицательно головой». В решении Кабинета министров о начале интервенции указывалось, что Станислав «по правам польским объявлен изгнанником и никогда не прощаемым врагом своего отечества, следовательно, может быть выбран в короли не иначе как с насильственным ниспровержением польских прав и конституций, а России крайне нужно не допускать их до нарушения, ибо если эти конституции нарушатся, то могут быть нарушены и другие, постановленные в прошедшую шведскую войну и касающиеся до России». Более того, начались, как это часто бывает в такой обстановке, провокации и политический маскарад: в Петербурге была получена декларация некой анонимной группы «доброжелательных», которые, не указывая публично своих имен, «объявляли, что ввиду опасностей, которые грозят правам и вольностям отечества со стороны Франции и ее приверженцев... они, доброжелательные, обращаются к союзным державам с просьбой о защите драгоценнейшего сокровища Польши — права свободного избрания короля». Далее анонимы уверяли Россию и мир в своем бескорыстном патриотизме и желании избрать в короли достойнейшего, и «кого даст нам Бог, будет ли это Пяст (то есть природный поляк. — *Е. А.*) или чужестранец». Последнее слово, как белая нитка, поясняет, кто был «закройщиком» этой декларации. Почти сразу же стало ясно, что польское общество, несмотря на огромный авторитет Станислава, не будет единым и часть гонимых честолюбием и корыстолюбием польских вельмож выступит под тем или иным предлогом против избрания Станислава. Так и случилось. К тому же удалось разжечь давний антагонизм польской и литовской знати, ибо последняя с древних времен чувствовала свою ущемленность в Польско-Литовском государстве.

31 июля 1733 года русский корпус под командой генерала П. Ласси вторгся через Курляндию в Польшу. Другой корпус под командой генерала А. Загряжского вступил в Литву со стороны Смоленска. Только 20 сентября, преодолевая страшную грязь осенних дорог, корпус Ласси вышел наконец к Праге — предместью Варшавы на правом берегу Вислы. В середине августа в Польшу вторглись и австрийцы — словом, почти все ложные друзья польской демократии были в сборе. Как ни спешил Ласси, он опоздал — в Польше уже был законный король — Станислав, избранный на рыцарском Коле 11 сентября. Это были, в сущности, последние свободные выборы короля в истории Польши. Зрелище само по себе было грандиозное — на огромном поле собрались шестьдесят тысяч полностью вооруженных, блистающих доспехами, гремящих оружием всадников, которые горячили своих прекрасных коней. Примас и сенаторы объезжали ряды шляхты — бóльшая часть воинов отдала свои голоса за короля Станислава. Примас произнес: «Так как Царю царей было угодно, чтобы все голоса единодушно были за Станислава Лещинского, я провозгласил его королем Польским, великим князем Литовским и государем всех областей, принадлежащих этому королевству...» Впрочем, и это королевское избрание, как и все другие, не обошлось без патетических сцен. Приверженцы Станислава рассказывали, что, когда все были согласны провозгласить короля, один только шляхтич Каминский из Волыни произнес роковое слово — «вето!». «Чтобы отсрочить провозглашение, он повергал в опасность свое отечество и уничтожал силу голосов, поданных целой нацией. Его просили, его умоляли, все было напрасно. Ему представляли, что следующие два дня — праздники и что нужно приступить к решительным действиям против русских. Наконец он уступил просьбам и сообразовался с общим желанием». Короля Станислава I повели в церковь Святого Яна в Варшаве, где состоялся торжественный молебен.

Справедливости ради отметим, что выборы на Коле не были единодушными — часть сенаторов и четыре тысячи всадников откололись от общей массы и ушли за Вислу — в Прагу, дожидаться русских. Напрасно примас призывал их быть вместе с большинством — раскол стал неизбежен, и 22 сентября пóд «сенью дружеских штыков» 20-тысячной армии Ласси была составлена конфедерация, а еще через два дня на поле у Грохова, что неподалеку от Праги, польским королем был единодушно избран саксонский курфюрст, сын покойного короля, ставший Августом III. Все повторилось, только в обратном, «перевернутом» виде: в 1704 году, вопреки воле большинства, тоже «под сенью дружеских штыков» — только шведского короля Карла XII — польским королем почти так же стал сам Станислав. Разница была

только в том, что у его соперника Августа II в 1704 году было гораздо больше шансов победить, чем у Станислава в 1733-м. Тогда за Августом стояли собственная саксонская армия, а также специально присланный на помощь русский экспедиционный корпус. Теперь же, в 1733 году, за Станиславом ничего, кроме моральной поддержки шляхты, не было — боеспособность польского дворянского войска была на весьма низком уровне, и мужество легкой конницы против превосходящих сил регулярной армии помогало мало. Поэтому Станислав рассчитывал только на помощь своего зятя, точнее — на его адмиралов, которые с весны готовили в Бресте эскадру с десантом. Не рискуя оставаться дольше в Варшаве, Станислав «во всякой скорости» направился на побережье Балтики, где в сильно укрепленном Гданьске (Данциге) стал дожидаться прибытия французов. Намерения Станислава прекрасно поняли в Петербурге, и Ласси сразу же после занятия Варшавы получил указ немедленно двигаться к Гданьску, ибо «наиглавнейшее дело состоит в том, чтобы неприятелем и Станиславу времени к усилению не дать... дабы оный город к высланию Станислава и к даче надлежащей сатисфакции в противных поступках принудить». И опять — в который уже раз! — несчастная Польша стала ареной войны, анархии, столкновения враждебных группировок шляхты.

Трещали чубы, как всегда, у холопов: указом императрицы 5 ноября 1733 года Ласси было предписано: «Смотреть лучшее содержание Нашего войска и чтоб особливо кавалерия, как лошадьми снабжена, так и в прочем, на иждивении противников войско Наше в доброе состояние приведено быть могло». Официально же в печати общественность заверяли, что «живет здесь (то есть в Польше. — *Е. А.*) помянутое войско своими собственными деньгами, не чиня никому никакого отягощения». Все было как раз наоборот! Исправно исполнялись и указы о вывозе в Россию беглых русских крестьян, осевших за польской границей. За ними началась подлинная охота, причем русские помещики, самовольно переезжая русско-польскую границу, не только ловили своих крепостных, но и чинили грабежи. Как сообщал Сенат в Кабинет, помещики «приезжают... в шляхетские местности и оныя разоряют и имения их грабят, якобы за оставшие пожитки их беглых крестьян». Естественно, все это встречало сопротивление разрозненных отрядов польских партизан, вооруженных «косами, гелебардами и другими подобными инструментами», и шляхетского ополчения. Поляки убивали фуражиров и оторвавшиеся от крупных соединений небольшие группы русских солдат. Русское командование действовало в ответ беспощадно. Вот описание одной из типичных стычек зимой 1734 года под селением Корселец: польские стрелки были атакованы казаками и драгунами и командир отряда «выехал... навстречу великою рысью и, подбегая к ним, первой огонь у стрелков очюнь рано выманил, так, что они для далекаго расстояния ни одного человека у казаков не повредили. Однако ж они (то есть казаки. — *Е. А.*) вскоре после сего огня прямо в город назад поскакали и тем стрелков к хищению (то есть к преследованию. — *Е. А.*) побудили. Сего ради помянутые стрелки, надеясь, будто они выиграли, прямо к городу приближались, а того не усмотрели, что российской подполковник мост при мелнице сломал и им дорогу в лес, откуда они вышли, пресек. Казаки со своими копьями построились против стрелков, а подполковник своим драгунам от них вторично огня ожидал, после которого оне, слезши с лошадей, по них выстрелили, что оным стрелкам так чувствительно учинилось, что они в бегство обратиться помышляли, однако ж казаки им в том сильное препятствие учинили потому, что они все места, где убежать можно было, захватили, от чего напоследок принуждены были в житницы уйти...».

Как мы видим, опытный в военном деле русский драгунский подполковник сумел выманить поляков из леса, спровоцировать на поспешный неэффективный залп и окружить. А дальше все было просто: «Из оной [житницы] оборонялись стрелки чрез некоторое время стрелянием, однако ж потом как драгуны и казаки житницы вкруг обступили, то они в разных углах оныя житницы зажгли, причем не захотевшие сгореть от казаков копьями переколоты. Еще ж там примечено было, что два стрелка, увидя своих товарищей заколотых, перекрестясь, опять в огонь побежали и во оном с своими товарищами сгорели... В то же время, как еще житницы горели, случилось, что один гренадер из драгун вышедшаго из оных старого седого стрелка примкнутым штыком подхватил и его многократно так жестоко колол, что весь штык изогнулся, однако ж он его нимало повредить не мог, чего ради он своего офицера призвал, которой его сперва по голове несколько раз палашом рубил, а потом в ребра колол, однако ж и тот его умертвить не мог, пока напоследок казаки большими дубинками голову ему так разрубили, что из оной мозг вышел, но он и тут долго жив был».

Предложим вниманию читателя еще одно сообщение: «При м[естечке] Томашеве. В м. Томашев, занятое сильною партиею инсургентов, была двинута из Замосцья подвижная

колонна, при которой состояло одно орудие... По прибытии к Томашеву из отряда были высланы две сотни казаков, которые обложили местечко справа и слева. Чтобы привести мятежников в смущение и облегчить пехоте возможность выбить их из Томашева, было произведено из орудия два выстрела обыкновенными гранатами в дома, занятые мятежниками под казармы, от одного из этих выстрелов загорелась казарма. Затем, когда значительная часть мятежников бросилась по юзефовской дороге, они наткнулись на штуцерный казачий взвод, остановились и завели с ним перестрелку. Из орудия сделан был еще один выстрел обыкновенной гранатою, от разрыва которой они разбежались и направились к таможне с целью пробиться к австрийской границе, но, встреченные там казаками, мятежники почти все погибли; оставшиеся в казармах надеялись удержаться, но пехота взяла казармы штурмом и уничтожила мятежников». Последнее сообщение не есть перевод какого-нибудь иностранного текста, как может показаться внимательному читателю. Это цитата из газеты «Северная пчела» за субботу 8 июня 1863 года. Кажется, целая вечность пролегла между «Санкт-Петербургскими ведомостями» за 11 января 1734 года и «Северной пчелой» за 8 июня 1863 года: изменился русский язык, изменился шрифт и формат газеты, минимум четыре-пять поколений сменили друг друга в Польше и в России, а в отношении к польскому народу не изменилось ничего — так схожи эти, разделенные 129 годами, статьи, так схожи ситуации, взгляды и поступки. Но если бы сопоставлением 1734 и 1863 годов можно было закончить эту кровавую хронологию....

В начале 1734 года Ласси, заняв Торунь, подошел к стенам Гданьска. Но войск у него для осады сильной крепости было недостаточно, так как бóльшую часть армии пришлось оставить в районе Варшавы и в Литве для подавления сопротивления конфедератов. К тому же у Ласси не было осадной артиллерии. Она прибыла лишь весной вместе с 10-тысячным корпусом Августа III, который короновался 17 января 1734 года в Варшаве. Вскоре прибыл под Гданьск и фельдмаршал Миних, которому было поручено быстро завершить осаду и подавить сопротивление сторонников Станислава, чего не смог сделать Ласси. Миних сразу же взялся за «правильную» осаду Гданьска, начав с обстрела города и захвата фортов, связывающих город с берегом моря и гаванью Вейсзельмюнде. Если форт Зоммельшанц был взят без особых потерь, то штурм форта Гагельсберг провалился из-за нераспорядительности командующего: штурмующие

колонны русских бесполезно простояли под огнем противника три часа и потеряли свыше двух тысяч человек. Наконец показалась французская эскадра, и 16 мая французские солдаты начали десантироваться с кораблей. Однако Миних к этому моменту подготовился хорошо, и двухтысячный десантный корпус бригадира Ла-Мотта де ла Пейруза, беспрепятственно высадившийся на кромку прибоя, не сумел прорваться к городу и был оттеснен в Вейсзельмюнде. В «Санкт-Петербургских ведомостях» от 27 мая об этом сообщалось следующее: «Сего дня поутру в 9 часу атаковали французы с великою жестокостью из Вейсхелминдских шанцов наши транжементы и притом учинили данцигские жители из города вылазку с 2000 человек, которые при себе и пушки имели. Сколько французов числом было, того подлинно не знают, понеже они из густаго леса выходили. Как они уже близко к нашему транжементу подступили, то застрелен в самом начале их командир, которого по находившемся на нем кавалерском ордене узнали. С нашей стороны при сей акции очень мало побито, а из штаб- и обер-офицеров — никто. В лесу найдено много мертвых французов, и понеже наши до самых Вейсхелминдских шанцов за ними гналися и никого не щадили, то многое число от них в погоне побито. Полковник Лесли, который нашими командовал, получил легкую рану, а лошадь под ним застрелена. Как из наших пушек по тем стрелять начали, которые французам на вспоможение из города вышли, то оные, не зделав ничего, в город возвратиться принуждены были». Так закончилась самая серьезная битва этой войны.

В начале июня к устью Вислы подошла русская эскадра, а французский флот, испытывавший нехватку продовольствия и боеприпасов, снялся с якоря и ушел в море. Гданьск, таким образом, был обречен, и, по мнению многих, «обстоятельства города Данцига показывают, что он скоро печальный конец возымеет». Действительно, 12 июня французы сложили оружие в Вейсзельмюнде, а 28-го сдался и сам город. Но Миних был недоволен победой: «птичка», ради которой все это было затеяно, улетела. «Станислава найти еще не могли, — пишет корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей», — и некоторые заподлинно объявляют, будто он на мужицкой телеге через Мариевердер проехал». Так и было — переодевшись в крестьянское платье, Станислав укрылся во владениях прусского короля. И хотя, как продолжает газета, «подлой народ очень хвалился храбро учиненною обороною, но разумнейшие о том весьма сожалеют, что они на обещания французского двора надеялись и оттого в

великое разорение пришли». «Разумнейшим» можно было посочувствовать — Франция бросила на произвол судьбы тестя своего короля и вставших под его знамена жителей Гданьска. Теперь им пришлось расплачиваться за гостеприимство: Миних, обозленный на город за бегство Станислава, наложил на жителей тяжелейшую контрибуцию в миллион ефимков; во столько же было оценено и само бегство Станислава, да еще 30 тысяч червонцев взыскали с жителей за... колокольный звон во время осады. Депутация знатных горожан отправилась в Петербург просить прощения у Анны за содеянное.

Весна и лето 1734 года ушли на утверждение власти Августа III в Польше. Русские войска усмиряли сторонников Станислава, «побивая» мелкие «партии» противников России и Августа III, налагали контрибуции, вылавливали беглых русских крестьян. Немало хлопот русскому командованию доставляла легализация власти Августа, его признание сеймом. Летом 1734 года Миних получил распоряжение Анны, чтобы местные «сеймики надлежаще прикрыты и доброжелательные на оных защищены, при том же и всякое попечение и потребные способы в такой силе употреблены были, чтоб оные сеймики чрез интриги и старательства злонамеренных не разорваны, но подлинно б состояться и на оных такие депутаты избраны быть могли, которые к королю и к истинному благополучению своего отечества совершенно склонны были, о чем бы ко всем генералам и командирам наикрепчайше подтвержить».

После Гданьска часть русских войск направилась из Польши в Силезию — австрийцы, согласно договору 1726 года, потребовали от Анны Иоанновны вооруженной помощи в начавшейся сразу после вторжения в Польшу австро-французской войне. Война эта протекала неудачно для австрийцев, потерпевших поражение от французов при Парме. Поэтому русское правительство сочло необходимым «еще знатный корпус на помощь (Австрии. — *Е. А.*) отправить». В середине августа 1734 года Ласси соединился с австрийской армией принца Евгения Савойского, но воевать им не пришлось: начались мирные переговоры, и осенью 1735 года был заключен временный франко-австрийский мир. Четыре года спустя Франция признала Августа III. Станислав отказался от претензий на польский трон, и его честолюбие было удовлетворено тем, что он стал герцогом Лотарингским. События польской кампании постепенно сходят со страниц всех европейских газет, в том числе и «Санкт-Петербургских ведомостей». Что же касается Станислава Лещинского, то

скажем, что несчастный неудачник — дважды король — принял ужасную смерть в глубокой старости. Как-то раз, в 1766 году, он задремал у камина и не заметил, как от случайной искры загорелось его платье. Объятого пламенем старика спасти не удалось...

Слезы Бахчисарая, или «Срамной мир»

Не успели замолкнуть пушки под Гданьском и Варшавой, как артиллерийская канонада загремела за тысячи верст от балтийского Поморья и Вислы — сразу же после русско-польской войны началась русско-турецкая война, которая растянулась на пять лет (1735—1739 годы). Это было второе в XVIII веке вооруженное столкновение двух соседних империй. А всего за двести лет противостояния — с 1676 по 1878 год — кровь русских и османских солдат текла по земле в одиннадцати войнах в общей сложности более тридцати лет! Это была отчаянная, беспощадная борьба за властвование над Черным морем и Балканским полуостровом, за владение территориями и зонами вассального влияния вдоль Черноморского побережья, за победу одних религиозных принципов над другими. Одна сторона воевала против «неверных» за расширение земель, подвластных «сынам ислама», а другая стремилась изгнать «басурман» — «врагов Креста Господня» из Константинополя в «пустыни аравийские». Война времен правления императрицы Анны и султана Махмуда I стоит в длинном ряду таких войн. В этом столкновении, как и в других, ему подобных, Россия вынашивала грандиозную имперскую мечту, отлитую позже в формулу «Крест на Святую Софию» — то есть восстановление христианства в турецкой столице, которую в России упорно продолжали называть Константинополем, хотя уже для десяти — двенадцати поколений турок это был Истамбул. (Замечу в скобках, что не известно точно, когда в русской дипломатической переписке Стамбул перестали называть Константинополем. То, что название Константинополь применительно к столице Турции не исчезло из научной литературы до сих пор, — установленный факт.) В конечном счете Россия претендовала на установление военного и политического господства над Проливами — Босфором и Дарданеллами — важнейшим стратегическим рубежом между Европой и Азией. Но имперская мечта о приобретении «ключей Востока», волновавшая российских правителей от Петра Великого до Иосифа Сталина, так и осталась мечтой — слишком сложный клубок противоречий и интересов других

европейских империй затрагивало неприкрытое намерение России встать твердой ногой в Проливах, слишком серьезное и дружное сопротивление оно встречало. Реальностью же были бесконечные кровопролитные сражения одиннадцати русско-турецких войн, тяжелейшие переходы русской армии по враждебной выжженной степи и топким плавням Северного Причерноморья и Приазовья. Именно такой и была война 1735—1739 годов. Впрочем, историки до сих пор спорят о том, какую дату считать началом войны, ибо Россия вторглась в турецкие пределы в 1735 году, а войну формально объявила лишь в следующем — 1736-м.

Истоки этого конфликта — в истории взаимоотношений России и Османской империи на Среднем Востоке и в Прикаспии. Как известно, по договору 1724 года Россия разделила с Турцией бывшие владения Ирана: Турция гарантировала России территории на западном и южном побережьях Каспия, завоеванные Петром I в ходе Персидского похода 1722—1723 годов, а Россия признала турецкие владения в Восточном Закавказье и Западном Иране. Пять лет русские гарнизоны стояли на западном и южном берегах Каспия, в новых заморских провинциях империи. После смерти Петра Великого Россия отказалась от попыток продвижения на Средний Восток и далее — в Индию и выполняла главным образом генеральное указание покойного императора о том, чтобы захваченные территории Мазандарана, Гиляна и Астрабада «в полное владение и безопасность привесть», «оныя все укрепить», а «бусурманов в тех провинциях пристойным образом убавливать и населять христиан» — русских и армян. Однако к началу 1730-х годов стало ясно, что не только освоение, но и удержание прикаспийских провинций непосильно для России. Местность, приобретенная по соглашению с Ираном в 1723 году, оказалась настоящим земным адом. До сих пор у иранского народа жива пословица: «Если ищешь смерти, езжай в Гилян». Тигры, которые в изобилии водились в камышовых зарослях и болотах Мазандарана и Гиляна, были сущими ангелами в сравнении с тучами мошкары и малярийных комаров, терзавших людей днем и ночью. Жаркий, невыносимо влажный климат, плохая питьевая вода, враждебное население — все это вело к гибели тысяч русских солдат и огромным материальным затратам на содержание без дела стоявших войск. Правительство Анны не прочь было избавиться от тяжкого груза петровского наследства, и единственное, что удерживало его от такого шага, — боязнь, что Иран, ослабленный в 1720-е годы одновременным вторжением русских с севера, турок с запада и

воинственных афганских племен с востока, не сумеет удержать в руках прикаспийские территории и они достанутся Турции. А усиления Турции и в этом районе Россия, разумеется, не хотела.

Но к середине 30-х годов XVIII века обстановка в Иране как-то стабилизировалась, и этим сразу воспользовалось русское правительство. 10 марта 1735 года Россия и Иран подписали Ганджийский договор, по которому Иран без обременительных условий получал назад свои северные территории, завоеванные во время Персидского похода 1722—1723 годов ценой гибели тысяч русских солдат. Уступки России взволновали Стамбул, который тут же посягнул на наследство Петра Великого. Весной 1735 года крымский хан — вассал султана — получил из Стамбула фирман (указ), согласно которому двинул свою орду из Крыма через Кавказский хребет в Западный Прикаспий, чтобы закрепить его за Турцией. На пути к Каспию татары прошли через Кабарду — спорное владение России и Турции. Это, равно как и столкновения татар с русскими гарнизонами на Северном Кавказе, резко обострило ситуацию. Тем временем вовсю шла тайная война. В январе 1736 года Анна послала указ главнокомандующему на Украине князю Шаховскому, в котором говорилось, что по сведениям, полученным из Турции, османский вассал молдавский господарь по заданию турок «посылает в земли Наши шпионов более 100 человек, а в Нежине и корреспондентов из греков, тамошних жителей имеет и что те шпионы ходят, иные под видом монашеским или и монахи». Предписывалось усилить наблюдения на форпостах и «прилежно чрез всякие способы искусным образом таких шпионов присматривать и сыскивать надежным людям тайно».

Быть может, конфликт бы и не дошел до войны, если бы не два обстоятельства. Во-первых, в памяти россиян жил позорный Прутский поход 1711 года, когда Петр, окруженный превосходящими силами турок, был вынужден заключить унизительный для полтавского победителя мир, по которому Россия уступила туркам Азов и Таганрог, уничтожила с такими трудами построенный Азовский флот и портовые сооружения, обязалась оставить в покое Польшу. Поражение на Пруте отрицательно отразилось на репутации России среди балканских народов, видевших в русских освободителей от османского ига. «Пруцкой трактат был великой вред и бесчестие нашему государству», — говорилось в указе Анны Иоанновны. Мечта о реванше не оставляла русских правителей, а уязвленное имперское самолюбие не могло

вынести малейшего намека на новое унижение со стороны Турции. Масло в разгорающийся огонь конфликта подливала и подстрекательская деятельность русских дипломатов в Стамбуле. Русский резидент Иван Неплюев и его помощник Вешняков сделали все возможное, чтобы убедить свое правительство в необходимости и возможности войны со страной своего аккредитования. Редкое их донесение в Петербург не содержит призыва — вооруженной рукой «укротить турка», воспользоваться затянувшейся ирано-турецкой войной и, не дожидаясь заключения мира между Ираном и Турцией, напасть на последнюю. «Представляю высокомудрому соизволению Вашего величества, — убеждал Анну резидент Неплюев, — заблаговременно принять меры к укрощению этих варваров, чтоб, не выпустив их из персидской войны, привести в резон и Российской империи покой доставить». А вот другое его письмо: «При таком благополучном случае от Вашего величества зависит смирить турецкую гордость, ибо они при вступлении хотя малого русского корпуса в их землю принуждены будут у Вашего величества мира просить... если на конечную свою гибель не ослепнут».

Но здесь уместно небольшое отступление. Читая послания Неплюева, нельзя не отметить очевидного их сходства — по смыслу и по духу — с посланиями русского представителя в Иране Артемия Волынского перед Персидским походом Петра I в 1722—1723 годах. Волынский так же многословно и напористо убеждал Петра немедленно начать войну против южного соседа, вынужденного бороться с сонмом других врагов. Волынский писал о крайней слабости Ирана, о том, что «не великих войск сия война требует», ибо против русских будут «не люди — скоты» и «войску можно идти без великого страха, только б была исправная амуниция и довольное число провианта». На самом же деле Персидский поход оказался очень трудным и кровопролитным. Неплюев как будто списывал свои донесения Анне с донесений Волынского Петру. И этому не следует особенно удивляться — так бывало в русской политике на Востоке много раз: в европоцентристском имперском сознании прочно сидел стереотип превосходства «белого человека», основанный на пренебрежении к «дикому», «варварскому» Востоку, который может легко покорить вооруженный европейский «цивилизатор». Кажущийся хаос и нелогичность жизни Востока, незнание и непонимание традиций и обычаев восточных народов всегда создавали иллюзию возможности легкой и быстрой победы европейцев над неорганизованными «толпами» азиатов: поколения русских дипломатов, государственных деятелей и генералов думали о Востоке так же, как Волынский или Неплюев. Отметим и еще одну любопытную особенность: Турцией владел точно такой же синдром превосходства по отношению к русским; она точно так же не воспринимала Россию как серьезного соперника и была уверена в своей легкой победе, особенно после сражения на Пруте в 1711 году. Как сообщал из Стамбула русский резидент, «Порта Россию очень легко ценит, помня прутские дела». Свое давление на русское правительство Неплюев особенно усилил весной 1735 года, когда стало известно, что хан с ордой уходит на Кавказ и оголяет Крым, позволяя тем самым полуостров «смирить и привести в резон».

16 июня 1735 года состоялось расширенное заседание Кабинета министров, на котором было решено одну часть войск двинуть в Крым — «для диверсии», а другую срочно готовить к осаде и взятию турецкой крепости Азов. Командующий русскими войсками на южной границе генерал Вейсбах получил указ о срочной подготовке армии к походу в Крым, но войска сумели двинуться в поход только в начале октября. Русские под командой генерала Леонтьева даже не дошли до Перекопа и, подобно воинству Василия Голицына, который дважды — в 1687 и 1689 годах — неудачно пытался завоевать Крым, были вынуждены повернуть назад. Отбивая татарские наскоки, преодолевая великие грязи и дожди, а потом снега и морозы, потеряв огромное количество людей и бóльшую часть лошадей, армия с позором вернулась на исходные позиции. В Бахчисарае и Стамбуле торжествовали — прутская репутация русской армии, не способной воевать на юге, была с блеском подтверждена.

После этого фельдмаршал Миних начал уже серьезную подготовку к будущей антитурецкой кампании. Прежде всего он послал Бирону и — следовательно — императрице Анне письмо, озаглавленное «Генеральный план войны». Читатель немного знаком с характером «столпа отечества» и помнит о присущей ему амбициозности. И все же обратим внимание на тон письма и грандиозность планов завоеваний, подобных тем, с которыми Россия не может расстаться на протяжении столетий.

Миних разбил всю будущую войну на четыре этапа — кампании: «Год 1736. Азов будет наш; мы овладеем Доном, Днепром, Перекопом, землями ногайцев между Доном и Днепром вдоль Черного моря, и, если будет угодно Богу, сам Крым отойдет к нам. Год 1737. Ея императорское величество полностью подчинит себе Крым, Кубань и присоеди-

нит Кабарду. Она станет владычицей Азовского моря и гирл от Крыма до Кубани. Год 1738. Ея императорского величества без малейшего риска подчинит себе Белгородскую и Буджакскую орды за Днепром, Молдавию и Валахию, стонущие под турецким игом. Греки спасутся под крылами Российского орла. Год 1739. Знамена и штандарты Ея императорского величества будут водружены... где? — в Константинополе. В самой первой, древнейшей греко-христианской церкви, в знаменитом восточном храме Святой Софии в Константинополе, она будет коронована как императрица греческая и дарует мир... кому? — бесконечной Вселенной, нет — бесчисленным народам. Вот — слава! Вот — Владычица! И кто тогда спросит, чей по праву императорский титул? Того, кто коронован и помазан во Франкфурте или в Стамбуле?» Нетрудно догадаться, кому предстояло быть первым сановником у трона повелительницы Вселенной, — конечно, ему — великому полководцу и герою и, возможно, генералиссимусу, Миниху, имя которого должно было приводить в трепет басурман всего мира. Заодно, как следует из последней фразы «Генерального плана», удалось бы крепко насолить ненавистным австрийцам, чей повелитель был коронован императором Священной Римской империи германской нации всего лишь в каком-то Франкфурте.

Весной 1736 года Миних с великим рвением приступил к исполнению своего романтичного проекта. Его энтузиазма не испортило даже «Рассуждение» Кабинета министров от 23 марта 1736 года, в котором крымская экспедиция рассматривалась как весьма серьезная и опасная затея. Кабинет-министры Остерман и Черкасский, прекрасно помнившие, чем закончились предыдущие походы на Крым, писали: «Армия принуждена будет идти несколько сот верст степью, и притом такими местами, где, кроме весьма немногих колодезей, никакой воды не имеется, она должна будет везти за собой провиант и весь запас для лошадей», так как рассчитывать на добычу припасов в самом Крыму не приходилось.

Но упрямый и самонадеянный Миних, знавший о Крыме не из рассказов профессиональных разведчиков, но от случайных людей и легкомысленных запорожцев, известных своим хвастливым письмом к турецкому султану, ожидал найти на полуострове несказанные запасы продовольствия и фуража и был убежден, что «ныне к стороне Ея императорского величества конъюнктуры состоят», а «турки от российского войска не в малом страхе состоят». По плану Миниха военные действия должны были открыться сразу на

двух фронтах — против Крыма и против Азова в устье Дона. Две группировки должны были ударить по турецким владениям с двух направлений — с северо-востока и северо-запада. Донской армией, насчитывавшей около 30 тысяч человек, командовал фельдмаршал П. П. Ласси, которому пришлось со своим корпусом проделать огромный путь из Австрии к низовьям Дона. К началу военных действий и сам Миних прибыл к месту сосредоточения русской армии — в крепость Святой Анны, расположенную на Дону выше современного Ростова. Узнав об этом, азовский паша Мустафа-Ага выслал уполномоченных, которые передали Миниху послание паши, просившего подтвердить мирные намерения русского правительства и его верность заключенным ранее мирным трактатам. Вот где пригодился политес нашего героя, очаровавшего турецкого офицера радушным приемом и обещаниями вечного мира!

И тут же в ночь с 19-го на 20 марта русские отряды атаковали первые укрепления Азова. Война началась. Поручив командование Ласси, Миних срочно уехал в Царицынку — главный штаб северо-западной Днепровской армии, чтобы самому возглавить поход на Крым. В конце апреля армия выступила. Растянувшись на десятки верст по обширной равнине, выходившей к морю, двигались полки, соединенные в отряды, которым, как вспоминал Манштейн, было «велено идти интервалами, имея друг друга в виду, и присоединиться к тому отряду, который будет ближе к неприятелю, и тогда соединиться».

Ныне невозможно представить себе те места, по которым двигались колонны русской армии. Зрелище дикой, девственной природы, необъятных просторов не могло никого оставить равнодушным. Сохранились воспоминания П. Э. Кемптена — вюртембергского протестанта, который вместе со своими родственниками и товарищами пришел из Германии в Северное Приазовье и в 1733 году основал поселение неподалеку от разоренного в 1713 году Таганрога. Читая эти записки, нельзя не вспомнить историю колонизации Северной Америки, когда такие же смельчаки, как Кемптен, двигались по бесконечным прериям все дальше и дальше на запад. Кемптен пишет: «Природа делалась все более и более очаровательной: вокруг нас были горы, озаренные солнцем, леса, реки, безграничные степи, покрытые волчцом и вереском вышиною в рост человека. Мы видели, что нам легко будет обрабатывать эту землю, и потому, с общего согласия, решились основаться на реке Донец в 12 милях от Таганрога. На запад от этого места расстилалась

степь, в которой далеко сверкало озеро, на юг виднелись горы и холмы, на север простиралась равнина, на краю которой подымались конусообразные горы, на восток от нас была широкая и быстрая река. Солнце величественно скрывалось, и яркие звезды загорались на безоблачном небе, когда мы достигли вершины холма, на котором хотели переночевать. Начав рыть на том месте землю, мы открыли родник светлой и холодной воды. Нарубив толстой колючей акации в лесу, которого нам было бы достаточно на тысячу лет, мы сделали шатер, защитивший нас от солнечных лучей, а через несколько дней уже были построены двадцать хижин для нас и столько же сараев для наших животных. Богатая растительность свидетельствовала, что эта земля орошается часто дождями. Бывшие с нами женщины косами и серпами срезали волчец и тростник, толстый, как палец, и липкий внутри, подобно испанскому тростнику. Из него мы делали решетки, а терновник употребляли на дрова. Наконец, мы начали пахать землю. Глыбы ее, взрываемые плугом, имели зеленоватый цвет и солоноватый вкус...»

Осенью поселенцев ждал невиданный урожай: «Колосья стояли вышиною в рост человека, а репа была величиною с детскую голову. Выросший у нас хрен был толст, как мужская рука. Спаржа росла на свободе, горчица, засеянная моим отцом, густо покрывала гряды...» Люди были поражены обилием дичи: «Мы увидели буйволов, шакалов, рысей и барсов, часто пробегавших к воде через степь. Около наших домов рыскали черно бурые лисицы и волки... Птиц мы ловили силками, а рыбы водилось много в озере, лежавшем за милю от нашей деревни. Одним словом, светло и радостно было для нас грядущее». Но жизнь на этих диких просторах была все же трудной и опасной. Благоуханная весна сменялась невыносимо жарким летом, превращавшим степь в пустыню, по которой ветер нес пыль и пепел — следствие частых степных пожаров, обгонявших в своем движении по сухим травам самую быструю лошадь. Жителей вюртембергской деревни Калеб, расположенной ближе к воде, подстерегали две другие опасности, одна из которых обрушилась на них ранним утром 11 июня 1736 года — в тот день, когда армия Миниха двинулась из завоеванного Гёзлева (Евпатории) к Бахчисараю: «Над нашими головами появились тучи саранчи, затмившей солнце подобно облаку. Она остановилась над нами, начала опускаться и вдруг рассыпалась подобно граду. В 24 часа не стало у нас ни одного колоса, ни листочка, ни цветка. Половина роя, пожравши все, улетела, а другая половина (самцы) осталась на месте и на третий

день издохла. К счастью, скоро пошел дождь и уничтожил смрад от гниющих тел саранчи». Вторая опасность оказалась еще серьезней. Однажды утром поселение, не имевшее оборонительных стен, было внезапно окружено кочевниками, «каждый из них имел копье и широкий нож за поясом. Сопротивляться было невозможно, потому что на каждого из нас приходилось их по двадцати. С криком они бросились на нас... Беспрепятственно завладели разбойники всем, что находили, согнали женщин и детей в долину, связали нас, и не прошло 15 минут, как нас уже выгнали из Калеба и увезли на маленьких тощих лошадках. Что сделалось с моим отцом, с моей матерью, родственниками, знакомыми, мне не известно, потому что с тех пор я их больше никогда не видел». Через день автор был продан на невольничьем рынке в Азове...

Но вернемся к русской армии, двигавшейся по степи в сторону Крыма. Миних постоянно торопил командиров, чтобы они привели колонны к границе с турками непременно к годовщине коронации Ее императорского величества — 5 мая, вероятно для того, чтобы в праздничный день победно рапортовать о вступлении доблестного войска во вражеские пределы. 7 мая 1736 года произошла первая стычка с татарами, напавшими на русский авангард. Нападение было отбито, но с тех пор вся армия двигалась в большом каре, в центре которого находился обоз. Как только из степи налетали кочевники, каре останавливалось, солдаты выставляли перед собой рогатки, которые не позволяли татарам прорвать ряды батальонов, составлявших каре. Кочевников отгоняли ружейным огнем, потом солдаты брали рогатки на плечи и медленно двигались дальше, не размыкая каре. Наконец войско подошло к Перекопу — глубокому рву с валом, делавшему Крым островом. Примерно посередине этого гигантского и совершенно бесполезного десятикилометрового сооружения располагалась турецкая крепость Ор-Капы с четырехтысячным гарнизоном, охранявшим единственный проход через ров. Обойдя крепость и форсировав ров, русские с минимальными потерями (шесть убитых) легко овладели валом, а вскоре им сдалась и сама крепость.

Впервые нога русского солдата ступила на землю Крыма. Так начался очередной этап в драматической истории русско-крымских отношений. Ему предшествовали столетия набегов татарских орд на южные пределы России и Украины. Не раз и не два грозные и безжалостные воины крымского хана подступали к Москве, сжигали ее посады, сеяли смерть в десятках городов русского Центра. Сотни тысяч

русских пленников — мужчин, женщин, детей — были захвачены во время бесчисленных набегов и проданы на невольничьих рынках Гёзлева, Кафы, других городов Причерноморья. После распада Золотой Орды и падения Казанского и Астраханского ханств крымский хан считал себя повелителем Великого Московского князя — русского царя, и лишь Петр I в начале XVIII века прекратил выплачивать татарам ежегодную дань, которую в России стыдливо называли «поминками». Любопытно, что саксонский посланник Лефорт сообщал в мае 1732 года, что татары ведут себя очень вызывающе и потребовали от русского правительства уплаты недоимок по дани за 80 лет!

Теперь, 22 мая 1736 года, наступил черед Крыма — Миних получил приказ разорить дотла цветущий край, названный в указах «гнездом разбойников». На военном совете у Перекопа бóльшая часть генералов высказалась за то, чтобы разорять Крым карательными экспедициями из единого центра — перекопского лагеря. Однако, как писал военный историк Баиов, «Миних, влекомый честолюбием и славолюбием, решается действовать вопреки мнению большинства — ведь никто еще из русских не вторгался на Крымский полуостров. Надежда на дешевые лавры затемняет способность правильно оценить обстановку и действовать менее эффектно, но более соответственно этой обстановке».

Эта оценка кажется верной — любовь к эффектам никогда не оставляла нашего героя. Манштейн, адъютант Миниха, описывая события 3 ноября 1740 года, когда Миних ночью арестовал Бирона в Зимнем дворце, отмечал, что можно было спокойно захватить Бирона днем, когда тот находился во дворце без охраны, тогда бы Миних не подвергал себя и своих людей ненужному риску, но фельдмаршал, «любивший, чтобы все его предприятия свершались с некоторым блеском, избрал самые затруднительные средства». Так было и в Крыму, только цену за этот «блеск» заплатили тысячи русских солдат своими жизнями. Вначале все шло, как и намечал Миних: армия успешно заняла Гёзлев и Кинбурн и двинулась на Бахчисарай с намерением далее идти на Феодосию и Керчь. 16 июня 1736 года русские подошли к татарской столице, захватили, разграбили ее и обратили в пепел. Полковник Манштейн по заданию своего шефа составил описание ханского дворца, который после ограбления был предан огню: «Отсюда выход в просторную залу с белым мраморным бассейном посередине; из этой залы широкая лестница ведет в верхний этаж, прямо в большую залу с мраморным полом, прикрытым чистыми циновками;

потолок этой залы расписан голубым цветом с золотом, со столярными мозаичными украшениями... Стены залы были вместо ковров выложены разноцветным фарфором; самая зала освещалась окнами в два ряда. В верхнем ряду стекла были разноцветные, зеркальные, в виде больших четырехугольников. Нижние же окна, большей величины, были снабжены двойными ставнями, из которых внутренние были легкие, решетчатые, красиво выточенные из букового дерева, пропускавшие прохладу в залу... Левая сторона этого двора выкрашена под белый мрамор, в середине стены, в нише, фонтан, из которого вода стекает в белый мраморный бассейн». Нет, это не знаменитый «фонтан слез», сооруженный иранским мастером Омером в 1764 году, а не менее красивый мраморный каскадный фонтан, восстановленный после погрома и дошедший до наших дней. Как бы то ни было, дворец и город были уничтожены, а русская армия поспешно двинулась назад, в сторону Перекопа.

Для спешки были основания — солдат начали косить болезни. Нестерпимый зной, отсутствие питьевой воды и плохая пища были лишь одной из причин болезней и повальной смертности людей и животных. Другой причиной стала крайне плохая организация похода, беспощадность главнокомандующего к своим солдатам, которых он изнурял долгими дневными маршами. Сотни верст армия шла в сплошном каре, солдаты тащили на себе длинные пики и рогатки. Каре формировалось с раннего утра, и лишь к полудню начиналось движение, причем превышавший всякие разумные размеры гигантский обоз внутри каре постоянно останавливался из-за неразберихи и поломок, обрекая и войска на бессмысленное стояние под палящим солнцем. Рутинная тактика и стратегия, бездарная организация этого похода, как и других походов Миниха, оказались страшнее противника: солдаты замертво падали в строю или на ходу. Когда в сентябре 1736 года был проведен смотр, выявились ужасающие цифры: погибла половина армии — тридцать тысяч человек, из них от пуль, стрел и сабель противника — менее двух тысяч. Все остальные умерли от болезней! Одной из важнейших причин бессмысленных потерь была бездарность Миниха как полководца. Известно, что можно быть прекрасным инженером, строителем мостов и каналов, но при этом оказаться посредственным или плохим военачальником. Миних в худших традициях нашего недавнего прошлого (а военные, как известно, нередко планируют прошедшие войны) спланировал и осуществил неудачный поход Петра Великого на Прут в 1711 году: налицо такая же

плохая подготовка, провалы в разведке, пассивная тактика, громоздкое каре, рогатки и т. д.

Что же нужно было делать, чтобы избежать такой страшной цены за свои победы? Военная история России дает и на это ответ — спустя всего лишь тридцать лет Румянцев и Суворов, имевшие дело с такими же солдатами, таким же климатом и таким же грозным противником, добились блистательных побед с минимумом — в тех тяжелейших условиях — потерь за счет нестереотипного мышления, новаторства в организации военного дела, стратегии и тактики ведения боевых действий. Румянцев первым разбил сплошное гигантское каре на несколько малых каре, что резко повысило мобильность армии в походе и в бою. Тем самым был нарушен догмат о сплошном боевом порядке, которого слепо придерживался Миних. Открытия Румянцева довел до совершенства Суворов, сумевший достичь выдающихся успехов в войнах с турками за счет повышения тактических преимуществ регулярной армии, которая умело маневрировала, быстро перестраивалась, действовала осмысленно и инициативно. Создание сильной конницы, получавшей самостоятельные боевые задания, и отборных частей егерей, сражавшихся в рассыпном строю, умелое использование артиллерии и штыкового удара, забота о людях, начиная с питания и кончая одеждой, воспитание выносливости солдат, инициативности генералов и офицеров — все это сводило на нет попытки османов одержать победу над русскими.

Пока армия Миниха выходила из Крыма, фельдмаршал Ласси без труда взял Азов и вскоре, как и было условлено с Минихом, двинулся вдоль северного берега Азовского моря к Крыму. Дойдя до Миуса, он совершенно случайно узнал, что Миних, не известив его, уже покинул Крым. Самостоятельный поход небольшого корпуса Ласси в Крым привел бы старого фельдмаршала к катастрофе.

Крымский поход Миниха, варварский и беспощадный разгром Крыма произвели сильное впечатление на татар и турок. Вот как описывал происшедшее турецкий историк XVIII века Субхи: «Летописи Османского дома изукрашены известиями о том, как обыкновенно были побиваемы и истребляемы презренные враги всякий раз, когда они дерзали простирать свои стопы с злостною целью и пакостным намерением к Крымскому полуострову, искони служащему предметом жадных взоров христианских наций. Случившееся в этом благословенном году происшествие есть никогда не слыханная и не виданная вещь: это всем и каждому известно». Далее поясняется, что в случившемся виноват хан

Каплан-Гирей, который своей грубостью и холодным обращением отвратил подданных, потерпевших из-за этого поражение, «вследствие чего пола государства и народа была выпачкана грязью вражеского пребывания». Хан был смещен и отправлен в ссылку на остров Хиос, а татары той же зимой 1736/37 года совершили набег мести на Украину, и добыча была «так велика, что ни языком пересказать, ни пером описать нельзя». Но дальновидные политики и в Бахчисарае, и в Стамбуле понимали, что прежние добрые времена уже не вернуть, наступили времена новые и худшие: Россия уже не оставит Крым в покое. И действительно, как писал турецкий летописец в 1737 году, «проклятые московиты опять подобно злым духам вошли в чистое тело Крыма и... ни хан, ни жители не в силах были устоять против многочисленности огненного крещения проклятых: все от мала до велика повергнуты были в смущение и потеряли голову». Речь идет о новом походе войск фельдмаршала Ласси, которые вошли в Крым не через Перекоп, где их ждали турки и татары, а через Сиваш и Арабатскую косу. Ласси обратил в пепел Карасу-Базар (современный Симферополь), дважды разбил татар в полевом сражении и, уничтожив все, что уцелело после погрома 1736 года, вернулся назад через Чонгар.

Марш Ласси был вспомогательной операцией, ставившей целью не только продолжить разорение Крыма, но и отвлечь внимание противника от главной операции русских войск в кампании 1737 года — взятия мощной турецкой крепости Очаков. Войска подошли к крепости 30 июня, а уже 2 июля Миних, не проведя необходимой в этом случае рекогносцировки, не снабдив солдат фашинами для засыпки рва и лестницами для штурма стен, бросил половину армии в атаку на хорошо защищенную крепость. Не дойдя до крепостного рва, штурмующие колонны остановились в замешательстве, а затем, теряя сотни убитых и раненых, начали беспорядочно отступать, преследуемые вышедшими из крепости турками. Отчаяние овладело Минихом, который понял, что ему грозит поражение. Но в этот момент произошло чудо — начавшийся и набравший силу пожар в крепости дошел до главного порохового погреба, который, к ужасу оборонявшихся, взорвался со страшным грохотом. Под обломками стен и зданий сразу погибло больше трети гарнизона — шесть тысяч человек, а также весь запас пороха. Воспользовавшись паникой, казаки ворвались в крепость со стороны моря, началась резня, и комендант Очакова сдал на милость победителя крепость, вокруг которой, как писал сам Миних, «мертвые тела людские и конские сплошь лежали в кучах непроходимых».

Оставив в Очакове двухтысячный гарнизон во главе с генералом Штофельном, армия двинулась в сторону Бендер, но отсутствие корма для скота и пищи для солдат заставило ее повернуть назад. Как и в предыдущие годы, потери от болезней были огромными. Под Очаковом было убито и ранено четыре тысячи человек, а всего из похода не вернулось шестнадцать тысяч! Миних, обвиненный в пренебрежении к солдатам, которым из-за скверного снабжения приходилось есть размешанную в воде муку, писал в свое оправдание, что его подчиненные мрут «от жаркого климата и дурной степной воды». Артиллерия потеряла 15 тысяч пар волов, тащивших пушки и фуры. Словом, Очаков оказался единственным крупным призом этой кампании. В октябре 1737 года гарнизону Штофельна удалось его отстоять, когда турки попытались вернуть эту стратегически важную крепость в устье Днепра и Южного Буга. Русский гарнизон выдержал тяжелейшую осаду 40-тысячной турецкой армии и не дрогнул. Манштейн, который имел далеко не восторженный образ мыслей, писал: «Я сомневаюсь, что на свете было другое войско, которое, подобно русскому, в состоянии было бы или решилось бы терпеливо выносить такие непомерные труды, какие перенесены русскими в Очакове». И далее следуют золотые слова, справедливость которых многократно подтверждалась в русской истории: «Это усиливает во мне давнешнее убеждение, что русские способны все выполнить и все предпринять, когда у них есть хорошие руководители».

Осада Очакова турками началась уже после того, как русские, турецкие и австрийские уполномоченные сели за стол переговоров в большой палатке под украинским местечком Немиров, куда они приехали летом 1737 года по инициативе австрийских дипломатов. Австрия, союзник России, выступила тоже против турок, но провела в войне с османами только несколько месяцев и особых успехов в Боснии — главном театре военных действий на Балканах — не добилась. Но то, что давний союзник России не только официально подтвердил конвенцию о союзе 1726 года, но и вступил в войну на стороне России, было важным фактором в дипломатической игре, которая сопровождает каждую войну. В Немирове русские дипломаты (П. Шафиров, А. Волынский и И. Неплюев) затребовали от османов «по максимуму»: «Земли татарские Кубань и Крым и прочия до реки Дуная лежащия да останутся со всеми жителями и крепостями во владении Российской империи». Валашское и Молдавское княжества становились независимыми, но «под протекцией Ея императорского величества». Главным резоном турецкой стороны было утвержде-

ние, что Россия требует земли, которые ей никогда в прошлом не принадлежали. Сколь уязвим этот аргумент в кровавом споре империй, мы знаем достаточно хорошо.

Переговоры в Немирове, несмотря на сложные маневры сторон, оказались бесплодными, и армии начали готовиться к новой кампании 1738 года. Организация этой кампании была даже более бездарной, чем предыдущей. Русские войска непрерывно двигались в трех огромных каре, пересекали множество рек, но так и не дошли до главной цели — крепости Бендеры. Снова начались болезни, резко возросла смертность, а гигантский падёж скота привел к тому, что большое количество артиллерийских снарядов и снаряжения пришлось бросить на обратном пути. К тому же в Очакове началась чума, и, потеряв двадцать тысяч человек, Штофельн был вынужден оставить как сам Очаков, так и Кинбурн, которые были «до подошвы подорваны и разорены». Более успешен был третий поход Ласси в Крым — перейдя Сиваш, русские взяли и уничтожили Перекоп. Сам разоренный Крым военного интереса уже не представлял — пепелища и следы прошлогодних разгромов виднелись на каждом шагу, татары же в бой не вступали, а укрывались в труднодоступных горных теснинах. Миних, планируя новые крымские экспедиции, это понимал. Он писал: «А в Крыму имеется до 200 000 семей, которые, как прочие татары, в кибитках не живут, но в имеющихся там бесчисленном множестве селах и деревнях, кои большею частию каменного строения и мазанки, которые по разорению, за неимением лесу, в несколько лет вновь построить будет невозможно...» Поэтому бессмысленные с военной точки зрения походы в Крым имели исключительно карательное назначение.

Последний год войны — 1739-й — должен был, по мысли Миниха, стать решающим. Оснований для подобного оптимизма имелось мало — в организации армии и ее тактике ничего к лучшему не изменилось. Но Миних родился под счастливой звездой, и удача вдруг улыбнулась ему. Движение армии в направлении к турецкой крепости Хотин на Пруте оказалось весьма успешным: на пути к крепости русские войска подошли к турецкому лагерю у местечка Ставучаны. 17 августа турки предприняли кавалерийские атаки на русские позиции, но с большим уроном для себя были отбиты. 90-тысячным войском Вели-паши овладела паника. Турецкая армия, не разбитая в бою, вполне боеспособная, начала беспричинно и поспешно отступать. Турки без боя оставили хорошо укрепленный лагерь, полный продовольствия и различных запасов, и бежали в сторону крепости

Хотин — центра обороны Подолии, бросая по дороге пушки и снаряжение. Потери русских составили всего 13 убитых и 54 раненых. «Никогда еще, — отмечает Манштейн, — совершенная победа не была одержана с такою малою потерею».

А дальше произошли события, которые редко встречаются в истории: отступающие турецкие полевые войска, проходя через Хотин, заразили паникой и 10-тысячный гарнизон этой неприступной, вырубленной в скале крепости (место непрерывных сражений османов и поляков), и гарнизон почти целиком бежал из крепости, оставив все, что там было, вплоть до знамен. Когда читаешь в популярном издании фразу: «19 августа Хотин был взят», то думаешь о несовершенстве (или наоборот — совершенстве) русского языка, который позволяет одним и тем же глаголом обозначить и взятие Суворовым в 1790 году с огромными потерями и невероятным трудом крепости Измаил, и взятие Минихом... ключей от Хотина, которые подал ему на подносе Эльяс Колчак-паша — хотинский комендант. А между тем эпидемия паники, охватившая турецкую армию, прежде известную в истории своей стойкостью, продолжалась — через десять дней турки оставили Яссы, бросив тем самым на произвол судьбы Молдавию, и откатились за Дунай. Победа Миниха была ошеломляющей и полной... В начале сентября 1739 года Миних, воодушевленный нечаянной победой, писал императрице: «Понеже здешняя молдавская земля весьма преизрядна и не хуже Лифляндии, и люди сей земли, видя освобождение от варварских рук, приняли высочайшую протекцию со слезною радостию, поэтому весьма потребно эту землю удержать в руках Вашего величества, я ее со всех сторон так укреплю, что неприятель никак нас из нея выжить не будет в состоянии». Миних торжествовал — его знаменитый «Генеральный план» 1736 года был близок к исполнению. Как бы услышав его, безвестный фрайбургский студиозус Михайло Ломоносов написал в эти дни оду на взятие Хотина, прославившую его как поэта. В этой оде пиит обращал к Порте такие строки:

Еще высоких мыслей страсть
Претит тебе пред Анной пасть?
Где можешь ты от ней укрыться?
Дамаск, Каир, Алепп сгорит,
Обставят Росским флотом Крит;
Ефрат в твоей крови смутится.

Миних на Евфрат не собирался, но, думаю, поэтическую вольность Ломоносова одобрил — высокие мечтания не были чужды романтику-фельдмаршалу. Но мечтания мечтаниями, а жизнь шла своим рутинным путем — в дни триумфа Миниха, точнее, 4 сентября 1739 года, австрийцы сделали для турок то же, что сделали турки для Миниха, — внезапно сдали османам ключевую крепость обороны всей Сербии — Белград. Для Австрии это было сокрушительное поражение. И там же — в Белграде — поспешно начались австро-русско-турецкие переговоры. Россия уполномочила вести их французского посла Вильнёва, который и подписал 18 сентября мир, названный Минихом (наподобие Брестского «похабного» мира 1918 года) «срамным миром». Особо гневался Миних на австрийцев-имперцев. «Что же стало с этим священным союзом, долженствовавшим существовать между обоими дворами? — восклицал он в письме к князю Лобковичу, главнокомандующему австрийцев в Трансильвании. — Со стороны русских берут крепости, со стороны имперцев срывают их и уступают неприятелю. Русские завоевывают княжества и провинции, а имперцы отдают неприятелю целые королевства!» Гнев Миниха понять можно: потеряв в этой тяжелейшей войне десятки тысяч солдат (в основном от болезней), Россия фактически не достигла ни одной крупной цели. Хотин, Яссы, Молдавия, Очаков, Кинбурн были возвращены туркам в обмен на Азов, за который (учитывая его крайне удаленное от Турции и неудобное местоположение) турки особенно и не держались. Но и Азов по условиям мира нельзя было укреплять и даже нельзя было поставить в нем гарнизон. В итоге реальной платой за огромные потери в войне стало расширение пределов России дальше на юг, в степи, всего лишь на расстояние в несколько десятков верст. Белградский мир 1739 года, утвердивший решения, принятые Вильнёвом еще до того, как в Петербурге был получен его отчет о переговорах и условиях мира, явился несомненным дипломатическим провалом руководителя внешнеполитического ведомства А. И. Остермана, который не сумел организовать полноценные переговоры с турками и, подчиняясь давлению двора, мечтавшего поскорее развязаться с надоевшей турецкой войной, дал поспешное согласие на заключение невыгодного для России мира. Но было уже поздно — в Петербурге объявили о победном завершении войны (и в самом деле, не поражение ведь!), Бирон и другие вельможи получили награды ко дню победы (к примеру, Бирону достался «золотой великой бокал с бриллиантами», в который, по слухам, был вложен указ о пожаловании полумиллиона рублей), готовились публичные празднества... Словом, с турками предстояло разбираться следующему поколению генералов и дипломатов.

Глава 8

БИРОНОВЩИНА КАК МИФ РУССКОЙ ИСТОРИИ

В исторической науке за прошедшие столетия изучения истории России накопилось немало историографических штампов и даже целых блоков таких штампов. В принципе, это неизбежный процесс освоения материала, особенно конспективного, поверхностного — так легче запоминать, маркировать целые исторические этапы. Очень часто эти маркировки носят концептуальный характер. Конкретная история «форматируется» по определенным, часто идеологическим принципам. Потом к этому привыкают следующие поколения, которые вносят эти штампы в словари и энциклопедии, произносят их автоматически и при этом сохраняют упакованную в них идеологическую начинку. Примеров таких штампов много, и «бироновщина» — один из них. Да кто же не знает, что это такое? Откроем наугад любой словарь: «Бироновщина — реакционный режим в России 1730—40 [гг.] при императрице Анне Иоанновне, по имени Э. И. Бирона. Засилье иностранцев, разграбление богатств страны, всеобщая подозрительность, шпионаж, доносы, жестокое преследование недовольных» (Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 143). В этом определении хорошо видна вся идеологическая, резко отрицательная, ксенофобская «начинка». Более того, легко понять откуда все это пошло. Дело в том, что десятилетнее правление Анны Иоанновны превратилось в историографическую «бироновщину» сразу же после того, как 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна совершила государственный переворот и свергла годовалого императора Ивана VI и его мать — правительницу Анну Леопольдовну. Елизавета захватила власть как узурпатор, то есть на незаконных с юридической и традиционной точек зрения основаниях, и поэтому изо всех

сил стремилась представить свое восшествие на престол как победу светлого начала над темным, как освобождение ею, дщерью Великого Петра, народа России от иностранного засилья. По словам церковных иерархов (еще недавно угождавших Бирону), воодушевленная образом Отца Отечества Петра Великого, его героическая дочь Елизавета решилась «седящих в гнезде орла Российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать, коварных разорителей Отечества связать, победить и наследие Петра Великого из рук чужих вырвать, и сынов российских из неволи высвободить и до первого привесть благополучия». Как восклицал в своей публичной проповеди архиепископ Дмитрий Сеченов, «враги внутренние и сокровенные» — немецкие временщики — «прибрали все отечество наше в руки, коликий яд злобы на верных чад российских отрыгнули, коликое гонение на церковь Христову и на благочестивую веру возстановили, и была година и область темная, что хотели, то и делали». Так в проповедях, публицистике, искусстве первых лет царствования Елизаветы прозвучали все идеологемы, которые впоследствии стали расхожими в общественном сознании.

Пропагандистские оценки царствования Анны Иоанновны, сформулированные во времена Елизаветы, прочно закрепились и в нашей историографии с ранних лет ее существования. Тимофей Мальгин в своем «Зерцале российских государей» (СПб., 1791) так описывал царствование «Анны I Иоанновны Строгой»: «В правления ея посредством известнаго честолюбиваго и алчнаго вельможи Бирена великая и едва ли не превосходившая царя Иоанна Васильевича Грознаго употребляема была строгость с суровоством, жестокостию и крайним подданных удручением...» И далее идет речь о несносных налогах, жестоком правеже недоимок, недороде хлеба (как будто Бирон был причиной этого недорода), о множестве жертв Бироновой «лютости и безчеловечия». И хотя со времен Елизаветы прошло тридцать лет, автор полностью воспроизводит елизаветинскую идеологему «Елизавета — спасительница России от иностранного ига»: «Вседержитель, веками и царствами управляющий, человеколюбно внемля гласу сетования, воздыхания и вопля изнуренных россиян, благоволил к отраде и уврачеванию духа и плоти их... избрать и помазать на царство кроткую Елизавету».

В XIX веке особую роль в представлениях о «бироновщине» как засилье иностранцев, терроризировавших русских людей, сыграла великая художественная литература, чрезвычайно влиявшая в России на умы людей. Донельзя идеали-

зированный (и идеологизированный в стиле елизаветинской пропаганды) под романтическим пером Кондратия Рылеева образ казненного кабинет-министра Артемия Волынского как бестрепетного и пламенного борца за свободу народа определил и отношение к его гонителю — Бирону. Как можно было спокойно слышать имя фаворита императрицы Анны после таких строк:

Стран северных отважный сын,
Презрев и казнью и Бироном,
Дерзнул на пришлеца один
Всю правду высказать пред троном.
Открыл царице корень зла,
Любимца гордого пороки,
Его ужасные дела,
Коварный ум и нрав жестокий.
Свершил, исполнил долг святой,
Открыл вину народных бедствий
И ждал с бестрепетной душой
Деянью правому последствий...

Вероятно, именно эта патриотическая «Дума» Рылеева пробудила фантазию романистов. Сначала К. П. Масальский в 1834 году сочинил повесть «Регентство Бирона», а год спустя за тему взялся И. И. Лажечников. Он написал свой знаменитый роман «Ледяной дом», выдержавший впоследствии бессчетное множество изданий. Шествие бойкого романа было победным, и поколения русских читателей впитали вместе с ним стойкий «антибироновский дух». Как не вспомнить несколько грустные слова историка Е. П. Карновича, писавшего в 1873 году: «Известно, однако, что ничто не вредит до такой степени исторической истине, как исторические романы. В произведениях этого рода исторические факты и народные предания делаются полным достоянием автора: он раскрашивает, освещает и оттеняет их по своему собственному произволу. От воображения или симпатии романиста зависит выставить одних исторических деятелей образцами всех добродетелей, а других — извергами человеческого рода, а между тем при слабом развитии исторической литературы (и добавим от себя — грубом сознательном извращении исторических фактов в угоду идеологическим схемам. — *Е. А.*) нет никакой возможности проверить, до какой степени романист уклонился от действительности». В советский период нашей истории с характерной для него ожесточенной борьбой с «низкопоклонством перед Западом» и «безродным космополитизмом» роман Лажечникова, как и традиционная концепция «бироновщины», оставался весьма популярен, чему способствовала его блестящая

литературная форма. Историки, несмотря на хорошо известные им старые работы Е. Карновича и других, призывавшие к умеренности и объективности в подходе к «бироновщине», писали об этой эпохе так, как будто, кроме Лажечникова, они ничего не читали. Беру первый том «Очерков истории Ленинграда» (Л., 1955. С. 191): «Пробравшиеся к власти немецкие авантюристы начали нагло грабить страну, торговать должностями и интересами России. Анна не жалела денег для себя и своего окружения...»

Разумеется, при такой постановке вопроса нетрудно впасть в другую крайность — заняться исторической реабилитацией анненского временщика, писать «Апологию Бироновщины», представить Бирона как человека мягкого, «не из таких, которые склонны насиловать чужую волю», как вельможу, совершенно отстраненного от системы управления, от государственных дел, благо он не оставил подписей под государственными бумагами. И такие работы, как естественное противодействие единой концепции, которую разделяли и официальная наука, и ее противники, появились. Наиболее ярко апологетическую точку зрения на Бирона выразил В. Строев в книге «Бироновщина и Кабинет министров» (М., 1909—1910). Ее концепция кажется мне ошибочной. В предыдущих главах я старался показать, что влияние Бирона на жизнь страны, управление государством было весьма значительным. Однако термин «бироновщина» с его идеологической начинкой характеризует время царствования императрицы Анны Иоанновны так же, как, например, термин «шуваловщина» — царствование Елизаветы или «орловщина» — начало царствования Екатерины II.

Попытаемся отрешиться от штампов и разобраться в том, что же есть «бироновщина», в чем ее специфика по сравнению с другими (почти всеми) режимами, при которых господствовали фавориты. Итак, первый стереотип: «бироновщина» — это засилье иностранцев, в первую очередь немцев. Многим памятна эффектная, но, к сожалению, весьма легковесная фраза В. О. Ключевского, так характеризовавшего анненский период русской истории: «Немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». Уже сам этот мало симпатичный полухудожественный образ дырявого мешка, из которого на золоченый с малиновым бархатом трон высыпаются какие-то липкие слизняки и мерзкие пауки, должен вызвать протест против Бирона и его режима. Но важно другое — немцы «посыпались» в Россию задолго до анненского царствования, и их

количество никогда не было угрожающим для национального существования русского народа. С незапамятных времен иностранцы приезжали в Россию (замечу — по воле русского правительства, по его многократным призывам и посулам) из Германии, Англии, Дании, Франции, Швеции, других стран — не только торговать, путешествовать, но и служить.

Именно служба за хорошие деньги всегда привлекала западноевропейских специалистов в Московию. Врачи, аптекари, инженеры, кораблестроители, архитекторы и более всего — офицеры и солдаты-ландскнехты с большой пользой для московских государей выполняли свои профессиональные обязанности. Но по-настоящему открыл ворота страны перед иноземцами Петр Великий. Его знаменитый манифест 1702 года призывал иностранных специалистов на службу в Россию, обещая совершенно цивилизованные, европейские условия работы и жизни, высокое жалованье и успешную карьеру. Острая нужда в специалистах заставляла Петра даже отступать от традиций старины и веры. Так, стремясь удержать в России после Ништадтского мира 1721 года пленных шведов — опытных горных мастеров, Петр пошел на нарушение одного из канонов православия, запрещавшего русской женщине выходить замуж за иноверца, если он не переменит веру. Были сделаны и другие послабления и льготы зарубежным специалистам по сравнению с русскими. И многие иностранцы устремились в Россию, привезли свои семьи, заключили контракты с русским правительством и стали работать и жить в чужой для них стране. Одни, отработав положенный по контракту срок и накопив денег, получали «абшид» — отпуск и возвращались домой. Другие — подписывали новый контракт и оставались в России еще на несколько лет (вспомним Миниха). Третьи женились на русских, принимали православие, становились подданными российских императоров, растворялись в российском дворянстве. По-разному складывались их судьбы в России. С ненавистью и обидой уезжали те, кто был обманут, разорен бездушными и жадными чиновниками, кто не сумел реализоваться, достичь чинов, кто не смог приспособиться к быту, службе в русских условиях. С благодарной памятью о «варварской» стране возвращались на родину те, кто сумел там раскрыть свой талант, создать себе имя, получить высокий чин, авторитетное рекомендательное письмо или диплом. Но для многих иностранцев Россия стала судьбой, второй родиной, где их талант расцвел, получил признание, прижизненную и посмертную славу. Бесконечен ряд

этих людей — талантливых ученых и художников, солдат и инженеров, учителей и врачей. Без них немыслима наша гражданская и военная история, их кровь смешивалась в браках с русской, они вместе с «природными русскими» создавали великую русскую культуру. Вместе с людьми, книгами из-за границы проникали идеи просветительства, рационализма. Россия втягивалась в круг европейской цивилизации, мыслила себя европейской страной.

Все сказанное можно полностью отнести к царствованию Анны Иоанновны. В предшествующих главах книги шла речь о выдающемся французе Делиле, немце Миллере, итальянцах Трезини и Растрелли. Но таких людей было гораздо больше. Это академики Д. Бернулли, Г. З. Байер, Г. В. Крафт, И. Гмелин, это музыканты и композиторы Ристоли, Арайя и Ланде. Ни при Петре, ни долго после его смерти русский флот не смог бы выйти в море, если бы на мостиках большинства кораблей не стояли опытные морские волки — капитаны, почти сплошь англичане, шотландцы, голландцы, датчане и шведы. Во времена Анны иностранцев на русской службе вовсе не ставили в какие-то особые, сказочные условия. Примечательно, что именно при императрице Анне — в 1732 году — по предложению Комиссии об армии, возглавляемой, кстати, немцем Минихом, было устранено важное и весьма болезненное для русских офицеров различие в жалованье: до 1732 года за одни и те же обязанности русский офицер того же звания, что и иностранец, получал в два раза меньше. Сделано так было при Петре, который хотел приманить высоким жалованьем иностранных специалистов. Теперь, с 1732 года, жалованье русских и иностранных офицеров стало одинаковым. Если же иностранец хотел оставить русскую службу, никто его не удерживал. Английский дипломат Клавдий Рондо в донесении 1731 года сообщал, что три толковых генерала — Бон, Кампенгаузен и Бриль, — служившие со времен Петра, подали прошения об отставке, «которая и была им разрешена немедленно, причем Ея величество заметила, что никогда не станет удерживать людей на своей службе силою». Рондо при этом замечает, что «эти господа, надо полагать, при Петре Великом не получили бы отставки так легко, он оценил бы их способности» и постарался бы их удержать.

29 июня 1732 года Полицмейстерская канцелярия получила указ, предлагавший всем французским офицерам, не состоящим на русской службе, немедленно выехать из России. Когда обеспокоенный этим поверенный в делах Фран-

ции Маньян обратился за разъяснением к Миниху, тот сказал, что формулировка указа неточна: «он должен относиться ко всем иностранным офицерам без различия национальности, и в нем будет сделано исправление для всеобщего сведения». (И оно было действительно сделано 1 июля.) Миних пояснил дипломату, что указ преследует цель устранить для русских офицеров конкуренцию со стороны иностранных офицеров при зачислении на вакантные места в полках. Дело в том, что после заключения мира с Персией, вывода и роспуска оккупационного корпуса, стоявшего там с 1723 года, многие русские офицеры оказались вне штата и их необходимо было определить к службе. В ноябре 1738 года Миних докладывает в Кабинет о том, что иностранные офицеры, а также лифляндцы и эстляндцы, служившие в русской армии, нашли способ поправить свои дела. Они подают прошение об отставке, получают награды, деньги и, «побыв несколько времени в домах своих», вновь просят о приеме на русскую военную службу, причем устраиваются преимущественно в остзейские гарнизоны, по тогдашним условиям службы считавшиеся синекурой. Миних полагал такой порядок недопустимым и требовал закрыть эту лазейку для иностранцев и остзейцев. Согласно постановлению Кабинета министров, начиная с 29 ноября 1738 года вновь принимаемые на службу иностранцы и остзейцы направлялись в полевую армию, которая, как известно, воевала тогда с турками. Сохранился еще один документ, из которого следует, что командир Конногвардейского полка князь Шаховской 5 августа 1734 года подал Анне доклад, в котором указывал, что на вакантное место подпоручика гвардии претендует корнет шляхтич Игнатий Языков, а на место корнета — вахмистр Петр Сабуров и оба «теми рангами быть достойны и в Конной гвардии содержать себя в парадных всяких приборах и лошадях могут». И далее Шаховской пишет: «А хотя в том же полку Конной гвардии вахмистры ж иноземцы: Яган Волтерс, Яган Фридрих Бинг, Михаль Гильберт, Бок, да Кашпер Мастер по вступлении в те ранги и старше онаго Сабурова числятся (то есть служат вахмистрами дольше. — *Е. А.*), но точию все они не шляхтичи, но из мещан». Посему, полагали Шаховской и полковые офицеры, «оным из мещан вахмистрам-иноземцам... корнетами быть не прилично», так как в обер-офицеры набираются из дворянства. Резолюция, подписанная Анной, была по-петровски решительна: «Понеже Наше всемилостивейшее соизволение всех чинов жаловать по состоянию каждаго службы и достоинству, не взирая на природу, но токмо на их верность и помянутую службу, так как и при предках наших бывало, о чем и наши указы (чтоб производить, никого не обходя) имеются, того ради впредь к докладам оного, кто какой природы есть более не рассуждать, но прописывать их одно старшинство и достоинство и подавать нам для конфирмации».

Как мы видим, торжествует не принцип преимущества дворян по происхождению на службе перед мещанами, на чем настаивали Шаховской и полковые офицеры — в основном немцы, и не некие привилегии иностранцев времен «бироновщины», а введенный Петром принцип, вылитый в формулу: «Знатность по годности считать», с учетом принятого во всех регулярных армиях мира правила о преимуществе того из конкурентов, кто дольше служит. «Бироновщина» оказывается тут совсем ни при чем.

Обратимся теперь к сводным данным о количестве иностранных офицеров в русской армии до и в конце «бироновщины». В Центральном военно-историческом архиве сохранились ведомости за 1729 и 1738 годы о составе генеральского и штаб-офицерского корпуса русской армии. Согласно им, в 1729 году в полевой армии служил 71 генерал, из них — 41 иностранец, то есть 57,7%. К 1738 году доля иноземцев снизилась, их теперь было почти столько же, сколько русских: 31 иностранный генерал и 30 русских. Если же считать генералов вместе со штаб-офицерами (включая майоров), то окажется, что в 1729 году в русской армии служило 125 иностранных офицеров из 371 (или 34%), а в 1738 году — 192 из 515 (или 37,3%). При этом нужно учитывать, что среди тех, кто числился «иноземцами», было немало немцев из Лифляндии и Эстляндии, которые являлись подданными русской императрицы. Если мы согласимся с тем, что треть офицеров-иноземцев в русской армии во времена «бироновщины» — несомненное свидетельство немецкого засилья, то можно признать, что «засилье» это началось задолго до приезда Бирона в Россию.

Любопытная ситуация сложилась на флоте. В мае 1725 года были определены командиры на 12 кораблей и два фрегата, подготовленных в Кронштадте для кампании 1725 года. Общее командование осуществлял генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, которому подчинялись вице-адмиралы Гордон и Д. Вильстер, шаутбенахты Сандерс и Наум Сенявин. Командирами кораблей были утверждены Бредаль, Лоренц, Трезель, Литтель, Эрмитаж, Люис, Вильбоа, Барш, Деляп, Бенс, Гохстрат, Г. Агазен, капитан-лейтенант Торсен — все сплошь иностранцы. Фрегатами командовали ка-

питан-лейтенанты Василий Лодыженский и Д. Кеннеди. Таким образом, из русских, кроме Апраксина, в море вышли на командирских должностях только двое — шаутбенахт Сенявин и капитан-лейтенант Лодыженский. В штате военно-морских сил были еще адмирал К. Крюйс, вице-адмирал Сиверс, шаутбенахты Фангофт и лорд Дуфус. Если среди адмиралов и капитанов корабельного флота были преимущественно англичане, голландцы, французы, датчане, то галерным флотом командовали выходцы из стран Средиземноморья во главе с вице-адмиралом Змаевичем. Вот кто входил в состав комиссии, ревизовавшей галерный флот накануне выхода в море весной 1725 года: «капитаны Стамати Камер, Андреа Деопер, Юрья Питиноти, Андрей Миющик, капитан-лейтенант Ян Батиста Пицеда, лейтенанты Яков Камер, Михаиле Халкиопуло, Никула Грациян, Питер Франов, галерные мастера Клавдий Ниулон, Франциско Дипонти».

Теперь посмотрим, что было в конце «господства немецких временщиков». В кампании 1741 года кронштадтская эскадра выставила 14 кораблей и шесть фрегатов. В штатах флота высшую должность занимал граф Н. Головин — адмирал и президент Адмиралтейской коллегии. Полным адмиралом был и упомянутый выше Гордон. Вице-адмиралами были Бредаль, Х. Обриен и Барш. Последний как раз и командовал эскадрой. Кораблей в 1741 году в море вышло даже больше, чем в 1725 году, но примечательнее другое — произошли коренные изменения в составе капитанов кораблей, ибо налицо были результаты политики, которую вел Петр, готовивший национальные кадры для флота. И вот в 1741 году мы видим, что наряду с упомянутым выше капитаном Джеймсом Кеннеди, а также Джорджем Паддоном, Томасом Стоксом, Яном Фастингом, Яном Опием, Герценбергом, Сниткером кораблями и фрегатами командовали те русские люди, кто за два десятилетия прошел хорошую школу на море. Это были Алексей Дмитриев-Мамонов, Иван Черевин, Андрей Полянский, князь Иван Волконский, Никита Лопухин, Тимофей Бараков, Степан Малыгин. Фрегатами командовали исключительно русские моряки: С. Татищев, Костомаров, Я. Вышеславцев, Д. Путилов, С. Мордвинов, А. Нагаев. Как видим, «бироновщина» отнюдь не нанесла ущерба русским на флоте, скорее, наоборот: из двадцати капитанов русских было тринадцать. Раньше же, в 1725 году, лишь один из пятнадцати капитанов был русский.

Я понимаю, что при всей важности статистического анализа окончательного ответа он дать не может: власть не впрямую зависит от соотношения русских и иноземцев в ар-

мии или государственном аппарате. Кроме армейских и государственных структур существовала та сфера, которая, как мед мух, притягивала и русских, и иностранцев, будь то верные служаки, которые «не могли опереться ни на что другое, кроме своего меча», или легкомысленные искатели приключений, слетевшиеся на «ловлю счастья и чинов». Сфера эта называлась «двором» и не ограничивалась только табельными чинами придворного ведомства. Это была не просто группа людей, высших придворных чинов, обслуживавших самодержца, это — особая среда, жившая по своим внутренним законам, в весьма специфической атмосфере, с особыми отношениями, ролями и связями. Личность верховного повелителя всякий раз по-своему окрашивала жизнь придворного мира. Петровский двор не походил на анненский, а елизаветинский разнился с екатерининским. Но было и нечто общее: в основе жизни влиятельной придворной среды лежали воля, каприз ничем и никем не ограниченного монарха, чья власть применительно к придворной среде была огромна. Благополучие вследствие «благорасположения» монарха было главной целью для всех членов придворной камарильи. Нужно было быть очень умным, опытным, хладнокровным, находчивым и тонким политиком, чтобы не поскользнуться на придворном паркете, не дать оттеснить себя от трона, не дать вытолкнуть в ту вторую приемную (помните рассказ Я. Шаховского?), где стояли второразрядные просители, а то и на дальнее воеводство или в ссылку. Именно при дворе, а не в коллегии проявлялось высокое искусство политика, умение выжить и даже процветать. Конечно, то, что при дворе, в окружении Анны, сразу же оказалось немало иностранцев, не могло не бросаться в глаза и не вызывать недовольства русских сановников и вельмож. Но примечательно то, что это недовольство было связано не с оскорбленным национальным чувством, а с тем, что их — каждого в отдельности и всех вместе — оттеснили от престола новые «любимцы». 11 мая 1730 года К. Рондо писал в Лондон: «Дворянство, по-видимому, очень недовольно, что Ея величество окружает себя иноземцами. Бирон, курляндец, прибывший с нею из Митавы, назначен обер-камергером, многие другие курляндцы также пользуются большей милостью, что очень не по сердцу русским, которые *надеялись, что им будет отдано предпочтение* (выделено мной. — *Е. А.*)». В начале 1731 года Рондо вернулся к этой теме. Отмечая, что «старорусская партия» не пользуется доверием со стороны императрицы и что ее первыми советниками являются иноземцы — Бирон, братья Левенвольде, Остерман, он

пишет: «Ни одна ее милость не дается помимо них, что бесит русских, даже ближайшие родственники едва ли имеют значение. Два старых гвардейских полка довольно громко ропщут на то, что царица и некоторые из ее приближенных, по-видимому, более доверяют третьему — Измайловскому гвардейскому полку, чем им, хотя в состав их входят представители лучших русских фамилий». Действительно, возмущение это можно понять: усилиями московского дворянства Анна была сделана полноправной властительницей, самодержицей и тут же выписала из Курляндии Бирона, приблизила тех иностранцев, которые в русской политике играли ранее второстепенные и третьестепенные роли, организовала, как бы в противовес старой гвардии, новый гвардейский полк.

Выше мы касались истории личной жизни «природной» русской царевны, сохранившей во многом привычки и предрассудки своих предков. Это, казалось бы, должно было обеспечить ее сугубо «патриотическое правление». Но увы! Если влияние Бирона можно объяснить любовью, многолетней близостью, которая, как известно, слабо учитывает национальные и религиозные особенности объекта любви, то чем же объяснить кадровую политику в гвардии, то особое влияние, которое получили в политике, например, братья Левенвольде? Впрочем, и здесь нет особой загадки. В предыдущих главах подробно рассказано о том, как Анна на пути к престолу столкнулась с массовым вольнодумством русских дворян, клонившихся к ограничению власти русского монарха. И поэтому большинству из них доверять она не могла. После памятных дней января-февраля 1730 года она стремилась опереться на тех, кому безусловно доверяла, с кем была связана с давних пор. Это, кстати, вполне естественно для каждого нового человека, приходящего к власти: сколачивать свою команду из тех, кого хорошо знаешь, на кого можно положиться, кто не предаст. Поэтому в окружении нового лидера всегда оказывается определенный процент родственников, земляков, старых друзей, прежних сослуживцев. Верность и личная преданность — вот что было главными принципами, согласно которым формировался двор Анны, и поэтому в высшей степени странно было бы видеть при нем в первых лицах, например, князя Дмитрия Голицына или князя Алексея Долгорукого.

Окружение Анны сложилось из трех основных категорий: родственников, бесспорных сторонников из русской знати и служилых иноземцев. К первым принадлежали С. А. и В. Ф. Салтыковы. Семен Андреевич, как уже было сказано,

получил в начале 1730-х годов высокие придворные и военные чины, графский титул и стал главнокомандующим Москвы, обеспечивая интересы императрицы в старой столице, а Василий Федорович — также родственник Анны по материнской линии — занял другой ключевой для государственной безопасности пост — генерал-полицмейстера Петербурга — и вошел в Сенат. Из русских вельмож на первое место выдвинулся Павел Иванович Ягужинский. Некоторые не считали его русским, так как, согласно легенде, он был сыном польского органиста («литвином»), но ближайший сподвижник Петра давным-давно обрусел и, конечно, был русским по духу, образу жизни, родственным связям. Он заслужил доверие Анны своим поведением в 1730 году, когда выказал себя сторонником самодержавия.

К числу бесспорных сторонников императрицы принадлежал также генерал А. И. Ушаков, суть жизни и работы которого заключалась в служении самодержцу по части грязных политических дел. Такие люди, как Ушаков, обычно в государственных переворотах не участвуют. Они служат только победителю и сталкиваются с побежденными — неудачливыми мятежниками или прежними повелителями — лишь возле пыточной дыбы. Могла Анна положиться и на послушного инертного канцлера Г. И. Головкина, и на А. М. Черкасского, о котором уже шла речь выше.

Иностранное происхождение само по себе не было основанием для безбедной жизни в царствование Анны. Из иностранцев ценились только те, кто с самого начала беспрекословно выполнял указы новой императрицы и служил ей верой и правдой. В памятный день 25 февраля 1730 года, когда в Кремле решалась судьба самодержавия, Анна вызвала капитана Альбрехта — начальника караула — и приказала ему не подчиняться приказам верховников, а слушаться только подполковника гвардии С. А. Салтыкова. Немец Альбрехт щелкнул каблуками, поступил под команду родственника императрицы и тем самым обеспечил себе при Анне безбедную генеральскую карьеру. Не в пример ему англичанин адмирал Сиверс выразил сомнения в праве Анны на престол и провел 30-е годы в сибирской ссылке. В Сибирь попал также и известный государствовед голштинец Генрих Фик, слишком рьяно занимавшийся в начале 1730 года теорией ограничения власти императрицы.

На первых ролях при дворе Анны действительно закрепились иноземцы. Но кто же они? Да все те же наши старые знакомцы еще по петровским временам — Б. Х. Миних и А. И. Остерман, который уже давно породнился со ста-

ринным боярским родом Стрешневых. В 1730 году Андрей Иванович едва не испортил себе карьеру, не сумев вовремя разгадать «затейку» своих коллег по Верховному тайному совету, и даже был вынужден приложить руку к сочинению «кондиций» и других документов олигархов-неудачников. Но Остерман был единственным знатоком внешней политики из всего состава Совета, и его услугами новые властители сразу стали пользоваться, хотя отношение к нему Бирона и других членов камарильи было какое-то время подозрительным и недружелюбным. Миних же, как мы помним, заслужил доверие Анны не своим немецким происхождением, а тем, что, будучи старшим воинским начальником в Петербурге, оперативно провел присягу войск и населения на верность Анне, донес на адмирала Сиверса и выполнил ряд щекотливых поручений по ведомству политического сыска. Весьма влиятельные при дворе Анны братья Левенвольде не были немцами-иностранцами вроде Миниха, заключившего контракт с русским правительством, или Бирона, приехавшего из Курляндии послужить российской императрице Анне. Отец братьев в 1710 году, после взятия Риги, вместе с другими лифляндскими немцами, перешел из подданства шведского короля в подданство русского царя. Таким образом, Левенвольде были одними из первых влиятельных остзейцев — подданных русского самодержца, занявших, к досаде многих патриотов, прочные позиции в российской элите.

В этом также нет никаких происков врагов русского народа: целые века русские дворянские корпорации пополнялись «выезжими иноземцами» из Литвы, татарских ханств, северокавказских княжеств. Парадоксальна генеалогическая история самой императрицы Анны по материнской ветви. Когда в 1730 году Д. М. Голицын обосновывал перед верховниками выбор в пользу Анны, то особо упирал на ее «природное» русское происхождение. Это так, но не совсем. Один из ее предков — боярин Михаил Глебович Салтыков, по прозвищу Кривой, — активно сотрудничал с поляками и в 1612 году бежал от ополчения Минина и Пожарского в Польшу, где был обласкан королем Сигизмундом. Его внук Александр, дед Анны и отец царицы Прасковьи Федоровны, родился в Польше. Он превратился в русского подданного в зрелом возрасте, только после завоевания царем Алексеем Михайловичем Смоленска. Возведенный как отец царицы в бояре, он сменил имя Александр на имя Федор. Это, возможно, было связано с тем, что Салтыков первоначально был крещен по униатскому обряду.

О татарской струе в российском дворянстве вряд ли стоит много распространяться: достаточно взять именной указатель к боярским книгам — спискам высших категорий служилого дворянства XVII века. Как начинается этот указатель князем Абердеевым Федором Исюнальевичем, пятью Авдуловыми и князем Бальтильдеевым Андреем Урозмановичем, так и кончается сонмом знаменитых князей Юсуповых и князем Федором Ишматовичем Ялыломовым, включая в промежутке десятки татарских родов. С петровских времен верхушка немецких дворян Остзейского края, а потом и грузинских князей и царей вошла в этот почетный регистр, верно служа русскому престолу. (Вспоминается давний грузинский фильм о герое войны 1812 года генерале Багратионе. Авторы фильма показали на экране ожесточенный спор потомка грузинских царей с потомком шотландских лордов генералом Барклаем-де-Толли о том, кто из них лучше знает русского солдата. Спор этих выдающихся русских полководцев, воспроизведенный с характерным для каждого акцентом, был для зрителей как забавен, так и символичен, ибо оба генерала имели право его вести — их воинские заслуги перед Россий значительны и неоспоримы.) Являясь иностранцами по происхождению, они были верными слугами престола. И здесь уместно вспомнить слова императора Николая I, пожурившего своего наследника Александра за его наскоки на остзейцев, заполонивших двор и гвардию: «Запомни! Русские служат России, а остзейцы — нам!» (имея в виду династию). И в этом смысле Анна — основательница Измайловского полка и покровительница братьев Левенвольде, была предшественницей Николая и преследовала те же, что и он, цели. В указе Анны от 22 сентября 1730 года были оговорены особые условия комплектования создающегося Измайловского полка. Рядовые набирались из ландмилиции южных окраин, то есть из однодворцев — мелкопоместных дворян бывшего Белгородского разряда. Об офицерах же было сказано так: «А офицеров определить из лифляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских, не определенных против гвардии рангами», то есть не входивших в гвардейские чины. Командиром полка был назначен обер-шталмейстер К. Г. Левенвольде, которому поручили набрать офицеров. В 1735 году он умер, и полковником Измайловского полка стала считаться сама императрица. В подполковники был назначен шотландец Джеймс Кейт, а с 1732 года — Густав Бирон, брат фаворита, который фактически и руководил полком. Иностранцы составляли большинство обер-офицеров (3 из 4) и более половины

штаб-офицеров (29 из 43). Нет сомнений, что политические мотивы создания Измайловского полка следует интерпретировать однозначно — Анна не доверяла русскому, точнее сказать, — московскому дворянству и предприняла попытку создать элитарную воинскую часть, не связанную со служившей в гвардии верхушкой российского дворянства (между однодворцами и московскими дворянами была подлинная социальная пропасть). Измайловский полк должен был в России выполнять функцию швейцарской стражи французских королей.

Анна и ее окружение, по-видимому, хорошо понимали опасность, которую представляли собой гвардейцы-дворяне, игравшие роль янычар при русском дворе. Их мощь была желанна для рвущихся к власти и опасна для тех, кто этой властью обладал. Данные по Преображенскому полку свидетельствуют, что во второй половине 1730-х годов в первую, самую привилегированную, роту полка стали набирать в солдаты не дворян, как было раньше, а рекрутов из податных сословий: крестьян, холопов, посадских, церковников. В манифесте правительницы Анны Леопольдовны по поводу свержения Бирона осенью 1740 года в вину временщику ставилось то, что он «для лучшего произведения злого своего умысла намеренно взял из полков лейб-гвардии наших Преображенского и Семеновского, в которых по древним учреждениям большая часть из знатного шляхетства... состоит, оное вовсе вывести и выключить и места их простыми людьми наполнить». Историю создания Измайловского полка, как и реорганизацию Преображенского и Семеновского полков, можно оценивать однозначно — как попытку разбавить гвардию недворянами и тем самым снизить угрозу для трона со стороны российских янычар.

Следующий стереотип: при Анне существовала целая «немецкая партия», то есть достаточно сплоченная и однородная по национальному составу и целям группировка, державшая в своих руках власть. Этот стереотип, как и предыдущий, является чистейшим историографическим мифом. Как известно, этнопонятие «немцы» в XVIII веке лишь отчасти охватывало жителей Германии. «Немцами» в России называли вообще всех иностранцев — жителей христианских стран Западной Европы. Да и настоящие немцы в это время не ощущали этнического единства. Они были подданными множества германских герцогств, княжеств, королевств, жителями имперских городов и территорий. Священная Римская империя германской нации была конгломератом государственных образований. Говорящие по-немецки подданные Мекленбургского, Курляндского или Гольштинского герцогов, прусского короля, саксонского курфюрста даже за границей не чувствовали своего германского единства, немецкой общности. В инородной среде они, скорее, могли объединиться как европейцы, католики или протестанты, но тогда эта общность уже не была чисто германской. Так было и в России во времена Анны. В борьбе у подножия трона за милости монарха ни национальность, ни вероисповедание значения не имели. В итоге пестрая компания, окружавшая престол внучки бывшего подданного польского короля, состояла из курляндца Бирона, лифляндцев братьев Левенвольде, ольденбуржца Миниха, вестфальца Остермана, «литвина» Ягужинского, потомка кабардинских князей Черкасского, русских Головкина, Ушакова и Волынского, и эта компания не составляла единства. Это была типичная придворная камарилья, раздираемая никогда не стихавшей борьбой за власть, влияние, милости. «Глотатели счастья», вне зависимости от национальности, были в чем-то схожи. Де Лириа так характеризовал одного из типичных придворных Анны — графа К. Г. Левенвольде: «Он не пренебрегал никакими средствами и ни перед чем не останавливался в преследовании личных выгод, в жертву которым готов был принести лучшего друга и благодетеля. Задачей его жизни был личный интерес. Лживый и криводушный, он был чрезвычайно честолюбив и тщеславен, не имел религии и едва ли даже верил в Бога».

То же можно сказать о Бироне, Минихе, Ушакове и других. Донесения иностранных дипломатов, переписка и другие источники позволяют воссоздать своеобразную летопись придворной борьбы первых лет анненского царствования, которая хорошо иллюстрирует нравы этого сообщества. Можно посвятить этому много времени и составить схемы расклада сил и борьбы группировок. В главе о внутренней политике я уже писал об этом. Кратко повторюсь. Вначале Бирон, Левенвольде и Ягужинский борются против Остермана, который объединяется с Минихом. Затем отодвигают от власти Ягужинского. Та же судьба ждала и Миниха, против которого интригует Бирон и которого оставляет Остерман. Бирон не доверяет Остерману и стремится нейтрализовать его в Кабинете вначале с помощью Головкина, а после смерти канцлера с помощью Ягужинского. На смену последнему приходит в Кабинет Волынский — креатура фаворита. Остерман интригует против Волынского, затем Остерман и Бирон, объединившись, свергают Волынского. После смерти Анны Миних, Остерман и Бестужев-Рюмин помога-

ют Бирону стать регентом. Потом Миних свергает Бирона, его самого убирает Остерман и т. д. и т. п. Следя за мелочными подробностями придворных интриг и распрей, оценивая весомость уловок и взаимных пакостей, как-то забываешь о национальности борющихся и объединяющихся в «клубки друзей» вельмож — все они, вымазанные одним известным веществом, кажутся одинаковыми.

Теперь рассмотрим другой историографический штамп: «торговля интересами страны» и «разграбление ее богатств» немецкими временщиками при Анне. Изучая внешнеполитические акции правительства 30-х годов XVIII века, можно уверенно утверждать, что внешняя политика «немецкого правительства» Анны была, если так можно сказать, качественной, полновесной российской имперской политикой. И русско-австрийский союз, и поведение России в Польше, и русско-турецкая война говорили об одном — принципы и методы имперского разрешения так называемых польского и черноморского вопросов при Анне представляют собой развитие и совершенствование петровских внешнеполитических принципов и доктрин, приложимых к новой исторической обстановке, причем в наиболее перспективных геополитических направлениях. Не случайно этим путем пошли и все другие «национальные» русские правительства, в особенности правительство немки Екатерины II. Успехи, которых она достигла при разделе Польши или в войнах с Турцией, стали возможны благодаря переориентации экспансии Российской империи на Польшу и Восток, что произошло именно в анненское время. Конструктором этой переориентации, как известно, был вестфалец Остерман, исполнителями — ольденбуржец Миних и ирландец Ласси. Временщик же императрицы курляндец Бирон, который осуществлял общее руководство политикой, писал в начале войны с турками посланнику России в Польше курляндцу Кейзерлингу письма о спорах с австрийскими союзниками, исполненные вовсе не курляндского, а чисто российского имперского духа: «Имперский посол начал также хвастать на венский манер, когда же я вступил с ним в довольно искренний разговор спустя два дня, то дал ему заметить, что это вообще старая привычка венского министерства: как скоро что-либо идет согласно их желанию, то они думают, что весь свет должен считать их за оракула, но пусть он будет уверенным, что они ошибаются, если думают так обходиться с Россиею; прежде всего известно, что могущество и сила России так велики, как Римский император воображает (конечно, ошибочно) о себе, но в этой войне мы также не

будем просить их. Если они желают заявить свету, что в них есть чувство признательности, которую они нам должны выразить, то могут воспользоваться настоящим случаем. Мы и одни всегда справимся». Чем не стиль Александра Меншикова или Григория Потемкина? Высокопарно говоря, в анненское время корабль империи, раздув под свежим ветром паруса, мчался вперед петровским курсом, который, как мы помним, был весьма независимым от влияния других держав. И о «торговле интересами» России, естественно, не могло идти речи.

Особо следует сказать о Курляндии. Приход в 1730 году к власти в России курляндской герцогини Анны, без сомнения, усилил российские позиции в этом пограничном с империей герцогстве. Для курляндского дворянства, встретившего радушный прием при дворе своей бывшей повелительницы, которую оно, кстати сказать, ранее не очень жаловало, наступили новые времена — ориентация на Россию усилилась. Бирон, в отличие от многих других временщиков так и не владевший ни одной душой русских крепостных крестьян и ни одной деревней в России, все свои помыслы в плане личных интересов направлял на упрочение своих позиций именно на родине. Более всего Бирон хотел быть герцогом, но не Ижорским, как Меншиков, а Курляндским. Он не порывал связи с земляками и в ожидании смерти жившего в Данциге герцога Фердинанда вел, как уже говорилось, тонкую политическую игру, цель которой состояла в том, чтобы не допустить включения вассального Речи Посполитой герцогства в состав польского государства и не дать Пруссии прибрать к рукам «бесхозную» Курляндию. Для этого он через посланника в Варшаве Кейзерлинга распространяет слухи о своем полном равнодушии в отношении герцогского престола. Бирон рекомендовал посланнику внушать всем возможным кандидатам на курляндский трон, что доходы герцогства весьма скромны. Развивая эту тему, он писал Кейзерлингу 6 января 1736 года: «Во всей Курляндии нельзя найти ни одного княжеского помещения, где герцог мог бы поместиться на одну ночь сообразно своему положению. При этих обстоятельствах не знаю, что за удовольствие быть герцогом мог бы иметь тот, кто не располагает миллионами. Я держусь того мнения, что это должно быть ему причиной постоянной печали и путем к скорой смерти». Отмечая, что не желает иметь «удовольствие быть герцогом в будущем», он несколькими строчками ниже, как бы между прочим, сообщает: «Я купил также Швиттен и прикажу будущим летом выстроить в Руэнтале дом в 100 комнат, думаю

осенью иметь его крытым. Если поспею, то полагаю, что постройка хорошо удастся». Мы можем в полной мере оценить притворную скромность и лицемерие временщика: конечно, он успеет со своим дворцом к осени, ибо гениальный Растрелли уже работал на строительстве дворца третий год и свое дело знал великолепно. Нетрудно представить себе, откуда шли в Руентале материалы, деньги и все остальное, столь необходимое для строительства и украшения роскошного дворца, возведенного в предельно сжатые сроки. Весной 1737 года Фердинанд умирает, и Бирон приступает к действиям, цель которых видна каждому — занять курляндский престол. Сочетание подкупа, давления, присутствие русских войск поблизости от места выборов герцога решают дело в пользу нашего скромника. Теперь он может с торжеством писать Кейзерлингу о прусском короле: «Nur sein Fuchs soll meine Gans nicht beissen» — «Но только его лиса не схватит моего гуся». Действительно, гусь благодаря постоянной подкормке русским зерном был жирный; те миллионы, без которых герцог не мог содержать свой скромный двор, Бирон получал из казны и разных других источников.

Но у курляндского дела в его вольном прочтении Бироном есть аспект, который мы, держа в поле зрения интересы России, пропустить не можем. В определенном смысле деньги, вложенные во дворцы и владения временщика Анны, не пропали для России, а дали буйные имперские всходы. Курляндия с той поры была признана в Европе государством, находящимся в сфере влияния России. И когда после своего прихода к власти Екатерина II вызволила Бирона из двадцатилетней ярославской ссылки и посадила на митавский престол, ей не было необходимости волноваться за интересы России в этом районе: постаревший, но бодрый Бирон, а потом его сын Петр знали, кто их подлинный сюзерен, и верно ему служили до тех пор, пока в конце XVIII века империя не поглотила Курляндию вместе с Польшей.

Поговорим теперь о внутреннем состоянии страны. В литературе о «бироновщине» оно также характеризуется как весьма драматическое. «Народное и государственное хозяйство, — пишет, например, Ключевский, — расстраивалось, торговля упала...»

Начнем с последнего. Данные историков XVIII—XIX веков и — в особенности — новейшие исследования архангельского историка Н. Н. Репина, обобщившего все доступные науке сведения о российской торговле первой половины XVIII века, демонстрируют, что общий объем торговли Петербурга с 1725 по 1739 год вырос с 3,4 до 4,1 млн рублей,

а размеры собранных таможенных пошлин увеличились с 228 тыс. рублей в 1729 году до 300 тыс. в 1740-м. Заметно увеличились и объемы экспорта различных товаров. Так, вывоз железа увеличился с 71,3 тыс. пудов в 1729 году до 396,3 тыс. пудов в 1739 году, то есть более чем в 5 раз. Если в 1730 году через Архангельск хлеба вывезли 6,3 тыс. четвертей, то в 1741 году вывоз составил 140,5 тыс. четвертей, то есть вырос более чем в 22 раза. Почти в 2 раза вырос и экспорт говяжьего сала, икры и других товаров, пользовавшихся спросом на европейском рынке и бывших в изобилии в стране. Увеличился и импорт иностранных товаров через Петербург, Архангельск, Ригу, Ревель и Нарву, куда со всей Европы шли торговые суда.

Наиболее убедительным аргументом для многих являются показатели экономического роста, и в первую очередь данные о работе промышленности — основы военного могущества. Согласно данным С. Г. Струмилина, если в 1731 году казенные заводы выплавили 621,4 тыс. пудов чугуна и железа, то в 1740 году объем выплавки составил 764 тыс. пудов, или увеличился на 23%. Выплавка чугуна на частных заводах за тот же период увеличилась с 796 тыс. пудов до 1068 тыс. пудов, или на 34%. Особенно впечатляющи были успехи казенной металлургии на Урале. По данным Н. И. Павленко, если в 1729 году на уральских заводах было выплавлено 252,8 тыс. пудов, то в 1740 году — 415,7 тыс., или на 64,4% больше. Используя еще недавнюю нашу терминологию, можно сказать, что была достигнута историческая победа российского крепостнического строя над капиталистическим строем в выплавке чугуна. Если при Петре, в 1720 году, Россия выплавила 10, а Англия — 17 тыс. тонн, то в 1740 году Россия достигла уровня 25 тыс. тонн, а хваленые домны Шеффилда и Лидса выдали только 17,3 тыс. тонн. В данном случае мы не будем углубляться в изучение вопроса о причинах такого экономического рывка России, как и задумываться над тем, были ли прочны экономические успехи России в исторической перспективе «соревнования с Британией навстречу Крымской войне». Мы лишь отметим, что «бироновщина» никоим образом не воспрепятствовала гордой поступи российской экономики в XVIII веке. Причем на первых ролях в металлургической и горной промышленности во второй половине 30-х годов XVIII века действовал А. К. Шемберг — личность весьма одиозная, ставленник Бирона и его окружения. Он был нанят Кейзерлингом в Саксонии, где был главным распорядителем ведомства горного дела — обер-берг-гауптманом. В России он

стал генерал-берг-директором и возглавил заменившую Берг-коллегию Генерал-берг-директорию. Его власть превосходила власть любого президента коллегии, и с ее бесконтрольностью современники, а потом и исследователи, связывали многие злоупотребления в этой весьма и весьма доходной отрасли промышленности. Но и здесь, как часто бывает в жизни, есть две стороны одной медали, которые трудно отделить друг от друга. Ведомство Шемберга приступило к пересмотру горного и промышленного законодательства. Как известно, в конце своего царствования Петр I изменил многие принципы промышленной политики и пошел по пути смягчения условий для частного предпринимательства, что отразилось в знаменитой Берг-привилегии 1719 года. Но в середине 1730-х годов этого было уже недостаточно — задуманная в широких масштабах приватизация государственных предприятий требовала новых законов. Именно таким законом и стал созданный Шембергом и его коллегами Берг-регламент 1739 года. Как считает крупнейший знаток истории русской промышленности XVIII века Н. И. Павленко, «новые уступки в пользу промышленников, установленные Берг-регламентом, дают полное основание считать, что политика покровительства, которую проводило правительство Петра в отношении промышленников и металлургической промышленности, осталась в своих основах неизменной и во второй четверти XVIII века. Правительство Анны Иоанновны учитывало, что от развития промышленности «многие другие государства богатятся и процветают», и поэтому считало необходимым заботиться о развитии промышленности в России». И роль анненских администраторов, в том числе и Шемберга, в этом процессе очевидна.

В 1738 году Шемберг и специальная Комиссия о заводах в составе П. Шафирова, князя А. Куракина, графа М. Головкина, графа П. Мусина-Пушкина приступили к обсуждению самой болезненной проблемы — выработки принципов передачи казенных предприятий в частные руки. Знакомясь с материалами Комиссии, нельзя не поразиться их сходству с теми дискуссиями, которые начались в современной России 1990-х годов по поводу принципов приватизации государственной собственности. Приведу примеры. Генерал-берг-директориум в лице Шемберга настаивал на том, чтобы передачей заводов занимался он лично, распределяя их по своему усмотрению. Комиссия о заводах возражала, считая, что тем самым будет открыт путь всевозможным злоупотреблениям чиновников этого ведомства и что все желающие получить завод в собственность должны предстать перед лицом авторитетной Комиссии, которая вынесет решение «с общего рассуждения», как бы сейчас сказали — на конкурсной основе. Далее. Шемберг предлагал назначить фиксированные цены на заводы, а Комиссия, наоборот, склонялась к тому, чтобы продавать заводы по аукционной системе — кто предложит наиболее выгодные для казны условия. Хитрость Шемберга состояла в том, что он предлагал установить предельную цену на завод «против (то есть не выше. — *Е. А.*) Акинфия Демидова заводов», хотя сам претендовал на Горноблагодатные заводы, стоявшие на очень богатых рудой землях, и тем самым много выигрывал от установления исходной предельной цены завода. Но были противоречия и иного рода. Комиссия оспаривала предложения Шемберга о передаче заводов частным владельцам в вечную собственность, о непременных гарантиях ее неприкосновенности для владельца, протестовала против предоставления владельцам права свободно распоряжаться своей собственностью. Эти весьма прогрессивные условия владения собственностью, предложенные Шембергом, явно противоречили всей политической и правовой системе России. В стране, где никто не мог ручаться не только за свою собственность, но и за личную свободу и жизнь перед угрозой самодержавного произвола, такие законы не могли быть приняты. Наконец, Комиссия восстала против предложения Шемберга о том, чтобы чиновники Генерал-берг-директории могли вступать в рудокопные компании и становиться владельцами заводов. Комиссия справедливо вопрошала относительно таких деятелей: «Когда они будут интересанты, то уже кому надзирание над ними иметь?»

После долгих споров и достигнутого компромисса Берг-регламент был утвержден Анной и открыл путь к приватизации казенной промышленности. Первым, кто устремился по нему, был, как догадывается современный читатель, сам генерал-берг-директор, получивший Горноблагодатные и иные заводы, сальный и китобойный промыслы. Ради интересов Шемберга был расторгнут выгодный для казны контракт с компанией Шифнера и Вульфа, и сбытом казенного железа за границей стал заниматься сам Шемберг. Когда в Кабинете «требовано от него порук или довольнаго обнадеживания», генерал-берг-директор «объявил, что его высококняжеская светлость, герцог Курляндский, изволит быть порукою по нем». Естественно, с таким поручителем можно было горы величиной с Благодать свернуть, тем более что, согласно Берг-привилегии, Шемберг получал от государства большие субсидии как начинающий заводчик. Я не имею

фактов, позволяющих утверждать, что предприниматель Шемберг делился доходами со своим патроном. Однако знающий, хотя и не очень нейтральный к Бирону В. Н. Татищев считал, что Шемберг позволил-таки фавориту прибрать к рукам огромную по тем временам сумму — 400 тыс. рублей. Одно ясно — отношения между Шембергом и Бироном не были бескорыстными.

Надо сказать, что махинации Шемберга — создателя Берг-регламента и владельца заводов — продолжались недолго. При Елизавете его лишили власти и приватизированного (читай — присвоенного) добра. И дело заключалось не в том, что он был сподвижником Бирона, немцем, членом «немецкой камарильи» или вором, а в том, что на Горноблагодатные и иные заводы стали поглядывать люди из новой — уже чисто русской — камарильи, окружавшей новую императрицу Елизавету Петровну. Новые начинающие заводчики — графы А. И. и П. И. Шуваловы, М. И. и Р. И. Воронцовы, И. Г. Чернышев, С. П. Ягужинский — пришли на смену «немецким авантюристам, разворовывавшим страну», и вскоре стало ясно: то, что делали Шемберг с Бироном, выглядело детской забавой в сравнении с теми махинациями, которые осуществляли на благодатной промышленной почве «русские патриоты». Бесконечные и значительные субсидии из казны, грубейшие нарушения горного законодательства, расправа с не защищенными властью конкурентами, всевозможные льготы за счет государства — вся эта вакханалия позволила Н. И. Павленко прийти к такому неутешительному выводу: «Правительство А. И. Шувалова ярко иллюстрирует беззастенчивость использования исполнительной власти и положения при дворе в корыстных целях. Едва ли в правительстве Шувалова можно обнаружить хотя бы одну черту, положительно повлиявшую на развитие металлургии России». Я привожу эту цитату, ни в коем случае не ставя цели оправдать Бирона и его вороватую компанию. Но когда читаешь у Ключевского, что во времена «бироновщины» «источники казенного дохода были крайне истощены», что «при разгульном дворе... вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа» и что «на многомиллионные недоимки и разбежались глаза у Бирона», то невольно думаешь: только ли при господстве Бирона были так истощены источники казенного дохода? Только ли при ненавистных немецких временщиках нещадно выколачивали из русского народа недоимки, и только ли у Бирона «разбегались» на это глаза? Нет, конечно!

Проблема недоимок в сборах подушной подати и других налогов была острейшей в течение всего XVIII века. Крестьянское хозяйство не справлялось с прессом налогов и повинностей, которые непрерывно возрастали с конца XVII века. Кроме того, в России, как всегда, платить налоги сполна было непонятной доблестью — ведь все видели, что эти трудовые деньги проваливались как в бездонную бочку, ничего не принося людям, которые их платили. В итоге проблема недоимок не была решена ни при Петре, ни при его преемниках. Не следует думать, что Петр Великий взыскивал недоимки иначе, чем Анна или Екатерина I, — способ был один: жестокие указы «с гневом», посыльные, военные команды, массовый правеж недоимок — палками по ногам каждому из неплательщиков, отписка в казну имущества недоимщиков, «железа», тюрьма. Еще до анненского царствования — в 1727 году — была создана специальная Доимочная канцелярия, а в 1729 году — Канцелярия конфискации, которые весьма рьяно занимались тем, за что так немилосердно ругают иные историки Бирона и его компанию.

Между тем в начале 30-х годов правительство Анны оказалось в весьма сложном финансовом положении: к 1732 году при государственном доходе в 6—7 млн рублей в год недоимки за годы царствования Екатерины I и Петра II накопились в размере 7 млн рублей. И деньги эти требовались не столько на веселье и обжорство двора, сколько на нужды армии, на которую в мирное время шло не менее 5—6 млн рублей в год, а в военное (длившееся с 1734 по 1739 год) — еще больше. К каким только ухищрениям и приемам не прибегало правительство Анны, чтобы получить эти деньги, преодолеть упрямое упорство совсем небогатых крестьян — основных плательщиков! Можно с уверенностью сказать, что сборщики недоимок гуманностью не отличались. Кроме того, была восстановлена петровская система ответственности помещиков за платежи их крестьян. Армейские полки были вновь (после конца 1720-х годов) размещены в деревнях, и их командиры собирали подушную подать со своего дистрикта — территории размещения полка — и несли ответственность за эти сборы. И тоже не приходится сомневаться, что крайне озабоченный денежным довольствием своих солдат и офицеров полковник вряд ли церемонился и с крестьянами, и с помещиками окрестных деревень. Но так было всегда — и до и после «бироновщины». О воровстве при Анне, которое почему-то ставится в упрек только ее режиму, я не буду подробно говорить: воровством в России ни-

кого не удивишь — достаточно посмотреть дела XVIII века о злоупотреблениях властью.

Следует сказать еще об одном популярном у многих обличителей «бироновщины» моменте. Историк XIX века Е. Белов, описывая ужасы господства иностранного временщика, писал: «Затем последовало систематическое разорение высшего дворянства посредством неслыханной до того роскоши». Автор имел в виду то, что коварный немецкий временщик, сам ведя роскошный образ жизни, устраивал балы, маскарады, втягивал в это простодушных дворян, и они были вынуждены разоряться, чтобы достать денег на угощения, выезд, костюмы, приемы и т. д. Бедная, бедная русская знать, разоряемая немецким проходимцем! Но забавно то, что еще больше «разоряла» таким образом русское дворянство Елизавета Петровна, чьи пиры, приемы, маскарады, ежедневные переодевания и бешеные траты на роскошь вошли в легенду. Так, М. М. Щербатов, описывая нравы елизаветинских времен, скорбит о печальной участи отставного майора князя Б. С. Голицына, чье роскошное житье «изнуряло его состояние», и он как «от долгов приватным людям, так и от долгов казне разоренный умер, и жена его долгое время должна была страдать и претерпевать нужду в платеже за безумие своего мужа». Из елизаветинского времени до нас доносятся жалобные вопли и стоны и других, подобных Голицыну, «бедняков», вконец разоренных веселой, непоседливой императрицей, в сравнении с лукуловыми пирами которой празднества Анны выглядели вечеринками трезвенников и постников.

Нет оснований утверждать, что в годы царствования Анны были какие-то гонения на Православную церковь — это тоже один из историографических мифов. В Святейшем Синоде и церковных верхах с петровских времен господствовали интриги и подсиживания. Многие церковники, недовольные реформой Петра, стремились всяческими путями (в том числе и бесчестными) устранить от власти Феофана Прокоповича, но он, человек беспринципный и опытный в интригах, пользовался поддержкой Бирона и умело оборонялся, засаживая своих противников — церковных иерархов — в дальние монастыри и Тайную канцелярию. Достигалось это доносами и контрдоносами, где преимущественно фигурировали обвинения в «оскорблении чести Ея императорского величества». Можно без преувеличения утверждать, что превращение Петром Церкви в контору по делам веры, полностью подконтрольную государству, привнесло в ее среду (наряду с другими отрицательными

факторами) нравы двора, ожесточение, безнравственность, грязь — все то, что было так характерно для суетного времяпрепровождения придворной камарильи.

В остальном же церковная политика при Анне мало в чем изменилась по сравнению с предшествовавшими временами. Защита православия выражалась, как и прежде, в расправах с еретиками, которых сжигали на кострах и гноили в монастырских тюрьмах. Более того — 30-е годы XVIII века стали трагической страницей в истории русского старообрядчества. Именно при Анне власти перешли в решительное наступление на старообрядцев. С 1735 года на Урале и в Сибири начались беспрецедентные по масштабам, тщательности и жестокости облавы воинских команд по лесным скитам. Аресты, пытки, преследования, разорения десятилетиями создававшихся гнезд противников официальной Церкви приводили к «гарям» — самосожжениям, в которых гибли десятки людей — мужчин, женщин, стариков и детей.

Вот что пишет по этому поводу прекрасный знаток русского старообрядчества Н. Н. Покровский: «Своеобразная ироническая логика истории видится в том, что активным проводником консервативнейшей линии правительства Анны Иоанновны в этом вопросе, в некоторой степени даже инициатором невиданной ранее по масштабам полицейской акции по искоренению противников официального православия явился просвещеннейший поборник государственного подхода и казенного интереса Василий Никитич Татищев. Предшественник В. Н. Татищева в должности начальника Урало-Сибирского горнозаводского округа де Геннин (голландец. — *Е. А.*) отличался веротерпимостью и предпочитал по возможности не вмешиваться в вероисповедные проблемы. Консистория не раз жаловалась, что не может получить от него должной поддержки для искоренения старообрядчества на заводах. Не только на Урале, но и в придворных кругах секретом полишинеля являлось то, что снисходительность Геннина обходилась уральским старообрядцам в несколько тысяч рублей в год. Такса эта считалась умеренной, а техническую сторону сбора сумм обеспечивали видные старообрядцы из влиятельнейших заводских приказчиков».

Все переменилось с приходом на Урал Татищева, неподкупность которого также ставилась под сомнение (вспомним цитату из донесения самого Татищева о том, как он был вынужден взять от раскольников взятку). В Синоде его работой были довольны, а результатом стали страдания и гибель людей, не хотевших жить, как предписывала им офи-

циальная Церковь, и акции эти оказались бессмысленными: из более чем полутора тысяч арестованных в результате татищевских «выгонок» старообрядцев обратились в официальное православие только 77 человек.

Наконец, затронем еще один аспект проблемы «бироновщины», которая очень часто изображается как репрессивный режим, чем-то схожий по жестокости с режимом Ивана Грозного. Действительно, во времена Бирона были и шпионаж, и доносы, и «жестокое преследование недовольных». Но когда этого не было в России? В 30-х годах XVIII века вся система политического сыска, начиная с законодательства и кончая особенностями ведения политических дел, была прямым продолжением сыска XVII века, и особенно петровских времен. Изучая историю политического сыска, мы видим, что с приходом Анны к власти масштабы репрессивной работы сыскного ведомства не возросли. Все эти годы личный состав Тайной канцелярии не увеличивался, оставаясь в пределах 10—20 человек и около полутора сотен солдат Преображенского полка и Петербургского гарнизона, которые охраняли колодников. Число последних никогда не превышало 250—300 человек. За десять лет анненского царствования было арестовано максимум 10 тысяч человек, а в Сибирь из них было отправлено не более тысячи. Иначе говоря, никакой речи о массовых репрессиях во времена «бироновщины» идти не может. Данные описи дел Тайной канцелярии позволили Т. В. Черниковой сделать вывод, что количество политических дел времен Анны не превышает двух тысяч единиц, тогда как в первое десятилетие царствования Елизаветы зафиксировано 2478, а во второе десятилетие (50-е годы XVIII века) — 2413 дел. Несомненно, в анненское время с попавшими в Тайную канцелярию расправлялись более жестоко, чем при Елизавете Петровне, но все относительно — ведь Елизавета вообще отменила смертную казнь. А ведь можно сравнить анненский сыск с петровским, знавшим действительно массовые расправы с недовольными — стоит вспомнить стрелецкое дело конца XVII века, расправы с участниками Астраханского и Булавинского восстаний, дело царевича Алексея и др.

Просмотренные мной в ходе работы над книгой «Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке» дела Тайной канцелярии показывают, что детально изучаемые следователями слухи и сплетни о жизни Анны и ее окружения (а это и есть основная масса преступлений) очень редко фокусировались именно на немецком происхождении ее любовника. Такой же характер имели следственные дела о

русских «ночных императорах» Елизаветы или Екатерины II. Конечно, элемент патриотизма, выраженный в осуждении преимуществ, которые получали «немцы» при дворе и в армии, все же присутствовал — об этом тоже сохранились дела — но никогда эта тема при работе Тайной канцелярии не становилась главной. Мы не можем утверждать, что в анненское время карательные органы России боролись с патриотическим движением.

«Государев гнев — посланник смерти»

Вероятно, царствование Анны Иоанновны никогда бы не превратилось в историографическую «бироновщину», если бы не было омрачено розысками и расправами над несколькими знатными фамилиями и персонами — Долгорукими, Голицыными, Волынским. Но в этом смысле анненское правление было не более «террористическим», чем правление ее предшественников и преемников. Склонность к политическому розыску как средству устрашения и подавления политической оппозиции, пресечения нежелательных толков и слухов проявляли в той или иной степени все русские цари. Кровавые розыски при Петре I, расправа Меншикова со своими коллегами при Екатерине I, дело самого Меншикова при Петре II, наконец, дело Лопухиных, Лестока при Елизавете — все это вытягивается в единую цепь, звеньями которой стали и дела Долгоруких, Голицына, Волынского при Анне. Не пытаясь оправдать Анну и Бирона, отметим, что в политической борьбе Анна и ее окружение поступали точно так же, как поступали все предшественники императрицы, приближая угодных и отдаляя неугодных.

По-видимому, придя к власти, мстительная Анна хотела «разобраться» прежде всего с верховниками. За февраль-март 1730 года сохранился проект указа царицы о начале публичного «исследования и рассмотрения» обстоятельств ее приглашения на русский престол и ограничения ее власти. И отчасти это расследование было начато. Казалось бы, Анне на волне общей поддержки дворян, избавившихся от олигархов, представился хороший случай расправиться со своими утеснителями — бывшими верховниками. Но тем не менее она не пошла на это до конца, затормозив начатое расследование, и поступила так вовсе не из гуманных соображений. Согласно проекту указа предусматривалось, что разбирательство и суд над верховниками осуществит собрание «разных главнейших чинов», которое затем рассмотрит проект изменения государственной системы, с тем чтобы не

допустить в дальнейшем подобных «затеек». Готовая расправиться с верховниками Анна тем не менее не собиралась пойти на созыв такого собрания — не для этого она порвала кондиции. А потому, не дав хода проекту, Анна устремилась по вполне традиционному пути — «положения» опал на личности, точнее, — на семьи вчерашних фаворитов.

Опала на Долгоруких была «положена» весной 1730 года в типичном для прошлых столетий стиле: репрессиям (без суда и следствия) были подвергнуты не конкретные виновники попытки ограничения власти императрицы (например, князь Иван Алексеевич, или князь Алексей Григорьевич, или Василий Лукич), а почти весь род Долгоруких. В этом хорошо видна традиция политических репрессий: ссылали или казнили не только опального вельможу, но и его братьев, весь род, на который обрушивался царский гнев и который тем самым сбрасывался вниз по ступеням местничества. Так было до Петра Великого, так было при Петре и после: Меншиков отправился в Сибирь с ни в чем не повинными домочадцами, а чуть ранее он сам сослал П. А. Толстого на Соловки вместе с его сыном, который никаких преступлений не совершал. И Анна осталась верна этой традиции. «Фельдмаршал Долгорукий, — пишет французский поверенный Маньян в июле 1731 года, — не скрывает своего отчаяния при мысли о том, что он остается единственным представителем своего рода, который сохранил еще за собой доступ ко двору, и эта милость приобретена им тяжкою ценою унижений, которые он обязан за то терпеть со стороны графа Бирона».

В указе от 14 апреля 1730 года Долгорукие (в первую очередь князь Алексей и князь Иван) обвинялись в том, что «не берегли здоровья» Петра II (любопытно, что впоследствии Бирон тоже оказался виноват в том, что не берег здравия Анны Иоанновны), а также «отлучали Его величество от доброго и честного обхождения» и пытались женить на Екатерине Долгорукой; наконец, Анна обвиняла Долгоруких в заурядной краже «нашего скарба, состоящего в драгих вещах на несколько сот рублей». Князь Василий Лукич обвинялся в преступлениях, которые не раскрывались публично: «за многие его Нам и к государству Нашему бессовестные противные поступки». За это его отправили на Соловки, в ту тюрьму, где в 1729 году умерли отец и сын Толстые. Семья Алексея Долгорукого вначале была выслана из подмосковного имения Горенки в дальнюю пензенскую вотчину — Селище. Не успели Долгорукие приехать в Селище, как их нагнал отряд солдат, который был послан императрицей, чтобы сопровождать опальных в Сибирь, на новое место ссылки — в Березов, где незадолго перед этим умерли А. Д. Меншиков и его дочь Мария. Долгорукие были поселены в том же доме, из которого были вывезены сын и дочь светлейшего — Александр и Александра. Потянулись долгие годы ссылки...

Примыкает к делу Долгоруких и дело фельдмаршала В. В. Долгорукого, недолго продержавшегося на плаву. По доносу его арестовали, и вскоре фельдмаршалу уже не пришлось унижаться перед фаворитом — его надолго посадили в тюрьму.

Дело фельдмаршала Долгорукого можно рассматривать в тесной связи не только с делом его родственников, но и с подобными делами других неугодных новой власти чиновников и военных. В ссылку отправился, как уже сказано выше, адмирал Сиверс. В мае 1731 года арестовали известного сподвижника Петра Великого А. И. Румянцева. Причина ареста — «болтал много лишнего, даже про императрицу» (из сообщений саксонского дипломата Лефорта). Приговоренный Сенатом к смерти, Румянцев был помилован Анной и провел ссылку в своей дальней деревне, откуда через несколько лет его вызвали в Петербург, вернули чины и ордена, и он благополучно дослужился при Анне до генерал-аншефа. Как это часто бывает, пример не оказался «другим наука» — «поносные и непристойные» слова об Анне, Бироне и их окружении служили поводом для доносов, расследований, ссылок и казней. Впрочем, и раньше, и позже словесная невоздержанность становилась причиной многих бед для россиян.

Конечно, вряд ли Анна забыла нанесенную ей верховниками обиду — она только ждала удобного случая для расправы с ними. В 1736 году Анна сумела добраться до Дмитрия Михайловича Голицына, которому исполнилось уже 69 лет. В первое пятилетие анненского царствования он — сенатор — изредка принимал участие в государственных делах, но потом подлинная (или притворная) болезнь все меньше и меньше позволяла ему выезжать из подмосковной вотчины Архангельское, где в окружении книг он коротал время. По-видимому, бывший глава верховников вел себя очень осторожно и не давал повода для императрицына гнева. Но в 1736 году в Кабинет министров из Сената поступило дело об имении, право на владение которым оспаривали вдова покойного молдавского господаря Димитрия Кантемира — Настасья и ее пасынок — князь Константин Димитриевич Кантемир, который приходился зятем Д. М. Голицыну.

Спор был давний и запутанный. Кабинет назначил для его разбора «Вышний суд», в который вошли Н. Головин, А. Б. Куракин, В. Ф. Салтыков, Д. А. Шепелев и А. П. Волынский. Трудно теперь сказать, кто из членов суда получил задание во что бы то ни стало «вшить» в дело К. Кантемира материалы против его тестя — Д. М. Голицына. Думаю, что и Салтыков, и Волынский могли с этим успешно справиться. Они взяли на вооружение старый, известный прием, который чуть позже был использован в деле против самого Волынского, — из дворовых людей Кантемира к следствию был привлечен некто Перов, который начал писать доносы и на Константина Кантемира, и — самое главное — на его тестя. 13 декабря 1736 года был подписан указ о вызове Голицына на допрос. Он был болен, не мог самостоятельно передвигаться, оставить его, глубокого старца, в покое просил М. М. Голицын — младший брат покойного фельдмаршала М. М. Голицына, бывший в это время в армии генерал-кригс-комиссаром. Но все было напрасно — за Голицыным явились гренадеры.

В доносе крестьянина И. Баженова на конюха князя Голицына А. Васильева передан рассказ дворовых опального вельможи о том, как был арестован старый князь: «Как у князя их печатали дом и запечатывали все сандуки, и он, на то не смотря ни на што, все печати обломал и вынул по две пары одежи и роздал всем людям своим, и о том караулныя доложили государыне, и государыня приказала с него снять кавалерию и шпагу, и присланы были к нему для снятия, и он им снять с себя не дал и, сняв с себя кавалерию и шпагу, выбросил в окно на улицу, и присланы были по него гренадеры, чтоб ево взять во дворец, и он им взять не дался ж, и говорил: "Меня и свои люди отнесут", и как ево люди взяли и, положа на скатерть, понесли во дворец, и сама государыня изволила глядеть из окна по поес (вспомним, как Анна торчала со скукой в окне. — *Е. А.*) и говорила ему: «Принеси, князь Дмитрей Михайлович, вину, я тебя прощу», и он сказал: «Не слушаюсь я тебя, баба такая», а персону до Ея величества оборачивал все к стене и не глядел на нее, такой он сердитой человек».

Не исключено, что многое из этого придумано и додумано рассказчиками, но то, что князь Дмитрий не повинился, вел себя гордо и неуступчиво, позволял себе на заседаниях начавшегося против него суда острые высказывания в адрес Анны — факт несомненный. Он отражен в приговоре 8 января 1737 года, где наряду с обвинениями в злоупотреблении служебным положением Голицын осуждался как человек, проявивший «противности, коварства и безсовестныя вымышленыя поступки, а наипаче за вышеупомянутые противные и богомерзкие слова».

Суд приговорил Голицына «казнить смертию», а имение отписать в казну. Императрица заменила казнь вельможи тюрьмой. 9 января больного сенатора доставили в Шлиссельбург, откуда срочно вывезли другого узника — его коллегу по Совету — фельдмаршала В. В. Долгорукого, отправленного в казематы Ивангорода. Князь Дмитрий в Шлиссельбурге протянул только до 14 апреля 1737 года — он умер в каземате. Как и в деле Долгоруких, Анна нанесла удар по всему роду: упомянутый выше младший брат князя Дмитрия Михаил был сослан в Тавров, сын Алексей лишен чина действительного тайного советника и «написан в прапорщики в Кизляр». Вместе с ним отправилась в ссылку его жена Аграфена Васильевна — дочь одного из судей по делу Голицыных — В. Ф. Салтыкова (можно представить, каковы были его чувства в это время, но своя голова все же дороже). В Нарым был сослан и племянник князя Дмитрия — Петр Михайлович, который к этому времени был уже камергером. Его вина состояла в том, что он, еще до того как князь Дмитрий от официальных лиц узнал о монаршем гневе, «поехал во дворец к государыни и до государыни не дошел, осмотрел во дворце на столе указы, что ево, князь Дмитрия Голицына, велено послать в ссылку, возвратился изо дворца и приехал к оному дяде своему и о том ему сказал». Иначе говоря, судьба Голицына и его семьи была решена задолго до приговора послушного воле императрицы суда, начавшего свою работу с земельного спора Кантемира. Расправа с Голицыными была такой тайной и поспешной, что освобожденного при Елизавете князя Петра долго не могли разыскать в Сибири, так как указа о ссылке его в Нарым в Тайной канцелярии обнаружить не удалось.

Впрочем, те мучения, которые испытывали в Сибири сосланные туда Долгорукие, показались Анне недостаточными. В 1738 году она решила покончить с ними — началось новое дело Долгоруких. Да они и сами дали повод мстительной императрице. В Березове они жили недружно: споры, ссоры, взаимные обвинения были часты и происходили на глазах охраны и местных жителей. В 1731 году известие о происшествиях в семье Долгоруких дошло до Петербурга, и Анна распорядилась: «...сказать Долгоруким, чтоб они впредь от таких ссор и непристойных слов, конечно, воздерживались и жили смирно под опасением наижесточайшего содержания». Однако князь Иван, ставший главой семьи после смерти мате-

ри в 1731 году и отца — князя Алексея, в 1734 году, жить смирно не хотел. Он бражничал с местным комендантом и горожанами. В Петербург пошли новые доносы на Ивана, позволявшего себе весьма «непристойные» речи об Анне и Елизавете. Особо усердствовал в доносах подьячий Тишин, мстивший Ивану за какие-то личные обиды. В 1738 году последовали первые кары — арест всех, кто общался в Березове со ссыльными. Режим для семьи Ивана был резко ужесточен. Наконец Долгоруких вывезли в Тобольск, где начались допросы и где их ждала дыба в застенке. Показания, данные Иваном, были столь серьезны, что на основании их было решено начать большой сыск и для этого свезти всех Долгоруких в Шлиссельбург. В начале 1739 года в крепость на Неве были доставлены сам Иван и вся его мужская родня — участники знаменитых событий начала 1730 года.

Одно время в современной публицистике велся спор о том, следует ли осуждать людей, не выдержавших пыток и оговоривших своих товарищей. Конечно, осуждать попавших в пыточный хомут дыбы мы не имеем морального права — физические страдания могут ломать самые сильные натуры, и никто из нас не знает, как бы он повел себя в сходной ситуации. Но все же, помня об этом, нельзя не отметить, что люди, оказавшись в одинаковых условиях пыточной камеры, ведут себя по-разному. Не осуждая Ивана Долгорукого, испытавшего ужас застенка и принявшего в конце мученическую смерть, нельзя не отметить, что его показания были для следователей наиболее информативными, он рассказал о событиях 1730 года гораздо больше того, что желали выведать от него власти, а самое главное — он не взял вину только на себя, а выдал многих своих близких родственников. Рассказанная им в деталях история сочинения подложного завещания Петра II стала основанием для свирепой расправы со всеми участниками казалось бы навсегда исчезнувшего в реке времени исторического эпизода.

Особенно болезненно это отразилось на Сергее Григорьевиче Долгоруком. В 1735 году тесть князя Сергея барон Шафиров сумел вытащить зятя и свою дочь Марфу Петровну из деревенской ссылки, в 1738 году князь Сергей — опытный дипломат — был помилован императрицей и даже назначен послом в Англию. Но ему не удалось увидеть берегов Британии: пока он готовился к отъезду, его племянник, князь Иван, дал на него показания, из которых следовало, что именно князь Сергей писал подложную духовную Петра II. Со смертью в начале марта 1739 года влиятельного Шафирова князь Сергей больше не имел защиты, был

арестован. Начались допросы и пытки, которые тянулись до осени 1739 года. В конце октября созванное Анной «Генеральное собрание», состоявшее, как и суд над Голицыным, исключительно из русских вельмож, приговорило всех обвиняемых к смертной казни. 8 ноября 1739 года в Новгороде состоялась казнь: Ивана, как главного преступника, колесовали — его конец был ужасен. Иван и Сергей Григорьевичи, а также Василий Лукич были обезглавлены. Драматична была судьба младших детей Алексея Долгорукого, оставленных в Тобольске до решения императрицы. Александр в тюрьме пытался сделать бритвой харакири, но был спасен, чтобы, по выздоровлении, подвергнуться свирепому наказанию: урезанию языка и битью кнутом с последующей ссылкой на Камчатку. Известно, что Бирон, придя к власти как регент, 23 октября 1740 года отменил экзекуцию над Александром, но к 28 октября, когда она свершилась, указ об этом до Тобольска дойти не успел. Два брата Александра — Николай и Алексей — были сосланы в Охотск, а сестры — «порушенная невеста» Екатерина, Елена и Анна — пострижены в дальние сибирские монастыри. Гордая Екатерина, привезенная в томский Алексеевский монастырь, сопротивлялась пострижению до последнего и была посажена в келью под «наикрепчайшим караулом». Только в начале 1742 года Долгорукие, по воле новой государыни Елизаветы Петровны, стали возвращаться из Сибири в столицу. Расправа с Голицыными и Долгорукими, которых никто из дворян — памятуя 1730 год — особенно не любил, по-видимому, произвела тягостное впечатление на общество, но и здесь была не национальная, а политическая подоплека, жестокая месть императрицы, власти которой (как и власти Бирона) ссыльные Долгорукие никак не угрожали.

Дело Волынского

Политическим, точнее, — придворным, стало и громкое дело Артемия Петровича Волынского, начатое весной 1740 года. Выходец из старинного боярского рода, Артемий Волынский с ранних лет оказался в самой гуще событий петровского времени. Умный, решительный, толковый ротмистр понравился Петру Великому, и тот явно выделял Артемия среди других своих ординарцев, давая ему подчас сложные дипломатические и административные поручения. В 1715—1718 годах Артемий Волынский отправился с посольством в Персию, а потом губернаторствовал в Астрахани — ключевом пункте подготовки к Персидскому походу

1722—1723 годов. Правда, сам поход не принес ему лавров. Даже наоборот — посланная им информация из Персии о том, что русским войскам предстоит весьма легкая прогулка в раздираемую усобицами страну, оказалась недостоверной, а обнаруженные царем в Астрахани многочисленные административные злоупотребления губернатора резко изменили жизнь Волынского: согласно легенде, он — прежний любимец царя — попробовал на своей спине силу ударов знаменитой дубинки великого преобразователя. Только смерть Петра спасла Волынского от дальнейших разбирательств в специально созданной для разбора многочисленных «деяний» губернатора комиссии.

Пришедшая к власти в 1725 году Екатерина I была весьма расположена к Артемию, женатому на девице из семьи Нарышкиных. Императрица пожаловала его в генералы и назначила губернатором в Казань. Там он почти сразу же показал свой буйный нрав, да и немалое сребролюбие тоже. На Волынского стали поступать жалобы от казанского архиерея Сильвестра, который сообщал о недопустимом поведении губернатора в резиденции владыки, о его «озорстве» и грубых расправах с подчиненными архиерея. Волынский был отстранен от губернаторства, и только «чистосердечное» признание и покровительство знатных персон спасли его от справедливой кары. Начало царствования Анны Артемий Петрович провел под следствием по казанскому делу, и рассчитывать на продвижение по службе ему не приходилось. В событиях 1730 года он также не проявил необходимой твердости, хотя, судя по его письмам из Казани, пользы в ограничении самодержавия он не видел. Но и полностью на сторону Анны он также не перешел и какое-то время колебался. С этим связан любопытный эпизод, который многое говорит о характере Волынского и нравах тех времен.

Сразу же после памятных событий начала 1730 года А. П. Волынский написал письмо в Москву, своему дяде, уже известному читателю главнокомандующему Москвы С. А. Салтыкову, женатому на его тетке. В нем он, среди прочего, сообщал, что приехавший из Москвы в Казань бригадир Иван Козлов в беседах весьма одобрял попытку ограничить власть императрицы Анны и очень огорчился, когда узнал, что замысел этот не удался. 8 апреля Салтыков, быстро набравший при Анне силу, ответил племяннику. Он попросил его прислать на имя государыни официальный донос на Козлова. Оказалось, что Салтыков уже сообщил об истории с Козловым самой Анне, и та, как пишет Салтыков, «изволила к тебе нарочного курьера послать, чтоб прислать

к ним в Москву, при письме своем, доношение против присланной ко мне ведомости об оном Козлове: какие он имел по приезде своем в Казань разговоры о здешнем московском обхождении и при том кто был, как он с вами разговаривал, чтоб произвесть в действо можно было. И оного курьера извольте отправить в Москву немедленно. А буде оный Козлов безотлучно будет в Казани, то оному Козлову объявлять не извольте. А буде куды станет из Казани отъезжать, то извольте ему объявить Ея императорского величества указом, чтоб он без указа из Казани никуды не ездил».

Как мы видим, дело о расследовании «непристойных слов» должно было вот-вот начаться — для этого требовался только донос. Но Волынский неожиданно заупрямился. Он отвечал дяде, что готов служить государыне по своей должности, но «чтоб, милостивый государь, доносить и завязыватца с бездельниками, извольте отечески по совести рассудить, сколь то не токмо мне, но и последнему дворянину, прилично и честно делать. И понеже ни дед мой, ни отец никогда в доносчиках и в доносителях не бывали, а мне как с тем на свет глаза мои показать? Известно вашему превосходительству милостивому государю, что я с робятских лет моих при вас жил и до сего времени большую половину века моего прожил так честно, как всякому доброму человеку надлежало и тем нажил нынешнюю честь мою и для того лутче с нею хочу умереть... нежели последний мой век доживать мне в пакостном и поносном звании, в доносчиках... Извольте сами рассудить, кто отважитца честный человек итить в очные ставки и в прочие пакости, разве безумный или уже ни к чему непотребный. Понеже и лучшая ему удача, что он прямо докажет, а останется сам и с правдою своею вечно в бесчестных людех, и не только самому себе потом мерзок будет».

По этим словам мы можем судить об отношении к доносительству как людей вообще, так и, в частности, нового русского дворянина с его представлениями о личной дворянской чести, заимствованными из Западной Европы при Петре I и уже довольно глубоко укоренившимися в сознании вчерашних «государевых холопей». По мнению Волынского, доносить — неприлично, это противоречит нормам христианской и дворянской чести. Так действительно думали многие люди. Граф П. И. Мусин-Пушкин, проходивший по делу самого Волынского в 1740 году, был уличен в недоносительстве на своего приятеля Волынского и на допросе в Тайной канцелярии о причинах недоносительства отважно заявил: «Не хотел быть доводчиком». Но в истории,

происшедшей с Волынским в 1730 году, лучше не спешить с выводами.

Столь благородная на первый взгляд позиция племянника очень не понравилась его высокопоставленному дяде, который сам, поспешив с письмом Волынского к императрице, попал в итоге впросак. «Я думал, — укорял Салтыков Волынского в письме от 20 мая 1730 года, — что писали вы очень благонадежно, что след какой покажется от вас. А как ныне по письмам от вас вижу, что показать вам нельзя, н[о] чтоб так [вам] ко мне и писать, понеже и мне не очень хорошо, что и я вступил, а ничего не сделал. И будто о том приносил я (императрице. — *Е. А.*) напрасно, а то все пришло чрез письмо от вас ко мне. Понеже вы изволили писать, что он (Козлов. — *Е. А.*) говорил при многих других, а не одному, и я, на то смотря, и доносил [государыне], и то, *стало быть и мне нехорошо...*» Поэтому дядя настаивает, чтобы Волынский довел дело до конца: «Того ради, я советую лучше против прежнего письма извольте отписать, какие он имел разговоры с вами, чтоб можно было произвесть в действо. Понеже как для вас, так и для меня... коли вступили, надобно к окончанию привесть».

Моральных же сомнений племянника и рассуждений насчет дворянской чести дядя не понял, счел их за отговорки. Он полагал, что в таком деле греха нет, и «худо не причтется, разве причтет тот, который доброй совести не имеет». Из ответного письма Волынского видно, что от доноса на Козлова удерживали его не столько понятия чести, сколько банальные соображения трусливого царедворца и карьериста, который, в принципе, и не прочь сообщить при случае куда надлежит, но при этом не хочет в неясной политической обстановке подавать официальный донос и нести за него ответственность. Во-первых, Волынский не отрекается от обвинений Козлова, но желает, чтобы его донос рассматривали «только приватно, а не публично». «Мне, — пишет он, — доношения подавать и в доказательствах на очных ставках быть... — то всякому дворянину противу его чести будет, но что предостерегать и охранять, то, конечно, всякому доброму человеку надобно, и я, по совести своей, и впредь не зарекаюся тож сделать, если что противное увижу или услышу». А чуть ниже Волынский раскрывает последний, и, вероятно, самый серьезный аргумент в защиту своего недоносительства.

Дело в том, что, когда началась вся история с Козловым, в Казани (как и везде в России из-за принятых верховниками мер) об ошеломляющих событиях в Москве после смерти Петра II знали явно недостаточно, и, отказываясь посылать новой государыне формальный донос, Волынский еще не был уверен, что группировка Анны Иоанновны достигла полной победы. Он обратил внимание на замечания Козлова, что дело ограничения монархии почти выиграно и он, Козлов, уверен, «понеже-де партишка (сторонников самодержавия. — *Е. А.*) зело бессильна была и я-де, больше думаю, *что она вон выгнана*». Когда же через некоторое время стало известно об окончательной победе «партишки» Анны Иоанновны и Салтыкова, которая стала «партией власти», казанский губернатор уже пожалел о своей осторожности, прикрытой словами о дворянской щепетильности. В ответе на послание дяди от 20 мая Волынский откровенно признался: «Поверь мне, милостивый государь, ежели б я ведал тогда, что будет, как уже ныне по благости Господней видим, поистине я бы... конечно, и здесь бы начало дела произвел явным образом... да не знал, что такое благополучие будет. И вправду донесть имел к тому немалый резон, но понеже и тогда еще дело на балансе (то есть неустойчиво. — *Е. А.*) было, для того боялся так смело поступать, чтоб мне за то самому не пропасть. Понеже прежде, нежели покажет время, трудно угадать совершенно, что впредь будет. И того, милостивый государь, всякому свою осторожность иметь надобно столько, чтоб себя и своей чести не повредить».

Как видим из новых пояснений племянника, честь дворянская по Волынскому — понятие гибкое, изменчивое: в одном случае она вообще не допускает доноса, в другом же — допускает, но лишь тайно или только тогда, когда извет не несет опасности для доносчика-дворянина. Впрочем, не прошло и нескольких месяцев, как дядя, поставленный из-за капризного упрямства Волынского в неловкое положение перед императрицей, получил возможность преподать племяннику урок в том, что дворянская честь не только не препятствует доносу, но даже предполагает его. Дело в том, что у Волынского вскоре после истории с Козловым разгорелась, как уже сказано выше, скандальная тяжба с довольно склочным казанским архиепископом Сильвестром. Враги начали устно и письменно оскорблять друг друга, слать ко двору и в Синод грязные жалобы и доносы. В августе 1730 года Салтыков писал Волынскому, вспоминая историю с Козловым: «Я напред сего до вас, государя моего, писал, чтоб прислали доношение против прежних своих писем. На что изволили ко мне писать: “Как-де, я покажу себя в людях доносителем?” А мне кажется, что разве кто не может

рассудить, чтоб тебя [кто] мог этим попрекать. А ныне сами-то себя показали присланные ваши два доношения на архиерея, в которых нимало какого действа (то есть нет фактов. — *Е. А.*) в тех доношениях, только что стыдно от людей, как будут (в созванной комиссии. — *Е. А.*) слушать».

Словом, вся эта история затормозила продвижение Волынского вверх по лестнице чинов. Его отставили от губернаторства и новой должности не дали. Так тянулось до 1733 года. В тот год — уже в который раз! — все переменилось, и Волынский вдруг быстро зашагал вверх. Мы можем с достаточной точностью определить, когда и при каких обстоятельствах началась его блестящая карьера. Но предварительно отметим, что восхождение по чиновничьей лестнице скромного генерал-майора, ставшего затем министром, членом Кабинета и постоянным докладчиком у императрицы в мрачные годы «засилья немецких временщиков», немало смущало патриотических историографов. Поэтому некоторые из них пустили в ход версию, согласно которой Волынский решил вначале достичь высших постов в государстве, а потом «попытаться изменить положение в стране», начать решительную битву с немецкими временщиками. Увы, факты говорят о другом: Волынский выслуживался, интриговал, подличал, как все, без всякой задней «патриотической мысли».

Первый толчок его новой карьере был дан после подобострастного письма Бирону того же С. А. Салтыкова. «Сиятельный граф, милостивый государь мой! — писал Салтыков. — Вашего графского сиятельства, милостивого государя моего утруждаю сим моим прошением («о племяннике моем» — зачеркнуто. — *Е. А.*) об Артемии Петровиче. Шверин умре, а на ево место еще никто не пожалован... покорно прошу Ваше графское сиятельство, милостивого государя моего о предстательстве («у Ея императорского величества» — зачеркнуто. — *Е. А.*), чтоб оной Волынский пожалован бы на место ево, Шверина, а понеже он, Волынский, в службе уже 29 лет и в генерал-майорах 7 лет, и покорно прошу... не иметь в том на меня гневу, что я так утруждаю прозьбою своею». Бирон гневу не имел, и племянник главнокомандующего Москвы попал в поле зрения фаворита. Волынский участвовал в русско-польской войне, в армии Ласси и Миниха. К этому времени у него завязываются тесные отношения с секретарем Кабинета министров Иваном Эйхлером, что позволяло Волынскому быть в курсе всех придворных и государственных дел. В свою очередь, Волынский сообщал Эйхлеру из Польши о всех ошибках Миниха, наверняка зная, что это станет известно Бирону и умножит его, хотя еще и небольшой, «кредит» у всесильного временщика. Волынский недолго пробыл в войсках, заболел или притворился, что болен, словом, уехал в Россию и вскоре стал помощником графа К. Г. Левенвольде по конюшенной части. Лучшего места для успешной придворной карьеры при таком лошаднике, как Бирон, трудно было и придумать. Волынский, как человек активный, неугомонный, тотчас развернул бурную деятельность, начав с разоблачения злоупотреблений по конюшенному ведомству. Но это не все. Волынский делал толковые, краткие доклады Бирону и самой императрице. Вскоре его назначают на вакантное место обер-егермейстера императорского двора, то есть отныне он ведает царскими охотами. Нужно знать пристрастие Анны к охоте и стрельбе, чтобы понять, какой удачный шанс представился истинному карьеристу, каким был Волынский. И этот шанс Волынский использовал блестяще. Никаких сил и средств не щадил Артемий Петрович для того, чтобы царская охота всегда была весела, удобна и обильна.

Впрочем, было бы наивным думать, что только с помощью лошадей и зайцев Волынский сделал свою карьеру. Нет, он вскоре проявил себя как серьезный государственный деятель: писал различные проекты по улучшению государственного хозяйства, был толковым и понятливым исполнителем воли императрицы, будь то участие в дипломатических переговорах в Немирове или суд над больным князем Дмитрием Голицыным. Куда бы Волынский ни уезжал, связи с друзьями, и в особенности с Эйхлером, он не терял, прося держать его в курсе всех придворных дел, особенно подробно сообщать о том, «кто у Ея императорского величества в милости и кому в милости Ея императорского величества отмена». Вступает Волынский в переписку и с самим Бироном, рапортуя ему о ходе ревизии конских заводов, причем показывает себя очень строгим ревизором. Более того, он стремился заручиться доверием Бирона. В одном из писем фавориту он предлагает изменить порядок сбора лошадей в армию: «Токмо, милостивый государь и патрон, я Вашу великокняжескую светлость прилежно и всенижайше прошу сотворить мне ту милость, чтоб об том никто не ведал, что от меня оное произойдет... Ваша высококняжеская светлость сами довольно изволили приметить, кто верно и усердно государям служит, те имеют мало друзей, а много неприятелей, а у меня оных и так уже есть немало». Усердие, способности, готовность служить и быть благодарным были замечены Бироном. Нравились доклады

Волынского и самой Анне. Наконец, 3 апреля 1738 года Волынский был назначен кабинет-министром. Для всех было очевидно, что попал он в высший правительственный орган как креатура, доверенное лицо фаворита и должен был уравновесить влияние А. И. Остермана, которому Бирон, как сказано выше, не доверял.

Новый министр быстро осваивается в Кабинете, регулярно докладывает о делах в нем Бирону, стремясь при этом перехватить у Остермана рычаги управления. Спокойный, скрытный Остерман внешне не сопротивляется натиску молодого коллеги, выжидая удобного момента, чтобы исподтишка нанести ему удар. Бурный и вспыльчивый Артемий Петрович — полный антипод вице-канцлера — часто ссорился с Остерманом, интриговал, глубоко презирая его как неравного себе по знатности. Своему дворецкому Василию Кубанцу Волынский не раз говорил с раздражением: «Остерман сам не знатного рода, как он, Волынский, а вершит делами». Знатность рода — это то, чем Волынский, выходец из боярской семьи, потомок героя Куликовской битвы 1380 года Боброка-Волынского, гордился особо, даже неумеренно. Между тем бумаги Кабинета свидетельствуют, что Остерман часто выигрывал деловой спор у Волынского. Вице-канцлер ловко использовал промахи горячего коллеги и подставлял его под гнев не менее вспыльчивого Бирона. На следствии Кубанец сообщал, что Волынский «часто говорил, что его светлость герцог Бирон гневен бывал на него и Остермана и обоим надо выговор, да нет — одному мне. И в том видел интригу Остермана». И был в этом прав — такого мастера интриги, как Остерман, в России тех времен не было. В итоге довольно скоро честолюбивый кабинет-министр начинает испытывать многочисленные неудобства и утеснения по службе.

А замыслы его были всегда амбициозны. Еще в 1731 году, находясь под домашним арестом по скандальному казанскому делу, он с горечью писал своему приятелю архитектору Петру Еропкину, что по приезде из Казани надеялся быть «под первыми, а тут и на хвост не попал». В 1739 году Волынский уже «под первыми» быть не хотел, он мечтал о первом месте в государстве, которое, конечно, было занято. Важно заметить, что Артемий Петрович, как человек высокомерный и гордый, имел склонность забывать тех, благодаря кому он оказался у власти. У подобных людей под влиянием их успехов на служебном поприще довольно быстро возникает иллюзия того, что возвышением они обязаны исключительно своим способностям. Прежнего «верного

слугу» Бирона, готового исполнить любое задание патрона, было не узнать — Волынский стал вести себя резко и вызывающе. Внешне ничего не изменилось — наряду с другими сановниками Волынский получил награду в связи с заключением Белградского мира 1739 года, он руководил организацией знаменитой свадьбы шутов в Ледяном доме, а еще до этого был активным членом суда над Долгорукими, будучи сторонником самого жестокого наказания членов несчастного семейства. Но подспудно готовилась его собственная драма; при дворе ходили упорные слухи о том, что на кабинет-министра пали подозрения — «суспиции» Бирона. Артемий Петрович жаловался приятелям, что «герцог запальчив стал, и когда он (Волынский. — *Е. А.*) приходит к Ея императорскому величеству с докладом, и то гневается на него неоднократно». Раздражительность Бирона понять можно: он явно ошибся в выборе креатуры — Волынский, как тогда говорили, «перестал быть человеком идущим» и даже, наоборот, — стал мешаться под ногами. Хоть Бирон и страдал от непрестанного общения с Анной, успешные доклады Волынского у императрицы ему не очень нравились — а вдруг это соперник?

Не меньшее раздражение временщика вызывало то, что Волынский занялся разоблачениями служебных преступлений упомянутого выше генерал-берг-директора Шемберга. Как показали материалы следствия, Волынский жаловался приятелю Ивану Суде: «Знаю, что герцог на меня гневен за Шемберга, неоднократно он, герцог, гневался и о том ему неоднократно говаривал... и за то жесточайший выговор был». Зная из вышесказанного о тесных отношениях Бирона и Шемберга в области приватизации металлургии, мы можем понять причину особого раздражения Бирона: Волынский совал нос «не в свои дела», от которых на версту пахло большими деньгами. И уже совсем разъярился Бирон, когда узнал, что Волынский стал вести при дворе собственную игру — пытался войти в доверие к племяннице императрицы Анне Леопольдовне, к детям которой должен был, по замыслу Анны Иоанновны, после ее смерти отойти престол. Здесь Волынский покушался на самое святое для Бирона — на власть. Недаром Эйхлер, хорошо знавший придворную конъюнктуру, предупреждал своего приятеля: «Не веди себя близко к Анне Леопольдовне и не ходи часто. Мне кажется, что там от его светлости есть на тебя за то суспиция, ты нрав его знаешь».

Но Волынский не унимался. Летом 1739 года началась история с «петергофским письмом». Дело в том, что Волын-

ский уволил из конюшенного ведомства трех проворовавшихся служителей-немцев, которые, наученные Остерманом, подали челобитную самой императрице. Анна, расположенная к Волынскому, поступила в свойственной русской бюрократии манере — передала челобитную тому, на кого жаловались обиженные, с требованием разобраться. Волынский, задетый за живое челобитной и даже понимая, кто стоит за спиной жалобщиков, написал пылкий ответ и передал его императрице в Петергофе. Отвергая все обвинения в свой адрес, Волынский (правда, в довольно туманных выражениях) намекал на то, что челобитчики действуют по наущению более влиятельных лиц при дворе и что от козней таких «лучше умереть, чем в такой жизни жить». Но перед ожидаемой смертью Волынский решил поучить жизни саму императрицу и приложил к письму «Примечание, какие притворства и вымыслы употребляемы бывают и в чем вся такая бессовестная политика состоит», где обличал «политиков, или, просто назвать, обманщиков», которые стремятся привести императрицу в сомнение, «чтоб верить никому не могла, кроме них». Тон и содержание письма были вызывающими, и впоследствии в указе по делу Волынского особо отмечалось, что «обер-егер-мейстер дерзнул Нам, великой самодержавной императрице и государыне, яко бы Нам в учение и наставление... в генеральных, многому толкованию терминах, сочиненное письмо подать».

Волынский не почувствовал изменения обстановки, не придал значения эпизоду с «петергофским посланием». Он был слишком увлечен борьбой с Остерманом, весьма ему вредившим. Накануне передачи письма Анне он показал его недоброжелателям вице-канцлера — кстати, в большинстве немцам: Шембергу, Бревену, Менгдену, Черкасскому и другим. Коллега по Кабинету канцлер А. М. Черкасский сказал, что письмо «остро написано... явный портрет Остермана».

Прошло полгода, и казалось, что дело с письмом не будет иметь для Волынского никаких последствий — Артемий Петрович отличился при организации свадьбы в Ледяном доме, чем заслужил похвалу императрицы. Но накануне праздника произошел неприятный инцидент в приемной Бирона, широко известный по литературе: Волынский, зайдя по делам к патрону, вдруг увидел среди челобитчиков поэта Тредиаковского, который пришел жаловаться как раз на кабинет-министра. А жаловаться было на что — за день до этого, 4 февраля, поздно вечером к Тредиаковскому явился посланный Волынским кадет и потребовал, чтобы тот немедленно шел в Кабинет министров. Как писал позже в своей жалобе Василий Кириллович, «сие объявление... меня привело в великий страх». Можно понять страх поэта — когда тебя в России (да еще поздно вечером) приглашают в казенное учреждение, ничего хорошего это не сулит.

Одевшись, Тредиаковский сел с трепетом в сани вместе с кадетом. По дороге он узнал, что его везут вовсе не в Кабинет, а в Слоновый двор — штаб подготовки празднества в Ледяном доме, куда его, оказывается, вызвал Волынский. Возмущенный обманом, Василий Кириллович с порога стал жаловаться на кадета Волынскому, «но его превосходительство, — пишет Тредиаковский, — не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам пред всеми толь немилостиво по обеим щекам и притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема». Затем Волынский приказал выпороть поэта. На следующий день Василий Кириллович отправился жаловаться на Волынского Бирону. Тут-то и увидел его кабинет-министр. Он набросился на Тредиаковского с палкой в приемной, вытолкал его в шею и приказал ездовому сержанту отвести Тредиаковского под караул. Вернувшись от Бирона, Артемий Петрович продолжил издевательства и побои, «с великою яростию» сорвал с поэта шпагу, разорвал его одежду и приказал подчиненным избивать палками несчастного Василия Кирилловича, которого затем заперли в караульне на ночь, чтобы тот учил написанные им к маскараду и цитированные выше стихи. После маскарада, «угостив» на прощание пиита еще десятком палок, Волынский отпустил его домой. Исследователи считают, что подоплекой такого зверского обращения с русским национальным поэтом было недовольство нашего патриота басней Тредиаковского «Самохвал», которую он принял на свой счет, и не без основания, ибо хвастовство и спесь кабинет-министра были известны всем.

Но вся эта история, кстати вполне обычная для самодура Волынского, возмутила Бирона совсем не потому, что он сочувствовал Тредиаковскому. Он увидел в самоуправстве Волынского в своих апартаментах попытку оскорбить его, Бирона. Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения фаворита. Бирон решил избавиться от Волынского, написав на имя императрицы челобитную, в которой отмечал свои заслуги перед престолом и выражал глубокое сожаление в том, что есть люди, «которые их помрачить желают». Бирон обвинил Волынского в «оскорблении покоя Ея императорского величества» (приемная Бирона находилась в императорском дворце) тем, что «битьем изругал Тредьяков-

ского». Волынский еще не понял, что против него двинуты самые грозные силы и уже открыты «военные действия», и был страшно поражен, когда 7 апреля Бирон отказался принять его с докладом, а 8 апреля ему было вообще запрещено приезжать ко двору. Но закаленный прошлыми расследованиями, Волынский не падал духом, тем более что Эйхлер сообщал ему, что «Ея императорское величество на твое дело смотрит через пальцы».

Однако вскоре дело начало приобретать самый неблагоприятный для Артемия Петровича оборот. Бирон был взбешен не на шутку — а гнев его был всегда тяжел. Он в ультимативной форме поставил перед Анной условие: или он будет при дворе, или Волынский. Для этого было использовано «петергофское письмо», которое временщик отнес на свой счет, благо в нем кабинет-министр, говоря о зловредных персонах, ему мешавших, выражался весьма неопределенно. Обеспокоенный Волынский стал просить содействия своих высокопоставленных знакомых — Миниха, брата фаворита генерала Бирона, барона Менгдена. Но было уже поздно. В дело вступил Остерман, составивший хитрое «представление» о том, как взяться за Волынского. Он предложил арестовать не только его самого, но и (под выдуманным предлогом) его дворецкого Василия Кубанца, наложить арест на все бумаги кабинет-министра, собрать все жалобы на него, организовать особую комиссию для разбора «петергофского письма» и квалифицировать последнее как «предерзостное и немало оскорбительное» для императрицы.

Согласно этому плану первым был арестован Кубанец. Он сразу же по указке следователей стал писать на Волынского многостраничные показания, вспоминая все высказывания и выражения хозяина, в которых можно было найти хоть какой-нибудь криминал. 12 апреля 1740 года сам начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков объявил Волынскому домашний арест, и с 15-го начались допросы Волынского перед специальной комиссией. Все документы и ответы Волынского сразу передавались во дворец для императрицы и — соответственно — Бирона. Именно оттуда велось истинное руководство следствием. Поначалу Волынский держался уверенно и даже вызывающе, дерзил следователям, вел посторонние разговоры — «плодил много лишнего». Уезжая домой после первого допроса, он раздраженно бросил Ушакову: «Кончайте скорее!» Волынский полагал, что дело начато из-за «петергофского письма», и на предложенные по его содержанию пункты отвечал уверенно. После того как на допросе зачитали пятый пункт обвинения,

Волынский возмущенно сказал, что «ведь в письме у него всего четыре пункта!». Он еще не знал содержания последующих пунктов. Когда следователи прочли их, гордого кабинет-министра было не узнать — он, как свидетельствует протокол допроса, повалился на пол и стал просить пощады.

Явно струсивший Волынский вдруг понял, что против него начато большое дело, ибо его обвинили «в оскорблении чести Ея императорского величества», а такие обвинения были очень серьезны и от них веяло не меньше чем Сибирью. Артемий Петрович начинает путаться в ответах, клянется в преданности престолу, даже плачет и снова встает на колени. Генерал Чернышев, член комиссии, бросает ему: «Все у тебя по-плутовски», на что Волынский отвечает: «Не делай со мной сурово, ты сам горячий, дьявол меня затмил, простите». Он кается, признает, что «петергофское письмо» писал «по злобе, думал, что ума высок и писать горазд».

А в это время Кубанец — довольно близкий Волынскому человек, — напуганный угрозой пытки, писал и писал свои доносы. Материалы следствия говорят, что он даже вставал по ночам и, вспомнив какой-то компрометирующий его хозяина факт, просил бумагу и перо. Всего он написал 14 (!) доносов, читая которые ясно видишь всю степень человеческого падения. Татарчонок, некогда подобранный астраханским губернатором, он стал первым человеком в его доме, заведуя всем хозяйством (Волынский к этому времени был вдов), в сущности, его мажордомом. Как раз из показаний Кубанца Бирон и Остерман узнали о собраниях-вечеринках в доме Волынского, о чтении там каких-то книг, о сочиненном Волынским некоем «Генеральном проекте» переустройства государства.

20 апреля Артемия Петровича привезли в Петропавловскую крепость, начались аресты его приятелей — «конфидентов» (так называли тех, кто вел тайные, конфиденциальные беседы). Надо отдать должное Артемию Петровичу — в его дом на Мойке (ныне то место, где была его усадьба, обозначено как Волынский переулок) в 1739-м — начале 1740-го года съезжались весьма достойные, умнейшие люди. Наиболее близкими друзьями Волынского были обер-штер-кригскомиссар, а раньше — прекрасный моряк, гидрограф и картограф Федор Соймонов, коллежский советник Андрей Хрущев, упомянутый выше кабинет-секретарь Иван Эйхлер, архитектор Петр Еропкин, президент Коммерц-коллегии Платон Мусин-Пушкин, секретарь Коллегии иностранных дел Иван де ля Суда. Они не составляли никакой особой группы, организации, они приезжали к Волынскому в гости, на

вечеринку. И в их присутствии Волынский был наиболее откровенен. С ними он советовался о своем проекте, читал отдельные части, и вообще его хлебосольный холостяцкий дом был широко открыт для друзей. Когда начались аресты по делу Волынского, у многих русских вельмож задрожали поджилки, ибо они частенько бывали на холостяцких вечеринках кабинет-министра и, вероятно, считали даже для себя за честь быть на них приглашенными. Теперь же, когда от бумаг следователей запахло заговором, они, вероятно, жалели о том, что дружили с Волынским: аресты охватывали все больший и больший круг знакомых опального вельможи.

Между Остерманом, который фактически взял следствие в свои руки, и Бироном установились четкие отношения: Остерман почти ежедневно писал о том, какие для дальнейших допросов нужны именные указы, а Бирон в тот же день получал подпись Анны под ними. Надо сказать, что Анна поначалу неохотно согласилась на отстранение Волынского от дел и привлечение его к следствию, но постепенно, под влиянием своего любезного обер-камергера вошла во вкус розыска и даже собственноручно написала допросные «пункты» по его делу. Нельзя не отметить, что эти вопросы довольно серьезны и основательны, хотя грамотность царицы, скажем прямо, посредственная: «Допросить: 1. Не сводом ли он от премены владенья, перва или после смерти государя Петра Второва, когда хотели само-державство совсем отставить; 2. Што он знал от новых прожектов, как вперот Русскому государству; 3. Сколка он сам в евтом деле трудился и работал и прожект довал, и с кем он переписывался и словесно говаривал об етом деле; 4. Кто больше про эти прожекты ведал и с кем саветовал; 5. Кто у нево был переотчик в евтом деле как писменно, так и словесно; 6. И еще ево все письма и конценты (выписки. — *Е. А.*), что касаэтца до евтова дела и не исотрал ли их в какое время». Как мы видим, Бирон и Остерман нашли самое уязвимое место в «философии» Анны — опасения потерять власть — и возбудили в ней «страхи 1730 года». Регулярные доклады Ушакова явно пошли на пользу Анне — в этих «пунктах» она мыслит как опытный следователь Тайной канцелярии. Словом, не прошло и месяца, как дело Волынского приобрело отчетливо политический характер, о начавшем его служебном «петергофском письме», о побоях Тредиаковского, о его должностных проступках уже давно забыли. Волынского спрашивали о «противузаконных проектах», о дерзких речах в отношении Анны и Бирона, о заговоре.

С 7 мая начались пытки Волынского и его конфидентов... По-разному проявили себя в пыточной камере друзья Артемия. С большим достоинством и мужеством вели себя Мусин-Пушкин, Соймонов, Эйхлер. Любопытная метаморфоза произошла с самим Волынским. Когда его привели в пыточную палату, то он разительно изменился: прекратились унизительные стояния на коленях, исчезли слезы с глаз. Перед лицом смерти Артемий Петрович выказал волевой характер, достоинство. Он прекрасно знал истинные пружины розыска и сам, как участник подобных судилищ, понимал полную безнадежность просьб, жалоб и стенаний. И он решил умереть достойно. По крайней мере, материалы следствия и описание казни говорят, что Артемий Петрович не устраивал истерик, не тащил в могилу невинных людей, а даже стремился выгородить конфидентов и взять всю вину на себя.

Зато дрогнул Петр Еропкин. Он начал, подобно Кубанцу, писать оправдательные записки-доносы, и его подробные показания о генеалогическом древе рода Волынских стали главным основанием в обвинении Волынского в заговоре с целью захвата престола — страшнейшем государственном преступлении. Постепенно для Остермана и Бирона все прояснилось: налицо были свидетельства людей о крайне недоброжелательных отзывах кабинет-министра об императрице, о ее фаворите, о всей системе власти. Остается невыясненным вопрос о том, чего же хотел Волынский. Он, несмотря на пытки, молчал, молчали и главные конфиденты, показания других подследственных крайне путаны. И опять на помощь следствию пришел Кубанец. Он пишет «дополнения» к своим показаниям, в которых, по подсказке следователей, доносит о том, что Волынский хотел стать самодержцем, именно для этого втайне писал проект, «ласкал» гвардейцев. Следствие явно «строит» заговор, «подыскивает» для «заговорщиков» высшие цели, смехотворность которых была очевидна даже для того времени — представить Волынского в роли самодержца невозможно. Потом вдруг Кубанец начинает давать показания о том, что Волынский якобы хотел установить в России дворянскую республику, подобную польской. Надо полагать, разрабатывался и «резервный вариант» обвинений Волынского в государственном преступлении.

Целые дни посвящены допросам о «Генеральном проекте», который Волынский писал и обсуждал со своими конфидентами и другими гостями по вечерам. Проект не сохранился, но его основные положения известны из допросов. «Генеральный проект» начинался исторической частью (Во-

лынский общался с В. Н. Татищевым, имел свою неплохую библиотеку). Сжатый исторический очерк проекта весьма негативно оценивал историю России под тем углом зрения, что в ее прошлом было много случаев, которые «не допускали внутренние государственные дела порядочно учредить». По-видимому, Волынский в своем проекте приходил к выводу, что корень зла русской истории — в ничем не ограниченном самодержавии, хотя при этом он оставался монархистом. Как показали некоторые конфиденты, из уст Волынского часто слышались похвалы аристократическим порядкам Швеции, где с 1720 года была ограничена власть короля. За это и зацепились следователи, «повесив» на Волынского обвинения в намерении повторить 1730 год.

Чем больше знакомишься с отрывочными сведениями о проекте по материалам следствия, тем больше приходишь к выводу, что он напоминает те проекты, которые так бурно обсуждались в памятные дни начала 1730 года. Волынский явно склонялся к варианту верховников, с которыми был не согласен в 1730 году. По его мнению, гарантией нормального существования государства является Сенат как представительный орган дворянства, причем сенаторы должны быть только из «древних родов». Волынский по своему происхождению и воспитанию был «боярином». Он считал, что необходимо снизу доверху одворянить и государственный аппарат, и духовенство, ибо «от шляхетства в делах радения больше будет». Он резко противопоставлял дворян и «подлых» — низкопородных, выслужившихся простолюдинов, приехавших в Россию иностранцев, выражал недовольство петровской Табелью о рангах, ибо она открывала путь «подлым» к чинам и званиям. По его мнению, должна быть установлена и монополия владения дворянами промышленностью и промыслами.

Обсуждалась в беседах Волынского с друзьями и идея основания российского университета, а также духовной академии, обучения молодежи за границей. Именно в нехватке собственных специалистов Волынский видел причину наплыва иностранцев в Россию. Тема иностранцев присутствовала как в разговорах конфидентов, так и в «Генеральном проекте». На допросах Волынский признавал, что «об иноземцах в проекте часто упоминал, что от них... государство в худшее состояние придти может». Особенно оживленно обсуждалась в доме Волынского тема наследования русского престола. Все сходились на том, что «герцог (Бирон. — *Е. А.*) опасен Российскому государству и от него государство к разоренью придти может, а Ея императорское величество

вовсе ему волю дала, а сама не смотрит». Когда стали распространяться слухи о намерении Бирона женить своего сына Петра на Анне Леопольдовне, то конфиденты обеспокоились. Брак Анны Леопольдовны и Петра Бирона не состоялся — императрица Анна не решилась на это. Мужем принцессы стал найденный в Германии Левенвольде принц Антон Ульрих Брауншвейгский. А. М. Черкасский, по словам Волынского, говорил ему: «Это знатно Остерман не допустил и отсоветывал (от брака Анны с Петром Бироном. — *Е. А.*), видно, — человек хитрый. Может быть, думал, что *нам* это противно будет», и они сошлись на том, что хотя принц Брауншвейгский «и не высокого ума, но милостив».

В этом-то и была суть оппозиционности Волынского и других. Здесь и не пахнет патриотизмом, а пахнет придворными расчетами: брак сына немца Бирона с полунемкой Анной Леопольдовной (она была дочерью старшей сестры императрицы Анны — Екатерины Ивановны и герцога Мекленбургского Карла Леопольда) беспокоил русских сановников больше, чем брак немца Антона Ульриха с той же самой Анной Леопольдовной, ибо милости от Бирона дождаться было трудно, и конфиденты между собой говорили, что если бы брак состоялся по плану Бирона, то герцог «не так бы нас к рукам прибрал». Национальный мотив здесь не присутствует. После свадьбы Анны и Антона Ульриха летом 1739 года Волынский стал все чаще бывать в гостях у молодоженов, предлагая себя в «друзья семьи» и осведомители, советуя молодым, как надо «к семье Бирона ласкаться» (вероятно, он делился собственным опытом). В окружении Анны Леопольдовны был у Артемия Петровича и свой соглядатай — фрейлина Варвара Дмитриева, которая регулярно сообщала кабинет-министру о делах при «молодом дворе». Следователи особенно пристрастно допрашивали Волынского и его конфидентов о связях с Анной Леопольдовной, ибо и Бирон, и Остерман хорошо понимали значение этого факта — именно через неопытную принцессу Анну кабинет-министр мог рассчитывать осуществить свои честолюбивые замыслы.

Материалы расследования свидетельствуют, что арест застиг Волынского, когда проект еще не был закончен, и он, вероятно, не задумывался над тем, как его использовать. Обвинения в попытке подготовить переворот явно несостоятельны — для дворцового переворота проекты, как известно, не нужны. Возможно, Артемий Петрович рассчитывал на приход к власти Анны Леопольдовны или ее детей. В этом случае проект мог стать вариантом новой правительст-

венной программы, а сам Волынский — ее руководителем, первым министром, Остерманом и Бироном в одном лице. Но точно о намерениях Волынского сказать ничего нельзя, да и вряд ли у него был какой-то четкий план на будущее. Приходя домой, он с досадой говорил окружающим: «Приведет Бог к какому-нибудь концу!» Из следственных материалов видно, что он готовил несколько вариантов одного и того же проекта: один мог пойти и на стол Анне Иоанновне, а другой — более радикальный — полежать, дожидаясь будущего, которое конфиденты связывали с «милостивой» Анной Леопольдовной — будущей регентшей государства.

Тут возникает вопрос: зачем Волынскому вообще нужно было писание и тем более обсуждение проекта государственных перемен в такое опасное время? Я думаю, что истоки «диссидентства» Волынского в немалой степени кроются в особенностях его личности, в неудаче его так блистательно начатой карьеры. В какой-то момент движения вверх (вероятно, тогда, когда он перестал устраивать Бирона и окончательно рассорился с Остерманом) он вдруг почувствовал потолок, препятствие, которое уже невозможно было преодолеть. Однако, учитывая безграничные амбиции Волынского, его активность, неудовлетворенное честолюбие, можно понять, что он не собирался отсиживаться в Кабинете, ждать, как Остерман, своего часа. В общении с приятелями, в писании проекта он искал отдушину своим нереализованным честолюбивым мечтам. Прожектерство было чрезвычайно распространено в то время, его поощряли государи, благодаря удачному предложению можно было сделать карьеру, стать богатым. Такой прожект не был «программой партии», он состоял из довольно разнородных частей, включал в себя самые разные предложения по исправлению и улучшению дел, тем более что исправлять и улучшать в Российском государстве было много чего. Волынский же это знал. В писании прожектов он выражал и переполнявшее его раздражение от своих служебных неудач: ему, потомку русских бояр, сподвижнику Великого Петра, выдающемуся государственному деятелю, препятствуют! И кто? Низкопородный немецкий выходец Остерман, вчерашний курляндский конюх Бирон?! Разве могут сравниться с ним эти люди? Достаточно посмотреть на красиво нарисованное Еропкиным родословное древо Волынских — это их родоначальник Дмитрий Волынец вместе с князем Владимиром Серпуховским решил судьбу Куликовской битвы, вылетев из засады, как сокол на стаю лебедей, на татар Мамая! Артемий Петрович не собирался, конечно, занять престол Романовых, но в разговорах об истории, в мыслях о своем древнем роде он находил утешение после неудачного доклада при дворе, когда ему приходилось униженно слушать брань немецкого временщика и терпеть присутствие ненавистного Остермана. И к тому же эта глупая, похотливая баба, полностью поддавшаяся своему Бирону! Ругая на чем свет стоит императрицу, Волынский хватал популярную тогда книгу голландского писателя Юста Липсия о быте и нравах взбалмошной и грубой неаполитанской королевы Джованны II, читал вслух отрывки и делал сравнения с Анной Иоанновной, приговаривая, что «эта книга не нынешнего времени читать», то есть слишком уж много в ней аналогий с царствованием императрицы Анны. Но во все эти тонкости следствие входить не могло. На одной из пыток из истекающего кровью Волынского выдавили: «Если Романовы пресекутся, то и его потомки... будут на престоле». И хотя он сразу отрекся от этих слов, участь его была решена. 19 июня 1740 года был учрежден суд — «Генеральное собрание», и на следующий день оно подписало приговор: «За важные клятвопреступнические, возмутительные и изменческие вины и прочие злодейские преступления Волынского живого посадить на кол, вырезав прежде язык, а сообщников его за участие в его злодейских сочинениях и рассуждениях: Хрущева, Мусина-Пушкина, Соймонова, Еропкина четвертовать и отсечь голову. Эйхлера — колесовать и также отсечь ему голову, Суде — просто отсечь голову. Имение всех конфисковать, а детей Волынского послать на вечную ссылку».

Кто вынес такой приговор, от которого должен был содрогнуться каждый, кто его слышал? Бирон? Остерман? Конечно, они были истинными инициаторами расправы над Волынским, а исполнителями, подписавшими жесточайший приговор, — члены «Генерального собрания»: фельдмаршал И. Ю. Трубецкой, канцлер А. М. Черкасский, весь состав Правительствующего Сената — причем, отметим особо, все русские, знатные, высокопоставленные вельможи, почти все — частые гости, друзья и собутыльники Артемия Волынского. Приходя к нему в дом поесть и выпить да послушать умных речей Артемия Петровича, они, наверное, гладили по головкам его детишек — сына и трех девочек, старшую из которых — Аннушку, по их же приговору через четыре месяца насильно постригли в Иркутском девичьем монастыре. Патриотическое, дружеское чувство в каждом из них молчало, говорил только страх, — еще недавно Артемий Петрович сидел среди них и с ними отправлял на эшафот Гедиминовичей — князей Голицыных и Рюриковичей — князей

Долгоруких. Мы не знаем, что испытывали люди, включенные в такой суд. Каждый, вероятно, думал о себе: «Господи, пронеси мимо меня чашу сию!» Все они безропотно подписались под смертным приговором. П. В. Долгоруков передает рассказ внука одного из судей по делу А. П. Волынского, Александра Нарышкина, который вместе с другими назначенными императрицей Анной судьями приговорил кабинет-министра к смертной казни. Нарышкин сел после суда в экипаж и тут же потерял сознание, а «ночью бредил и кричал, что он изверг, что он приговорил невиновных, приговорил своего брата»... Нарышкин приходился зятем Волынскому.

Позже спросили другого члена суда над Волынским, Шипова: не было ли ему слишком тяжело, когда он подписывал приговор 20 июня 1740 года? «Разумеется, было тяжело, — отвечал он, — мы отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? Лучше подписать, чем самому быть посаженным на кол или четвертованным».

27 июня 1740 года в 8 утра, после причастия, Волынскому в тюрьме Петропавловской крепости вырезали язык, завязали рот тряпкой и повели вместе с другими осужденными на Обжорку — ныне Сытный рынок на Петроградской стороне, место торговых казней. В последний момент Анна смягчила приговор: Волынскому отсекли вначале руку, потом голову. Затем казнили Хрущова и Еропкина. Соймонова и Эйхлера «нещадно били кнутом», а Суду — плетью. Мусину-Пушкину вырезали язык и сослали на Соловки...

Гнетущее впечатление не покидало людей в те дни. Казалось, что странное кроваво-красное сияние, которое видели люди в небе над Москвой 14 февраля 1730 года, когда в нее въезжала Анна, оказалось пророческим — царствование императрицы все больше и больше окрашивалось цветом крови...

Глава 9

«ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГЛЯДЯ НА НЕГО, СКАЗАЛА: “НЕБОСЬ!”»

В то время как Волынского и его конфидентов казнили на Обжорке, императрица Анна отдыхала в Петергофе, охотилась и гуляла. Как доносил в эти летние дни в Берлин прусский посланник А. Мардефельд, «императрица с семейством и великой княжной Елизаветой включительно каждый день тешат себя охотою в Петергофе и Ее величество убила в один день сорок зайцев». Лето прошло спокойно, Анна вела привычный для нее образ жизни: шуты и артисты веселили ее, а повара готовили тяжелые и обильные блюда, что тучной женщине в 47 лет было не безвредно. Многое уже ей надоело в жизни, и лишь страсть к Бирону не проходила. Чтобы всегда быть рядом с ним, страстным наездником, проводившим целые дни в манеже, она стала учиться верховой езде, благо у камергера была прекрасная конюшня. 18 августа 1740 года произошло важное, долгожданное событие: у принцессы Анны Леопольдовны, племянницы императрицы Анны, и ее мужа, принца Антона Ульриха, родился мальчик. Его назвали в честь прадеда — Иваном. Императрица Анна могла торжествовать — ей удалось, уже второй раз после 1730 года, обмануть судьбу.

Будущая невеста будущего отца будущего наследника престола

История эта начинается задолго до рождения Анны Леопольдовны в 1718 году, и уж тем более — до рождения Ивана Антоновича... В 1711—1712 годах русские войска Петра Великого вместе с союзниками, саксонцами и датчанами, вступили в Мекленбург-Шверинское герцогство, расположенное на севере Германии. Северная война России, Саксо-

нии, Польши и Дании против Швеции, начавшаяся под Ригой и Нарвой, докатилась и до Германии. Целью союзников были германские владения Швеции в германской Померании. К 1716 году в руках шведов остался только город Висмар, стоявший на мекленбургском берегу Балтики. Его и осадили союзные войска, к которым на помощь шел русский корпус генерала А. И. Репнина. К этому времени между царем Петром и мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом наладились весьма дружественные отношения. Герцог, вступивший на престол в 1713 году, видел большую пользу в сближении с великим царем — полтавским триумфатором. Во-первых, Петр обещал содействовать возвращению Мекленбургу некогда отобранного у него шведами Висмара, во-вторых, присутствие русских войск во владениях герцога очень устраивало Карла Леопольда, так как его отношения с местным, мекленбургским дворянством были напряженными и он надеялся с помощью русской вооруженной силы укоротить дворянских вольнодумцев, недовольных тираническими замашками своего сюзерена. Петра же интересовало стратегически важное положение Мекленбурга в Северной Германии, он хотел обосноваться в Германии и оказывать серьезное влияние на германские дела. Чтобы сильнее привязать герцога, Петр решил скрепить русско-мекленбургский союз династическими узами. И вот 22 января 1716 года в Петербурге был подписан договор, согласно которому Карл Леопольд брал себе в супруги племянницу Петра I Екатерину Ивановну, а Петр со своей стороны обязывался обеспечивать герцогу и его наследникам безопасность от всех внутренних беспокойств военною рукою. Для этого Россия намеревалась разместить в Мекленбурге несколько полков, которые поступали в полное распоряжение Карла Леопольда. Дело требовало быстроты, и свадьбу решили сыграть, не оттягивая, в Гданьске, куда ехал по делам Петр, сразу же после Пасхи 1716 года.

Петр Великий был подлинным реформатором России. Он прервал идеологическую, религиозную, политическую и экономическую замкнутость своей страны и через прорубленное им «окно» вытолкал ее на Запад. Одним из нововведений, потрясших русских современников, были брачные союзы, которые стал планировать и заключать царь. Первым брачным «экспериментом» Петра стал брачный союз потомка рода курляндских герцогов Кетлеров Фридриха Вильгельма и царевны Анны Иоанновны, о чем уже сказано выше. Петровская «брачная экспансия» была рассчитана на далекое будущее. Царь понимал, что политические союзы временны и недолговечны, а кровно-родственная связь может быть не в пример им надежной и прочной. И, забегая вперед, скажем, что преемники Петра с успехом развили эту «экспансию»: в последнем российском императоре Николае II была ничтожная часть крови от ветви Михаила Романова и огромнейшая — от других европейских династий.

Брак мекленбургского герцога Карла Леопольда с царевной Екатериной Ивановной был одним из этапов этой династической политики. Молодая жена герцога Мекленбургского Екатерина, по критериям XVIII века, когда замуж нередко выходили в 14—15 лет, была не так уж молода: она родилась 29 октября 1692 года и, следовательно, вышла замуж в 24 года. Жизнь ее до брака была вполне счастливой. Вместе с матерью, вдовствующей царицей Прасковьей Федоровной, и сестрами Анной и Прасковьей она жила в Измайлове, а оттуда перебралась в Петербург, куда Петр переселил своих родственников. Маленькая, краснощекая, чрезмерно полная, но живая и энергичная Екатерина была существом веселым и болтливым. В этом она была совершенной противоположностью высокой и мрачной сестре Анне, и насколько не любила мать-царица Прасковья Федоровна среднюю дочь, настолько же она обожала старшую «Катюшку-свет». Для того чтобы удержать подольше возле себя любимицу, царица в 1710 году отдала за курляндского герцога нелюбимую Анну, хотя по традиции принято было выдавать первой старшую дочь. Но в 1716 году наступил момент расставания и с Екатериной — отправляясь в конце января из Петербурга в Гданьск на встречу с Карлом Леопольдом, Петр захватил с собой племянницу, которая смело поехала навстречу своей судьбе.

Тридцативосьмилетний жених, собственно, ждал другую невесту — он рассчитывал получить в жены более молодую «Ивановну», вдовствующую курляндскую герцогиню Анну. Но у Петра на сей счет было иное мнение, и он в раздражении даже пригрозил Сибирью упорствовавшему на требовании герцога мекленбургскому посланнику. Дипломатам пришлось согласиться на кандидатуру Екатерины. Не смела спорить с грозным дядей и сама невеста. Отправляя племянницу под венец, Петр дал ей краткую, как военный приказ, инструкцию, как надлежит жить за рубежом: «Веру и закон сохрани до конца непременно. Народ свой не забудь и в любви и почтении имей перед другими. Мужа люби, почитай как главу семьи и слушай во всем, кроме упомянутого выше. Петр». О любви, конечно, речи идти не могло: Карл Леопольд этого доброго чувства не вызывал ни у своих под-

данных, ни у своей первой жены, Софии-Гедвиги, с которой он не успел развестись к моменту женитьбы на Екатерине, так что Петру пришлось и торопить его, и даже платить деньги за развод. Это был, по отзывам современников, человек грубый, неотесанный, деспотичный и капризный, да ко всему прочему страшный скряга, никогда не плативший долги. Подданные герцога были несчастнейшими во всей Германии — он тиранил их без причины, жестоко расправлялся с жалобщиками на его самоуправство. К своей молодой жене Карл Леопольд относился холодно, отстраненно, подчас оскорбительно, и только присутствие Петра, провожавшего новобрачных до столицы герцогства города Ростока, делало его более вежливым. После же отъезда царя из Мекленбурга герцог своей неприязни уже не сдерживал, и Екатерине пришлось несладко. Это мы видим по письмам Прасковьи Федоровны к царю Петру и царице Екатерине Алексеевне. Из переписки самой Екатерины явствует, что она, как жена, воспитанная в традициях послушания мужу, поначалу не стремилась бежать из Мекленбурга, да и боялась ослушаться грозного дядюшку-царя. Бесправность, униженность мекленбургской герцогини видны во всем — и в ее незавидном положении жены человека, которому было бы уместнее жить не в просвещенном XVIII веке, а в пору Средневековья, и в пренебрежительном отношении к ней знати немецких медвежьих углов, называвших московскую царевну «Die wilde Herzoginn» — «дикая герцогиня», и в повелительных, хозяйских письмах к ней Петра, и, наконец, в ее подобострастных посланиях в Петербург. 28 июля 1718 года она пишет царице Екатерине: «Милостью Божью я стала беременна, уже есть половина, а прежде половины *писать я не смела к Вашего Величества, ибо я об этом подлинно не знала*». 7 декабря того же года в Ростоке герцогиня родила принцессу Елизавету Екатерину Христину, которую в России после крещения в православие назвали Анной Леопольдовной.

Девочка росла болезненной и слабой, но была очень любима своей далекой бабушкой, которой не терпелось увидеть и «Катюшку-свет», и внучку. К 1722 году письма царицы Прасковьи становятся отчаянными. Она, чувствуя приближение смерти, просит, умоляет, требует, чтобы дочь и внучка были возле нее. Писала царица и Петру, прося его помочь непутевому зятю, а также вернуть ей Катюшку. Наконец, в августе 1722 года Екатерина с дочерью приехали из Германии в Москву, в Измайлово. Когда 14 октября 1722 года голштинский герцог Карл Фридрих посетил Измайлово,

то он увидел там довольную царицу Прасковью в кресле-каталке: «Она держала на коленях маленькую дочь герцогини Мекленбургской — очень веселенького ребенка лет четырех». Снова Екатерина оказалась в привычном старом доме деда, среди родных и слуг. А за окнами дворца, как и в детстве царевны, шумел полный осенних плодов измайловский сад. О годах, проведенных Екатериной и ее дочерью после возвращения из Мекленбурга в Россию и до воцарения Анны Иоанновны в 1730 году, мы знаем очень мало. Не можем мы сказать определенно и о характере девочки. Известно, что принцесса вместе с матерью переехала из Измайлова в Петербург. Здесь 13 октября 1723 года царица Прасковья скончалась. Перед смертью, как пишет современник, она приказала подать себе зеркало и долго всматривалась в свое лицо.

Дела мекленбургского семейства после смерти царицы Прасковьи не пошли лучше. Стало известно, что муж Екатерины Карл Леопольд вступил в распрю с собственным дворянством и после долгой борьбы, в 1736 году, был лишен престола, арестован и кончил жизнь в ноябре 1747 года в темнице герцогского замка. С женой и дочерью он больше никогда не встречался. Девочка проводила все время с матерью, которая и при Екатерине I, и при Петре II оставалась в тени.

Так бы и пропали в безвестности имена наших героинь, как пропал уютный деревянный дворец в Измайлове, если бы в январе 1730 года на престол Российской империи не взошла сестра Екатерины Анна, тетка одиннадцатилетней мекленбургской принцессы. Став полновластной государыней, императрица Анна с неумолимой неизбежностью должна была решать проблему престолонаследия, но так, чтобы на троне не оказались потомки «лифляндской портомои» Екатерины I — цесаревна Елизавета Петровна или ее племянник, голштинский принц Карл Петер Ульрих, напомню — сын покойной старшей сестры Елизаветы Анны Петровны. Как известно, Анна не имела детей, по крайней мере, законнорожденных, и смерть ее могла открыть дорогу к власти как раз либо Елизавете Петровне, либо «чертушке» — голштинскому принцу, внуку Петра Великого. При этом сама императрица, давно состоявшая в интимной связи со своим фаворитом Бироном, замуж идти не хотела. Когда в 1730 году в Москве вдруг по собственной инициативе объявился жених — брат португальского короля инфант Эммануил, его подняли на смех и поспешно, одарив собольей шубой, выпроводили восвояси — никто в России даже предста-

вить себе не мог, чтобы у самодержицы-императрицы появился муж! Впрочем, как пишет саксонский посланник Лефорт, императрица Анна «после того, как ей принц Португальский предложил руку, удалилась и горько плакала». Зная печальную семейную историю Анны, мы можем отчасти понять причину этих горьких слез.

И тут возник довольно сложный, просто головоломный, вариант решения проблемы престолонаследия, который разработали хитроумный вице-канцлер Остерман и К. Г. Левенвольде. Анна согласилась на него. В 1731 году она потребовала от подданных, чтобы они присягнули в верности тому выбору наследника, который сделает государыня. Все подданные были обязаны, держа руку на Евангелии, повторить клятву за себя и своих наследников «в том, что [я] хощу и должен с настоящим и будущим моими наследниками не токмо Ея величества, своей истинной государыне императрице Анне Иоанновне, но и по ней Ея величества Наследникам, которые по изволению и самодержавнейшей ей, от Бога данной императорской власти определяемы и к восприятию самодержавного Всероссийского престола удостоены будут верным, добрым и послушным рабом и подданным быть». Удивляла в присяге форма будущего незавершенного времени: «определяемы», «удостоены будут». Подданные недоумевали: кто же все-таки будет наследником российского престола? Что это за тайна? Вскоре стало известно — и в этом-то и состояла хитроумность плана Остермана и Левенвольде, — что наследником станет будущий ребенок тринадцатилетней племянницы императрицы, принцессы Мекленбургской, и ее еще неизвестного будущего супруга.

По заданию императрицы Левенвольде немедленно отправился в Германию на поиски достойного жениха для юной мекленбургской принцессы. А в это время с самой принцессой начались волшебные перемены. Девочку забрали от матери ко двору тетки, назначили ей приличное содержание, штат придворных, а главное — начали поспешно воспитывать ее в православном духе — ведь теперь с ее именем была связана большая государственная игра. Обучением девушки занимался ученый монах Феофан Прокопович. В 1733 году некогда при крещении в Мекленбурге нареченная по лютеранскому обряду Елизаветой Екатериной Христиной принцесса получила то имя, под которым она вошла в русскую историю, — Анна, точнее, с прибавлением почему-то не первого (Карл), а второго имени отца — Анна Леопольдовна. У посторонних наблюдателей сложилось впечатление, что императрица удочерила племянницу и передала

ей свое имя. Это не так, скорее всего Анна Иоанновна стала крестной матерью Анны Леопольдовны. Родная мать Екатерина Иоанновна присутствовала на торжественной церемонии крещения дочери 12 мая 1733 года, но буквально через месяц умерла. Все годы замужества Екатерина страдала серьезными женскими болезнями, у нее развилась водянка, и смерть пришла, когда ей было всего сорок лет. Мекленбургскую герцогиню похоронили рядом с матерью — царицей Прасковьей в Александро-Невском монастыре.

Она все же успела рассмотреть жениха, которого нашел Анне в Германии Левенвольде. Это был Антон Ульрих, принц Брауншвейг-Бевернский, девятнадцатилетний племянник австрийской императрицы Елизаветы — жены Карла VI. Он приехал 5 февраля 1733 года и попал сразу на праздник именин императрицы и — соответственно — своей невесты.

Принцесса Анна не производила выгодного впечатления на окружающих. «Она не обладает ни красотой, ни грацией, — писала жена английского резидента леди Рондо в 1735 году, — а ее ум еще не проявил никаких блестящих качеств. Она очень серьезна, немногословна и никогда не смеется; мне это представляется весьма неестественным в такой молодой девушке, и я думаю, за ее серьезностью скорее кроется глупость, нежели рассудительность». Иного мнения об Анне Леопольдовне был ее будущий обер-камергер Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Он писал, что Анну считали холодной, надменной и якобы всех презирающей. На самом же деле ее душа была нежной и сострадательной, великодушной и незлобивой, а холодность служила лишь защитой от «грубейшего ласкательства», столь распространенного при дворе ее тетки. Так или иначе, некоторая нелюдимость, угрюмость и неприветливость принцессы бросались в глаза всем. Много лет спустя французский посланник Шетарди передавал рассказ о том, что герцогиня Екатерина была вынуждена прибегать к строгости против своей дочери, когда та была ребенком, чтобы победить в ней диковатость и заставить являться в обществе. Точное слово — «диковатость»! Впрочем, объяснение не особенно симпатичным чертам Анны Леопольдовны нужно искать не только в ее характере, данном природой, но и в обстоятельствах ее жизни, особенно после 1733 года.

Приехавший жених Анны всех разочаровал: и невесту, и ее мать, и императрицу, и двор. Худенький, белокурый, женоподобный сын герцога Фердинанда Альбрехта был неловок от страха и стеснения под пристальными, недоброжела-

тельными взглядами придворных «львов» и «львиц» двора Анны. Как писал в своих мемуарах Бирон, «принц Антон имел несчастье не понравиться императрице, очень недовольной выбором Левенвольде. Но промах был сделан, исправить его, без огорчения себя или других, не оказалось возможности».

Императрица не сказала официальному свату — австрийскому послу — ни да, ни нет, но оставила принца в России, чтобы он, дожидаясь совершеннолетия принцессы, обжился, привык к новой для него стране. Ему был дан чин подполковника Кирасирского полка и соответствующее его положению содержание. Принц неоднократно и безуспешно пытался сблизиться со своей будущей супругой, но она равнодушно отвергала его ухаживания. «Его усердие, — писал впоследствии Бирон, — вознаграждалось такой холодностью, что в течение нескольких лет он не мог льстить себя ни надеждою любви, ни возможностью брака». Летом 1735 года произошел скандал, отчасти объяснивший подчеркнутое равнодушие невесты к Антону Ульриху. Анну — тогда шестнадцатилетнюю девицу — заподозрили в интимной близости с красавцем и любимцем женщин графом Линаром — польско-саксонским послом в Петербурге, причем соучастницей тайных свиданий была признана воспитательница принцессы госпожа Адеракс. В конце июня того же года ее поспешно посадили на корабль и выслали за границу, а затем по просьбе русского правительства Август II отозвал из России и графа Линара. Причина всего скандала была, как писала леди Рондо, очень проста — «принцесса молода, а граф — красив». Пострадал и камер-юнкер принцессы Иван Брылкин, сосланный в Казань.

Больше об этом инциденте сказать ничего невозможно. Известно лишь, что с приходом Анны Леопольдовны к власти в 1740 году Линар тотчас явился в Петербург, стал своим человеком при дворе, участвовал в совещаниях, получил высший орден России — Святого Андрея, бриллиантовую шпагу и прочие награды. Факт, несомненно, выразительный, как и то, что неизвестный никому бывший камер-юнкер Брылкин был назначен обер-прокурором Сената. Наконец, известно, что после скандала императрица Анна установила за племянницей чрезвычайно жесткий, недремлющий контроль. Проникнуть на ее половину посторонним было теперь совершенно невозможно.

Изоляция от ровесников, подруг, света и даже двора, при котором она появлялась лишь на официальных церемониях, длилась пять лет и не могла не повлиять на психику и нрав

Анны Леопольдовны. Не особенно живая и общительная от природы, она стала замкнутой, склонной к уединению, раздумьям, сомнениям и, как писал Э. Миних, большой охотницей до чтения книг, что по тем временам считалось делом диковинным и барышень до хорошего не доводящим. Она поздно вставала, небрежно одевалась и причесывалась, с неохотой и страхом выходила на ярко сияющий паркет дворцовых зал. Общество, состоящее не больше, чем из четверых, к тому же хорошо знакомых Анне людей, было для нее тягостным даже в дни ее правления, а о шумных, веселых праздниках и маскарадах при ней никто не заикался.

Изоляция принцессы Анны была прервана лишь в конце июня 1739 года, когда австрийский посол маркиз де Ботта от имени принца Антона Ульриха и его тетки — австрийской императрицы попросил у императрицы Анны руки принцессы Анны и получил, наконец, благосклонное согласие. Это согласие Анны Иоанновны было вынужденным. Поначалу императрице не хотелось думать ни о каком наследнике — ей, ставшей императрицей в 37 лет, после стольких лет унижений, бедности, ожиданий, казалось, что жизнь только начинается. К тому же ни племянница, ни ее будущий супруг императрице совсем не нравились, она тянула и тянула с решением этого скучного для нее брачного дела.

Так получилось, что судьба принцессы Анны более беспокоила фаворита императрицы Бирона. Видя демонстративное пренебрежение Анны к своему жениху, герцог в 1738 году пустил пробный шар: через посредницу — придворную даму он попытался выведать, не согласится ли принцесса выйти замуж за его старшего сына Петра Бирона. При этом он заранее заручился поддержкой императрицы, и то обстоятельство, что Петр был на шесть лет младше Анны, не особенно смущало герцога: ведь в случае успеха его замысла Бироны породнились бы с правящей династией и посрамили бы хитрецов предыдущих времен — Меншикова и Долгоруких!

Но Анна Леопольдовна уже давно была пропитана духом аристократизма. Она отвергла притязания Бирона, сказав, что, пожалуй, готова выйти замуж за Антона Ульриха — принца из древнего рода. К слову сказать, принц, жених ее, к этому времени возмужал, успел поучаствовать волонтером в русско-турецкой войне, показал себя храбрецом под Очаковым, за что удостоился чина генерала и ордена Святого Андрея... Подталкивала суженых к свадьбе и сама императрица. По словам Бирона, она как-то сказала ему: «Никто не хочет подумать о том, что у меня на руках принцесса, кото-

рую надо отдавать замуж. Время идет, она уже в поре. Конечно, принц не нравится ни мне, ни принцессе; но особы нашего состояния не всегда вступают в брак по склонности». Еще важнее было другое. Клавдий Рондо писал: «Русские министры полагают, что принцессе пора замуж, она начинает полнеть, а, по их мнению, полнота может повлечь за собою бесплодие, если замужество будет отсрочено на долгое время». Оценив все эти обстоятельства, императрица решила больше свадьбу не откладывать.

1 июля 1739 года молодые обменялись кольцами. Антон Ульрих вошел в зал, где происходила церемония, одетый в белый с золотом атласный костюм, его длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. Леди Рондо, стоявшей рядом со своим мужем, пришла в голову странная мысль, которой она и поделилась в письме к своей приятельнице в Англию: «Я невольно подумала, что он выглядит, как жертва». Удивительно, как случайная, казалось бы, фраза стала мрачным пророчеством. Ведь Антон Ульрих действительно был принесен в жертву династическим интересам русского двора: ему придется умереть слепым, в тюрьме, проведя там более тридцати лет! Но в тот момент все думали, что жертвой была невеста. Она дала согласие на брак и «при этих словах... обняла свою тетушку за шею и залилась слезами. Какое-то время Ее величество крепилась, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, посол не стал успокаивать императрицу, а обер-гофмаршал — принцессу». После обмена кольцами первой подошла поздравлять невесту цесаревна Елизавета Петровна. Реки слез потекли вновь. Все это более походило на похороны, чем на обручение.

Сама свадьба состоялась через два дня. Великолепная процессия потянулась к церкви Рождества на Невском проспекте. В роскошной карете лицом к лицу сидели императрица и невеста в серебристом платье. Потом был торжественный обед, бал... Наконец, невесту облачили в атласную ночную сорочку, герцог Бирон лично привел одетого в домашний халат принца, и двери супружеской спальни закрыли. Целую неделю двор праздновал свадьбу. Были обеды и ужины, маскарад с новобрачными в оранжевых домино, опера в театре, фейерверк и иллюминация в Летнем саду.

Леди Рондо была в числе гостей и потом сообщала приятельнице, что «каждый был одет в наряд по собственному вкусу: некоторые — очень красиво, другие — очень богато. Так закончилась эта великолепная свадьба, от которой я еще не отдохнула, а что еще хуже, все эти рауты были устроены

для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга; по крайней мере, думается, что это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы: она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы». Говорили также, что в первую брачную ночь молодая жена убежала от мужа в Летний сад. Как бы то ни было, через тринадцать месяцев этот печальный брак дал свой плод — 18 августа 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика, названного, как его прадед, Иваном. Все произошло, как и было задумано: от племянницы императрицы и заморского принца родился будущий наследник, будущий русский император.

Последняя борьба у смертного ложа

Английский посланник Э. Финч так описывает это событие: «В то самое время, как я занят был шифрованием этого донесения, огонь всей артиллерии возвестил о счастливом разрешении принцессы Анны Леопольдовны сыном. Это заставило меня немедленно бросить письмо, надеть новое платье... и поспешить ко двору с поздравлением. Сейчас возвратился оттуда. Принцесса вчера еще гуляла в саду Летнего дворца, где проживал двор, спала хорошо, сегодня же поутру, между пятью и шестью часами, проснулась от болей, а в семь часов послала известить Ее величество. Государыня прибыла немедленно и оставалась у принцессы до шести часов вечера, то есть ушла только через два часа по благополучном разрешении принцессы, которая, так же как и новорожденный, в настоящее время находится, насколько возможно, в вожделенном здравии». Все были убеждены, что именно младенцу предстояло сделаться наследником престола, но полагали, что ждать ему придется еще долго. Здоровье Анны было отменным, и, как незадолго до смертельной болезни императрицы писал прусский посланник Аксель Мардефельд, «все льстят себя надеждой, что она достигнет глубокой старости».

Действительно, рождение сына у молодой четы обрадовало императрицу Анну. Она могла теперь спокойно править несчетное число лет, покой династии был обеспечен. Но и пускать дело на самотек не следовало — мать и отец ребенка были недотепами, и Анна, став восприемницей новорожденного, отобрала Ивана у родителей и поместила его в комнатах рядом со своими. Теперь и Анна Леопольдовна,

и Антон Ульрих мало кого интересовали — свое дело они сделали. Однако понянчить внука, точнее, — внучатого племянника, заняться его воспитанием императрице Анне не довелось...

5 октября 1740 года с Анной прямо за обеденным столом случился приступ болезни. Началась кровавая рвота, и, как писал посланник, «состояние ее здоровья стало ухудшаться все более и более». Известно было, что Анна давно страдала каменно-почечной болезнью, и осенью 1740 года, возможно, от увлечения верховой ездой, произошло обострение, камни в почках сдвинулись (при вскрытии врачи обнаружили, что они напоминают развесистый коралл), началось омертвение почек. Анна, жестоко страдая от болей, слегла в постель, к этому добавилась, как писал Мардефельд, истерика. Это состояние страха возникло, возможно, в связи со странным происшествием, случившимся ночью во дворце, незадолго до смерти Анны. Дежурный гвардейский офицер, несший караул во дворце ночью, вдруг заметил в темноте тронного зала фигуру в белом, чрезвычайно схожую с императрицей. Фигура бродила по залу и не откликалась на обращения к ней. Бдительному стражу это показалось подозрительным — он знал, что императрица пошла спать. То же подтвердил поднятый им Бирон. Фигура между тем не исчезала, несмотря на поднятый шум. Наконец, разбудили Анну, которая вышла посмотреть на своего двойника. «Это моя смерть», — сказала императрица и ушла к себе.

В первый же день болезни Бирон созвал совещание виднейших сановников. Фаворит, как пишет Э. Миних, «громко рыдал и метался по комнате без памяти», горюя не только о своей судьбе (что, конечно, было искренне), но и о судьбе России, которой грозило несчастье из-за малолетства Ивана Антоновича и слабохарактерности Анны Леопольдовны. В конце своей продуманной речи он сказал, что управление государством необходимо вверить опытному человеку, который «имеет довольно твердости духа, чтобы непостоянный народ содержать в тишине и обуздании». Присутствовавшие на совещании сановники — «ревностные патриоты», как их назвал потом Бирон, — с энтузиазмом заявили, что на роль правителя не видят никого, кроме самого Бирона. Он начал отказываться. И тут Алексей Бестужев-Рюмин, занявший место Артемия Волынского в Кабинете министров по воле Бирона, прибег к особо изощренной форме подхалимажа: он резким тоном довольно грубо упрекнул Бирона в неблагодарности к России — стране, которая принесла ему славу, достаток и которую он теперь бросает в отчаянном

положении. Бирон устыдился и дал согласие быть регентом, но только с условием, чтобы это решение было принято всеми высшими чинами империи. На другой день коллективная петиция с просьбой о назначении регентом Бирона была готова, причем первым ходатаем перед императрицей за Бирона был фельдмаршал Миних.

Но неожиданно Бирон встретил препятствие со стороны... самой Анны. Выяснилось, что она не собирается отправляться в лучший мир, а также — подписывать какое-либо завещание. Она, женщина суеверная, боялась, что, «как только она подпишет завещание, то вскоре и умрет». Неожиданную твердость проявила и Анна Леопольдовна, которая заявила Бирону, что просить императрицу о составлении завещания не будет, ибо не сомневается, что тетушка и без особых хлопот обеспечит будущее Ивана Антоновича и его семьи. В итоге для Бирона дело стало приобретать неблагополучный оборот — если императрица умрет, не подписав завещания в нужной ему редакции, то регентами наследника престола Ивана, скорее всего, станут его родители, а не он. Стоя на коленях, Бирон стал упрашивать императрицу подписать завещание (как злорадно отметил Э. Миних, «герцог видел себя принужденным стряпать сам по своему делу»). Стряпать приходилось поспешно, кое-как, ведь жизнь уходила от Анны буквально на глазах. Бирон не отходил от постели императрицы, пока она не подписала указ о назначении Ивана наследником престола и объявлении Бирона регентом до семнадцатилетия юного императора Ивана VI. Герцог мог вытереть пот со лба — его стряпня удалась... но ненадолго.

Смерть пришла за императрицей Анной 17 октября 1740 года. Анна скончалась, прожив 47 лет и процарствовав десять. Умирая, она до самого конца смотрела на стоящего в ее ногах и плачущего Бирона, а затем произнесла слова, известные нам в передаче Э. Финча — английского посланника. На следующий день он писал в Лондон: «Her Majestry looking up said to him: "Nie bois!" — the ordinary expression of this country, and the import of is "Never fear!"» («Ее величество, глядя на него, сказала "Небось!" — обычное выражение в этой стране, означающее "Никогда не бойся!"»)...

Да он, собственно, и не боялся: согласно завещанию Анны, императором был объявлен родившийся в августе 1740 года Иван VI Антонович, а регентом при нем — сам Бирон сроком до совершеннолетия императора, а если тот скончается раньше, то до совершеннолетия следующего отпрыска Анны Леопольдовны и т. д.

Кто бы мог подумать, что так удачно запланированное (по крайней мере на 17 лет) регентство Бирона будет продолжаться всего три недели. Поначалу все шло хорошо. Даже какие-то опасения относительно волнений гвардии во время присяги не оправдались. «Все свершилось в большем спокойствии, чем простой смотр гвардии в Гайд-парке», — писал Э. Финч. Бирон мог опереться на своих людей везде: в армии был Миних, в государственном аппарате — А. П. Бестужев-Рюмин и князь А. М. Черкасский, в политической полиции — А. И. Ушаков. На службе регента было немало шпионов и добровольных доносчиков. Но это не спасло его. В ночь на 9 ноября 1740 года Бирон был захвачен в своей спальне гвардейцами, посланными с этой целью фельдмаршалом Минихом. Физически сильный регент долго дрался с ночными гостями, его утихомиривали ударами прикладов, потом связали и потащили по залам дворца на двор, где уже была приготовлена карета Миниха...

Ночная беготня, крики и шум этой классической сцены дворцового переворота подняли на ноги весь дворец, и только покойной императрице не было до всего этого никакого дела — Анна Иоанновна тихо лежала в своем золоченом гробу в парадном зале дворца и не видела, как мимо пронесли мычащего и лягающегося Бирона. Она уже ничем не могла помочь своему возлюбленному обер-камергеру. Ее похороны состоялись 23 декабря 1740 года уже при новой власти. Кто бы мог подумать, что 1740 год, начавшийся с забав у Ледяного дворца, будет таким бурным...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В жизни и судьбе императрицы Анны Иоанновны отразилась необыкновенная эпоха. Ей пришлось жить во времена Петра Великого, а для него все люди, в том числе и она, дочь царя Ивана, были лишь материалом, кирпичиками на той грандиозной стройке, которую он затеял в России. Ее жизнь, как и жизнь многих русских людей, была резко изменена, переломана, «исправлена» могучей силой петровского движения. В конечном счете, и на престол она была выброшена вихрем, порожденным тектоническими сдвигами Петровской эпохи. Все эти годы она, женщина простая и малообразованная, но жаждавшая обыкновенного счастья, тосковавшая по мужу, семье, детям, покою тихого Измайлова, достатку, цеплялась за каждую возможность устроить свой очаг, но этого ей так и не удалось достигнуть. После всего перенесенного Анной в жизни трудно говорить о доброте ее нрава. Но ее можно понять и не нужно осуждать...

Став государыней, повелительницей огромной страны, она осталась сама собой во всей незатейливости проявления своего характера, в своих привязанностях и пороках. Но известно, что власть незаметно, но быстро влияет на природу человека, оказавшегося на самой вершине. И Анна, естественно, не избежала этого влияния. Ее капризы, подозрения прямо сказывались на стиле политики ее царствования. Вместе с тем, как ни проста и недалека была Анна, с молоком матери, из всей окружающей ее русской жизни, она впитала некие важные, основополагающие принципы, которые разделяли с ней самые великие правители России. Она прежде всего ощущала себя самодержицей и как зеницу ока берегла и охраняла начала самодержавия. Особую остроту

этим чувствам и ощущениям придали драматические обстоятельства, сопровождавшие ее вступление на престол в начале 1730 года.

В одном из писем о расследовании каких-то малозначащих дел она написала в Москву С. А. Салтыкову: «Разыщите о последнем без всякой понаровки кто будет виноват, мне ничто ино надобно, кроме правды, а кого хочу пожаловать, в том я вольна». Разве не так же выражался Иван Грозный: «Жаловать есьмы своих холопов вольны, а и казнить вольны же». И не важно, что между ними пролегло более полутораста лет. Принцип самодержавия был прочно впечатан в мозги бывшей курляндской герцогини. В действительности так и было: она, как русская самодержица, была вольна поступать с людьми, как ей заблагорассудится. Вот письмо к Салтыкову, которому императрица даже не объясняет, за что он должен арестовать жившего в Москве иноземца Наудорфа и «послать за караулом в Кольский острог, где его отдать под тамошний караул и велеть употребить в работу, в какую годен будет, а на пропитание давать ему по пятнадцати копеек на день». Это ее воля, ее каприз, ее право!

Сознание этого самодержавного принципа, этой основы жизни и мышления Анны Иоанновны позволяло ее предшественникам спокойно почивать в своих гробницах в Архангельском и Петропавловском соборах. Ничего страшного с Россией случиться при Анне уже не могло. Государыня обладала здравым смыслом, чувством самосохранения, она не совершала в политике резких движений, а если дела были сложны и многотрудны — что ж... для этого были хитроумные министры, которые всегда могли подсказать, как нужно действовать! Несмотря на господство Бирона в сердце и администрации Анны, национальной целостности России, петровским основам внешней политики имперских завоеваний ничего не грозило. Также и во внутренней политике при Анне не произошло никаких из ряда вон выходящих перемен, которые бы нарушили внутреннее равновесие сословных и властных интересов. Все проявившиеся и усилившиеся еще при Петре Великом процессы и явления экономической, политической, социальной, культурной жизни России развивались по своим внутренним законам и корректировались правительством Анны Иоанновны в разумных пределах. Что же касается расцвета бюрократии, мздоимства, присвоения государственной собственности, несовершенства в работе государственного аппарата, то кто из преемников и наследников Анны Иоанновны мог похвастаться, что победил эти пороки русской власти?

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ЦАРСТВОВАНИЯ АННЫ ИОАННОВНЫ

1693, 28 января — рождение в Москве.
1696 — смерть отца, царя Ивана V Алексеевича.
1710, 31 октября — вступление в брак с Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским.
1711, 9 января — смерть Фридриха Вильгельма.
1712 — 1730 — жизнь в Митаве, столице Курляндии.
1718 — рождение Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны.
1723 — смерть матери Анны, царицы Прасковьи Федоровны.
1727, осень — начало фавора Э. И. Бирона.
1728 — рождение Карла Эрнста Бирона, предполагаемого сына Анны Иоанновны.
1730. 19 января — вступление на российский престол.
25 февраля — Анна объявила себя самодержицей.
март — ликвидация Верховного тайного совета.
28 апреля — коронация в Москве.
1731 — отмена закона о единонаследии, слияние вотчины и поместья. Учреждение Кабинета министров. Учреждение Тайной канцелярии. Открытие Шляхетского корпуса. Начало гастролей итальянских театральных трупп.
1732 — переезд двора в Санкт-Петербург. Вывод войск из Прикаспия, передача Персии завоеванных Петром Великим территорий. Освящение Петропавловского собора.
1733 — смерть сестры Екатерины Иоанновны. Крещение Анны Леопольдовны по православному обряду. Отлит Царь-колокол.
1733 — 1735 — война за польское наследство.
1733 — 1743 — вторая экспедиция Беринга к берегам Северной Америки.
1735 — 1739 — русско-турецкая война.
1736 — завоевание Крыма. Указ о прикреплении мастеровых к мануфактурам. Ограничение срока обязательной службы в армии для дворян.
1737 — взятие Очакова. Бирон — герцог Курляндский. Открытие балетной школы Ланде. Страшные пожары в Москве и Петербурге.
1739 — победа при Ставучанах над турками. Занятие Хотина. Белградский мир с Турцией. Свадьба Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха. Опала и казнь Долгоруких.
1740 — праздник Ледяного дома. Опала и казнь Волынского и его конфидентов. Рождение Ивана Антоновича.
17 октября — смерть Анны Иоанновны. Провозглашение Ивана Антоновича императором Иоанном VI, начало регентства Бирона.
9 ноября — свержение Бирона. Анна Леопольдовна — правительница.
23 декабря — похороны Анны Иоанновны в Петропавловском соборе Петербурга.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ИСТОЧНИКИ

Альгаротти Ф. Русские путешествия // Невский архив. СПб., 1997. Т. 3.

Архив князя Воронцова. М., 1871. Кн. 2.

Атака Гданьска фельдмаршалом графом Минихом. 1734 г. Сб. реляций. М., 1888.

Баиов А. Русская армия в царствование Анны Иоанновны. СПб., 1906.

Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720—1760-е годы). Л., 1991.

Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. М., 1903. Ч. 4.

Бумаги по делу о убиении Синклера // Русский архив (далее: РА). 1866. Кн. 5.

Дворцовые перевороты в России. 1725—1825 / Сост. М. А. Бойцов. Ростов н/Д.

Депеши прусского посланника при русском дворе барона Акселя фон Мардефельда 1740 года // Чтения в Обществе истории и древностей российских (далее: ЧОИДР). 1876. Т. 1.

Диспозиция и церемониал въезда Анны Ивановны в Санкт-Петербург // РА. 1867. Кн. 3.

Для биографии герцога Бирона // РА. 1863. Кн. 3.

Донесение Московского генерал-губернатора графа С. А. Салтыкова императрице Анне об отобрании драгоценных вещей у князей Долгоруких // РА. 1866. Кн. 1.

Записки Миниха перед вступлением в русскую службу // Русский вестник. 1841. № 1.

Извлечение из письма маршала графа Миниха обер-камергеру графу Бирону // Архив князя Воронцова. М., 1971. Кн. 2.

Империя после Петра 1725—1765. М., 1998.

Исторические бумаги XVIII века времен Анны Ивановны // Русская беседа. 1860. Кн. 20.

Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. СПб., 1872.

Исторические документы 1742 года // РА. 1864. Кн. 5.

Кемптер П. Э. Рассказ о России (1732—1750 гг.) // Санкт-Петербургские ведомости. 1852. № 67, 70.

Книга записная именным письмам и указам императрицы Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны Семену Андреевичу Салтыкову 1732—1742 гг. // ЧОИДР. 1878. Кн 1.

Лириа де. Записки. М., 1845.

Манштейн К. Г. Записки о России. СПб., 1875.

Материалы для истории русского флота. СПб., 1875—1880. Ч. 5, 8.

Миниховы кондиции с русским правительством 1721 и 1727 гг. // РА. 1867. № 1.

О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. Факсим. изд. М., 1984.

Осьмнадцатый век. М., 1869. Кн. 2.

Памятники новой русской истории, изд. Кашпиревым. СПб., 1871. Т. 1.

Переписка графа С. А. Салтыкова с императрицею Анною Иоанновной и ее духовником Варлаамом // РА. 1900. Кн. 2.

Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1861. Т. 2.

Письма Артемия Петровича Волынского к царице Екатерине Алексеевне // ЧОИДР. 1862. Кн. 4.

Письмо А. П. Волынского к Бирону // РА. 1906. Кн. 1.

Письмо придворного шута Петра Мира к Флорентийскому герцогу // РА. 1864. Кн. 3.

Письмо фельдмаршала графа Миниха к императрице Анне Иоанновне // ЧОИДР. 1862. Кн. 4.

Показания князя И. А. Долгорукого и мнение о том Тайной канцелярии // ЧОИДР. 1864. Кн. 1.

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1838. Т. 8—9.

Санкт-Петербургские ведомости, 1729—1739 гг.

Сборник исторических материалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII и XIX вв. / Изд М. Михайловым. СПб., 1873.

Сборники Императорского Русского исторического общества. СПб., 1870—1912. Т. 5, 33, 66, 81, 85, 96, 101, 104, 106, 111, 114, 126, 130, 138.

Сеченов Д. Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы. СПб., 1842.

Ставучанский поход. Документы 1739 г. СПб., 1892.

Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны. Документальная хроника 1730—1740 / Сост. Л. М. Старикова. М., 1995. Вып. 1.

Феофан Прокопович. О смерти императора Петра Второго и о возшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны // Московский вестник. 1830. Ч. 1.

Челобитная сына Бирона Карла Эрнста // Русская старина. 1873. Т. 7.

Черты из домашней жизни Анны Иоанновны // РА. 1904. Кн. 1.

Черты из частной жизни императрицы Анны Иоанновны // РА. 1873. Кн. 2.

ЛИТЕРАТУРА

Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. СПб., 1998.

Анисимов Е. В. Кнут и дыба. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 2000.

Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725—1740. СПб., 1994.

Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. М., 1991. Ч. 1—2.

Белов Е. Отношение Фридриха II до вступления его на престол к русскому двору с 1737 по 1740 год // Древняя и новая Россия. 1875. Т. 2.

Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке. М., 1958.

Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997.

Бушев П. П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715—1718 гг. М., 1978.

Всеволожский-Гернгросс В Театр в России при императрице Анне Иоанновне // Ежегодник императорских театров 1913 Вып 3
Гейрот А Описание Петергофа СПб , 1868
Герман Э Царствование Анны Иоанновны 1730—1740 гг // Русский архив, 1866
Герье В Борьба за польский престол в 1733 году М , 1862
Гордин Я А Меж рабством и свободой Л , 1994
Долгова С Р Короткие рассказы о Москве М , 1997
Долгоруков П В Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны М , 1909
Дрезен Н В Материалы к истории русского театра М , 1905
Забелин И Е Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях М , 2001 Т 2
Зноско-Боровский Н История лейб-гвардии Измайловского полка СПб , 1892
Есипов Г В Люди старого века СПб , 1880
Есипов Г В Тяжелая память прошлого СПб , 1885
История Академии наук СССР М , Л , 1958 Т 1
История Москвы в документах XII — XVIII вв Российского государственного архива древних актов М , 1997
Калашников Г В Офицерский корпус русской армии в 1725—45 гг Автореферат канд дис СПб , 1999
Каменский А Б Ломоносов и Миллер два взгляда на историю // Ломоносовский сборник СПб , 1991 Т 5
Каменский А Б От Петра I до Павла I М , 1999
Карнович Е П Значение бироновщины в русской истории // Отечественные записки 1873 № 11
Ключевский В О Курс русской истории М , 1989 Ч 4
Корсаков Д А Воцарение Анны Иоанновны Казань, 1880
Корсаков Д А Из жизни русских деятелей XVIII века Казань, 1891
Корф М А Брауншвейгское семейство Пг , 1917
Костомаров Н И Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей СПб , 1892 Т 2
Котляров В Троице-Сергиева пустынь Петроградской епархии // Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Жизнь и труды СПб , 1999
Мальгин Т Зерцало российских государей СПб , 1791
Масловский Д Ф Записки по истории военного искусства в России СПб , 1891 Вып 1
Масловский Д Ф Русская армия в Семилетнюю войну М , 1886 Вып 1
Масловский Д Ф Русское военное дело при фельдмаршале Минихе СПб , 1891
Немец у русского трона Граф Андрей Иванович Остерман и его время М , Бохум, 2001
Павленко Н И История металлургии в России XVIII века М , 1962
Павленко Н И Полудержавный властелин М , 1988
Павленко Н И Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в М , 1953
Павленко Н И Страсти у трона М , 1996
Пекарский П Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов СПб , 1862
Перетц В Н Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе императрицы Анны Иоанновны в 1733—1735 гг Тексты Пг , 1917
Петров П Н История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях СПб , 1884
Покровский Н Н Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в Новосибирск, 1974
Репин Н Н Внешняя торговля и социально-экономическое развитие России в XVIII в (Архангелогородский и Петербургский порты) Омск, 1989
Романовы Исторические портреты 1613—1762 М , 1997 Кн 1
Семевский М И Царица Прасковья М , 1989
Смирнов В Д Крымское ханство под верховенством Оттоманской порты в XVIII столетии Одесса, 1889
Соловьев С М История России с древнейших времен Т 20
Станюкович Т В Кунсткамера Петербургской Академии наук М , Л , 1953
Струмилин С Г История черной металлургии в СССР М , 1954 Т 1
Ульяницкий В Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке М , 1883
Фернстер Аристиде Анна // Русские цари 1547—1917 Ростов н/Д , М , 1997
Хмыров М Д Густав Бирон, брат регента // Отечественные записки 1896 Кн 2
Черникова Т В Государево слово и дело во времена Анны Иоанновны // История СССР 1989 № 5
Шульман Е Б О позиции России в конфликте с Турцией в 1735—1736 гг // Балканский историческии сборник Вып 3 Кишинев, 1973
Cracraft J The Succession Crisis of 1730 // Canadian-American Slavic Studies 1978 12 № 1
Curtiss M A Forgotten Empress Anna Ivanovna and her era N-Y , 1971
LeDonne J P Absolutism and Ruling Class The Formation of the Russian Political Order 1700—1825 New York, Oxford 1991
Lipski A A Re-examination of the «Dark Era» of Anna Ivanovna // American Slavic and East European Review Vol 15 1956
Meehan-Waters B Autocracy and Aristocracy and the Russian Service Elite of 1730 New Brunswick, 1992
Raeff M Plans for Political Reform in Imperial Russia, 1730—1905 Englewood Cliffs, 1966
Ransel D L The Government Crisis of 1730 Reform in Russia and USSR / Ed R O Crummey Urbana, 1989

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

Глава 1. Тридцать семь дней без самодержавия 7
«Запрягайте сани, хочу к сестре!» 8
Семейный заговор Долгоруких 10
«Нам ничего не остается, как обратиться к женской линии» 14
Набросить намордник на спящего тигра 21
Архипыч-то был прав! 26
Не хлебом единым... 29
Гвардейцы, наоравшие самодержавие 41
Глава 2. Порфирородная особа, или Бедная родственница 50
Глава 3. Всероссийская помещица Ивановна и ее двор 75
Глава 4. Групповой портрет с императрицей 107
Герцог Бирон, или Любимый обер-камергер 107
Фельдмаршал Миних, или «Столп Российской империи» 139
Остерман, или Человек за кулисами 161
«Тело Кабинета», или Как раздобыть «мешочек смелости» 166
Ученый лукавый поп 168
Начальник Тайной канцелярии, или Сообщник 175
Глава 5. «Во многие годы дна не дойдем», или Внутренняя политика 180
В поисках опоры под ногами 181
Кабинет министров как перелицованный Верховный тайный совет 187
У истоков дворянской эмансипации 194
Гора Благодать, или «Ту фабрику размножить сильною рукою» 198
«Объявить указ с гневом», или Можно ли командовать шепотом 201
Глава 6. «Резиденция наша в Санктпетербурхе», или Возвращение . 208
Глава 7. В недружной семье европейских и азиатских народов . . . 257
Генеральная репетиция разделов Речи Посполитой 260
Слезы Бахчисарая, или «Срамной мир» 271
Глава 8. Бироновщина как миф русской истории 288
«Государев гнев — посланник смерти» 315
Дело Волынского 321
Глава 9. «Ее величество, глядя на него, сказала: "Небось!"» 341
Будущая невеста будущего отца будущего наследника престола 341
Последняя борьба у смертного ложа 351

Заключение 355

Основные даты жизни и царствования Анны Иоанновны 357
Список источников и литературы 358

Анисимов Е. В.

А 67 Анна Иоанновна. — М.: Мол. гвардия, 2002. — 362[6] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 816).

ISBN 5-235-02481-8

Десять лет царствования императрицы Анны Ивановны, или Анны Иоанновны, как принято ее называть (1730—1740), считаются едва ли не самым мрачным периодом в истории России XVIII века. Да и сама императрица не оставила по себе доброй памяти в потомках: толстая, некрасивая, грубая и невежественная — такой предстает она со страниц многочисленных учебников и исторических романов, живописующих ужасы «бироновщины», всеобщего засилья немцев, полного забвения государственных интересов России... Автор настоящей книги, известный петербургский историк Евгений Викторович Анисимов, постарался развеять многочисленные мифы и заблуждения относительно царствования Анны Иоанновны и показать русскую императрицу и современную ей Россию такими, какими они были в действительности.

УДК 929(092)
ББК 63.3(2)46

Анисимов Евгений Викторович
АННА ИОАННОВНА

Главный редактор издательства **А. В. Петров**
Редактор **А. Ю. Карпов**
Художественный редактор **А. Б. Романова**
Технические редакторы **Н. А. Тихонова, В. В. Пилкова, Р. А. Косыгин**
Корректор **Т. М. Новицкая**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 05.01.2001. Подписано в печать 24.12.2001. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 19,32+1,68 вкл. Тираж 7000 экз. Заказ 17994.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства «Молодая гвардия»: 103030, Москва, Сущевская ул., 21. www.mg.gvardiya.ru, ds@mg.gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии «Молодая гвардия»: 103030, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02481-8